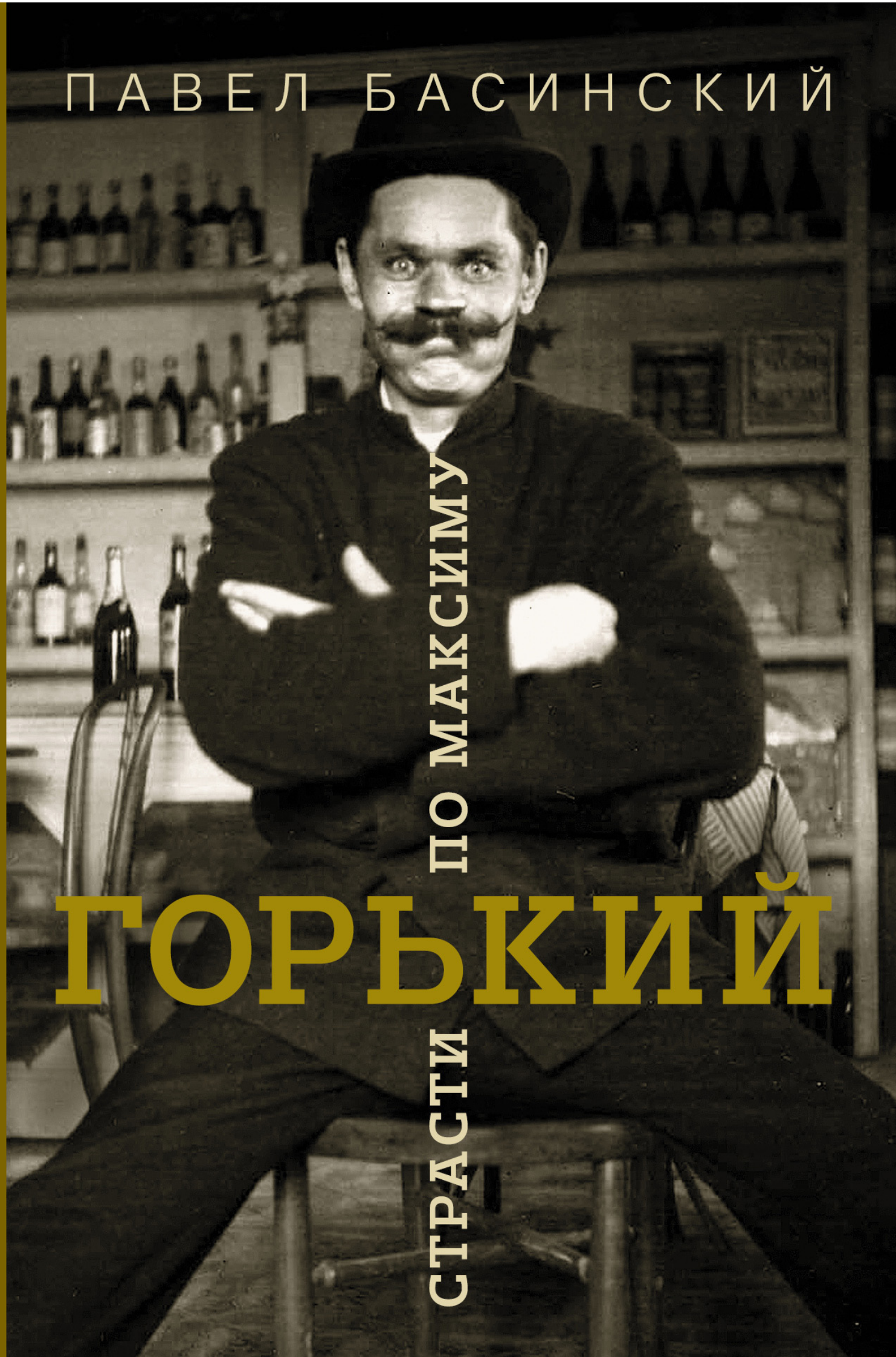


ПАВЕЛ БАСИНСКИЙ

ПО МАКСИМУ

ГОРЬКИЙ

СТРАСТИ



Литературные биографии

Павел Басинский

Горький: страсти по Максиму

«Издательство АСТ»

2018

УДК 821.161.1.09 Горький А.М.
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8 Горький А.М.

Басинский П. В.

Горький: страсти по Максиму / П. В. Басинский — «Издательство АСТ», 2018 — (Литературные биографии)

ISBN 978-5-17-106998-8

Максим Горький — одна из самых сложных личностей конца XIX — первой трети XX века. И сегодня он остается фигурой загадочной, во многом необъяснимой. Спорят и об обстоятельствах его ухода из жизни: одни считают, что он умер своей смертью, другие — что ему «помогли», и о его писательском величии: не был ли он фигурой, раздутой своей эпохой? Не была ли его слава сперва результатом революционной моды, а затем — идеологической пропаганды? Почему он уехал в эмиграцию от Ленина, а вернулся к Сталину? На эти и другие вопросы отвечает Павел Басинский — писатель и журналист, лауреат премии «Большая книга», автор книг «Лев Толстой: Бегство из рая», «Святой против Льва» о вражде Толстого и Иоанна Кронштадтского, «Лев в тени Льва» и «Посмотрите на меня. Тайная история Лизы Дьяконовой». В книге насыщенный иллюстративный материал; также прилагаются воспоминания Владислава Ходасевича, Корнея Чуковского, Виктора Шкловского, Евгения Замятина и малоизвестный некролог Льва Троцкого.

УДК 821.161.1.09 Горький А.М.
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8 Горький А.М.

ISBN 978-5-17-106998-8

© Басинский П. В., 2018

© Издательство АСТ, 2018

Содержание

Инопланетянин	7
Страсти по Максиму	11
Девять дней после смерти	11
Заключение к протоколу	11
«Чтобы я пошла посмотреть, как его будут потрошить?»	12
Сам виноват?	13
Чудо воскрешения	13
Трагический кордебалет	15
Дело врачей	16
«Надумали болеть!»	18
«Максимушка» и «товарищи»	19
«Погубили, плохо»	22
День первый	30
«А был ли мальчик?»	30
«Без церковного пеня, без ладана...»	32
«Сеяли семя в непахану землю»	34
Бабушка Акулина	39
День второй	45
То «люди», а то «человеки»	45
Колдун с сундуком	47
Второй искуситель	48
Его школы	49
«Сын народа»	51
Покончить с собой	52
Гадкий утенок	55
Горький и черт	58
Горький и церковь	62
День третий	67
«В пустыне, увы, не безлюдной»	67
Положительный человек	73
Переход и гибель	75
Ницше и Горький	79
День четвертый	82
День пятый	87
Испытание Льва, испытание Львом	87
Горький, Бунин и Шаляпин	95
День шестой	105
Единственный друг	105
Невидимый враг	106
Непокорный ученик	109
«Мужское» и «женское»	112
Революция и эмиграция	114
Начало вражды	116
На Капри	118
Вражда	123
День седьмой	129

Гапоновщина	129
Сектант и еретик	133
Религия социализма	143
День восьмой	148
Крушение гуманизма	148
Горького «заказывали»?	152
День девятый	158
«Чудесный грузин»	158
Возвращение «условно»	160
Конец Горького	166
Горький глазами современников	168
Владислав Ходасевич	168
Корней Чуковский	201
Первая	201
Вторая	221
Евгений Замятин	235
Виктор Шкловский	242
О Пешкове-Горьком	244
Лев Троцкий	249
Основные даты жизни и творчества М. Горького	251
Именной указатель	255
Список источников	267
Вкладка	269

Павел Басинский

Горький: страсти по Максиму

Светлой памяти Всеволода Алексеевича Сурганова

Инопланетянин

В детстве, отрочестве и юности ему не доставало любви. Простой, теплой человеческой любви... Именно в этом его ранняя трагедия и объяснение псевдонима “Горький”, который он придумал себе в 1892 году в Тифлисе, когда написал первый рассказ “Макар Чудра” (сразу – шедевр!), и который в конце концов подменил его настоящее имя – Алексей Пешков (с ударением на последнем слог).

С двух лет полусирота, потом круглый сирота. Мальчик на побегушках в иконописной мастерской. Посудник на пароходе. Помощник пекаря в Казани, таскавший на своих плечах многопудовые мешки с мукой и мешавший тесто в огромных чанах, чтобы ранним утром студенты университета, куда его не приняли, получали свежие теплые булочки, которые он сам же им разносил... Потом – помощник присяжного поверенного. Потом – странник по Руси... Затем – российская и мировая знаменитость, самый известный после Толстого русский писатель начала XX века. И еще – дважды эмигрант, до революции и после, в общей сложности тринадцать лет проживший в Италии. Главный писатель Советского Союза с членским билетом Союза писателей № 1. Потом эта странная, до сих пор вызывающая вопросы смерть на казенной даче в Горках-10, по той же самой дороге, на которой находилась дача и резиденция Сталина. И наконец – прах, замурованный в кремлевской стене рядом с Куйбышевым и Кировым. Прах такой государственной значимости, что даже часть его отказались выдать вдове, чтобы похоронить на Новодевичьем кладбище рядом с могилой сына Максима.

Последние месяцы, дни и часы Горького наполнены какой-то жутью. От этого невольно стараешься отвести глаза. Какие-то чужие люди в мундирах и френчах – Сталин, Молотов, Ворошилов – возле постели умирающего русского писателя пьют шампанское – это даже не так страшно, как именно противно душе. Подруга Горького Екатерина Кускова писала: “Но и над молчащим писателем они стояли со свечкой день и ночь”.

Они как бы сторожили его последний вздох. “Мы вместе. Ты наш...” И он опустил руки.

Наивно думать, что возвращение Горького в СССР было следствием чего-то определенного: какого-то “подкупа”, например. Что “история с чемоданом”, в котором якобы хранился тайный архив писателя, прольет свет на логику “конца Горького”. Просто в эмиграции ему не было места. Это хорошо понимали и он сам, и все его современники. Та же Кускова писала: “Горький – знатный эмигрант мог бы быть очень богатым, если бы он был в силах стать эмигрантом”.

Пойдем дальше. А было ему место в СССР, “в буче, боевой, кипучей”, молодых советских писателей? Мы все-таки не найдем точного ответа, и придется оставить его “на потом”, когда, мол, “все будет известно”. Пожалуй, это главная особенность биографии Горького: все линии его судьбы не имеют конца, обрываются в какую-то пустоту, как и линии его последнего романа “Жизнь Клима Самгина”, который читаешь, читаешь, читаешь, и кажется: вот-вот схватишь его смысл... Но – нет... И оставишь “на потом”...

Странная фигура! Огромная, но странная...

Вот его повесть “В людях”. Это не просто так сказано. Если почистить потускневший смысл этого слова, обнажится черная дыра в сознании Горького. Это нужно понять по принципу “остранения”. Если можно находиться “в людях”, значит, можно быть и где-то еще. В не-

людях, что ли? “Люди” для Горького – это не просто среда обитания, которую не замечаешь (как воздух), но чуждое материальное пространство, в которое заброшен мальчик *по чьей-то воле*. По чьей же? И на этот вопрос он не знает ответа. Но в любом случае понятно, что это была какая-то недобрая воля, если девизом молодого человека стало: “Мы в мир пришли, чтобы не соглашаться...”

Существует народная притча о лягушках, которые попали в кувшин со сметаной. Первая сложила лапки и утонула. Вторая колотила лапками до тех пор, пока сметана не стала маслом, и она не выбралась наружу. Горький по своей сильной, упрямой натуре был второй лягушкой, и когда судьба выбросила его “в люди”, он месил внезапно окружившее его пространство, как тесто в пекарне, пока оно не сдилось и не дало “чужаку” места на земле.

Вот хроника его странствий по Руси за 1891 год. Уходит из Нижнего Новгорода. Обошел Поволжье, Дон, Украину, Крым, Кавказ. Посещает Казань, Царицын, живет на станции Филоново Грязе-Царицынской ж/д. Приходит в Ростов-на-Дону, работает грузчиком. Из Ростова идет в Харьков. Из Харькова – в Рыжовский монастырь, затем – в Курск. Из Курска – в Задонск. Посещает монастырь Тихона Задонского. Идет в Воронеж. Возвращается в Харьков. Потом – в Полтаву, из Полтавы через Сорочинцы – в Миргород. Посещает Киев. Идет в Николаев. Приходит в село Кандыбово Николаевского уезда. Избит мужиками. После николаевской больницы идет в Одессу. В Очакове работает на добыче соли. Путешествует по Бессарабии и возвращается в Одессу. Идет в Херсон, Симферополь, Севастополь, Ялту, Алупку, Тамань... Приходит на Кубань. Арестован в Майкопе как бездомный. Беслан, Терская область, Мухет. Снова арестован. Пришел в Тифлис.

Какая запутанная география! А между тем он просто путешествовал вместе с потоками мигрирующего русского народа, который двигался на работы и промыслы с севера на юг. Но среди этого народа были и воры, и грабители, и попрошайки. И со всеми он находил общий язык. Но при этом оставался все-таки чужаком. Спутником. “Мой спутник” называется один из его лучших ранних рассказов.

В конце концов судьба вынесла его в газетчики, а затем и в писатели. Но и здесь он поначалу был чужим. Как бы ни ласкала его на первых порах интеллигенция, какие бы банкеты ни давались в Петербурге в его честь (тосты поднимали Милюков, Струве, Короленко и другие), они все-таки держали его за “гостя”. Бог его знает, кто он, откуда и зачем явился? Толстой принял Горького за мужичка и говорил с ним матерком, но затем понял, что ошибся. “Не могу отнестись к Горькому искренно, сам не знаю почему, а не могу, – говорил Чехову. – Горький – злой человек. У него душа соглядатая, он пришел откуда-то в чужую ему, Ханаанскую землю, ко всему присматривается, все замечает и обо всем доносит какому-то своему богу”.

Горький платил аристократам и интеллигенции той же монетой. В письмах к Репину и Толстому он пел гимны во славу Человека: “Я не знаю ничего лучше, сложнее, интереснее человека...”; “Глубоко верю, что лучше человека ничего нет на земле...” И в это же самое время написал жене Екатерине Пешковой: “Лучше б мне не видеть всю эту сволочь, всех этих жалких, маленьких людей!” (О тех, кто поднимал бокалы в его честь.) “Я видел, как Гиппиус целовалась с Давыдовой. До чего это противно!”

Когда он был искренен? Леонид Андреев, уже будучи в эмиграции, вспоминал, как на квартире писателя Телешова в Москве собирались Бунин, Серафимович, Вересаев, Зайцев и другие писатели-реалисты, объединившись в кружок под названием “Среда”. Иногда приезжали из Петербурга Горький и Шаляпин. В отсутствие Горького заходил разговор о нем и его искренности. Спорили до хрипоты. И однажды Вересаев сказал: “Господа! Давайте раз и навсегда решим не касаться проклятых вопросов. Не будем говорить об искренности Горького!”

“Сквозь русское освободительное движение, а потом сквозь революцию он прошел Лукою, лукавым странником”, – написал Владислав Ходасевич. Но фактически такое же мне-

ние (что Горький никогда не был настоящим революционером, а только попутчиком) высказывает в некрологе о Горьком и Лев Троцкий.

И это так же верно, как то, что он был странником и попутчиком во всем и везде. Он был близко связан и состоял в переписке с Толстым и Лениным, Короленко и Розановым, Чеховым и Гапоном, Буниным и Сталиным. Как это было возможно? Горький одновременно общался с реалистами, модернистами, дворянами и мужиками, большевиками, священниками, провокаторами, монархистами, сионистами, академиками, писателями, колхозниками, гепэушниками и прочими людьми на этой грешной земле, где только ему не нашлось места. “Горький не жил, а осматривал...” – заметил Виктор Шкловский.

Но при этом сколько после себя оставил этот будто бы “соглядатай”, “странник”, “попутчик”! Не говоря уже о 25 томах художественных произведений, среди которых очень многие выдержали испытание временем; громадного количества писем, до сих не опубликованных; сотен статей, от заметок 1896 года с Нижегородской художественно-промышленной выставки до ужасных по слогу восхвалений Сталину и карательным органам. И здесь же философские шедевры, вроде статей “Две души” и “Разрушение личности”. Но это только тексты. А за Горьким – еще и целые культурные институции. Товарищество “Знание”, альманахи, журналы, газеты. Издательство “Academia”, закрытое лишь после его смерти. И серия “Жизнь замечательных людей”, сохранившаяся до сегодняшнего дня, когда почти все старые книжные серии исчезли. И Литературный институт его имени. Да разве все перечислишь? Не человек, а целое культурное производство!

Но иногда Горького странно читать. Во всех его сочинениях есть что-то правдивое и выдуманное, психологически верное и невероятное. Изображение реальности порой достигает гениальности, как, скажем, в “Климе Самгине”. Безусловно, это был великий художник из породы фламандских мастеров, и некоторые сцены в его последнем романе (чаепитие Самгиных или Петербург после Кровавого воскресенья), темнея со временем, приобретают какую-то особенную магическую силу.

И в то же время он видел то, чего не могли видеть другие. Например, людей “наедине с собой”. В 17-м томе сочинений есть такие эпизоды, которые сначала вызывают улыбку, а затем – мистический холодок. “Отец Ф. Владимирский, поставив перед собою сапог, внушительно говорил ему:

– Ну, – иди!

Спрашивал:

– Не можешь?

И с достоинством, убежденно заключал:

– То-то! Без меня – никуда не пойдешь!”

“В фойе театра красивая дама-брюнетка, запоздав в зал и поправляя перед зеркалом прическу, строго и довольно громко спросила кого-то:

– И – надо умереть?”

Или как Чехов, думая, что его никто не видит, пытался поймать шляпой солнечный зайчик.

Да, он любил человека, но “странную любовью”. В ней были и мука, и страсть, и радость, и ненависть. И конечно, “Двадцать шесть и одна”, “Коновалов”, “Страсти-мордасти”, “Однажды осенью” и другие вещи останутся среди вершин русской сентиментальной прозы. Но все-таки это была любовь прохожего к чужим детям. Зачем он вечно *следил* за людьми, не делая в этом между ними никакого различия (будь ты хоть извозчик, хоть уголовник, хоть Толстой)? И зачем сочинил странную сказку о Человеке?

Его миф о Человеке, “который звучит гордо”, вообще говоря, весьма сомнителен. Недаром страстный монолог в его защиту произносит карточный шулер Сатин и рисует при этом рукой в пустоте какую-то фигуру (в “На дне” такая ремарка).

Что это за фигура? Что видел перед собой Сатин? И почему после его монолога повесился Актер?

Предположим то, чего, конечно, быть не могло. Максим Горький был *инопланетянином*. Вот откуда его странности и маски, от внешности мастерового до сходства с Ницше с его моржовыми усами, которое многие отмечали. Все его книги напоминают талантливый отчет о служебной командировке на Землю. Все замечено, ничего не упущено! Но что такое Человек, он так до конца и не понял.

Как же ему стало легко, когда его *отпустили*! Как быстро расправил он свои, допустим, крылья перед тем, чтобы окунуться в космическую бездну по дороге домой! Как, наконец, стало ясно и просто в его душе! И ученые мужи на его планете, прочитав его отчет, все-таки спросили:

– Ну, видел Человека?

– Видел!

– Какой?

– О! Это великолепно! Это звучит гордо! Это я, ты, Наполеон и другие!

– Да выглядит-то как?

И он нарисовал в пустоте странную фигуру.

Страсти по Максиму

Девять дней после смерти

Бульчов. Стой! Как по-твоему – умру я?

Глафира. Не может этого быть.

Бульчов. Почему?

Глафира. Не верю.

Бульчов. Не веришь? Нет, брат, дело мое – плохо!

Глафира. Не верю.

Бульчов. Упряма.

Горький. Егор Бульчов и другие

Заключение к протоколу

Официальная дата смерти М. Горького 18 июня 1936 года.

Пешков-Горький Алексей Максимович. Умер 18/ VI – 36 г.

Так написано синим карандашом, наискось, на предсмертной истории болезни писателя. Заключительная хроника болезни, подписанная врачами Лангом, Кончаловским, Плетневым и Левиным, фиксирует состояние умиравшего до самых последних моментов жизни:

18. VI.1936. 11 час. утра. Глубокое коматозное состояние; бред почти прекратился, двигательное возбуждение также несколько уменьшилось.

Клокочущее дыхание.

Пульс очень мал, но считывается, в данный момент – 120.

Конечности теплые.

11 час. 5 мин. Пульс падает, считался с трудом. Коматозное состояние, не реагирует на уколы. По-прежнему громкое трахеальное дыхание.

11 час. 10 мин. Пульс стал быстро исчезать. В 11 час. 10 мин. – пульс не прощупывается. Дыхание остановилось. Конечности еще теплые.

Тоны сердца не выслушиваются. Дыхания нет (проба на зеркало). Смерть наступила при явлениях паралича сердца и дыхания.

Заключение к протоколу вскрытия тела Горького:

Смерть А. М. Горького последовала в связи с острым воспалительным процессом в нижней доли легкого, повлекшим за собой острое расширение и паралич сердца. Тяжелому течению и роковому исходу болезни весьма способствовали обширные хронические изменения обоих легких – бронхоэкстазы (расширение бронхов), склероз, эмфизема, – а также полное заращение плевральных полостей и неподвижность грудной клетки вследствие окаменения реберных хрящей.

Эти хронические изменения легких, плевр и грудной клетки создавали сами по себе еще до заболевания воспалением легких большие затруднения

дыхательному акту, ставшие особенно тяжелыми и труднопереносимыми в условиях острой инфекции.

Вскрытие в присутствии всех семи лиц, подписавших заключение о смерти А. М. Горького (крупные медицинские чиновники, виднейшие доктора и ученые: нарком здравоохранения Каминский, начальник Лечсанупра Кремля Ходоровский, заслуженные деятели науки Ланг, Плетнев, Кончаловский, Сперанский и доктор медицинских наук Левин. – П.Б.), произвел профессор И. В. Давидовский.

По воспоминаниям медицинской сестры Олимпиады Дмитриевны Чертковой, постоянно дежурившей возле тяжело умиравшего писателя, вскрытие проводилось прямо в спальне Горького, на его столе.

Врачи ужасно торопились.

“Когда он умер, – вспоминал секретарь и поверенный Горького П. П. Крючков, – отношение к нему со стороны докторов переменилось. Он стал для них просто трупом. Обращались с ним ужасно. Санитар стал его переодевать и переворачивал с боку на бок, как бревно. Началось вскрытие...”

Когда Крючков вошел в спальню, он увидел “распластанное окровавленное тело, в котором копошились врачи”. “Потом стали мыть внутренности. Зашили разрез кое-как простой бечевкой, грубой серой бечевкой. Мозг положили в ведро...”

Это ведро, предназначенное для Института мозга, Крючков сам отнес в машину. Он вспоминал, что делать это было “неприятно”.

Неприязненное отношение горьковского секретаря (вскоре казненного за будто бы убийство Горького и его сына Максима) к обычным манипуляциям медиков показывает, что вокруг умиравшего писателя бушевали темные страсти, плелись и сами собой заплетались таинственные интриги. Ни один из великих русских писателей не умирал в такой конспиративной, но в то же время открытой для вмешательства посторонних людей атмосфере. Испытываешь невольное содрогание перед тем, во что способны превратить политические интриганы самый главный после рождения момент жизни человеческой – умирание, уход из земного бытия.

Но Горький сам запутал себя в этих интригах, позволил чужим, враждебным его писательской, артистической натуре силам вмешаться не только в свою жизнь, но и в смерть. В конце концов он сам понял это и умирал “застегнутый на все пуговицы”, бесстрашно ожидая смерть и глядя на все происходившее вокруг даже с некоторой писательской иронией.

«Чтобы я пошла смотреть, как его будут потрошить?»

Олимпиада Черткова была не просто медсестрой Горького. Она любила его и считала себя любимой им. “Начал я жить с акушеркой и кончаю жить с акушеркой”, – шутил он. Олимпиада утверждала, что именно она является прототипом Глафиры, любовницы Булычова в пьесе “Егор Булычов и другие”. Она отказалась присутствовать при вскрытии дорогого ей человека. “Чтобы я пошла смотреть, как его будут потрошить?”

Это крик боли и любви к сильному и своеобразно красивому даже в старости мужчине. Эти слова трогают и сегодня. Тем более что записывались воспоминания Олимпиады (Липы, Липочки, как ее называли в семье писателя) помощником Горького А. Н. Тихоновым в той же самой спальне и на том же самом столе.

Правда, записывались спустя девять лет после кончины Горького. Порой самые банальные чувства трогают живее драматических страстей. И спустя девять лет воспоминания Липы дышат нежностью обычной земной женщины. Уже немолодой – когда Горький умирал, ей самой было за пятьдесят. Она говорит о смерти не всемирно известного писателя, а несчастного, измученного страданиями мужчины.

Того самого, который воспел Человека как бога.

А Олимпиада что говорит?

“А.М. любил иногда поворчать, особенно утром:

– Почему штора плохо висит? Почему пыль плохо вытерта? Кофе холодный...”

В последние дни своей бурной, путаной, полной противоречий жизни Горький высоко ценил простую человеческую заботу Липочки. Он называл ее “Липка – хорошая погода” и утверждал, что “стоит Олимпиаде войти в комнату, как засветит солнце”.

В ночь, когда умирал Горький, разразилась страшная гроза. И об этом тоже “Липка – хорошая погода” вспомнила спустя девять лет так, словно это было вчера. Из ее воспоминаний можно *прочувствовать* предсмертное состояние Горького.

“За день перед смертью он в беспамятстве вдруг начал материться. Матерится и матерится. Вслух. Я – ни жива ни мертва. Думаю: «Господи, только бы другие не услышали!»”

“Однажды я сказала А.М.: «Сделайте мне одолжение, и я вам тоже сделаю приятное». «А что ты мне сделаешь приятное, чертовка?» – «Потом увидите. А вы скушайте, как бывало прежде, два яйца, выпейте кофе, а я приведу к вам девочек (внучек, Марфу и Дарью. – П.В.)». Доктора девочек к нему не пускали, чтоб его не волновать, но я решила – все равно, раз ему плохо, пусть, по крайней мере, у девочек останется на всю жизнь хорошее воспоминание о дедушке”.

Внучек привели. Он с ними “хорошо поговорил”, простился. Волнующая сцена. Особенно если вспомнить, что невольной причиной болезни деда стали внучки, заразив его гриппом, когда он приехал из Крыма...

Сам виноват?

Встречавшие Горького на вокзале 27 мая 1936 года сразу заметили его плохое состояние. В поезде не спал, задыхался. О болезни Марфы и Дарьи, живших тогда в особняке на Малой Никитской, его предупредили. Тем не менее – своенравный старик! – “к ним тайком прорвался”. На следующий день поехали в Горки. Там чистый лесной воздух, необходимый больным легким. По дороге потребовал завернуть на кладбище Новодевичьего монастыря. Горький еще не видел памятника сыну Максиму работы Веры Мухиной. Олимпиада стала возражать. Она обратила внимание, что по дорожке от дома к машине Горький шел как-то вяло.

“У машины задержался, – вспоминал комендант дома на Малой Никитской И. М. Кошенков, – с трудом поднял голову, поглядел на солнце, вздохнул тяжело, после большой паузы протяжно сказал:

– Все печёт”.

Тем не менее – на Новодевичье! Осмотрев могилу сына, пожелал взглянуть еще и на памятник покончившей с собой жены Сталина Надежды Аллилуевой. Тем временем поднялся холодный ветер. Тут уже и секретарь Крючков стал возражать:

– После посмотрим.

– Черт с вами, поедемте!

Вечером И. М. Кошенкову позвонили из Горок и попросили прислать кислородную подушку. 1 июня доктора констатировали грипп и воспаление легких при температуре 38 градусов.

Чудо воскрешения

В воспоминаниях секретаря Крюčkова есть странная запись: “Умер А. М. – 8-го”.

Но Горький умер 18 июня!

Вспоминает вдова писателя Екатерина Павловна Пешкова: “8/ VI 6 часов вечера. Состояние А.М. настолько ухудшилось, что врачи, потерявшие надежду, предупредили нас, что близкий конец неизбежен и их дальнейшее вмешательство бесполезно... Врачи, считая дальнейшее присутствие свое бесполезным, один за другим тихонько вышли... А.М. – в кресле с закрытыми глазами, с поникшей головой, опираясь то на одну, то на другую руку, прижатую к виску, и опираясь локтем на ручку кресла. Пульс еле заметный, неровный, дыхание слабло, лицо и уши и конечности рук посинели. Через некоторое время, как вошли мы, началась икота, беспокойные движенья руками, которыми он точно что-то отодвигал или снимал что-то...”

“Мы” – самые близкие члены семьи: Екатерина Пешкова, Мария Будберг, Надежда Пешкова (невестка Горького по прозвищу Тимоша), Липа Черткова, Петр Крючков (прозвище – Пе-пе-крю), Иван Ракицкий (прозвище – Соловей, художник, живший в доме Горького со времен революции). Для всех собравшихся несомненно, что глава семьи умирает.

Будберг: “Руки и уши его почернели. Умирал. И умирая, слабо двигал рукой, как прощаются при расставании”.

Когда Екатерина Павловна подошла к умиравшему, села возле его ног и спросила: “Не нужно ли тебе чего-нибудь?” – на нее посмотрели с неодобрением. “Всем казалось, что это молчание нельзя нарушать” (из воспоминаний самой Пешковой).

Две главные женщины в жизни Горького (третья – бывшая гражданская жена Мария Федоровна Андреева – отсутствует), Пешкова и Будберг, в наговоренных ими воспоминаниях не могут *поделить* покойного. Будберг утверждает, что Горький в первую очередь простился именно с ней. “Он обнял М.И. и сказал: «Я всю жизнь думал о том, как бы мне изукрасить этот момент. Удалось ли мне это?» – «Удалось», – ответила М.И. «Ну и хорошо!»”

Но Пешкова говорит, что это ее вопрос: “Не нужно ли тебе чего-нибудь?” – вернул умиравшего к жизни. “После продолжительной паузы А.М. открыл глаза, выражение которых было отсутствующим и далеким, медленно обвел всех взглядом, останавливая его подолгу на каждом из нас, и с трудом, глухо, но отдельно, каким-то странно чужим голосом произнес: «Я был так далеко, оттуда так трудно возвращаться»”.

Но вопрос ли “вернул” его? Или – укол камфары, который сделала Липа? Она вспомнила, что подобным образом когда-то спасла Горького в Сорренто. “Я пошла к Левину (врач Горького, потом казненный. – П.Б.) и сказала: «Разрешите мне впрыснуть камфару двадцать кубиков, раз все равно положение безнадежное». Без их разрешения я боялась. Левин посоветовался с врачами, сказал: «Делайте что хотите». Я впрыснула ему камфару. Он открыл глаза и улыбнулся: «Чего это вы тут собрались? Хоронить меня собрались, что ли?»”

Вот и Черткова не может *поделить* Горького с другими. Хотя понятно, что ее положение в семье не сравнимо с правами законной жены (Пешкова) и любимой подруги (Будберг). Не она, а Пешкова – жена. Не ей, а Будберг посвящен “Клим Самгин”. Тем не менее Липа тоже пытается оговорить себе место. Оказывается, последней женщиной, с которой А.М. простился “по-мужски”, была она. “16-го мне сказали доктора, что начался отек легких. Я приложила ухо к его груди – послушать – правда ли? Вдруг как он меня обнимет крепко-крепко, как здоровый, и поцеловал. Так мы с ним и простились. Больше в сознание не приходил”.

Многое настораживает в воспоминаниях Чертковой. Но в то, что Горького вернуло к жизни именно впрыскивание камфары, поверить придется. Крючков вспоминал, что и доктора сперва думали сделать то же самое. Но Кончаловский сказал: “В таких случаях мы больных не мучаем понапрасну”. Он понимал, что ударная доза камфары в принципе способна оживить Горького. Но только на короткое время. Зачем мучить его напрасно?

Медсестра решила иначе.

Улыбался ли он при этом и бодро шутил, как утверждает Липа, или говорил загробным голосом воскрешенного Елиазара, как вспоминает Екатерина Пешкова, но факт остается фактом. Горький... ожил.

Его вернули с того света. Ему подарили еще *девять дней бытия*. Потом Екатерина Пешкова назовет это “чудом возврата к жизни”.

Трагический кордебалет

После первого укола Горькому делают второе впрыскивание. Он не сразу на это согласился.

Пешкова: “Когда Липа об этом сказала, А.М. отрицательно покачал головой и произнес очень твердо: «Не надо, надо кончать»”.

Крючков вспоминал, что “впрыскивания были болезненны” и хотя Горький “не жаловался”, но иногда просил его “отпустить”, “показывал на потолок и двери, как бы желая вырваться из комнаты”.

Будберг: “Он колебался, затем сказал: «Вот здесь нас четверо умных, – поправился, – неглупых людей (М.И., Липа, Левин, Крючков). Давайте проголосуем: надо или не надо?»”

Крючков и Пешкова тоже вспоминают об этом странном голосовании.

Конечно, все голосуют за!

И вдруг мизансцена меняется... Появляются новые лица. Они ждали в гостиной. К воскресшему Горькому входят Сталин, Молотов и Ворошилов. Членам Политбюро уже сообщили, что Горький умирает. Они приехали и спешат проститься.

Будберг: “Члены Политбюро, которым сообщили, что Г. умирает, войдя в комнату и ожидая найти умирающего, были удивлены его бодрым видом”.

Где-то за сценой – Генрих Ягода. Он прибыл раньше Сталина. Вождю это не понравилось.

Черткова: “В столовой Сталин увидел Генриха. «А этот зачем здесь болтается? Чтобы его здесь не было. Ты мне за все отвечаешь головой», – сказал он Крючкову. Генриха он не любил”.

Ягода почти свой в доме писателя. Недаром Липа всеильного руководителя карательных органов называет просто: *Генрих*. Но при Сталине Генрих тушется. Сталин же ведет себя в доме по-хозяйски. Шуганул Генриха, припугнул Пе-пе-крю. “Сталин удивился, что много народу: «Кто за это отвечает?» – «Я отвечаю», – сказал П.П. «Зачем столько народу? Вы знаете, что мы можем с вами сделать?» – «Знаю». – «Почему такое похоронное настроение, от такого настроения здоровый может умереть!»”

Ну, а сколько было народу? Если не брать в расчет врачей и прислугу, возле Горького – только его семья. Плохая или хорошая, но это – *его* семья. Сталин членом этой семьи не был.

Пешкова: “Через некоторое время (после первого впрыскивания камфары. – П.В.) Ал. М. поднял голову, снова открыл глаза, причем выражение лица его необычайно изменилось. Оно просветлело, стало таким, как бывало в лучшие минуты его жизни. Он опять подолгу посмотрел на каждого и сказал: «Как хорошо, что всё свои, всё свои люди...»”

Так бы вот и умереть... Да, может, он, как и Егор Булычов, “не на своей улице жил”. Но любил-то он многих... И его любили... Да, путаная была жизнь! С постоянными переездами. Со всей семьей, с врачами. Из Сорренто – в Москву. Из Москвы – в Сорренто. Потом Сталин запер в СССР. “В Крыму климат не хуже”. И Сорренто, чудесный городок на берегу Неаполитанского залива, где море “смеется” под солнцем, остался вдали.

Вспоминает писатель Илья Шкапа:

“– Окружили... обложили... ни взад, ни вперед! Непривычно сие!”

Это сказал Горький осенью 1935 года в кабинете дома на Малой Никитской, готовясь к отъезду в Крым.

Но вот он, последний час... Все-таки свои вокруг.

Пешкова, мать двух его детей. Правда, обоих уже нет. Младшая, Катя, умерла в младенчестве. Максим умер два года назад при очень загадочных обстоятельствах. Будберг. Он любил ее страстно, ревниво. Особенно когда она не жила в его доме постоянно, как в Петрограде,

в квартире на Кронверкском проспекте, а бывала наездами. Крючков. В последнее время он прятал от него письма и разную “лишнюю” информацию. То есть был как раз одним из тех, кто его “окружил и обложил”. И все равно – свой, еще с петроградских времен. Липа. Тимоша. Соловей-Ракицкий. Так бы и умереть...

Зачем ему делали второй укол камфары?

“Хозяин” едет! И свои становятся только кордебалетом.

Будберг: “В это время вошел, выходящий перед тем, П. П. Крючков и сказал: «Только что звонили по телефону – Сталин спрашивается, можно ли ему и Молотову к вам приехать?» Улыбка промелькнула на лице А.М., он ответил: «Пусть едут, если еще успеют»”.

Будберг: “Потом вошел А. Д. Сперанский со словами: «Ну вот, А.М., Сталин и Молотов уже выехали, а кажется, и Ворошилов с ними. Теперь уже я настаиваю на уколе камфары, так как без этого у вас не хватит сил для разговора с ними»”.

Позвольте! Ведь только что врачи сказали жене, что “дальнейшее вмешательство бесполезно”. Только что, посоветовавшись – и Сперанский не мог оставаться в стороне, – они согласились “не мучить больного понапрасну”.

“Уже я настаиваю”!

После этого голосование, которое предложил Горький, выглядит по-другому. Не разыгрывал ли Старик трагикомедию? Не пародировал ли таким образом тайные заседания ЦК с коллективными голосованиями? Не издевался ли Горький таким образом над апофеозом казенщины, в которую хотели превратить его смерть?

Старик – прозвище Горького среди молодых писателей. В семье его называли ласково-насмешливо: *Дука*. “Старик” – одна из лучших пьес Горького. В ней хитрый и коварный старец, похожий на персонажа повести Достоевского “Село Степанчиково и его обитатели” Фому Опискина, пытается обмануть обитателей имения. Есть образ старика и в одном из лучших рассказов Горького двадцатых годов – “Отшельник”, где герой проповедует всеобщую любовь и жалость к людям. Вообще, образ старика, то злого, то доброго, но неизменно знающего о людях нечто такое, чего они сами о себе не знают, начиная с Луки в пьесе “На дне”, сопровождал Горькому всю жизнь.

Дело врачей

Крючков: “Если бы не лечили, а оставили в покое, может быть, и выздоровел бы”.

Значит, врачи виноваты?

Известно, что Сталин не любил врачей. Если Ленин не признавал врачей-большевиков, предпочитая швейцарских профессоров, то Сталин их не любил как факт. Во-первых, он не доверял врачам, поскольку опасался быть залеченным до смерти. От простуды спасался народным средством: ложился под бурку и потел. Во-вторых, медики каждому человеку с возрастом сообщают все менее и менее утешительные вещи. И вот за это Сталин особенно их ненавидел.

Почему из докторов, которые лечили Горького перед смертью, пострадали только Л. Г. Левин, Д. Д. Плетнев, И. Н. Казаков и А. И. Виноградов, умерший в тюрьме еще до суда (не путать с В. Н. Виноградовым, который в 1938 году входил в состав экспертной комиссии, помогавшей расправе с его коллегами, а затем стал личным врачом Сталина)? Почему не осудили видного терапевта, заслуженного деятеля науки, профессора Георгия Федоровича Ланга, “под непрерывным и тщательным врачебным наблюдением” которого пребывал якобы умерщвленный докторами писатель? Имя Г. Ф. Ланга, как и затем расстрелянного Л. Г. Левина, стоит в газете “Правда” от 6 июня 1936 года под первым сообщением о болезни Горького. Но если профессор Ланг “непрерывно и тщательно”, как утверждает газета “Правда”, наблюдал за состоянием Горького, то фактически он наблюдал за тем, как его коллега Л. Г. Левин убивал писателя “неправильным лечением”, в чем Левин признался на суде.

Профессор Ланг дожил до 1948 года, основал свою научную школу, в 1945 году стал академиком, написал несколько трудов по кардиологии и гематологии и в 1951 году посмертно удостоен Государственной премии.

Почему не арестовали А. Д. Сперанского, ученого-патофизиолога из Всесоюзного института экспериментальной медицины (ВИЭМ)? Ведь ему Горький особенно доверял, он обладал среди врачей, лечивших писателя, некоторым приоритетом. Однажды, как вспоминает П. П. Крючков, вспыльчивый Сперанский чуть не избил Левина за то, что тот сообщил Крючкову о новокаиновой блокаде (входивший тогда в моду метод лечения воспалительных процессов), которую Сперанский тайно собирался сделать Горькому и выписал для этого специальные шприцы.

На суде новокаиновая блокада фигурировала как чудодейственное средство от пневмонии, которое “злоумышленники” – Левин, Плетнев и Виноградов – не позволили применить к больному сыну Горького Максиму. Тем самым, по приказу Ягоды, будто бы ускорили его смерть.

Даже у человека, не имеющего медицинских знаний, невольно возникают вопросы. Ведь речь идет о том самом Сперанском, который 20 июня 1936 года, через два дня после кончины Горького, напечатал в “Правде” историю его болезни. В ней он писал, что “двенадцать ночей ему пришлось быть при Горьком *неотлучно* (курсив мой. – П.Б.)”. Значит, Сперанский неотлучно наблюдал за тем, как его пациента безжалостно убивают Левин и Плетнев? В том числе вводя чрезмерные дозы камфары...

Вышинский. Уточните дозировку тех средств, которые применялись в отношении Алексея Максимовича Горького.

Левин. В отношении Алексея Максимовича установка была такая: применять ряд средств, которые были в общем показаны, против которых не могло возникнуть никакого сомнения и подозрения, которые можно применять для усиления сердечной деятельности. К числу таких средств относились: камфара, кофеин, кардиозол, дигален. Эти средства для группы сердечных болезней мы имеем право применять. Но в отношении его эти средства применялись в огромных дозировках. Так, например, он получил до 40 шприцев камфары.

Сперанский дожил до 1961 года, в 1939 году стал академиком, а в 1943-м – лауреатом Государственной премии.

Врачи виноваты? Но почему на процессе осудили одних и не тронули остальных? Никакой объективной логики в “деле врачей” не было. И это мог понять каждый, кто внимательно читал газеты того времени.

Сегодня объективно доказана невиновность врачей, лечивших Горького. Об этом пишет академик Е. И. Чазов, исследовавший историю болезни писателя, медицинские записи и заключение вскрытия. “В принципе, – пишет он, – можно было бы не возвращаться к вопросу о точности диагностики заболевания А. М. Горького, учитывая, что даже при современных методах лечения, не говоря уже о возможностях 1936 года, та патология, которая описана даже в коротком заключении, как правило, приводит к летальному исходу”.

Горький был трудным пациентом. Каждый его приезд в Москву из Крыма сопровождался пневмонией. При этом Горький до конца жизни выкуривал по несколько десятков (!) папирос в сутки.

Просто у Сталина был зуб на Левина и Плетнева. И первый, и второй отказались подписать ложное заключение о смерти жены Сталина от аппендицита (на самом деле застрелилась).

К тому же Левин лечил родственников Сталина, постоянно маячил перед его глазами и одним этим его раздражал. Плетнев же был строптивым человеком и вдобавок личным врагом А. Я. Вышинского. Вот и вся логика...

Но зачем врачи так спешили со вскрытием? Они боялись! Они торопились убедиться в верности своего диагноза, лечения. Ведь любая ошибка стоила бы им жизни.

Тем не менее загадочная фраза Крючкова (“Если бы не лечили... может быть, и выздоровел бы”), а также поспешность, с которой делалось вскрытие, наводит на нехитрую мысль. В самом деле – не залечили ли Горького? Не по приказу Ягоды и не по желанию Сталина. Из-за... чрезмерного энтузиазма. Из-за чудовищной нервозности, которая творилась в Горках-10 в последние дни жизни писателя. Из-за неизбежного столкновения врачебных амбиций (семнадцать врачей, и все лучшие, все светила!). Из-за страха недолечить государственно важного пациента, за которого голову снимут.

О страхе советских медиков пишет в “Московском дневнике” Ромен Роллан, летом 1935 года гостивший у Горького. В Москве и Горках занедужившего Роллана наблюдали Левин и Плетнев. “До какой степени осторожными вынуждены быть советские врачи, я начинаю понимать, когда доктор Плетнев говорит мне: «К счастью, сегодняшние газеты пишут о вашем переутомлении. Это позволяет мне высказаться в том же смысле»”.

«Надумали болеть!»

Вспоминает Пешкова:

“Приехали Сталин, Молотов, Ворошилов. Когда они вошли, А.М. уже настолько пришел в себя, что сразу же заговорил о литературе. Говорил о новой французской литературе, о литературе народностей. Начал хвалить наших женщин-писательниц, упомянул Анну Караваяеву – и сколько их, сколько еще таких у нас появится, и всех надо поддержать...”

Сталин беспокоится:

– О деле поговорим, когда поправитесь.

Горький переживает:

– Ведь сколько работы!

Сталин строго шутит:

– Вот видите... а вы... Работы много, а вы надумали болеть, поправляйтесь скорее.

И наконец – последний аккорд:

– А быть может, в доме найдется вино, мы бы выпили за ваше здоровье по стаканчику.

“Принесли вино... Все выпили... Ворошилов поцеловал Ал. М. руку или в плечо. Ал. М. радостно улыбался, с любовью смотрел на них. Быстро ушли. Уходя, в дверях помахали ему руками. Когда они вышли, А.М. сказал: «Какие хорошие ребята! Сколько в них силы...»”

Но насколько можно доверять этим воспоминаниям Пешковой? В 1939 году она *вытравил* свой устный рассказ, записанный летом 1936-го с ее слов сразу после чудесного возвращения Горького к жизни. С тех пор состоялись судебные процессы 1936-го, 1936–1938 годов, на которых была разгромлена сталинская оппозиция, а образ Горького был внедрен в народное сознание в качестве жертвы этой оппозиции и друга вождя.

В 1964 году на вопрос американского журналиста и близкого знакомого Исаака Дон Левина об обстоятельствах смерти Горького Пешкова отвечала уже иначе: “Не спрашивайте меня об этом! Я трое суток заснуть не смогу, если буду с вами говорить об этом”.

Ее можно понять. Можно понять и Будберг, наговорившую свои воспоминания через пять дней после смерти Горького, перед тем как ее выпустили в Лондон. Она не могла не учитывать, что между тем, *что* она скажет, и ее отъездом существует прямая зависимость. Будберг утверждает, что в течение девяти дней жизни после смерти Горький непрерывно думал о “сталинской” Конституции. Ее проект был опубликован как раз в эти дни.

“Очень хотел прочитать Конституцию, ему предлагали прочитать вслух, он не соглашался, хотел прочитать своими глазами. Просил положить газету с текстом Конституции под подушку в надежде прочитать «после». Говорил: «Мы вот тут занимаемся всякими пустяками (болезнью), а там, наверно, камни от радости кричат»”.

Через девять лет Черткова резонно возразит в своих воспоминаниях: “Если бы газета лежала под подушкой, я бы видела...”

Тем не менее в воспоминаниях Будберг проскальзывают и опасные замечания: “Приехавшие (Сталин, Молотов и Ворошилов. – П.Б.) с *деланой бодростью* (курсив мой. – П.Б.) заговорили о текущих делах”. Из ее же воспоминаний следует, что Сталин с товарищами приезжали второй раз в два часа ночи. Но зачем?! Крючков относит этот ночной визит на 10 июня. Но почему ночью? Горький спал. Крючков и Будберг говорят, что Сталина “не пустили”. Воспротивился профессор Кончаловский. Будберг утверждает, что не пустили она и профессор Ланг, а вот доктор Левин (впоследствии расстрелянный) “лебезил и говорил Сталину: «Ну, если вы так хотите, то я попытаюсь»”.

Визит Сталина с членами Политбюро в два часа ночи к смертельно больному Горькому сложно понять нормальному человеку. Хорошо известно пристрастие Сталина к ночным посиделкам с выпивкой и обсуждением важных государственных проблем. Молотов и Ворошилов входили в ближайшее окружение Сталина. Может быть, 10 июня ночью они просто решили изменить маршрут и заехать к Старику? Вино в доме есть. Подали ведь шампанское в прошлый визит, дабы отметить чудесное воскрешение Горького.

Согласно воспоминаниям Крюčkова, третий – и последний – визит Сталина состоялся 12 июня. Горький не спал. Однако врачи, как ни трепетали они перед Сталиным, дали на разговор только десять минут. О чем они говорили? О книге Шторма про крестьянское восстание Болотникова. Затем перешли к “положению французского крестьянства” (воспоминания Будберг). Получается, что 8 июня главной заботой генсека и вернувшегося с того света писателя были женщины-писательницы, а 12-го стали французские крестьяне.

Будберг говорит, что 12 июня Горькому было очень плохо. То же подтверждается и врачебными хрониками: “...значительная общая слабость, спутанность сознания, часто цианоз. <...> Сидит. Время от времени дремлет. <...> Около 1 ч дня вырвало свернутым молоком. <...> Дремлет сидя. Отек нижних конечностей”...

Однако после посещения Сталина, как вспоминает Будберг, Горькому стало гораздо лучше. И доктора это подтверждают: “Сознание ясное. <...> Пульс правильный”.

Создается поразительное впечатление! Приезды Сталина волшебнo оживляют Горького. (Если на минуту забыть об ударных инъекциях камфары.) Горький словно *не смеет* умереть без разрешения Сталина. Это невероятно, но Будберг прямо скажет об этом пять дней спустя после кончины писателя: “Умирал он, в сущности, 8-го и, если бы не посещение Сталина, вряд ли вернулся к жизни. Ощущение смерти было и 12-го”. Именно в тот день Сталин приезжал в последний раз. После его посещения Горький проживет еще пять дней.

Семнадцать врачей круглосуточно бьются за жизнь государственно важного пациента. Но спасает его мудрая беседа со Сталиным. О женщинах-писательницах и французских крестьянах.

“Надумали болеть!”

«Максимушка» и «товарищи»

Были у Вас в два часа ночи. Пульс у Вас, говорят, отличный (82, больше, меньше). Нам запретили эскулапы зайти к Вам. Пришлось подчиниться. Привет от всех нас, большой привет.

И. Сталин

Эскулап в римской мифологии – бог врачевания, соответствует греческому Асклепию. В переносном смысле – это врач. Кстати, Асклепий воскрешал мертвых.

Сталин умел быть ироничным.

Что же все-таки там происходило?

Горький не входил в сталинское окружение. Сталин мог называть (и даже считать) его своим соратником. Он мог называть (и даже считать) его своим другом. Но не частью окружения. Положение Горького в СССР и во всем мире было слишком значительно, чтобы Сталин посмел без необходимости вламываться к нему ночью, прекрасно зная о его физическом состоянии.

Впрочем, Ромен Роллан в “Московском дневнике” с удивлением замечает, как Сталин развязно подшучивает над Горьким во время застолья: “Кто тут секретарь, Горький или Крючков? Есть порядок в этом доме?”

Вячеслав Иванов, лингвист, сын советского писателя Всеволода Иванова, вспоминает (со слов отца), что Горький был возмущен резолюцией Сталина на поэме “Девушка и Смерть”, начертанной осенью 1931 года. Вот ее точный текст: “Эта штука сильнее, чем «Фауст» Гёте (любовь побеждает смерть). 11/ X – 31 г.”.

“Мой отец, говоривший об этом эпизоде с Горьким, утверждал решительно, что Горький был оскорблен. Сталин и Ворошилов были пьяны и валяли дурака...”

Вообще-то валять дурака было нормой в семье Горького. Там ценились острые шутки. Особенно когда появлялся неугомонный Максим. Но Сталин не был членом семьи. Как и Бухарин, который (о чем с не меньшим изумлением пишет Ромен Роллан) “в шутку” “обменивается с Горьким тумаками (но Горький быстро запросил пощады, жалуясь на тяжелую руку Бухарина)”. И дальше: “Уходя, Бухарин целует Горького в лоб. Только что он в шутку обхватил руками его горло и так сжал его, что Горький закричал”.

Горький не был *вполне* человеком партийного круга. Его культурная и нравственная харизма была иной. Поэтому Горький мог свободно общаться с пушкинистом Ю. Г. Оксманом, физиологом И. П. Павловым, художником А. Н. Бенуа, востоковедом С. Ф. Ольденбургом и другими людьми не партийного круга. И Сталин не мог этого не по нимать...

Значит, попытка ночного вторжения была вызвана необходимостью. Сталину это было зачем-то нужно. И 8-го, и 10-го, и 12-го ему был необходим откровенный разговор с Горьким или стальная уверенность, что такой же откровенный разговор не состоится с кем-то другим. Например, с ехавшим из Франции к умиравшему Горькому Луи Арагоном.

Отношение Сталина к воскрешению Горького не вполне понятно. Он смущен и недоволен, что вокруг Горького слишком много людей. Особенно он недоволен присутствием Ягоды. На первый взгляд это кажется нелогичным. Кому же, как не главе НКВД, сторожить последнее дыхание (и последние слова!) государственного человека? И ведь уже не секрет, что у вождя с ним возникли разногласия. Он дружит с противниками Сталина – Рыковым, Бухариным, Каменевым. Григорий Зиновьев обращается к нему за помощью из тюрьмы:

Алексей Максимович!

Искренно прошу Вас, простите мне, что после всего случившегося со мной я вообще осмеливаюсь писать Вам. У меня давно не было с Вами ни личного, ни письменного общения, и мне, по правде говоря, часто казалось, что я лично не пользовался Вашими симпатиями и раньше. Но ведь Вам пишут многие, можно сказать, все. Причины этого понятны. Так разрешите и мне, сейчас одному из несчастнейших людей во всем мире, обратиться к Вам.

Самое страшное, что случилось со мною: на меня легло гнуснейшее и преступнейшее из убийств, совершившихся на земле, – убийство С. М. Кирова, того Кирова, о котором Вы так прекрасно сказали, что “убили простого, ясного, непоколебимо твердого, убили за то, что он был

именно таким хорошим и – страшным для врагов” (цитата из статьи Горького “Литературные забавы”, опубликованной в газете “Правда” 24 января 1935 года. – П.В.). Конечно, раньше мне никогда и в голову не приходило, что я могу оказаться хоть в какой-то степени связанным с таким, по Вашему выражению, “идиотским и подлым преступлением”. А вышло то, что вышло. И пролетарский суд целиком прав в своем приговоре. Сколько бы ни пришлось мне еще жить на свете, при слове “Киров” мое сердце каждый раз должно почувствовать укол иглы, почувствовать проклятие, идущее от всех лучших людей Союза (да и всего мира). <...>

Два дня суда были для меня настоящей казнью. До чего дошло дело, я здесь увидел целиком впервые. Описать мне то, что пережито за эти дни, нет сил. Да для этого нужно и перо другой силы. В душе настоящий ад. Болит каждый нерв. Страшно даже пытаться это описывать. <...>

Вы – великий художник. Вы – знаток человеческой души, Вы – учитель жизни, Вы знаете и хотите знать всё. Вдумайтесь, прошу Вас, на минуточку, что означает мне сидеть сейчас в советской тюрьме. Представьте себе это конкретно. <...>

Помогите, Алексей Максимович, если сочтете возможным! Помогите, и, я думаю, Вам не придется раскаиваться, если поможете.

Живите счастливо, Алексей Максимович, живите побольше – на радость всему тому, что есть хорошего на земле. Того же от всего сердца я желаю Иосифу Виссарионовичу Сталину и его соратникам.

Если позволите, жму Вашу руку.

Г. Зиновьев

Я кончаю это письмо 28 января 1935 г. в ДПЗ, и сегодня же меня, как мне сказано, увозят... Куда – еще не знаю. Самое страшное: книг, которые мне переданы родными, я не получил. Мне их не дают пока. Я полон по этому поводу ужасной тревоги. Помогите! Помогите!

Ни письмо Зиновьева, ни письмо Каменева с такой же просьбой о помощи не были переданы Горькому. Это были гласы вопиющих в пустыне, “увы, не безлюдной”, как любил говорить Горький.

Обратим внимание, что Зиновьев отделяет Горького от непосредственного окружения Сталина. В его глазах Горький – последняя сила, не только не подчиненная Хозяину, но и способная сама повлиять на него. Понятно, что письмо написано эзоповым языком, с недвусмысленными намеками, по каким направлениям вести защиту Зиновьева перед Сталиным, если эта защита состоится. Зиновьев льстил Сталину в расчете на то, что Горький (например, во время дружеского застолья) передаст Хозяину лесть и по доброте душевной замолвит за него словечко.

Но сравним это с посланием бежавшего после революции из Петрограда в Сергиев Посад писателя-философа В. В. Розанова. Розанов погибал с семьей от голода и холода и в конце 1917-го обратился за помощью к Горькому:

“Максимушка, спаси меня от последнего отчаяния. Квартира не топлена, и дров нету; дочки смотрят на последний кусочек сахара около холодного самовара; жена лежит полупарализованная и смотрит тускло на меня. Испуганные детские глаза... и я, глупый... Максимушка, родной, как быть? <...> Максимушка, я хватаюсь за твои руки. Ты знаешь, что значит хвататься за руки? Я не понимаю ни как жить, ни как быть. Гибну, гибну, гибну...”

Жертвы и палачи на краю могилы – как они похожи друг на друга! Как новорожденные дети, которых только матери способны различить. И как это разительно противоречило горь-

ковской мечте о гордом Человеке! Вот они, “человеки”, умоляют “Максимушку”, который еще чем-то может помочь. А чем он может им помочь? Он сам бессилён.

Впрочем, в 1918 году он помог Розанову. Передал через М. О. Гершензона четыре тысячи рублей, позволившие семье философа выжить лютой подмосковной зимой 1917–1918 годов.

Но могло ли спасти Зиновьева заступничество Горького, если бы таковое состоялось? Нет. Обречен был не только Зиновьев. Обречен был сам Горький. Слишком запутался. И даже если бы не грипп, не пекло, не майский ветер... И не смерть сына Максима...

«Погубили, плохо»

Председательствующий. Подсудимый Крючков, поскольку вы подтвердили уже свои показания, данные на предварительном следствии, расскажите вкратце о ваших преступлениях.

Крючкова обвиняли в том, что он вместе с доктором Левиным по заданию Ягоды “вредительскими методами лечения” умертвил сына Горького Максима Пешкова. Но зачем? Если следовать показаниям других подсудимых, политический расчет был у “заказчиков” – Бухарина, Рыкова, Зиновьева и других “оппозиционеров”. Они таким иезуитским способом хотели ускорить смерть самого Горького, выполняя задание Троцкого. У Крючкова, если верить его признаниям (а верить им практически нельзя), были “экономические” задачи. Убивая Максима, он якобы надеялся стать собственником огромного творческого наследия писателя. Но каким образом? Для этого Крючкову следовало устранить еще и жену Горького, его невестку, и внучек. Этого законного вопроса А. Я. Вышинский подсудимому не задал.

Крючков. Он (Ягода. – П.Б.) тогда говорил мне так: дело тут не в Максиме Пешкове – необходимо уменьшить активность Горького, которая мешает “большим людям” – Рыкову, Бухарину, Каменеву, Зиновьеву. Разговор происходил в кабинете Ягоды. Он мне говорил также о контрреволюционном перевороте. Насколько я помню его слова, он говорил о том, что в СССР скоро будет новая власть, которая вполне будет отвечать моим политическим настроениям. Активность Горького стоит на пути государственного переворота, эту активность нужно уменьшить. “Вы знаете, как Алексей Максимович любит своего сына Максима. Из этой любви он черпает большие силы”, – сказал он.

Налицо был самоговор. Крючков говорил как по писаному. Причем писанному плохим литератором. Нестыковка была в том, что Горький как раз относился к породе людей, которых удары судьбы не ослабляли, а закаляли. Мобилизовали волю. Кто-кто, но уж Крючков, работавший с Горьким с давних пор, не мог этого не знать.

Горький не был обычным человеком. У него было особое отношение к жизни и смерти. В том числе – к жизни и смерти близких людей. Даже такие удары, как смерть собственных детей, он переносил (внешне) со странным хладнокровием.

Когда в Нижнем Новгороде умирала от менингита дочь Горького Катя, писатель находился в Америке. Выступал, встречался с Марком Твенем, давал интервью газетам, собирал деньги для московского восстания и писал “Мать”.

Вдруг 17 августа 1906 года приходит телеграмма от Е. П. Пешковой. Положение Горького было вдвойне мучительным. Известие о смерти пятилетней Катюши пришло не просто от безутешной матери. Ведь Горький бросил Пешкову ради актрисы Московского Художественного театра М. Ф. Андреевой. Она и была с ним в американской поездке как гражданская жена. Всякий мужчина растерялся бы в этой ситуации. Только не Горький...

“Я прошу тебя – следи за сыном, – пишет он Пешковой. – Прошу не только как отец, но – как человек. В повести, которую я теперь пишу, – «Мать» – героиня ее, вдова и мать рабочего-революционера <...> говорит:

– В мире идут дети... к новому солнцу, идут дети к новой жизни... Дети наши, обрекшие себя на страдание за все люди, идут в мире – не оставляйте их, не бросайте кровь свою вне заботы”.

Но ведь это Горький “бросил кровь свою вне заботы”. И потом – за что была обречена на страдание пятилетняя девочка? “*За все люди*”?

Горький мог расплакаться над литературным произведением, о чем с иронией писал Маяковский, вспомнив в автобиографии, что Горький разрыдался у него на плече после прочтения поэмы “Облако в штанах”.

Но вот конец одного из самых пронзительных рассказов Горького – “Страсти-мордасти”. В рассказе говорится о несчастном обезноженном мальчике и его матери, проститутке, больной сифилисом. Покидая их подвал, автор от имени своего героя говорит: “Я быстро пошел со двора, скрипя зубами, чтобы не зареветь”.

Но почему бы не зареветь?

Рассказ автобиографичен. Эту семью Алексей Пешков встретил, когда ему был двадцать один год и он разносил в Нижнем Новгороде “баварский квас”. Очень может быть, что в реальности он и заплакал, слушая страшенькую колыбельную проститутки:

Придут Страсти-Мордасти,
Приведут с собой Напасти;
Приведут они Напасти,
Изорвут сердце на части!
Ой беда, ой беда!
Куда спрячемся, куда?

Сердце автора разрывается на части. Он скрипит зубами, сдерживая рыдания. Но важно, что слезы *нужно* сдерживать! Нельзя ослаблять волю, давая свободу слезам над обреченными людьми. Тем более – умершими. Даже если это твои дети.

22 мая 1934 года, через одиннадцать дней после смерти Максима, Горький пишет Сталину:

Дорогой Иосиф Виссарионович!

Согласно разрешению Вашему посылаю Вам письма изобретателей Пospelова и Львова. Пospelов утверждает, что устрашающий шум – треск пулеметов, крики ура, топот конницы и т. д. – можно перенести в тыл позиции врага и этим смутить его. Сын мой видел электросварочный аппарат Львова в работе и говорил мне, что работает аппарат безукоризненно – с техникой электросварки Максим был неплохо знаком, изучая ее в Италии. Львов – конструктор аэроплана “Сталь-2”, имеет орден Ленина. Болен: туберкулез и ревматизм, нужно бы усилить и улучшить его питание. Я очень прошу Вас предложить Сергею Орджоникидзе вызвать Львова к себе и немножко приласкать его, позаботиться о нем, он человек высокой ценности. Будьте здоровы.

А. Д. Сперанский вспоминал: “В семье Горького мне пришлось уже пережить одно тяжелое событие. Два года назад умер его сын – Максим Алексеевич Пешков, человек большого своеобаяния, талантливая, искренняя, несколько отвлеченная натура, преданная делу своего отца, оставивший многие из подлинно своих начинаний, чтобы служить ему. Болезнь сразу

приняла катастрофический характер. В последний день Алексей Максимович не ложился спать. Долго, до поздней ночи, сидел в столовой и вел беседу на посторонние темы – о войне, о фашизме, но главным образом о ходе работ института <ВИЭМ>. Временами мне было трудно говорить, так как я знал, какая трагедия готовилась наверху. Однако Горький сидел, лицо его было полно внимания, реплики к месту, и только нервное постукивание пальцев лежащей на скатерти руки могло вызвать подозрение о том, что у него делается внутри. Когда через два часа после смерти сына к нему со словами сочувствия пришли старшие товарищи, он сделал усилие и перевел разговор на рельсы посторонних вопросов, сказав: «Это уже не тема». Так же Алексей Максимович умер и сам. Просто, как если бы исполнял настоящую обязанность».

В воспоминаниях Сперанского (кстати, опубликованных в «Известиях» 24 июня 1936 года, до суда над «убийцами» Горького и Максима) бросается в глаза фраза: «Мне было трудно говорить, так как я знал, какая трагедия готовилась наверху (курсив мой. – П.Б.)». Сперанский намекает на врачебную ошибку Левина и Плетнева, лечащих докторов Горького. Именно они находились с Максимом, пока Горький со Сперанским скрепя сердце обсуждали проблемы долголетия, а может быть, и бессмертия человека. Но почему Сперанский не спешил наверх, где умирал Максим?

Крючков. Когда Максим Пешков узнал, что он болен крупозным воспалением легких, он попросил – нельзя ли вызвать Алексея Дмитриевича Сперанского, который часто бывал в доме Горького. Алексей Дмитриевич Сперанский не был лечащим врачом, но Алексей Максимович его очень любил и ценил как крупного научного работника. Я сообщил об этом Левину. Левин на это сказал: ни в коем случае не вызывать Сперанского. <...> Консилиум, который был созван по настоянию Алексея Максимовича Горького, поставил вопрос о применении блокады по методу Сперанского, но доктора Виноградов, Левин и Плетнев категорически возражали и говорили, что надо подождать еще немного. В ночь на 11-е число, когда Максим уже фактически умирал и у него появилась синюха, решили применить блокаду по методу Сперанского, но сам Сперанский сказал, что уже поздно и не имеет смысла этого делать.

Таким образом, всё более или менее становится на свои места. Оскорбленный недоверием к своему методу Сперанский и сочувствующий ему, но не желающий возражать Левину и Плетневу Горький, понимая, что «дело кончено» и Максим обречен, ведут беседу о том, что важнее смерти сына. О жизни и долголетию человека. Когда «старшие товарищи» (так не без иронии называет Сперанский врачей: Левин старше его на восемнадцать лет, Плетнев – на шестнадцать) приходят выразить свое сочувствие, Сперанскому остается развести руками. А Горькому с хладнокровием сказать: «Это уже не тема».

Но это еще не доказывает убийства Максима.

Правда, переплетенная с вымыслом, хороша в литературном произведении. Метод художественного преобразования действительности был излюбленным методом Горького. В 1938 году на «бухаринском» процессе этот метод применили на живых людях. Их принудили стать творцами собственных мифологизированных биографий – убийц, шпионов и заговорщиков. Причем творцами публичными, живописующими свои злодеяния прилюдно.

Все, что мешало, судом не принималось в расчет. Сперанский, который был бесценным свидетелем, даже не был допрошен судом. Зачем? Левин и Крючков и так всё на себя взяли.

Это был суд, основанный только на признаниях самих подсудимых. А уж как они были получены... На самом деле гибель Максима, наоборот, могла только помешать «заговорщикам», возбудив в Горьком ненависть к врагам и крепче привязав к Сталину.

Отчасти так и произошло.

Именно Сталину пишет письмо Горький, едва похоронив сына. И в этом письме делает покойного Максима помощником в их со Сталиным общем деле – развитии оборонной мощи СССР. Конечно, Сталин не может отказать отцу, который привлекает в качестве эксперта только что погибшего сына. На автографе письма стоит сталинская резолюция: “Сделано. В мой арх<ив>. И. Ст<алин>”. Подчеркнуто рукой вождя. Писем изобретателей Львова и Поспелова в архиве нет. Стало быть, не легли под сукно, а были переданы кому надо.

Тем не менее есть несколько свидетельств, как тяжело переносил Горький потерю Максима. Его крымский шофер, сотрудник Главного управления НКВД Крыма Г. А. Пеширов (кстати, приглашенный на работу Максимом, который лично устраивал жизнь отца в Тессели) в своих воспоминаниях рассказывает: “Похоронив сына, А.М. вернулся в Крым, на дачу в Тессели. Работал так же, как раньше, так же вставал в определенный час, завтракал и шел в свой рабочий кабинет и работал до обеда. После обеда выходил в парк, но уже не работал, а только руководил нами (обитатели дачи, включая самого Горького, расчищали дорожку к морю от колючего кустарника. – П.Б.), а сам, опираясь на палку, ходил от костра к костру и своей палкой поправлял горящие ветки. Всем было ясно, что А.М. потерю любимого сына сильно переживает, и боялись, как бы он не слег”.

В таких же мрачных тонах описывает состояние Горького и комендант дома на Малой Никитской И. М. Кошенков. Судя по записи в дневнике от 28 мая 1934 года, Кошенков все-таки подозревал Ягоду и Крючкова в убийстве Максима. В дневнике рассказывается о том, как после смерти Максима Горький выходит в сад и подходит к бассейну, куда недавно пустили мальков окуня.

“– Где же рыба – мальки?”

Я объяснил, что всё погибло.

– Погубили, плохо. – С этими словами он ушел в столовую пить кофе”.

Впрочем, Кошенков объясняет причину гибели мальков: рыба ушла в канализационную трубу, потому что кто-то сдвинул загораживающую сеть.

Потерянность Горького видна из таких деталей, как дважды повторенные слова “посылаю Вам” в оригинале цитированного письма к Сталину, а также в ошибке в подписи под другим письмом к вождю: “М. Пешков”. Свои письма к Сталину он подписывал либо “А. Пешков”, либо “М. Горький”, но в данном случае произошло наложение подписей друг на друга. Но какое символическое! “М. Пешков” (Максим Пешков) как бы пишет Сталину рукой отца через тринадцать дней после своей смерти.

И все-таки – убили Максима или нет? Ответить на этот вопрос однозначно невозможно. И едва ли когда-нибудь станет возможно. Есть загадки истории, которые обречены быть вечными тайнами.

“В том, что Макса убили, сомневаться не приходится”, – пишет Вячеслав Иванов. Эта его мнение происходит от уверенности его родителей, которые были близки к Горькому и тем людям, которые его контролировали. Так, Вячеслав Иванов откровенно пишет о близком знакомстве отца с самим Сталиным, Дзержинским и Ягодой.

Для устранения Максима, полагает Вячеслав Иванов, у Сталина были как личные, так и политические мотивы. Максим имел независимый характер и не желал считаться с тем, что отец является фигурой государственного значения. Сам тесно связанный с органами со времен работы в ЧК, Максим Пешков пытался в обход Сталина и Ягоды обустроить и регулировать жизнь в семье. Например, он запретил комендантам в Горках и особняка в Москве носить при себе личное оружие. “Мы частная семья”, – говорил он.

В то же время Максим раздражал Сталина своей бесшабашностью. Однажды он, страстный автогонщик, обогнал на шоссе машину Сталина. Горький знал, что делать этого категорически нельзя, и сразу поехал к Сталину с извинениями.

Но главная причина, считает Вячеслав Иванов, была политическая. Максим мешал Сталину контролировать отца через Крючкова. Кроме того, Иванов выдвигает любопытную гипотезу, что Максим, как и отец, был сам причастен к антисталинской оппозиции и даже ездил весной 1934 года в Ленинград с поручением к С. М. Кирову. Это произошло во время напряженной внутрипартийной борьбы на XVII съезде партии. Вскоре Киров был убит террористом Николаевым прямо в Смольном при загадочных обстоятельствах.

“В день убийства Кирова, – пишет Вячеслав Иванов, – Горький был на даче в Тессели. Утром он вышел в столовую, где была одна В. М. Ходасевич (художница, племянница поэта Владислава Ходасевича, в семье Горького ее звали Купчихой. – П.Б.). Было еще темно. Шторы были задернуты. Горький подвел Валентину Михайловну к окну, отодвинул занавеску и показал ей на чекистов, окруживших дачу сплошным кольцом и сидевших под каждым кустом в саду. Горький сказал ей, что они не охраняют его, а стерегут”.

Максим вполне мог оказаться жертвой политических интриг. Если так, то признания Крючкова на суде были полуправдой. Еще Крючков признался, что по заданию Ягоды спаивал Максима.

Но о пристрастии Максима к алкоголю можно судить по многим свидетельствам. Например, покинув осенью 1921 года Россию и приехав в Берлин, Горький пишет Е. П. Пешковой: “Многоуважаемая мамаша! Приехав, после различных приключений на суше и на воде, в немецкий городок Берлин, густо населенный разнообразными представителями русского народа, я увидел на вокзале самое интересное для Вас существо – Вашего собственноручного сына. Мы с ним поздоровались обоюдно почтительно и радостно, а затем поехали на автомобиле пить различные алкоголические жидкости в улицу, которая называется Фридрихсдамменштрассе – по-русски: Фридриховых дам”.

За иронией, с которой Горький пишет о многочисленной русской эмиграции в Берлине, легко не заметить важные слова, которых явно ждала от него Пешкова. Вот они: “В опровержение тех совершенно точных сведений, которые ты получила от справедливых людей, доподлинно знающих всяческие интимности о жизни ближних своих, свидетельствую: М. А. Пешков в употреблении спиртуозных напитков очень скромн и даже более чем скромн. Это наблюдение мое клятвенно подтверждают люди, живущие с Максимом под одной крышей и тоже очень трезвого поведения. Полагая, что юноша не совсем здоров, потому и не спиртоспособен, я тщательно исследовал состояние его души и тела”.

Если опустить иронию, то обнаружится истинный смысл письма. Горький отвечает на тревожный вопрос обеспокоенной Пешковой, до которой уже дошли слухи о пьянстве Максима за границей.

Проблема эта существовала.

У Горького такой проблемы не было. Ромен Роллан описывает пир, который устроили для него на даче Горького: “Стол ломится от яств: тут и холодные закуски, и всякого рода окорока, и рыба – соленая, копченая, заливная. Блюдо стерляди с креветками. Рябчики в сметане – и всё в таком духе. Они много пьют. Тон задает Горький. Он опрокидывает рюмку за рюмкой водки и расплачивается за это сильным приступом кашля, который заставляет его подняться из-за стола и выйти на несколько минут. Ни у кого из присутствующих – даже у Крючкова, любящего его и присматривающего за ним, – не хватает смелости помешать ему нарушать запреты врача”.

Напомним, что Горькому остается год до смерти. Но его “пьянство” никого не волнует. “Я должен добавить, – продолжает Ромен Роллан, – что в обычное время Горький всегда трезв и ест на удивление мало, даже слишком, но доктора Левина это не беспокоит: у Горького вне сомнений конституция человека, лучше приспособляющегося к недостатку, чем к избытку”.

С Максимом было сложнее... В воспоминаниях о Леониде Андрееве Горький приводит слова Андреева: “Ты пьешь много, а не пьянеешь, от этого дети твои будут алкоголиками. Мой отец тоже много пил и не пьянел, а я алкоголик...”

Невозможно было придумать лучшего способа убить Максима, чем напоить и оставить спать на холодном воздухе, зная о его слабости к алкоголю и наследственно уязвимых для пневмонии легких. Но если Сталин и “заказал” Максима, то через Ягоду. Преданный Горькому секретарь Крючков мог выступать только запуганным исполнителем. Таким образом, все могло происходить именно так, как рассказывал Крючков на суде. За исключением одной-единственной детали. Максим мешал не “большим людям” Рыкову, Бухарину, Зиновьеву и другим. Он мешал самому большому человеку в СССР – Сталину.

При этом, как показывают недавно обнаруженные факты (“Генрих Ягода. Нарком внутренних дел СССР, Генеральный комиссар государственной безопасности”. Казань, 1997), именно Генрих Ягода был одной из главных фигур оппозиции, а вовсе не исполнителем чужой воли. Об этом намекает и Вячеслав Иванов в статье “Почему Сталин убил Горького?»: “Горький в этом смысле был в уникальном положении. Он был в близких отношениях с Ягодой и в то же время связан давними политическими разговорами с «Ивановичами» (Николай Иванович Бухарин и Алексей Иванович Рыков. – П.Б.). Если тот союз Ягоды с правыми, о котором шла речь на подложном процессе, и мог существовать, то только при посредничестве Горького, о чем на процессе, где Ягоду винули в его убийстве, говорить было нельзя”.

Помощник Ягоды П. П. Буланов на закрытом допросе 25 апреля 1937 года (материалы допроса не были оглашены в суде, и это как раз свидетельствует в пользу их истинности) рассказал, что Ягода, в случае победы оппозиции, видел себя в кресле премьер-министра: “Ягода до того был уверен в успехе переворота, что намечал даже будущее правительство. Так, о себе он говорил, что он станет во главе Совета народных комиссаров, что народным комиссаром внутренних дел он назначит Прокофьева, на наркомпуть он намечал Благоднарова. Он говорил также, что у него есть кандидатура и на наркома обороны, но фамилию не назвал, на пост народного комиссара по иностранным делам он имел в виду Карахана. Секретарем ЦК, говорил он, будет Рыков. Бухарину он отводил роль секретаря ЦК, руководителя агитации и пропаганды. <...> Бухарин, говорил он, будет у меня не хуже Геббельса”.

Таким образом, обстоятельства вероятного убийства Максима стягиваются в гордиев узел. В смерти сына Горького одновременно заинтересованы и не заинтересованы все возможные участники дела.

Самая слабая фигура – Крючков. Он – крайний. Преданность его Горькому не вызывает сомнений. Доброе отношение к нему Горького – тоже. Вот письма к нему Горького, написанные в разные годы:

31 октября 1924 г. Сорренто Теперь, по тону письма вижу, что Вы на “посту” (в советском торгпредстве в Германии. – П.Б.) и что роль “Дизеля” продолжает увлекать Вас. О голове, превратившейся в самопишущую машинку, Вы написали хорошо. Не хочу говорить Вам комплименты – уже говорил, и очень искренне говорил, а все-таки скажу: настоящую человеческую жизнь строят только художники, люди, влюбленные в свое дело, люди эти – редки, но встречаются всюду, среди кузнецов и ученых, среди купцов и столяров. Вот Вы один из таких художников и влюбленных. Да.

Крепко жму руку, дорогой друг мой.

4 февраля 1927 г. Сорренто ...Когда я буду богат, я поставлю Вам огромный бронзовый монумент на самой большой площади самого большого города. Это за то, что спасли мне мои книги. Кроме шуток, горячо благодарю Вас.

На плечах Крючкова – невыносимый груз. Он и секретарь, и охранник, и нянька Горького. Именно он ограничивает доступ к Горькому. Особенно настырных писателей, которые ненавидят его за это. Он кладет на стол Горького не все письма. Если бы он отдавал все, Горький

читал бы их с утра до ночи. И еще надо было следить, чтобы Горький меньше курил и излишествовал. В то же время он обязан быть информатором Ягоды и Сталина. Шутки и угрозы Хозяина (“Кто здесь секретарь? Горький или Крючков?”; “Кто за это отвечает?”; “Вы знаете, что мы можем с вами сделать?”) крутятся в его голове постоянно.

Чуткий к психологическим деталям Ромен Роллан хорошо понял жизненную драму Крючкова. В “Московском дневнике” он отмечает, что Крючков искренне любил Горького и понимал безнадежность своего положения.

Вот в Горки приезжают девяносто (!) писателей Москвы. Список огромен. Но он был бы еще больше, если бы Крючков с Ягодой не сократили его. Отлученные от высокой встречи ненавидят Крючкова. И пишут на него доносы. Не на Ягоду же.

“Оберегая больного А. М. Горького от натиска посетителей, – считает дочь Крючкова А. П. Погожева, – его секретарь стоял между ним и армией молодых, напористых советских писателей и разнообразных просителей. Он играл роль «фильтра», принимал «удар» на себя и ясно осознавал, какую массу врагов он наживает. «Мне это отойдет...» – говорил он обреченно. В самом деле, и по сей день авторы статей о последних годах жизни Горького называют Крючкова «тайным агентом НКВД» и либо намекают, либо прямо говорят о его участии в убийстве Горького и сына Максима. Но на каком основании? Какие на этот счет имеются документы? Пока в архиве КГБ – ФСБ ни личного дела, ни удостоверения «агента» Крючкова никто не видел. Зато историк Шенталинский обнаружил следы «дела Крючкова», которые говорят о том, что за ним, как за Горьким, шла слежка”.

“Личность, несомненно, загадочная, – пишет о Крючкове исследователь этой темы Л. Н. Смирнова, – но не потому, что загадочность была свойством его природы, а потому, что, будучи приговоренным на процессе 1938 года к расстрелу, он был приговорен также к полному забвению. На протяжении нескольких десятилетий традиционное советское горьковедение не упоминало его имени рядом с именем Горького, – о нем даже нет сведений в четырехтомной «Летописи жизни и творчества А. М. Горького», вышедшей в 1958–1960 годах. Он был вычеркнут из жизни”.

О Крючкове вспомнили только в конце восьмидесятых годов, когда его посмертно реабилитировали. То есть де-юре признали его невиновность во всем, что ему инкриминировалось на процессе. Но как вспомнили? “Странное дело, но именно после полной реабилитации моего отца полился поток грязи в его адрес, – пишет А. П. Погожева. – <...> На вопрос: какими документами располагают эти авторы? – они ссылаются друг на друга и пугаются, услышав, что не всех Крючковых перебили и есть еще живые родственники, которые вправе подать в суд за клевету на невинно расстрелянного”.

В связи с “делом Горького” пострадал не один Крючков, но и его близкие. Смирнова приводит жуткий мартиролог семьи Крючковых. “12 марта 1938 года расстрелян П. П. Крючков (отец секретаря Горького), всю жизнь верой и правдой служивший своему Отечеству. В 1956 году он посмертно реабилитирован за отсутствием состава преступления. 15 марта 1938 года расстрелян Петр Петрович Крючков (секретарь Горького). В 1988 году он посмертно реабилитирован за отсутствием состава преступления. 17 сентября 1938 года расстреляна Крючкова Елизавета Захаровна, жена Петра Петровича. В 1956 году она посмертно реабилитирована за отсутствием состава преступления. После всех этих расстрелов в сумасшедшем доме умерла родная сестра Петра Петровича, Маргарита Петровна”.

Даже если Крючков был виновен в гибели Максима, это был запуганный исполнитель чужой воли. Или нескольких волей. В каких бы разногласиях ни находился он с Максимом, смерть Горького никак не могла быть ему выгодной. В качестве секретаря Петр Крючков был фигурой влиятельной. После смерти Горького он превратился в обычного чиновника.

И его вскоре расстреляли...

Версий о том, с кем именно пил Максим 2 мая 1934 года и кто именно “забыл” его в парке, существует несколько. В тот день в Горках было много народу в связи с праздником. И пили с Максимом и Горьким все.

На процессе Крючков заявил, что он напоил Макса и оставил спать на открытом воздухе. Но в воспоминаниях близкой к семье Горького Алмы Кусургашевой есть другая версия этой истории.

“Максим прожил на этой земле всего тридцать шесть лет. Он умер от крупозного воспаления легких 11 мая 1934 года. Смерть его была окутана тайной, которая стала почти непроницаемой после правотроцкистского процесса. Я знаю, что обвинение в смерти Максима было предъявлено Крючкову и доктору Левину. Меня уже тогда поразила нелепость этого обвинения. На протяжении всех восьми лет моего знакомства с этой семьей я видела только теплые дружеские отношения этих людей. В те злополучные майские дни меня в Горках не было, но несколько лет спустя я узнала правду от сестры Павла Федоровича Юдина (секретарь Оргкомитета Союза советских писателей. – П.Б.) – Любови Федоровны Юдиной, с которой я дружила.

В майский праздник 1934 года на даче у Горького в Горках собралось, как всегда, много гостей... Юдин и Максим, прихватив бутылку коньяка, пошли к Москве-реке. Дом стоял на высоком берегу, для спуска к реке была построена длинная лестница, а перед лестницей симпатичный павильон – беседка. Зайдя в беседку, они выпили коньяк и, спустившись к реке, легли на берегу и заснули. Спали на земле, с которой только что сошел снег. Юдин-то был закаленный, он «моржевал», купался в проруби, что вызывало интерес и восхищение. Максим же, прожив довольно долгое время в теплой Италии, закаленным не был. Да и вообще он не обладал крепким здоровьем. Юдин, проснувшись раньше, не стал будить Максима и пошел наверх, к гостям.

В это время из Москвы приехал П. П. Крючков, задержавшийся в городе по делам. Он встретил поднимавшегося по лестнице Юдина и спросил: «А где Макс?» Юдин ответил, что он спит на берегу. Узнав об этом, Крючков быстро сбежал по лестнице к реке. Он разбудил Макса и привел его домой. К вечеру у того поднялась высокая температура, и через несколько дней он скончался от крупозного воспаления легких. Врачи делали все, что было возможно, но спасти его не удалось. Ведь тогда не было пеницилина...”

По этой версии, Крючков не только не убивал, но пытался спасти Максима. И если это правда, самооговор на суде был для него вдвойне мучительным.

Едва ли когда-то документально будет доказана или опровергнута версия убийства сына Горького. Документов такого сорта история предпочитает не оставлять, вынуждая нас довольствоваться слухами и собственными симпатиями и антипатиями к героям прошлого. Но мы можем точно ответить на вопрос: кто был главной причиной этих трагических событий?

Горький!

Официальная дата смерти Горького – 18 июня 1936 года. Но уже 8 июня писатель находился в состоянии, очень близком к смерти. Девять дней его *полубытия*, не считая последней ночи, когда он был без сознания, за доступ к его телу и за его последнее слово бились различные силы. Но душа “застегнутого на все пуговицы” Горького была вне их досягаемости. О чем он думал? Что вспоминал? Ведь считается, что в памяти умирающего человека проносится вся его жизнь...

День первый Проклятие рода Кашириных

– Что, ведьма, народила зверья?!
– Нет, не любишь ты его, не жаль тебе сироту!
– Я сама на всю жизнь сирота!

Горький. Детство

«А был ли мальчик?»

Метрическая запись в книге церкви Варвары Великомученицы, что стояла на Дворянской улице Нижнего Новгорода:

Рожден 1868 г. Марта 16, а крещен 22 чисел, Алексей; родители его: Пермской губернии мешанин Максим Савватиевич Пешков и законная его жена Варвара Васильевна, оба православные. Таинство святого крещения совершал священник Александр Раев с диаконом Дмитрием Ремезовым, дьячком Феодором Селицким и пономарем Михаилом Вознесенским.

Странная это была семья... И крестные у Алеши были странные. “Нижегородской губернии г. Арзамаса сын кандидата Михаил Григорьев Иванов и нижегородская мещанка Наталья Ивановна Бобкова”. Ни с кем из них Алеша не имел никакой связи в дальнейшем. А ведь если верить повести “Детство”, и дедушка его, Василий Васильевич Каширин, и бабушка, Акулина Ивановна, с которыми ему пришлось жить до отрочества, были людьми очень религиозными.

Станным был и отец его, Максим Савватиевич Пешков. (Именно Пешков: сам Горький в повести “Детство” ставит ударение на последнем слоге.) И дед по отцу – Савватий, человек столь крутого “ндрава”, что в строгую эпоху Николая I из солдат дослужился до офицера, но был разжалован и сослан в Сибирь “за жестокое обращение с нижними чинами”. К сыну своему он относился так же, и тот не раз убежал из дома. Однажды отец травил его в лесу собаками, как зайца, другой раз истязал так, что соседи отняли мальчика.

Кончилось тем, что Максима взял к себе на воспитание крестный, пермский столяр, и обучил своему ремеслу. Но то ли и там мальчишке жилось несладко, то ли бродяжничество больше нравилось ему, а только убежал он и от крестного, водил слепых по ярмаркам и, придя в Нижний Новгород, стал работать столяром в парходстве Колчина. Был это красивый, веселый и добрый парень, чем и влюбил в себя красавицу Варвару.

Максим Пешков и Варвара Каширина обвенчались с согласия (и с помощью) одной матери невесты, Акулины Ивановны, но без согласия Василия Васильевича. Как говорили тогда в народе, женились “самокруткой”. Василий Каширин был в ярости! “Детей” он не проклял, но и жить к себе до рождения внука не пускал. Только перед родами Варвары пустил их во флигель своего дома. Примирился с судьбой...

Однако именно с этого момента судьба начинает преследовать род Кашириных. Как будто появление мальчика знаменовало собой проклятие для этой семьи. Но как часто бывает в таких случаях, поначалу судьба улыбнулась им последней закатной улыбкой. Последней радостью.

Максим Пешков оказался не только талантливым мастером-обойщиком, но и натурой артистической, что было обязательным для краснодеревца. Краснодеревцы, в отличие от бело-деревцев, изготавливали мебель из ценных пород древесины, производя отделку бронзой, черепахой, перламутром, пластинами поделочных пород камня, лакировку и полировку с тонированием.

Максим Пешков отошел от бродяжничества, крепко осел в Нижнем и стал там уважаемым человеком. Перед тем как пароходство Колчина назначило его конторщиком и отправило в Астрахань, где ждали прибытия Александра II и сооружали к этому событию триумфальную арку, Максим успел побывать присяжным в нижегородском суде. Да и в конторщики нечестного человека не поставили бы.

В Астрахани судьба и настигла Максима и Варвару Пешковых, а с ними весь каширинский род. В июле 1871 года (по некоторым данным, в 1872 году) маленький Алеша заболел холерой и заразил ею отца. Мальчик выздоровел, но отец, возившийся с ним, умер, не дождав-шись рождения второго сына, названного в его честь Максимом. Максима-старшего похоро-нили в Астрахани. Младший Максим умер по дороге в Нижний, на пароходе, и остался лежать в саратовской земле... По прибытии Варвары домой ее братья переругались из-за приданого сестры, на которое после смерти мужа она могла претендовать. Дед Каширин был вынужден разделить с сыновьями. Так зачахло дело Кашириных.

Единственным положительным итогом этой внезапной череды несчастий было то, что через некоторое время русская и мировая литература обогатилась новым именем. Но для Алеши Пешкова приход в Божий мир был связан прежде всего с тяжелейшей душевной трав-мой, вскоре перешедшей в религиозную трагедию. Так началась жизнь Горького.

Сохранилось несколько документов, связанных с рождением Алексея Пешкова. Они были опубликованы в книге «Горький и его время», написанной замечательным человеком Ильей Александровичем Груздевым, прозаиком, критиком, историком литературы, членом литературной группы «Серапионовы братья», куда входили М. М. Зощенко, Вс. В. Иванов, В. А. Каверин, Л. Н. Лунц, К. А. Федин, Н. Н. Никитин, Е. Г. Полонская, М. Л. Слонимский. Последний в двадцатые годы решил стать биографом Горького, из Сорренто всячески опе-кавшего «серапионов». Но потом Слонимский передумал и передал «дело» Груздеву. Груздев выполнил его с добросовестностью умного и порядочного ученого.

Груздевым и энтузиастами-краеведами были разысканы документы, которые могут счи-таться научно обоснованными данными о происхождении и детстве Горького. В остальном биографы вынуждены довольствоваться горьковскими воспоминаниями. Они изложены в нескольких скупых, написанных в ранние годы литературной карьеры автобиографических справках, в письмах Груздеву двадцатых-тридцатых годов (по его вежливым, но настойчивым запросам, на которые Горький отвечал хотя и ворчливоиронически, но подробно), а также в главной «автобиографии» Горького – повести «Детство». Некоторые сведения о детстве Горь-кого можно выудить из рассказов и повестей писателя, в том числе позднего периода его жизни. Но насколько это достоверно?

Происхождение Горького и его родственников, их социальное положение в разные годы жизни, обстоятельства рождения и смерти подтверждаются некоторыми метрическими запи-сями, «ревисскими сказками», документами казенных палат и другими бумагами. Однако неслучайно Груздев поместил эти бумаги в конец своей книги, в приложение. Как будто немножко спрятал.

В приложении тактичный биограф невзначай проговаривается: да, некоторые из доку-ментов «отличаются от материалов «Детства»». «Детство» Горького и детство Пешкова не одно и то же.

Повесть «Детство» написана в эмиграции. После поражения первой русской революции (1905–1907), в которой Горький принимал активное участие, он вынужден был уехать за гра-ницу, так как в России считался политическим преступником. Даже после амнистии, объяв-ленной императором в 1913 году в связи с трехсотлетием дома Романовых, вернувшийся в Россию Горький был подвергнут следствию и суду за повесть «Мать». А в 1912–1913 годах повесть «Детство» писал на итальянском острове Капри русский политический эмигрант.

“Вспоминая свинцовые мерзости дикой русской жизни, – пишет Горький в «Детстве», – я минутами спрашиваю себя: да стоит ли говорить об этом? И, с обновленной уверенностью, отвечаю себе – стоит; ибо – это живучая, подлая правда, она не издохла и по сей день. Это та правда, которую необходимо знать до корня, чтобы с корнем же и выдрать ее из памяти, из души человека, из всей жизни нашей, тяжелой и позорной”.

Это не детский взгляд.

“И есть другая, более положительная причина, понуждающая меня рисовать эти мерзости. Хотя они и противны, хотя и давят нас, до смерти расплющивая множество прекрасных душ, – русский человек все-таки настолько еще здоров и молод душой, что преодолевает и преодолеет их”.

Это тоже слова и мысли не Алексея, сироты, “божьего человека”, а писателя и революционера Максима Горького, который одновременно раздражен результатами революции, винит в этом “рабскую” природу русского человека, но и надеется на молодость нации и верит в ее будущее.

«Без церковного пенья, без ладана...»

Чтение повестей “Детство” и “В людях” – дело трудное, но увлекательное. В этих повестях заключен шифр ко всей биографии Горького.

Если воспринимать эти повести с некоторой степенью уважительного, но все же скептицизма и не относиться к ним как к реальным автобиографиям, то открываются вещи удивительные и... странные. Несомненно, что сам Горький, когда писал “Детство” и “В людях”, именно с уважительным недоверием смотрел на личность Алексея Пешкова и не всегда отождествлял его с собой.

Это раздвоение “я” вообще характерно для Горького. Оно проявилось уже в письме к Е. П. Волжиной, невесте, а затем жене. Это раздвоение имело как будто иронический характер: жених, естественно, слегка кокетничал перед возлюбленной. Но за этой иронией сквозило и нечто серьезное.

“Прежде всего Пешков недостаточно прост и ясен, – пишет он в мае 1896 года, – он слишком убежден в том, что не похож на людей, и слишком рисуется этим, причем не похож ли он на людей на самом деле – это еще вопрос. Это может быть одной только претензией. Но эта претензия позволяет ему предъявлять к людям слишком большие требования и несколько третировать их свысока. Как будто бы умен один Пешков, а все остальные идиоты и болваны. <...> А главное – его трудно понять, ибо он сам себя совершенно не понимает. Фигура изломанная и запутанная. Помимо этих, очень крупных недостатков есть и другие, из которых одни я позабыл, другие не знаю, о третьих не хочу говорить, потому что скучно и потому что мне жалко Пешкова – я люблю его. И только я действительно люблю его. О достоинствах этого господина я не буду говорить – ты, должно быть, лучше меня знаешь их. Но вообще – предупреждаю, и совершенно серьезно, Катя, – вообще этот человек со странностями. Иногда я склонен думать, что он своеобразно умен, но чаще думаю, что он оригинально глуп. Главное – он слишком непонятен, вот его несчастье”.

Пристальное прочтение повестей “Детство” и “В людях” производит на читателя двойственное впечатление. Автор как будто сам удивлен формирующейся перед ним личностью, с недоверием изучает ее и делает для себя какие-то выводы, о которых не сообщает, а только намекает читателю. Он словно говорит: “Черт знает что это за мальчик. Но мне кажется...” Далее попадаем в густой лес знаков, символов, намеков.

На исповедь в церковь *крещеный* Алексей Пешков *впервые* попадает будучи подростком, когда работает прислугой в семье родственника своей бабушки. Как такое могло случиться? Согласно “Летописи жизни и творчества А. М. Горького”, в семье В. С. Сергеева он оказался

примерно в сентябре 1880 года, а сбежал от них в мае 1881-го. Следовательно, двенадцати-тринадцатилетний крещеный подросток ничего не знал о том, что такое исповедь и как совершается обряд причастия?

“Мне нравилось бывать в церквях; стоя где-нибудь в углу, где просторнее и темней, я любил смотреть издали на иконостас – он точно плавится в огнях свеч, стекая густо-золотыми ручьями на серый каменный пол амвона; тихонько шевелятся темные фигуры икон; весело трепещет золотое кружево царских врат, огни свеч повисли в синеватом воздухе, точно золотые пчелы, а головы женщин и девушек похожи на цветы”.

Когда его отправляют исповедаться к отцу Дормидонту, мальчик почему-то страшно напряжен. А когда уходит от священника, то “чувствует себя обманутым и обиженным: так напрягался в страхе исповеди, а все вышло не страшно и даже не интересно”. Когда на следующий день его с пятиалтынным для пожертвования отправляют причащаться, Алексей пропускает литургию, да еще и проигрывает деньги в “бабки”. Опасаясь, что у Сергеевых обман раскроется, Алеша спрашивает “празднично одетого паренька”:

– Вы причащались?

– Ну, так что? – ответил он, осматривая меня подозрительно.

Я попросил его рассказать мне, как причащают, что говорит в это время священник и что должен был делать я”.

Неужели в православной семье Кашириных ему не объяснили этого?

В одном из писем Груздеву Горький признался, что всегда был не в ладах с датами и фактами, но память на людей у него исключительная. Значит, если Горький вспомнил того паренька (кстати, он отказался рассказать о процедуре причастия), то к тому моменту Алеша действительно не знал, как происходит главнейшее из церковных таинств. Так же, как и того, что образ Богородицы не целуют в губы. Это Алеша в порыве любви сделал, когда в дом Сергеевых внесли чудотворную икону Владимирской Божьей Матери из Оранского монастыря:

“Я любил Богородицу; по рассказам бабушки, это она сеет на земле для утешения бедных людей все цветы, все радости – всё благое и прекрасное. И когда нужно было приложиться к ручке Ее, не заметив, как прикладываются взрослые, я трепетно поцеловал икону в лицо, в губы. Кто-то могучей рукой швырнул меня к порогу, в угол...”

Четыре факта – посещение церкви, исповедь, обман с причастием и целование лика Богородицы – как будто говорят о том, что в семье деда с бабушкой Алешу вообще никогда не водили в храм.

“Через несколько дней после приезда он (дед. – П.В.) заставил меня учить молитвы. Все другие дети были старше и уже учились грамоте у дьячка Успенской церкви; золотые главы ее были видны из окон дома”.

Главы-то видны. Но, оказывается, деду и бабушке не пришло в голову, что Алешу нужно отвести исповедаться. Во всяком случае, в “Детстве” нет ни слова об этом. Сами-то супруги Кашириных и их сыновья с семьями ходят в церковь исправно. “По субботам, когда дед, перепоров детей, нагрешивших за неделю, уходил ко всенощной, в кухне начиналась неопишимо забавная жизнь”, – пишет Горький. И рассказывает о фокусах с мышами и тараканами Ивана Цыганка, подкидыша и вора, который воровал для жадного на деньги деда провизию на рынке. Тараканы изображали архиерея, монахов. Но почему Алексея дед не брал с собой?

Когда братья Кашириных, Яков и Михаил, согласно повести “Детство”, убили Цыганка, задавив его комлем огромного креста для могилы жены Якова, дед и бабушка находились в церкви. В глазах маленького Алеши православный крест, панихида, которую служат по жене Якова, дед с бабушкой на церковном кладбище, странное поведение деда (“Сволочи! Какого вы парня зря извели! Ведь ему бы цены не было лет через пяток... Знаю я – он вам поперек глоток стоял...” – кричит примчавшийся из церкви дедушка) и кровь, текущая изо рта Цыганка, связываются в единый образ.

Когда семья в храме, на кухне – двое: Иван и Алеша. Первый – подкидыш. Его любят дед и бабка. Но он – не свой. А Алексей? Вроде бы свой. Наполовину Каширин. Тем не менее его положение в доме очень напоминает положение Цыганка. Подкидыша.

Заглянем в первую известную реальную автобиографию Горького под несколько вычурным названием “Изложение фактов и дум, от взаимодействия которых отсохли лучшие куски моего сердца”. Эта автобиография обращена к некой Адели, героине немецкого романа. Под Аделью несложно заподозрить первую любовь и гражданскую жену Горького – переводчицу О. Ю. Каменскую, ради которой, видимо, и делался этот автобиографический очерк, при жизни автора не напечатанный.

Горький рассказывает о своем детстве: “Очень не любил ходить в церковь с дедом – он, заставляя меня кланяться, всегда и очень больно толкал в шею”. И в “Детстве” мельком говорится о том, что дед заставлял Алешу ходить в церковь: в субботу на всенощную и по праздникам на литургию. Но про исповедь и причастие нет ни слова.

Значит, дед все-таки водил его в церковь. Но при этом ни разу не принуждал исповедаться и причаститься?

В том же “Изложении...” говорится, что Алешу не взяли в церковь, когда его мать венчалась со своим вторым мужем Максимовым. (В “Детстве” это объясняется тем, что Алеша повредил себе заступом ногу, копая яму в саду.)

“На другой день было венчание матери с новым папой. Мне было грустно, я это прекрасно помню, и вообще с того дня в моей памяти уже почти нет пробелов. Помню, все родные шли из церкви, и я, видя их из окна, почему-то счел нужным спрятаться под диван. Теперь я готов объяснить этот поступок желанием узнать, вспомнят ли обо мне, не видя меня, но едва ли этим я руководствовался, залезая под диван. Обо мне не вспоминали долго, долго! На диване сидели новый отец и мать, комната была полна гостей, всем было весело, и все смеялись, мне тоже стало весело – и я уж хотел выползть оттуда, но как это сделать?

Но куда я раздумывал, как бы незаметно появиться среди гостей, мне стало обидно и грустно, и желание вылезть утонуло в этих чувствах. Наконец обо мне вспомнили.

– А где у нас Алексей? – спросила бабушка.

– Набегался и спит где ни то в углу, – хладнокровно отвечала мать.

Я помню, что она сказала это именно хладнокровно, я так жадно ждал, что именно она скажет, и не могу не помнить...”

Первые церковные воспоминания Горького связаны с детскими травмами. Буквальными (дедушка толкал в шею) и душевными (вся родня пошла в церковь на венчание Варвары, затем сели за стол, а про мальчика забыли).

Не сложились у него отношения и со школьным священником. Единственным светлым пятном в воспоминаниях о школе был приезд епископа Астраханского и Нижегородского Хрисанфа (В. Н. Ретивцев, 1832–1883), известного духовного писателя, автора трехтомного труда “Религия древнего мира в его отношении к христианству” (СПб., 1872–1878). Хрисанф обладал умным внутренним зрением на людей. Он выделил Алексея из класса, долго расспрашивал его, удивлялся его знаниям в области житий и Псалтыри и, наконец, попросил его не “озорничать”. Однако просьбу владыки Алеша не выполнил. Однажды он назло деду изрезал его любимые святцы, отстригая ножницами головы святым. Как сказали бы сегодня, это был трудный подросток.

«Сеяли семя в непахану землю»

Эти слова произносит дедушка на похоронах Коли, еще одного сводного брата Алеши. Варвара уже сгорела от чахотки. Саша, сын от второго мужа Варвары, “личного дворянина” Евгения Васильевича Максимова, “умер неожиданно, не хвораю”, едва начал говорить. Был и

еще какой-то загадочный ребенок, рожденный Варварой между двумя браками и отданный на воспитание. Вот и братик Коля “незаметно, как маленькая звезда на утренней заре, погас”.

Как странно... Все дети красавицы Варвары, кроме нелюбимого ею Алексея, умирали, угасали, исчезали, словно тени.

Один Алексей жил.

Как будто ей назло.

Иногда появляясь в доме родителей, Варвара удивлялась, как Алеша быстро растет. Это говорит о том, что появлялась она нечасто.

О каком “семени” шла речь? Почему смерть внука воспринимается дедом Кашириным равнодушно? Словно умер не родной человек, а сдохла больная курица?

“– Вот – родили... жил... ел... ни то ни се...” – бормочет дед.

Не менее странным, если задуматься, является всем знакомый конец “Детства”:

“Через несколько дней после похорон матери дед сказал мне:

– Ну, Ляксе́й, ты – не медаль, на шее у меня – не место тебе, а иди-ка ты в люди...”

Иначе говоря, мальчишку выставляют за дверь через несколько дней после того, как умерла его мать и он стал круглым сиротой. Больше того. Отказ Алексею от дома как раз и вызван кончиной его матери.

Почему?

Да потому что со смертью Варвары рвется последняя нить, которая связывала деда Каширина с Алешей Пешковым родственной ответственностью. Отныне он в глазах бабушки даже не “пол-Каширина”, а чистый Пешков, сын человека без роду и племени. Ради дочери, которая после смерти первого мужа должна была как-то устраивать свою женскую судьбу, в чем мальчик ей мешал, дед Каширин еще мог потерпеть маленького Пешкова в своем доме. Но по мере разорения Кашириных Алеша становился совсем уж обузой. Смерть дочери развязала Василию Васильевичу руки.

Василий Васильевич Каширин прожил долгую и насыщенную жизнь. Он родился в 1807 году в Нижегородской губернии в семье солдата Василия Даниловича Каширина, был крещен в Покровской церкви в Нижнем Новгороде, а в 1831 году в том же городе, но уже в Спасо-Преображенской церкви, венчался с девицей Акулиной Ивановной, дочерью нижегородского мещанина Ивана Яковлевича Муратова.

Когда-то он бурлаком исходил всю Волгу. Но врожденный ум его был замечен хозяином, и из бурлаков его перевели в водоливы. Водолив – старший рабочий на барке, который должен следить за их водосточностью и плотничать при необходимости, старшина над бурлаками. Он также исполнял обязанности “артельщика”, следил за хозяйством, хранением артельных денег, выдачей кашевару продуктов. Такому человеку должны были доверять не только хозяин, но и бурлаки.

На основании документов Илья Груздев сделал вывод, что в Балахне Василий Васильевич “приобрел хорошую «оседлость»” и был в числе зажиточных граждан. Будущая бабушка Алеши Пешкова Акулина была младше Василия на шесть лет.

Переселившись в Нижний Новгород, уже довольно большая семья Кашириных тоже зажила не бедно. В данных “Обывательской книги Нижегородского цехового общества с 1855 года по 1857 год” о Василии Каширине говорится: “Служил старшиной по красильному цеху в 1849 и 1855 годах”. Купчая от 14 января 1852 года на приобретение деревянного дома подтверждает его состоятельность. А в “Списке цеховых служащих по выборам городского общества” сказано: “По выбору городского общества служил: в 1855, 1856 и 1857 годах старшиной красильного цеха и в 1861, 1862 и 1863 годах гласным в Думе”. Дума состояла из шести гласных. Одним из них стал Каширин.

Вершиной благополучия каширинского рода была постройка в 1865 году большого деревянного дома на каменном фундаменте на Ковалихинской улице. Это было за три года до рождения Алеши.

Василий Васильевич Каширин был уважаемым в Нижнем человеком. Два или три раза переизбирался цеховым старшиной и даже метил в ремесленные головы (не избрали, чем смертельно обидели гордого деда Василия). Поднявшись со дна трудовой жизни, он мечтал еще больше возвысить род Кашириных. Сыновья для этой роли не совсем годились. Братья слишком часто выпивали, скандалили между собой за наследство и дрались на глазах у отца. А вот красавица дочь Варвара, да еще и с хорошим приданым, могла претендовать на мужа-дворянина.

Однако умер Василий Васильевич Каширин нищим в 1887 году и был погребен на приходском нижегородском кладбище. Неудачными оказались судьбы почти всех его детей и внуков. И жены, о которой будет отдельный разговор.

Дядя Алеши Михаил был, как писал Горький Груздеву, “тощий, сухой плоти и раздраженного разума человек”. Бабушка называла его “злооким”. “Эх ты, змей злоокий! Кикимора злоокая!”

“Глаза у него круглые, птичьи, белки – в красных жилках, зрачки рыжеватые, с искрой. Ходил быстренько, мелким шагом, раскачиваясь, болтая руками, сутулился, прятал голову в плечи – так пьяные идут в драку. Работу не любил и работал всегда в состоянии крайнего раздражения, со злобой, бегал по двору, засучив рукава, с руками по локти в синей, черной или желтой краске, и матерно ругался.

Работа не удавалась ему, и толстущая его жена зорко следила, чтоб не испортил материй, которые красил, а он ходил на нее с мешалкой как со штыком. Был случай, когда она, вырвав мешалку, огрела мужа так, что он завыл: «Господи! Из-ззувечила!»

У него всегда были любимые словечки, но он часто менял их. Помню, любил он говорить: «По-азбучному», наполняя это слово различным содержанием, произнося его то с иронией, то пренебрежительно или равнодушно, изредка – одобрительно.

Как-то, при мне, он словесно и очень долго травил сына своего, кротчайшего Сашу, – у Саши был трогательный роман с кухаркой, женщиной старше его лет на двадцать. Сашок очень долго не поддавался травле, но когда отец пошел на него с кулаками, оттолкнул отца: «Отстань, пьяное чудище!» Дядя покачнулся, упал и, сидя на полу, одобрительно произнес: «По-азбучному!» – и горько заплакал, но когда Саша, смущенный его рыданиями, наклонился, чтоб поднять его, отец ловко схватил его за волосы, подмял под себя, сел верхом на грудь ему и победительно, торжествуя, заорал: «Аг-га, по-азбучному!»

Меня дядя Михаил не терпел, пожалуй, можно сказать, – ненавидел. Дважды выразил искреннее сожаление о том, что не разбил мне голову о печку.

Я не имею возможности хвастаться этим, ибо он, кажется, всех ненавидел. Теперь я думаю, что он, кроме алкоголизма, страдал истерией. А основная причина всех его уродств, конечно, в том, что он, старший сын ремесленного старшины, в юности приученный к сытой жизни и хорошей одежде, затем женатый на дворянке, принужден был жить с толстой, удивительно тупой и грубой бабой, дочерью темного трактирщика, должен был сам работать в крайней бедности, в постоянной войне с братом, отцом, конкурентами по ремеслу. Тяжелая фигура. Но и жизнь была не легка ему”.

Ничего из этих живых черт дяди Михаила мы не найдем в прозе Горького. Видимо, когда писались повести “Детство” и “В людях”, они были не важны для него.

Сын Михаила Каширина Саша стал босяком и пьяницей, трижды судимым за кражи, но при этом романтиком по природе. Горький писал о нем Груздеву: “Прекрасная, чистейшая душа русского романтика, лирик, музыкант и любитель – страстный – музыки... Он очень любил меня, но читал неохотно и спрашивал с недоумением: «Зачем ты всё о страшном

пишешь?» Его жизнь бродяги, босяка не казалась ему страшной... Несколько раз я пробовал устроить Сашу, одевал его, находил работу, но он быстро пропивал всё и, являясь ко мне полуголый, говорил: «Не могу, Алеша, неловко мне перед товарищами». Товарищи – закоренелые босяки. Устроил я его у графа Милютинина в Симеизе очень хорошо... Через пять месяцев он пришел ко мне: «Не могу, – говорит, – жить без Волги». И это у него не слова были, он мог целые дни сидеть на берегу, голодный, глядя, как течет вода. <...> Босяки очень любили его и, конечно, раздевали догола, когда он являлся к ним прилично одетый и с деньгами. Умер он в больнице от тифа, когда я жил в Италии”.

Из писем к Груздеву выясняется, что не только Михаил, но и его младший брат Яков тоже был женат на обедневшей дворянке. Это была семейная политика Василия Каширина, стремившегося таким образом возвысить свой род.

Мать второго двоюродного брата Алеша, тоже Саша, жена дяди Якова, умерла, когда их сыну было всего пять или шесть лет. В повести “Детство” есть намек на то, что Яков ее замучил. Умирая, она внушала сыну: “Помни, что в тебе течет дворянская кровь!” Судя по “Детству”, дядя Яков пытался отмолить свой грех с помощью огромного креста на могилу жены, который при перенесении его на кладбище якобы и задавил приемыша Ваню Цыганка.

На самом деле вся история с убийством Цыганка была придумана Горьким. В письме к Груздеву дядя Яков предстает в более симпатичном образе, в отличие от его сына с “голубой кровью” Саши.

“Дядю Якова Сашка держал в черном теле, называл по фамилии, помыкал им, как лакеем, заставлял чахоточного старика ставить самовар, мыть пол, колоть дрова, топить печь и т. д. Отец же любил его, «души в нем не чаял», смотрел на человека с дворянской кровью в жилах лирическими глазами, глаза точили мелкую серую слезу; толкал меня дядя Яков локотком и шептал мне:

– Саша-то, а Бар-рон...

Барон суховато покашливал, приказывая отцу:

– Каширин, ты что же, брат, забыл про самовар?”

Не этот ли Барон, который, по словам Сатина, “хуже всех” в ночлежке, появится в пьесе “На дне”? Во всяком случае, пристрастие дяди Михаила к необычным словам (“По-азбучному!”) Горький использовал для образа Сатина (“Сикамбр!”, “Органон!”), в чем признался в письме к Груздеву. Но опять-таки этих живых черт почти нет в “Детстве” и в повести “В людях”. Нет там речи и о том, что Саша, будучи помощником регента церковного хора, пытался носить дворянскую фуражку, но ему это запретила полиция. Не сказано там, что Саша прекрасно пел и был вторым тенором в знаменитом церковном хоре Сергея Рукавишниковца. Потом он работал “сидельцем” в винной лавке, просчитался, был судим, пытался организовать “Бюро похоронных процессий”.

Зато в автобиографической трилогии Горького есть множество подробностей, не имеющих отношения к “прозе жизни”. Например, в начале повести “В людях” говорится о влечении сына Якова Саши к магическим обрядам, что заставляет вспомнить слова деда, обращенные к младшему сыну: “Фармазон!” В самом ли деле суеверный Яков увлекался франкмасонскими книгами? Едва ли. Скорее, дед Василий называл его “фармазоном” просто потому, что так было принято именовать вольнодумцев в России.

“Саша прошел за угол, к забору с улицы, остановился под липой и, выкатив глаза, поглядел в мутные окна соседнего дома. Присел на корточки, разгреб руками кучу листьев – обнаружил толстый корень и около него два кирпича, глубоко вдавленные в землю. Он приподнял их – под ними оказался кусок кровельного железа, под железом – квадратная дощечка, наконец предо мною открылась большая дыра, уходя под корень.

Саша зажег спичку, потом огарок восковой свечи, сунул его в эту дыру и сказал мне:

– Гляди! Не бойся только...

Сам он, видимо, боялся: огарок в руке его дрожал, он побледнел, неприятно распустил губы, глаза его стали влажны, он тихонько отводил свободную руку за спину. Страх его передался мне, я очень осторожно заглянул в углубление под корнем, – корень служил пещере сводом, – в глубине ее Саша зажег три огонька, они наполнили пещеру синим светом. Она была довольно обширна, глубиной как внутренность ведра, но шире, бока ее были сплошь выложены кусками разноцветных стекол и черепков чайной посуды. Посредине, на возвышении, покрытом куском кумача, стоял маленький гроб, оклеенный свинцовой бумагой, до половины прикрытый лоскутом чего-то похожего на парчовый покров, из-под покрова высовывались серенькие птичьи лапки и остроносая головка воробья. За гробом возвышался аналой, на нем лежал медный нательный крест, а вокруг аналая горели три восковые огарка, укрепленные в подсвечниках, обвитых серебряной и золотой бумагой от конфет” (“В людях”).

На детском языке такие захоронки называются “секретками”. Невинная традиция эта сохранилась, по крайней мере, до шестидесятых годов XX века. Но тогда в “секретки” не прятали мертвых птиц. Даже если похожая традиция и была у детей XIX века, все равно загадочными представляются слова Саши после того, как Алексей выбросил воробья через забор на улицу:

– “Теперь увидишь, что будет, погоди немножко! Это я всё нарочно сделал для тебя, это – колдовство! Ага!”

На следующий день Алексей опрокинул себе на руки судок с кипящими щами и попал в больницу. Как тут не вспомнить “фармазона” и слова мастера Григория о Якове, сказанные Алексею:

– “Дядя твой жену насмерть забил, замучил, а теперь его совесть дергает, – понял? Тебе всё надо понимать, гляди, а то пропадешь!”

– Как забил? – говорил он, не торопясь. – А так: ляжет спать с ней, накроет ее одеялом с головою и тискает и бьет. Зачем? А он, поди, и сам не знает. <...>

– Может, за то бил, что была она лучше его, а ему завидно. Каширины, брат, хорошего не любят, они ему завидуют, а принять не могут, истребляют! Ты вот спроси-ка бабушку, как они отца твоего со свету сживали. Она всё скажет – она неправду не любит, не понимает. Она вроде святой, хоть и вино пьет, табак нюхает. Блаженная как бы. Ты держись за нее крепко.”

Насколько не похож этот образ дяди Якова на тот, что возник в письме к Груздеву. И это не единичный пример. В повести “Детство” и отчасти “В людях” Горький мифологизировал семейные линии Кашириных и Пешковых. И хотя в семье Кашириных он почти никому был не нужен, в тягость, в мифологическом пространстве все сражались как раз за его душу.

Чья сила перетянет? Деда? Бабушки? Или кровь отца?

Братья Каширины ссорятся из-за приданого вдовы Варвары. Но ведь изначальной причиной ее вдовства был Алексей. Свара ведет к разделу между отцом и детьми. В результате, раздробив “дело” и став конкурентами, они разоряются и впадают в нищету.

Отношение дедушки к Алеше сложное. Он жестоко избивает его, до полусмерти, а потом приходит к нему исповедоваться. И он не может понять: *кто* Алексей – Каширин или Пешков? Вот их первая встреча на палубе парохода:

“Дед выдернул меня из тесной кучи людей и спросил, держа за голову:

– Ты чей таков будешь?

– Астраханский, из каюты...

– Чего он говорит? – обратился дед к матери и, не дождавшись ответа, отодвинул меня, сказав:

– Скулы-те отцовы...”

Потом дед будет не раз “придвигать” и “отодвигать” Алешу, пытаясь разобраться, *чей* он. Дядя же невзлюбят его за то, что в доме появился еще один наследник. И все это – травля

Алексея Кашириными, гибель любимого Цыганка, отлучение от дома самого Алексея – в конце концов завершается крахом каширинской семьи.

“Сеяли семя в непахану землю”.

Первопричиной этого краха стали незаконный, без согласия отца, брак дочери Варвары с пришлым мастером Максимом Пешковым и появление в доме Алеша Пешкова. Инстинктивно Каширины чувствовали это и, за исключением бабушки Акулины, не любили мальчика. Даже родная мать. Хотя она понимала, что Алеша не виноват. Но сердцу не прикажешь. Со временем он стал понимать это... И заплатил родне той же монетой.

Нет ничего страшнее, чем лишиться ребенка любви. Его разум однажды начинает делать свои *горькие* выводы об *этом* мире, *этих* людях, *этом* Боге.

Бабушка Акулина

А что же Акулина Ивановна?

Разве она не любила Алексея? Любила! Но она не Каширина. Она Муратова. Она добрая. Она святая. За нее советует держаться мастер Григорий.

Мифологию образа бабушки Горький прописывал с особой любовью. Ничего более нежного и поэтичного, чем этот образ, он не создал ни до, ни после повести “Детство”. И если бы, кроме этой повести, он не написал ничего, мировая литература все равно пополнилась бы великим писателем.

В ее внешности было что-то темное, языческое. Недаром в своей семье ее называли ведьмой.

“– Что, ведьма, народила зверья?!”

Это кричит Василий Каширин после безобразной потасовки Якова и Михаила прямо во время обеда. Можно не обратить внимания на этот странный крик бабушки и принять его просто за бессмысленную брань раздраженного главы семейства. Но в “Детстве” почти нет случайностей. Почему дед Василий именно собственную супругу обвиняет в начале распада семьи? Только ли потому, что она “потатчица” и выступает за раздел имущества Кашириных между детьми? Но при чем тут “ведьма” и “зверье”? Вот еще одна загадка “Детства”...

Зададим простой вопрос: каким образом в семье хотя и скуповатого, но честного, трезвого, трудолюбивого и богобоязненного Василия Каширина родились такие непутевые дети? Пьющие, дерущиеся между собой братья Яков и Михаил. Непослушная и недомовитая Варвара, которая бросает ребенка в семье родителей и живет как ветер в поле.

“Не удалась дети-то, с коей стороны ни взгляни на них, – жалуется бабушка. – Куда соксила наша пошла? Мы с тобой думали, – в лукошко кладем, а Господь-то вложил в руки нам худое решето...” И снова он винит мать: “А все ты потакала им, татам, потатчица! Ты, ведьма!”

Если смотреть на бабушку глазами Алеша, она поистине свет в окне, сердце мира, чуть ли не земная богородица. И это понятно. Бабушка для Алеша, если можно так выразиться, единственное “теплое” место, которого коснулась его детская, но уже травмированная душа. Это спасение в холодном безлюбовном мире, где мальчик с самого начала обречен на гибель. С первых мгновений детского самосознания вокруг него трупы, трупы и трупы. Холод, холод и холод. Мертвый отец в гробу. Мертвый младший брат. И даже мать выглядит как мертвая.

“Мать редко выходит на палубу и держится в стороне от нас (Алексея и бабушки Акулины Ивановны. – П.Б.). Она все молчит, мать. Ее большое стройное тело, темное, железное лицо, тяжелая корона заплетенных в косы светлых волос, – вся она мощная и твердая...”

Одно из первых жизненных впечатлений: “В полутемной тесной комнате, на полу, под окном, лежит мой отец, одетый в белое и необыкновенно длинный; пальцы его босых ног странно растопырены, пальцы ласковых рук, смиренно положенных на грудь, тоже кривые; его

веселые глаза плотно прикрыты черными кружками медных монет, доброе лицо темно и пугает меня нехорошо оскаленными зубами”.

“Второй оттиск в памяти моей – дождливый день, пустынный угол кладбища; я стою на скользком бугре липкой земли и смотрю в яму, куда опустили гроб отца; на дне ямы много воды и есть лягушки, – две уже взобрались на желтую крышку гроба. У могилы – я, бабушка, мокрый будочник и двое сердитых мужиков с лопатами. Всех осыпает теплый дождь, мелкий, как бисер...

– Зарывай, – сказал будочник, отходя прочь.

Бабушка заплакала, спрятав лицо в конец головного платка. Мужики, согнувшись, торопливо начали сбрасывать землю в могилу, захлюпала вода; спрыгнув с гроба, лягушки стали бросаться на стенки ямы, комья земли сшибали их на дно”.

В “Детстве” все пронизано символикой. На гробе отца две лягушки, обреченные на смерть. Алеша еще раз вспоминает о них на борту парохода, когда из каюты несут гробик с младшим братом. Алексей рассказывает об этих несчастных лягушках матросу, а матрос говорит ему:

– Лягушек жалеть не надо, Господь с ними! Мать пожалей, – вон как ее горе ушибло!

Отца, братика и лягушек “прибрал” Господь. Потом он “приберет” к себе мать, брата Колю и отчима. Алеша останется на земле только благодаря бабушке: “...сразу стала на всю жизнь другом, самым близким сердцу моему, самым понятным и дорогим человеком, – это ее бескорыстная любовь к миру обогатила меня, насытив крепкой силой для трудной жизни (курсив мой. – П.Б.)”.

Бабушка заменяет Алеше мать, становится для него единственной опорой в мире, где Бог бросил его на произвол судьбы. Ничего странного, что этот Бог, “Бог дедушки”, не нравится Алексею.

Мальчик чувствует Его присутствие в мире, но обижен на Него. Сознательно или нет, Горький обыгрывает в “Детстве” слова Ивана Карамазова о “слезинке ребенка”, из-за которой Иван готов “почтительно” возратить Творцу билет в Царство Небесное. Только в “Детстве” ребенок не пассивный персонаж. Подобно третьей лягушке, он брошен, но не в могилу с водой, а в кувшин со сметаной, как в народной притче, и должен месить окружающее его холодное пространство, пока оно не превратится в масло и не позволит ему выбраться наружу.

Но хватит ли сил?

Сила идет от бабушки.

Она – “как земля”.

Такова мифология образа бабушки.

Но какова была Акулина Ивановна в реальности?

Она была... пьяница.

В “Детстве” и “В людях” Горький предельно бережно касается этой больной темы. Но и скрыть очевидного для семьи Кашириных факта он не может.

Для Алеши бабушка сродни Божьему явлению. Но Варвара стыдится собственной матери, которая на пароходе бродит “от борта к борту и вся сияет, а глаза у нее радостно расширены”, потому что бабушка не смущается угощаться у матросов водкой, за что рассказывает им разные смешные небылицы. Матросы хохочут, и Алексею весело. Но Варвара сердится:

– Смеются люди над вами, мамаша!

– А Господь с ними...”

Только что Господь был с лягушками. Но для Алеши бог един – и это бабушка. Настоящий Бог обидел его. Все страшно и абсурдно, как лягушки в могиле. Алеша жмет к бабушке. Но в глазах-то остальных, даже дочери, это просто добрая, смешная, шалопутная пьянчужка, непутевая бабка с рыхлым, распухшим от пьянства красным носом.

Бабушки стыдится не только дочь.

Странно! Когда Василий Каширин, цеховой старшина, уважаемый в Нижнем Новгороде человек, уходит к кому-то в гости, законную супругу он с собой не берет. Почему?

“...В праздничные вечера, когда дед и дядя Михаил уходили в гости, в кухне являлся кудрявый, встрепанный дядя Яков с гитарой, бабушка устраивала чай с обильной закуской и водкой в зеленом штофе с красными цветами, искусно вылитыми из стекла на дне его; волчком вертелся празднично одетый Цыганок; тихо, боком приходил мастер, сверкая темными стеклами очков; нянька Евгенья, рябая, краснорожая и толстая, точно кубышка, с хитрыми глазами и трубным голосом; иногда присутствовали волосатый успенский дьячок и еще какие-то темные, скользкие люди, похожие на шук и налимов”.

Есть в музыке понятие контрапункта, когда одна мелодия вступает в конфликт с другой и рождается музыкальный эффект. Этот образ из “Детства” построен по принципу контрапункта. Фраза начинается в одной тональности, затем на нее накладывается другая. И взрывает гармонию.

С уходом деда с его жестоким, но понятным Богом в доме Кашириных начинается русское непонятное, “дионисийское” действие.

Водка размягчает сердце русского человека. Дядя Яков поет жалостливые песни, такие, что Алеша плачет “в невыносимой тоске”, а Цыганок весело, ухарски пляшет, “неутомимо, самозабвенно, и казалось, что, если открыть дверь на волю, он так и пойдет плясом по улице, по городу, неизвестно куда...”

Все эти лица еще индивидуальны. Куда более смутными видятся мастер Григорий, нянька Евгенья и “волосатый успенский дьячок”. Но остальные, “какие-то темные, скользкие люди”, уже вовсе неразличимы, а только похожи на “шук и налимов”. Между тем они тоже составляют окружение бабушки. Это ее мир, ее омут, в который она непременно утянет за собой Алешу, как ведьма утащила Иванушку в русской сказке. Если Алеша останется верен своему богу.

Ценой убийства в себе этого доброго и очень *русского* бога Алеша Пешков станет *Максимом Горьким*.

Когда Горький писал “Детство”, “В людях” и “Мои университеты”, он это прекрасно понимал. Тем более что уже в 1895 году в “Самарской газете” он опубликовал первый набросок к будущему “Детству” (изначально повесть замысливалась под названием “Бабушка”). Очерк “Бабушка Акулина” Горький благоразумно не включал в свои сборники и собрания сочинений. Как бы похоронил в прошлом образ реальной Акулины Ивановны, чтобы затем воскресить его в мифе Бабушки.

В очерке “Бабушка Акулина” рассказывается о старухе, которая живет в сыром подвале, собирая вокруг себя городскую шваль, отходы человеческого общества, больных алкоголизмом и распущенных до такой степени, что они не стесняются жить за счет нищей старухи.

“Бабушка Акулина была филантропкой Задней Мокрой улицы. Она собирала милостыню, а в виде подсобного промысла, иногда, при удобном случае, немножко воровала. Около нее всегда ютилось человек пятьдесят «внучат», и она всегда ухитрялась всех их напоить и накормить. «Внучатами» являлись самые отчаянные пропойцы-босяки, воры и проститутки, временно, по разным причинам, лишенные возможности заниматься своим ремеслом. <...> Вся улица знала ее, и слава о ней выходила далеко за пределы улицы. Но все-таки, на языке босых и загнанных людей, «попасть во внучата» значило дойти до самого печального положения; поэтому бабушка Акулина как бы знаменовала собой крайнюю ступень неудобств жизни и, пользуясь большой известностью за свою филантропическую деятельность, не пользовалась любовью со стороны опекаемых ею людей”.

Вот куда утащил бы Алексея этот добренький русский бог, если бы он прислушался к совету тоже доброго, но полуслеплого (что символично!) мастера Григория держаться бабушки.

“Мои университеты”, отплытие Алеши в Казань:

“Провожая меня, бабушка советовала:

– Ты не сердись на людей, ты сердисься всё, строг и заносчив стал! Это – от деда у тебя, а что он, дед? Жил, жил, да в дураки и вышел, горький старик. Ты одно помни: не Бог людей судит, это – черту лестно! Прощай, ну!”

“За последнее время, – признается Горький, – я отошел от милой старухи и даже редко видел ее, а тут вдруг с болью почувствовал, что никогда уже не встречу человека, так плотно, так сердечно близкого мне”.

В сердце Кая благодаря слезам Герды тает льдинка Снежной королевы. Алеша Пешков, напротив, с болью вырывает из сердца теплого бога, зная, что с этим богом он пропадет и “Бог дедушки” надежнее. Беда в том, что он не любит дедушкиного Бога и не понимает Его.

Через некоторое время он попытается создать нового бога. Его имя будет Человек. Но даже гуманист Владимир Короленко смутится, прочитав поэму Горького с одноименным названием. Это был ледяной образ Человека, одиноко шествующего во Вселенной. Через десять лет Горький вспомнит о теплом боге – бабушке и поэтично воскресит ее в “Детстве”. Но убийство в себе самом живого бога не пройдет для него бесследно.

В начале девяностых годов Горький еще не понимал этого. В очерке “Изложение фактов и дум, от взаимодействия которых отсохли лучшие куски моего сердца” (1893) бабушка Акулина названа просто “бабкой”, и никакой идеализации ее нет: “Пила она сильно и однажды чуть не умерла от этого. Помню, как ее отливали водой, а она лежала в постели с синим лицом и бессмысленно раскрытыми, страшными, тусклыми глазами”.

Сравните это с началом “Детства”: “...вся сияет, а глаза у нее радостно расширены...”

У бабушки не было своего бога.

Да и откуда было ему взяться у неграмотной старухи, когда-то вышедшей замуж за грамотного “по-церковному” Василия Каширина? Илья Груздев считает, что замуж она вышла четырнадцати лет от роду, а в одном из писем к Груздеву Горький сообщает: “Бабушка Акулина никогда не рассказывала о своем отце; мое впечатление: она была сиротой. Возможно – внебрачной, на что указывает «бобыльство» ее матери и раннее нищенство самой бабушки...”

Что означает “раннее нищенство”? Четырнадцатилетняя Акулина Муратова была профессиональной нищенкой? “Хорошо было Христа ради жить!” – рассказывает она Алексею о своем прошлом.

Так или иначе, но ее поведение совсем не отвечает поведению супруги цехового старшины, гласного городской Думы. И ее влияние на детей, о котором с горечью кричит дед Василий, тоже. Зато истинно русская, “мощная” красота дочери Варвары, у которой “прямые серые глаза, такие же большие, как у бабушки”, тяжелые светлые волосы и свободолюбивый нрав, говорит о том, что эти черты достались ей не от “сухого”, “с птичьим носом” Василия, книжника и начетчика, а от матери-“ведьмы”, Акулины Ивановны.

Бабушка странно молится. Именно этим объясняется то, что в доме Сергеевых Алексей вдруг целует образ Богородицы в губы.

“Глядя на темные иконы большими светящимися глазами, она советует богу своему:

– Наведи-ко ты, Господи, добрый сон на него, чтобы понять ему, как надобно детей-то делить!”

Поначалу можно подумать, что у бабушки какой-то *свой* бог. Но дальнейшая ее молитва говорит о том, что это просто невинное обращение доброй неграмотной старухи к Богу, где личные семейные просьбы перемешаны с обрывками канонической молитвы.

“Крестится, кланяется в землю, стучаясь большим лбом о половицу, и, снова выпрямившись, говорит внушительно:

– Варваре-то улыбнулся бы радостью какой! Чем она Тебя прогневала, чем грешней других? Что это: женщина молодая, здоровая, а в печали живет. И вспомни, Господи, Григорья, –

глаза-то у него всё хуже. Ослепнет, – по миру пойдет, нехорошо! Всю свою силу он на дедушку истратил, а дедушка разве поможет... О Господи, Господи!”

“– Что еще? – вслух вспоминает она, приморщив брови. – Спаси, помилуй всех православных; меня, дуру, окаянную, прости. – Ты знаешь: не со зла грешу...”

“– Всё Ты, родимый, знаешь, всё Тебе, батюшка, ведомо”.

В этой бесхитростной молитве неграмотной старухи только строгий начетчик, вроде дедушки Василия, заподозрит ересь.

Совсем иное – молитвы бабушки, обращенные к Богородице.

“Выпрямив сутулую спину, вскинув голову, ласково глядя на круглое лицо Казанской Божьей Матери, она широко, истово крестилась и шумно, горячо шептала:

– Богородица Преславная, подай милости Твоя на грядущий день, матушка!

Кланялась до земли, разгибала спину медленно и снова шептала все горячее и умиленнее:

– Радости источник, красавица пречистая, яблоня во цвету!

Она почти каждое утро находила новые слова хвалы, и это всегда заставляло меня вслушиваться в молитву ее с напряженным вниманием.

– Сердечушко мое чистое, небесное! Защита моя и покров, солнышко золотое, Мати Господня, охрани от наваждения злого, не дай обидеть никого, и меня бы не обижали зря!”

Дедушка злится, слыша все это:

“– Сколько я тебя, дубовая голова, учил, как надобно молиться, а ты все свое бормочешь, еретица! Как только терпит тебя Господь! <...> Чуваша проклятая!”

Вот еще одно объяснение странной религии бабушки. “Чуваша!” Языческая кровь бродит в ней и в ее детях, взрывая когда-то насильно привитое ее народу христианство. Культ Богородицы, плодоносящей силы, ближе ей, чем суровый Бог деда Василия. Да она просто и не понимает Бога как первооснову мироздания. Кто Его-то родил? Понятное дело, Богородица! Бого-родица.

Она язычница чистой воды. Восприняв от христианства идею милосердия, она так и не стала церковной христианкой в строгом смысле. И вот это нравится Алексею! Не столько идея милосердия, сколько подмена Бога Богородицей, Матерью мира, а значит, и его матерью! Вот почему он целовал Богородицу в губы.

Но это, в конце концов, означало страшное. Отодвигая от себя бабушку, теплого бога, убивая этого бога, он убивал в себе Мать и такой ценой становился самостоятельным человеком. О да, эта дорогая “могила” всегда оставалась в его душе! Она питала его творчество, причем лучшие его стороны. Но “отсохшие”, по его выражению, части сердца были невосстановимы. Отправляясь в Казань, Пешков заключал договор с новым богом, упрямым и жестокосердным. И этот бог был ближе к “Богу дедушки”, как понимал его Алексей.

“...Отца опустили в яму, откуда испуганно выскочило много лягушек. Это меня испугало, и я заплакал. Подошла мать, у нее было строгое, сердитое лицо, от этого я заплакал сильнее. Бабушка дала мне крендель, а мать махнула рукой и, ничего не сказав, ушла. *Всё об отце* (курсив мой. – П.Б.). Мало. Я бы, наверное, больше оставил моим детям и уж во всяком случае не забыл извиниться перед ними в том, что они обязаны существовать по моей вине (наполовину, по крайней мере). Это обязанность каждого порядочного отца, прямая обязанность...” (“Изложение фактов и дум...”)

Став невольным отцеубийцей (заразив отца холерой), маленький Алеша лишился не только отца, но и матери.

“Я лежал в саду в своей яме (снова яма! – П.Б.), а она гуляла по дорожке невдалеке от меня со своей подругой, женой одного офицера.

– Мой грех перед Богом, – говорила она, – но Алексея я не могу любить. Разве не от него заразился холерой Максим <...> и не он связал меня теперь по рукам и по ногам? Не будь его – я бы жила! А с такой колодкой на ноге недалеко упрыгаешь!..”

“Колодка на ноге”... “Женщинам, имеющим намерение наслаждаться жизнью, – жестоко замечает Горький, – ничем не связывая себя, следует травить своих детей еще во чреве, в первые моменты их существования, а то даже для женщин нечестно, сорвав с жизни цветы удовольствия, отплатить ей за это [одним или двумя существами, подобными мне]...” (“Изложение...”)

Сколько же “могил” было в сердце этого юноши, когда он отправлялся на пароходе в Казань, оставляя погибать проклятый каширинский род! Он так и не нашел живого человека, который поселился бы в его душе, где не оказалось места ни Богу, ни отцу, ни матери. Единственный человек, кто мог бы претендовать на это вакантное место, была его бабушка...

Зимой 1887 года, побираясь Христа ради, она упала и разбилась на церковной паперти, скончалась от “антонова огня”. На ее могиле безутешно рыдал нищий, потерявший все свое состояние дедушка. Алексей узнал об этом через семь недель после похорон.

День второй Сирота казанская

*Физически я родился в Нижнем Новгороде. Но духовно – в Казани.
Из беседы М. Горького с Н. Шебуевым*

*Останки мои прошу взрезать и рассмотреть, какой черт сидел во
мне за последнее время.
Из предсмертной записки Алексея Пешкова*

То «люди», а то «человеки»

Отправляя Алексея во внешний мир, дед отпечковывал его от семьи. Смысл был такой: ступай “в люди” и стань человеком. Вот как я, Василий Каширин, из бурлаков, из этой серой и неразличимой массы, выбился в заметного человека, цехового старшину, так и ты (черт тебя разберет, кто ты такой – Пешков или Каширин?) потришь “в людях” и стань человеком.

Однако дед не мог предполагать, что Алешино понимание отличия “людей” от “человеков” пойдет столь далеко. Внук попытается создать *свою* религию, в которой Человек (как духовное существо) не только не будет совпадать с людьми (как природной и социальной средой), но окажется в жестокой войне с ними.

Однажды, уже отходя от доброй религии бабушки и больше прислушиваясь к дедовым рассуждениям о “людях” и “человеках”, Алексей приходит к мысли, которая навсегда определит его духовную судьбу: “Человеку мешают жить, как он хочет, две силы – Бог и люди” (“В людях”).

В “Детстве” он сводил счеты с обидевшим его Богом, непочтительно возвратив Ему право несчастного сироты на Небесное Царство. Бог изгнан из души его. Даже добрый (слишком добрый для этого жестокого мира) бог бабушки. Тем более что, обладая цепким умом деда, он быстро понял, что нет этого доброго бога вовсе. Есть бабушка Акулина, жалостливая старуха, “матерь всем”, отзывчивая, большая и щедрая, “как земля”. Зато Бог дедушки, Бог настоящий, Творец и Судия сущего, Он есть! И этот Бог обидел Алексея! Он еще не осмыслил всей обиды до конца, не претворил ее в свою “правду”. Алеша не знает, что в далекой Германии “базельский мудрец” Фридрих Ницше уже готов обмакнуть перо в чернила и вывести слова: “Бог умер”.

“Прочь с таким Богом! Лучше без Бога! Лучше на свой риск и страх устраивать судьбу!” (Ницше).

Он еще не переосмыслил на свой лад библейскую книгу Иова. Через много лет Горький напишет В. В. Розанову: “Любимая книга моя – книга Иова, всегда читаю ее с величайшим волнением, а особенно 40-ю главу, где Бог поучает человека, как ему быть богоравным и как *спокойно* встать рядом с Богом”.

Но Иовом, которого за что-то наказал несправедливый Бог, он почувствовал себя слишком рано. Только в отличие от Иова Горький доведет свой бунт до конца. Если Господь бросил людей на произвол дьявола, что ж, отвернемся от Него, “встав рядом”. Да ведь Он Сам, создав для человека ужасные условия бытия, обидев человека по всем статьям и сделав его игрушкой дьявола, намекает на это. Изгнал из рая? Построим свой!

Эти гордые мысли смутно носятся в голове Алексея. Там царит мешанина, путаница из чужих идей и верований. Но одно он начинает понимать с горечью: главный враг человеку не

Бог, а люди! “В наше время ужасно много людей, только нет Человека”, – заявит он в одном из ранних писем.

Отправляясь в Казань, Алексей оставлял “мертвым хоронить своих мертвецов”. Это решение нелегко далось ему. Как больно стало этому физически сильному, но угловатому и некрасивому подростку, когда из Нижнего Новгорода пришло неграмотное, без запятых, письмо от двоюродного брата Саши, где было сказано о смерти бабушки:

“Схоронили ее на Петропавловском где все наши провожали мы и нищие они ее любили и плакали. Дедушка тоже плакал нас прогнал а сам остался на могиле мы смотрели из кустов как он плакал тоже скоро помрет”.

Алеша не заплакал.

Но “точно ледяным ветром охватило” его.

К тому времени Алеша работал в булочной Андрея Деренкова, все доходы от которой шли на кружки самообразования и поддержку народнического движения в Казани. Деренков был старше Алексея на десять лет, подружился с подручным своего пекаря и частенько оставлял его ночевать у себя. “...Мы чистили комнату и потом, лежа на полу, на войлоках, долго дружеским шепотом беседовали во тьме, едва освещенной огоньком лампы (отец Деренкова был набожным. – П.Б.)”. Алексей был почти влюблен в сестру Андрея, Марию Деренкову. В Казани прямой и общительный Алексей Пешков быстро познакомился не только со студентами, но и с ворами, босяками, пекарями, крючниками, фабричными.

Однако о смерти бабушки, самого дорогого ему человека, некому было сказать. Некому было выплакаться.

Но почему было не рассказать Деренкову?

“С тихой радостью верующего он говорил мне:

– Накопятся сотни, тысячи таких хороших людей, займут в России все видные места и сразу переменят всю жизнь...”

Но того, что рядом с ним, “на войлоках”, беззвучно кричала и корчилась больная одинокая душа, Деренков не замечал? Или Алексей не позволял этого видеть?

Почему не поговорил с Марьей? Наконец, не отправился на берег Волги или Казанки к нищим и босякам, не выпил с ними водки на помин души, не высказал им свое горе? Они бы его поняли. Бабушка Акулина была из их среды.

“Не было около меня ни лошади, ни собаки, и что я не догадался поделиться горем с крысами?” – с отчаянием пишет он.

Отъезд в Казань был своего рода сжиганием мостов между Алешей Пешковым и Каширинными. Как ни обижали его в этой сложной семье, но личность его во многом сформировалась благодаря деду и бабушке Кашириным. Письмо Саши потревожило эти сердечные “могилы”. Но рассказать об этом кому-либо он не мог. Простой народишко на Волге понял бы его. О, конечно! Наверное, поняли бы его и студенты, и Деренков, и Марья. Поняли бы и пожалели. Как обидела юношу судьба! Бедный ты наш!

Но в том-то и дело, что он не хотел не только жалости, но и *понимания*. Жалости не хотел, потому что “строг и заносчив стал”. А понимания?

Во-первых, он сам себя не понимал. Во-вторых, как раз понимания со стороны “людей” он инстинктивно не желал. Понять – значит сделать своим. Но своим его не удалось сделать даже бабушке. Даже ей он не позволил оформить свою душу, а тем более разум. Как же позволить сделать себя своим ворами и грузчикам? Добряку Деренкову? Или Марье?

Да он только что выбрался из “людей”! Выломился из этой среды. Его не смогли сделать своим ни мастера-богомазы в иконописной мастерской, ни повара и матросы на пароходе “Добрый”, где Алеша работал посудником. Все проиграли сражение за его душу. Даже повар Смурый...

Колдун с сундуком

Но существовал ли гвардии отставной унтер-офицер Михаил Акимович Смурый? Может, не было его?

Горький пишет о Смуром в заметке 1897 года: “Он возбудил во мне интерес к чтению книг. У Смурого был целый сундук, наполненный преимущественно маленькими томиками в кожаных переплетах, и это была самая странная библиотека в мире. Эккартгаузен лежал рядом с Некрасовым, Анна Радклиф с томом «Современника», тут же была «Искра» за 1864 год, «Камень веры» и книжки на украинском языке”.

В “Биографии”, написанной несколько ранее, в 1893 году, на что обращает внимание исследователь жизни Горького Лидия Спиридонова, повара Смурого нет и в помине. “Для чтения книги покупались мной на базаре”, – пишет Горький о жизни на пароходе. И ни словечка о “сундучке”. Вместо Смурого упоминается старший повар Потап Андреев, который сажал мальчика на колени, выслушивал его рассказы (жизненные или вычитанные из книг?) и говорил: “Чудашноватый ты парень будешь, Ленька, уж это верно!”

Нет о Смуром и в переписке Горького с Груздевым. А ведь Груздев обстоятельно расспрашивал Горького о куда менее значимых героях. А слона не приметил! Но ведь Смурый несомненно один из главных, если не самый главный герой “В людях”.

Если бы Смурого не было, его нужно было бы выдумать. Как и особого бога бабушки. Как и злого Бога дедушки. Как и символику с лягушками. Как и многое другое, без чего трилогия перестанет быть художественным произведением.

Смурый с его колдовским сундуком, набитым разными по смыслу книгами, – это новый учитель еще не сформировавшегося русского Заратустры. Его учение Алеша должен принять в себя, в самое сердце свое. Чтобы затем убить это в себе и двигаться дальше. Книжки, покупаемые на базаре во время стоянок парохода то ли из-за доступной цены, то ли из-за привлекательной обложки или названия (Эккартгаузен! “Камень веры”!), – это слишком понятно и неинтересно.

Появление Смурого дает процессу книжного образования мальчика *лицо*. И не важно, что это лицо изрядно выпивающего малоросса, бывшего унтера. Это видит Горький и позволяет понять проницательному читателю. Но Алеша-то находится в зачарованном лесу исканий, сомнений. И потому Смурый в его представлении – это Колдун, и сундук его колдовской.

Сундук предлагает ему множество ответов на мучительные вопросы бытия. Смурый испытывает Алексея, как дьявол искушал Христа в пустыне. Однако дьявол задавал Христу искушающие вопросы, на которые у Христа были точные ответы, а Смурый как раз предлагает сомнительные ответы, которые побуждают Алексея задавать искушающие вопросы.

Образ Смурого, как и положено Колдуну, двоится в наших глазах. То это милейший человек, то злой и своенравный пророк.

“В каюте у себя он сует мне книжку в кожаном переплете и ложится на койку, у стены ледника.

– Читай!

Я сажусь на ящик макарон и добросовестно читаю:

– «Умбракул, распещренный звездами, значит удобное сообщение с небом, которое имеют они освобождением себя от профанов и пророков»...

Колдун недоволен таким направлением мысли:

“– Верблюды! Написали...”

“Он закрывает глаза и лежит закинув руки за голову, папироса чуть дымится, прилепившись к углу губ, он поправляет ее языком, затягивается так, что в груди у него что-то свистит и огромное лицо тонет в облаке дыма. Иногда мне кажется, что он уснул, я перестаю читать и разглядываю проклятую книгу”.

“Он постоянно внушал мне:

– Ты – читай! Не поймешь книгу – семь раз прочитай, семь не поймешь – прочитай двенадцать”.

7 и 12. У Колдуна и цифры не случайные, магические.

Но Колдун не знает, что перед ним не просто умный мальчик. Это Алеша Пешков, эдакий Колобок, который и от бабушки ушел, и от дедушки ушел, и от тебя, Колдуна, тоже уйдет.

Карл Экартгаузен, немецкий философ-мистик XVIII века. “Омировы наставления, книга для света, каков он есть, а не каким быть должен” – это собрание нравственно-поучительных новелл. Колдун подзадоривает ученика, поругивая одно и предлагая Алеше другое.

“– Сочиняют, ракальи... Как по зубам бьют, а за что – нельзя понять. Гервасий! А на черта он мне сдался, Гервасий этот...”

Однако “Гервасия” в сундучке хранит и заставляет читать.

Мальчик с трудом читает название книги: “Толкование воскресных евангелий с нравоучительными беседами, сочиненное Никифором архиепископом Славенским, переведено с греческого в Казанской академии иеродиаконем Гервасием”. Колдун хохочет.

И так же смеется Колдун, когда Алеша читает ему готический роман Анны Радклиф вперемежку со статьями Чернышевского, масонский “Камень веры” и антимасонский манифест Уилсона “Масон без маски, или Подлинные таинства масонские...”. Смешно Колдуну. Но не Алеше...

Колдун по-своему любит Алешу, тайно надеясь заманить в силки какой-то *своей* веры, испытывая на духовную прочность. И Алеше нравится Колдун. Колдун отличается от “людей”. Есть в нем загадка, ошибка в сотворении человека злым и неправильным дедушкиным Богом. Истина “что не от Бога, то от дьявола” заключает в себе, по мнению Алеши, прямолинейную и неинтересную мораль. Как и конец сказки о гордом Колобке.

“– Пешков, иди читать.

– У меня немытой посуды много.

– Максим вымоет.

Он грубо гнал старшего посудника на мою работу, тот со зла бил стаканы, а буфетчик смиренно предупредил меня:

– Сажу с парохода...”

Но ссадил с парохода Алешу сам Колдун.

“Взяв меня под мышки, приподнял, поцеловал и крепко поставил на палубу на пристани. Мне было жалко и его и себя; я едва не заревел, глядя, как он возвращается на пароход, расталкивая крючников, большой, тяжелый, одинокий...”

Сколько потом встретил я подобных ему добрых, одиноких, отломившихся от жизни людей!..”

Правильнее сказать: отломившихся от людей *человеков*.

Второй искуситель

Повесть “Мои университеты”:

“Итак – я еду учиться в Казанский университет, не менее того. Мысль об университете внушил мне гимназист Н. Евреинов, милый юноша, красавец с ласковыми глазами женщины. Он жил на чердаке в одном доме со мною, он часто видел меня с книгой в руке, это заинтересовало его, мы познакомились, и вскоре Евреинов начал убеждать меня, что я «обладаю исключительными способностями к науке»”.

Так на пути нижегородского Колобка возник еще один искуситель. В его облике, в отличие от кряжистого колдуна Смурого, есть что-то женское. Евреинов ветрен и легкомыслен. Коварно совращает Алексея на путь служения науке и бросает его мыкаться в Казани.

Во всяком случае, так изображен в повести молодой Николай Владимирович Евреинов (1864–1934). На этот раз несомненно реальный человек, сын письмоводителя, гимназист, студент физико-математического факультета Казанского университета, добровольно, в знак протеста, покинувший университетские стены после разгрома студенческого движения за отмену сословных ограничений при приеме в университет. Вместе с ним подписал коллективное письмо Владимир Ульянов, будущий Ленин.

Горький не осуждает Евреинова ни в “Моих университетах”, ни позже в письмах к Груздеву, понимая, что юношей двигало доброе сердце. Он подарил Алеше несколько недель сладких иллюзий. “...В Казани я буду жить у него, пройду за осень и зиму курс гимназии, сдам «кое-какие» экзамены – он так и говорил: «кое-какие», – в университете мне дадут казенную стипендию, и лет через пять я буду «ученым»...”

Между прочим, добросердечный юноша был старше искушаемого на четыре года. Однако Алексей смотрит на искусителя несколько свысока. В свете своего жизненного опыта он быстро понимает, что такие, как Евреинов, живут за счет близких людей. В данном случае это была мать Евреинова, кормившая на свою нищенскую пенсию двух сыновей. Приглашая Пешкова в Казань, Николай по доброте сердечной сажал на шею матери третьего едока. “В первые же дни я увидал, с какой трагической печалью маленькая серая вдова, придя с базара и разложив покупки на столе кухни, решала трудную задачу: как сделать из небольших кусочков плохого мяса достаточное количество хорошей пищи для трех здоровых парней, не считая саму?”

Серая вдова и Алеша поняли друг друга. Алеша исправил ошибку Николая. Ушел от Евреиновых и стал жить своим трудом. Мечты об университете он похоронил...

Его школы

Приехавший в Казань с гордой мыслью поступить в старейший в России после московского университет Пешков не только не закончил гимназии, но и не имел никакого законченного среднего образования. Читать по-русски его кое-как наскоро научила мать во время одного из недолгих пребываний в доме Кашириных. Дед научил его церковной грамоте, да и то выборочно. Если верить “Детству”, придя в школу, Алеша не знал ни ветхозаветной, ни христианской истории, зато наизусть читал псалмы и жития святых, чем немало изумил архиепископа Хрисанфа, однажды посетившего их школу. По-видимому, дед Василий был “начетчиком” в точном смысле слова, то есть тайным старообрядцем, не признававшим никонианской Библии.

Недолго мальчик учился в приходской школе, заболел оспой и был вынужден прекратить учение. Потом были два класса в слободском начальном училище в Кунавине, пригороде Нижнего, где Алеша некоторое время жил с матерью и отчимом. “Я пришел туда (в училище. – П.Б.) в материных башмаках, в пальтишке, перешитом из бабушкиной кофты, в желтой рубахе и штанах «навыпуск», все это сразу было осмеяно, за желтую рубаху я получил прозвище «бубнового туза». С мальчиками я скоро поладил, но учитель и поп невзлюбили меня...” (“Детство”)

Однажды пьяный отчим, “личный дворянин”, на глазах у Алеши стал избивать его мать. Отношение мальчика (и затем Горького) к чужой боли было особенным. Он просто не выносил ее. При этом собственную боль замечательно переносил и в старости признался Илье Шкапе, что вообще ее, *своей* боли, не чувствует. Скорее всего, это было преувеличением. Но и поэт Владислав Ходасевич, близко общавшийся с Горьким, свидетельствует: “Физическую боль он переносил с замечательным мужеством. В Мариенбаде рвали ему зубы – он отказался от всякого наркоза и ни разу не пожаловался. Однажды, еще в Петербурге, ехал он в переполненном трамвае, стоя на нижней ступеньке. Вскочивший на полном ходу солдат со всего размаху угодил ему подкованным каблуком на ногу и раздробил мизинец. Горький даже не обратился к

врачу, но после этого чуть ли не года три предавался странному вечернему занятию: собственноручно вытаскивал из раны осколки костей”.

Отчим не просто бил его мать. Он унижал ее, когда она не пускала его к любовнице. Больная чахоткой, значительно старше второго мужа, Варвара быстро потеряла свою былую привлекательность. Алеша пришел в ярость не только от переживания физической боли матери, но и от жуткой обиды за нее.

“Даже сейчас я вижу эту подлую длинную ногу, с ярким кантом вдоль штанины, вижу, как она раскачивается в воздухе и бьет носком в грудь женщины” (“Детство”).

Алексей схватил нож (“это была единственная вещь, оставшаяся у матери после моего отца”) и ударил отчима в бок с явным намерением его убить. Если бы Варвара не оттолкнула мужа, Алеша убил бы его. Потом он заявил, что зарежет отчима и сам тоже зарежется. “Я думаю, я сделал бы это, во всяком случае, попробовал бы” (“Детство”).

В результате из Кунавина Алексея отправили обратно к деду, который к тому времени разорился. “Школой” мальчика стали улица, поля, Ока, Волга... И такие же, как он, обойденные родительской заботой мальчишки из русских, из татар, из мордвы, с именами либо кличками: Язь, Хаби, Чурка, Вяхирь, Кострома. Прозвище Пешкова было Башлык.

Но даже если бы закончил Алеша начальное приходское училище, для поступления в университет этого все равно было мало. Приходские училища не надо путать с церковно-приходскими, состоявшими в ведении Синода. Они содержались городом и “почетными блюстителями” из купцов. “Особенная цель приходских училищ – безвозмездное распространение первоначальных знаний между людьми всех сословий и обоего пола. В эти училища допускаются дети не моложе 8 лет, а девочки не старше 11. От вступающих не требуется никакой платы и никаких предварительных сведений. В них преподаются следующие предметы: 1) Закон Божий по краткому катехизису и священной истории; 2) чтение по книгам церковной и гражданской печати и чтение рукописей; 3) чистописание и 4) четыре первые действия арифметики” (“Памятная книжка Нижегородской губернии”, 1865).

Даже в такой школе, рассчитанной на низшие слои населения, Алеша оказался изгоем.

“В школе мне <...> стало трудно, ученики высмеивали меня, называя ветошником, нищесбродом, а однажды, после ссоры, заявили учителю, что от меня пахнет помойной ямой и нельзя сидеть рядом со мной. Помню, как глубоко я был обижен этой жалобой и как трудно мне было ходить в школу после нее. Жалоба была выдумана со зла: я очень усердно мылся каждое утро и никогда не приходил в школу в той одежде, в которой собирал тряпье”.

При этом у Алеши была колоссальная воля к учению и “лошадиная”, по словам деда, память. Только этим можно объяснить, что бывший ветошник, порой и воришка, таскавший вместе с такими же отщепенцами дрова со складов, в возрасте двадцати лет в нелегальном кружке самообразования уже читал собственный реферат по книге В. В. Берви-Флеровского и не соглашался с тем, что пастушеские и мирные племена играли большую роль в развитии культуры, чем племена охотников. Затем он штудировал Ницше, Гартмана, Шопенгауэра и менее известных Каро, Сёлли. Причем, изучая Шопенгауэра, не ограничивался фетовским переводом работы “Мир как воля и представление”, но прочитывал и такой труд немецкого пессимиста “О четверояком корне достаточного основания”.

Этой книжной мудростью Пешков пропитался не меньше, чем пылью нижегородских улиц и волжскими далями, песнями дяди Якова и матерщиной дяди Михаила, сказками бабушки и рассказами дедушки. И все это вместе, от первого бычьего мосла, подобранного на помойке, до первой прочитанной философской книги, можно считать “университетами” Горького.

«Сын народа»

Пешков прибыл в Казань летом или осенью 1884 года. Судьба определенно преследовала его. Именно в этом году был принят новый университетский устав, который, во-первых, существенно ограничивал внутреннюю самостоятельность университетов, ликвидировав их и без того относительную автономию и подчиняя учебный процесс министерству в лице попечителей, а во-вторых, резко сокращал число принимаемых в университеты лиц из беднейших слоев населения, а также евреев. Это вызвало студенческие волнения, которые закончились убийством студентом министра народного просвещения.

А как ему хотелось в университет! Если б ему предложили: “Иди, учись, но за это по воскресеньям на Николаевской площади мы будем бить тебя палками”, – Алексей Пешков, “наверное, принял бы это условие”. Вот почему к студенческим волнениям и к добровольному отчислению студентов он отнесся с недоумением. Как это – тебе позволяют учиться, а ты отказываешься!

Вообще к студентам у Алеши Пешкова было сложное отношение. С грустью взирал он на то, как безотчетно транжириятся деньги доброго Андрея Деренкова. Из кассы берут все кому не лень. В итоге Деренков разорился, впал в долги, был вынужден бежать в Сибирь. Мытарства этого “рыцаря революции” после Октябрьского переворота описаны Горьким в письме к секретарю обкома Р. И. Эйхе 1936 года: “...В селе Лебедянке Анжеро-Судженского района, в доме крестьянина Лазарева, живет старик 78 лет – Андрей Степанович Деренков. Это тот самый Андрей Деренков, который в 80-х годах в Казани организовал нелегальную библиотеку, питавшую молодежь. Революционная роль этой библиотеки была весьма значительна. Кроме того, Деренков организовал булочную, и она давала немалый доход, который употреблялся на обслуживание местных студенческих кружков, помощь политссыльным и т. д. В этой булочной я работал и дела ее хорошо знаю. В начале 90-х годов Деренков принужден был скрыться из Казани в Сибирь. За время от 90-х годов до 28-го я с ним не переписывался, а в 28 году он мне написал, что «раскулачен» – кажется, он крестьянствовал или торговал, имея большую семью. Теперь он пишет мне: «Живу плохо, угнетает меня титул “лишенец”. У меня на руках большая дочь. Хотелось бы конец жизни прожить свободным гражданином. Нельзя ли снять с меня титул “лишенец”?» – спрашивает он. С этим же вопросом я обращаюсь к Вам: если можно – вознаградите человека за то хорошее, что он делал, за плохое его уже наказали...”

Просьбе Горького вняли, и Деренкову назначили пенсию, с которой он прожил без малого до ста лет. Он скончался в 1953 году.

К тому же деньги для студентов Деренков зарабатывал каторжным трудом Алексея, работавшего у него подручным пекаря. Он таскал пятипудовые мешки с мукой, чтобы замесить из нее тесто. Работал Алексей ночью, потому что к утру студенты университета и духовной академии ждали свежих горячих булочек и кренделей. Эти булочки доставлял им в обжигавшей руки корзине все тот же неутомимый Алексей. Заодно в корзинку подкладывали нелегальные книги, прокламации, а нередко и любовные записочки. За передачу записочек предлагали деньги. Алексей их принципиально не брал.

Из письма к Груздеву:

“Мое дело – превратить 4–5 мешков муки в тесто и оформить его для печения. 20 пудов муки, смешанных с водою, дают около 30 пуд<ов> теста. Тесто нужно хорошо месить, а это делалось руками. Каравай печеного весового хлеба я нес в лавку Деренкова рано утром, часов в 6–7. Затем накладывал большую корзину булками, розанами, сайкамподковками – 2–2½ пуда и нес ее за город на Арское поле в Родионовский институт, в духовную академию. <...> Одним словом, ежели не прибегать к поэзии, так дело очень просто: у меня не хватало времени в баню сходить, я почти не мог читать, так где уж там пропагандой заниматься!”

“Работая от шести часов вечера почти до полудня, днем я спал и мог читать только между работой, замесив тесто, ожидая, когда закиснет другое, и посадив хлебы в печь”. (“Мои университеты”).

Подвальчик, где работал Пешков, был маленьким. Алексей собственноручно выдолбил нишу в стене, чтобы не упирался в стену конец ухвата.

Пекарь оказался циником и сладострастником, падким на девиц. Очередную девицу, крестницу городского Никифорыча (что вызывало его особую гордость) он приводил в подвал и услаждался с ней в сенях прямо на мешках с мукой, а когда было холодно, просил Алешу: “Выдь на полчаса!”

Алеша думал, наблюдая эту полуживотную жизнь: “И мне – так жить?!” Поэтому к людям иного сорта, в частности к студентам, он относился вроде бы с пиететом.

“Часто мне казалось, что в словах студентов звучат мои немые думы, и я относился к этим людям почти восторженно, как пленник, которому обещают свободу”.

Но в этот восторг не очень веришь, потому что ниже стоят слова:

“Они же смотрели на меня, точно столяры на кусок дерева, из которого можно сделать не совсем обыкновенную вещь.

– Самородок! – рекомендовали они меня друг другу, с такой же гордостью, с какой уличные мальчишки показывают один другому медный пятак, найденный на мостовой...”

Ему не нравилось, когда его называли “сыном народа”. Но почему? Потому что народа как явления для него не существовало.

“Когда говорили о народе, я с изумлением и недоверием к себе чувствовал, что на эту тему не могу думать так, как думают эти люди. Для них народ являлся воплощением мудрости, духовной красоты и добросердечия, существом почти богоподобным, вместилищем начал прекрасного, справедливого, величественного. Я не знал такого народа. Я видел плотников, грузчиков, каменщиков, знал Якова, Осипа, Григория, а тут говорили именно о единосущном народе и ставили себя куда-то ниже его, в зависимость от его воли. Мне же казалось, что именно эти люди воплощают в себе красоту и силу мысли, в них сосредоточена и горит добрая, человеколюбивая воля к жизни, к свободе строительства ее по каким-то новым канонам человеколюбия”.

Да, он вышел из народа. Вернее, из “людей”. Но не для того, чтобы в “люди” вернуться. Так или примерно так Алеша если не думал, то *чувствовал* себя в Казани.

Перед тем как попытаться себя убить.

Покончить с собой

На рубеже XIX–XX веков среди молодежи было модно умирать, насильственно прерывая свою жизнь в цветущем возрасте. И не просто, а с каким-нибудь вывертом.

В январе 1885 года в Казани застрелилась дочь богатого чаеоторговца, или, как говорили тогда, “торговца колониальным товаром”. В знак протеста против решения отца выдать ее замуж за нелюбимого она ушла из жизни с антицерковным пафосом: застрелилась сразу после венчания. Весть о гибели Д. А. Латышевой немедленно облетела всю Казань. О ней писала газета “Волжский вестник”, ее поступок обсуждался не только студентами, но и работниками пекарни Семенова, где в то время месил тесто Алексей, уйдя от Деренковых. Студенты поступком восторгались, пекари говорили: “Косы ей драли мало, девице этой...”

Судя по “Моим университетам”, Пешков к добровольной смерти замужней девицы отнесся равнодушно. На похоронах ее не был, а там присутствовали около пяти тысяч человек, студенты в основном.

Но в том же “Волжском вестнике” под общим заголовком “Стихи на могиле Д. А. Латышевой” и коллективной подписью “Студент” напечатали и стихотворение Пешкова. Это первая

публикация будущего Горького, по сути, его дебют. Правда, в полном собрании произведений стихотворение стоит в разделе Dubia, авторство его не считается стопроцентно доказанным. Эти стихи в 1946 году по памяти читал сотрудникам казанского музея Горького А. С. Деренков, утверждая, что их автором был Пешков.

Как жизнь твоя прошла?
О, кто ж ее не знает?!
Суровый произвол, тяжелый, страшный гнет...
Кто в этом омуте не плачет, не страдает,
Кто душу чистою, невинной сбережет?

С художественной точки зрения это плохо. Но несправедливо было бы требовать от полуграмотного подручного пекаря стихотворного перла.

Скорее всего, наработавшись ночью в пекарне, Пешков спал мертвым сном, когда студенты шли за гробом несчастной девицы.

Тем не менее выскажем осторожное предположение: молодой Пешков, видимо, сам страдал суицидальным комплексом. Еще школьником, когда он заболел оспой и его связали, чтобы не расчесывал себя до крови, Алексей развязался, выбросился в чердачное окно, разбив стекло головой. Допустим, это было сделано в бессознательном состоянии. Но когда он пошел с ножом на отчима, то грозился матери, что убьет его, а потом *убьет себя*. После неудавшейся попытки застрелиться в Казани, оказавшись в больнице, Пешков еще раз пытался покончить с собой. Было это так. Оперировал его, вырезав из спины пулю, ассистент хирурга Н. И. Студентского И. П. Плюшков, операция прошла удачно. Однако на третий день на обход приехал сам Студентский, известный своей грубостью. Он чем-то обидел больного, тот схватил большую склянку хлоралгидрата и выпил его. Алексею промыли желудок.

В 1892 году Горький писал И. А. Картиковскому: “Пуля в лоб или сумасшествие окончательное. Но, конечно, я избираю первое”.

В советское время писать о психопатологии Горького было почти невозможно. Тем не менее об этом писал доктор И. Б. Талант. В середине двадцатых годов, перед возвращением Горького в СССР, Талант вступил с ним в переписку и попытался выявить психопатологическую подоплеку горьковских произведений. Горький был явно недоволен этим любопытством. В письмах к Груздеву он указал на Таланта как на “казус”, намекая таким образом, что его биографу влезать в эти вопросы не стоит.

И Груздев правильно его понял. Горький так настойчиво и недоброжелательно указывал ему на исследования Таланта, что в конце концов биограф решил успокоить его: “Дорогой Алексей Максимович, сколь Вы ни уstraшены доктором Талантом, все же, думаю, не в такой мере, как я – тем, что поставили меня рядом с ним. Я обомлел, когда прочел Ваше письмо! Но поделом! Довела-таки меня жадность до конфуза! Хотя жаден я не так, как Талант, а по-иному. Талант охотится за хвастливыми, худосочными выводами – мне нужны честные, как столб, факты”.

Под “жадностью” Груздев имел в виду дотошность, с какой он старался проследить связь между Горьким настоящим и вымышленным. Осторожно выпрашивая его в письмах о живых людях, которые стали персонажами его творчества, он проводил параллельно собственные разыскания, порой удивляя самого Горького неожиданными биографическими фактами, о которых тот забыл или не хотел вспоминать. Талант же исходил из априорного убеждения, что Горький в юности болел психическим заболеванием. И даже не одним, а целым букетом. С наивностью ученого медика он сообщил этот “факт” Горькому, написав: “Я считаю эту мою идею гениальной”.

Но Горький так не считал. Тем более перед возвращением в СССР, где советский народ и лично товарищ Сталин ждали не человека, страдавшего психопатологией, а “инженера человеческих душ” (впрочем, это более позднее определение).

Но кое-что из своих открытий о Горьком Талант все-таки опубликовал в необычном периодическом издании “Клинический архив гениальности и одаренности”, выходившем в двадцатые годы в Ленинграде. Одна из его статей называлась: “К суицидомании Горького”. Вывод статьи не блистал оригинальностью: “Горький до того часто говорит в своих рассказах о самоубийстве и заставляет так часто своих героев покушаться на самоубийство <...>, что можно говорить о «литературной суицидомании» Горького”.

В творчестве Горького очень много персонажей-самоубийц. Начнем с самоубийства Сокола, столь любимого автором, в отличие от мудрого Ужа. И разве не убивает себя Данко, пусть и ради людей? Кончает с собой силач и красавец Коновалов в одноименном рассказе. Илья Лунев в романе “Трое” разбивает себе голову о стену. Вешается на пустыре возле ночлежки Актер в пьесе “На дне”. Суицидальный список можно продолжать.

“Влекло меня тогда к людям «со странностями»”, – писал Горький Илье Груздеву, вспоминая жизнь в Казани. А что может быть страннее человека, решившего добровольно умереть?

Но отношение зрелого Горького к самоубийцам было уже резко отрицательное. Причем до безжалостности. На самоубийство Маяковского он отозвался презрительно:

“Нашел время”. Смерть Есенина более тронула его, всколыхнув личные воспоминания о поэте. Илья Груздев с ужасом, смешанным с восторгом, писал Горькому о похоронах Есенина:

“Есенин в гробу был изумителен. Детское, страдальческое лицо, искривленные губы и чуть сведенные брови. И, странно, куда делась его внешность рязанского мальчика с примесью потасканного альфонса. Вместо этого он напомнил мне итальянца времен Возрождения. Какой благородный профиль, какие красивые руки! Это впечатление дня незабываемое на всю жизнь...”

А знаете, как он повесился? Обмотал вокруг шеи веревку и другой конец взял в руку, рукой зацепившись за трубу отопления. Малейшая слабость, и он выпустил бы из руки веревку и сорвался. Но он выдержал и удавил себя”.

Горький к такому способу самоубийства отнесся спокойно и с недоверием знатока:

“То, что Вы сообщили о Есенине, и поразило меня, и еще более цветисто окрасило его в моих глазах. Это – редкий случай спокойной ярости, с которой – иногда – воля человека к самоуничтожению борется с инстинктом жизни и преодолевает его.

Едва ли я страдал когда-либо и страдаю ныне «суицидоманией» – влечением к самоубийству, – как это утверждает д-р И. Б. Талант у вас, в «Клиническом архиве», но было время, когда я весьма интересовался вопросом о самоубийстве и собирал описания наиболее характерных случаев такового. В 97 году, в Лионе, некий портной устроил в подвале у себя гильотину с зеркалом, чтоб видеть, как нож ее отрежет голову ему. Он это видел, как заключили доктора. В 94-м Кромулин, студент Новороссийского университета, снял с койки матрас, поставил под койку три зажженных свечи и решал сложное математическое вычисление, в то время, как огонь жег ему спинные позвонки и жарил мозг в них. Через 27 минут он уже не мог решать вычисление, а затем – умер. Фактов такого порядка немало, но они, на мой взгляд, имеют характер «исследовательский», как бы пародируют «научное любопытство». Случая, подобного есенинскому, – не помню. Нет ничего легче, как убить себя «сразу», вовсе не трудно умерить себя голодом, но уничтожить себя так, как это, по Вашим словам, сделано Есениным, – потребна туго натянутая и несокрушимая воля”.

Это слова знатока суицида. Они говорят о том, что вопрос о добровольном уходе из жизни сильно волновал Горького. Еще не зная философии Фридриха Ницше, он в раннем творчестве испытывал человека на прочность по ницшеанскому принципу: “Если жизнь тебе

не удалась, может быть, тебе удастся смерть?” Но сам Горький тогда уже знал наверняка: ему ранняя смерть как раз не удалась.

Гадкий утенок

“В декабре я решил убить себя... Купив на базаре револьвер барабанщика, заряженный четырьмя патронами, я выстрелил себе в грудь, рассчитывая попасть в сердце, но только пробил легкое, и через месяц, очень сконфуженный, чувствуя себя донельзя глупым, снова работал в булочной” (“Мои университеты”).

Можно подумать, что имеется в виду револьвер с барабаном, то есть собственно револьвер, личное оружие для самообороны. Гражданское население России при существовавшей свободной продаже оружия пользовалось различными русскими и иностранными системами револьверов: бульдог, велодрог, стрелец, кольт и др. Судя по другому описанию попытки самоубийства в “Случае из жизни Макара”, Пешков купил на базаре наиболее дешевый револьвер так называемого одинарного действия, когда собачку каждый раз приходилось взводить заново и перемещать барабан перед тем, как спустить курок. Первый раз револьвер щелкнул впустую. Таким образом, Макар не просто стрелялся, но еще и играл в русскую рулетку.

В рассказе “Вечер у Шамова” (третий вариант той же истории) Горький дает объяснение, почему его оружием стал “револьвер барабанщика”: “такими револьверами в свое время вооружали барабанщиков”. Тем самым он еще раз подчеркнул шутовской характер своего поступка.

В рассказе “Случай из жизни Макара” дается простое объяснение попытки самоубийства – из-за неудачной влюбленности. Алеша Пешков был влюблен сразу в двоих: Марию Деренкову и приказчицу булочной. В рассказе приказчица появляется, чтобы подразнить несчастного накануне смерти.

“Отворилась трескучая дверь из магазина, всколыхнулся рыжий войлок, из-за него высунулось розовое веселое лицо приказчицы Насти, она спросила:

- Вы что делаете?
- Пишу.
- Стихи?
- Нет.
- А что?

Макар тряхнул головой и неожиданно для себя сказал:

– Записку о своей смерти. И не могу написать...

– Ах, как это остроумно! – воскликнула Настя, наморщив носик, тоже розовый. Она стояла, одной рукою держась за ручку двери, откинув другую войлок, наклонясь вперед, вытягивая белую шею, с бархоткой на ней, и покачивала темной, гладко причесанной головою. Между вытянутой рукою и стройным станом висела, покачиваясь, толстая длинная коса.

Макар смотрел на нее, чувствуя, как в нем вдруг вспыхнула, точно огонек лампы, какая-то маленькая, несмелая надежда, а девушка, помолчав и улыбаясь, говорила:

– Вы лучше почистите мне высокие ботинки – завтра Стрельский играет Гамлета, я иду смотреть, – почистите?

– Нет, – сказал Макар, вздохнув и гася надежду”.

С девушками у Пешкова обстояли дела не лучшим образом. Философ по натуре, он смущал их своим “умственным” отношением к жизни. И потом, в Тифлисе, по воспоминаниям С. А. Варганыянца, “общество женщин его еще больше стесняло; среди них он больше молчал, а если и говорил, то очень мало, отрывисто”.

С женским полом у Алексея были серьезные сложности. Если верить рассказу “Однажды осенью”, относящемуся к “казанскому циклу”, первый опыт половой любви Алеша получил от проститутки под перевернутой лодкой на берегу реки. Застигнутые ливнем, продрогшие,

они согревали друг друга и... Рассказ пронзительный, он отражает лучшие стороны его творчества: жажду человеческой теплоты, непродажной любви, высокое отношение даже к падшей женщине.

С какой болью Горький описывал, как отчим бил его мать! Потом это аукнется в повести “В людях”, где Алеша с ужасом наблюдает, как пьяный казак бьет, а затем фактически насилует гулящую бабенку в Нижнем Новгороде. Но любопытно, что подросток последовал за этой парой против своей воли. Он словно искал этой сцены, она манила его.

“Я ушел вслед за ними; они опередили меня шагов на десять, двигаясь во тьме, наискось площади, целиком по грязи, к Откосу, высокому берегу Волги. Мне было видно, как шатается женщина, поддерживая казака, я слышал, как чавкает грязь под их ногами; женщина негромко, умоляюще спрашивала:

– Куда же вы? Ну, куда же?

Я пошел за ними по грязи, хотя это была не моя дорога. Когда они дошли до панели Откоса, казак остановился, отошел от женщины на шаг и вдруг ударил ее в лицо; она вскрикнула с удивлением и испугом:

– Ой, да за что же это?

Я тоже испугался, подбежал вплоть к ним, а казак схватил женщину поперек тела, перебросил ее через перила под гору, прыгнул за нею, и оба они покатались вниз, по траве Откоса, черной кучей. Я обомлел, замер, слушая, как там, внизу, трещит, рвется платье, рычит казак, а низкий голос женщины бормочет, прерываясь:

– Я закричу... закричу...

Она громко, болезненно охнула, и стало тихо. Я нащупал камень, пустил его вниз, – зашуршала трава. На площади хлопала стеклянная дверь кабака, кто-то ухнул, должно быть, упал, и снова тишина, готовая каждую секунду испугать чем-то.

Под горою появился большой белый ком; всхлипывая и сопя, он тихо, неровно поднимается кверху, – я различаю женщину – она идет на четвереньках, как овца, мне видно, что она по пояс голая, висят ее большие груди, и кажется, что у нее три лица. Вот она добралась до перил, села на них почти рядом со мною, дышит, точно запаленная лошадь, оправляя сбитые волосы; на белизне ее тела ясно видны темные пятна грязи; она плачет, стирая слезы со щек движениями умывающейся кошки, видит меня и тихонько восклицает:

– Господи – кто это? Уйди, бесстыдник!

Я не могу уйти, окаменев от изумления и горького, тоскливого чувства, – мне вспоминаются слова бабушкиной сестры: «Баба – сила, Ева самого Бога обманула...»

И думал в ужасе: а что, если бы такое случилось с моей матерью, с бабушкой?”

Слово “грязь” повторяется четыре раза.

Упоминание матери неслучайно. Если в “Детстве” описано, как пьяный отчим бьет Варвару, то в “Изложении фактов и дум...” описывается, как мать ночью привела в их дом любовника. Проснувшийся мальчик Алеша видел его и познакомился с ним. Наутро мать сказала ему, что это был сон и что о нем никому не надо говорить. Потом Горький обыгрывает этот сюжет в рассказе “Сон Коли”. Не станем делать из этого далеко идущие выводы. Оставим их для фрейдистов от литературы, которые обнаружат здесь пресловутый эдипов комплекс. Очевидно одно: у юного Пешкова было трепетное, возвышенное отношение к любви и болезненный интерес к сексу, который представлялся ему “грязным”. Илья Груздев разыскал в дореволюционной “Босяцкой газете” (выходила в России и такая!) воспоминания о жизни Пешкова в казанской “Марусовке”, ночлежном доме, куда, после бегства от гостеприимного Евреина, его привел революционер Гурий Плетнев.

Как жил Максим Горький

по устному рассказу И. Владыкина, хозяина ночлежки, где жил Горький

... Да я даже и не знал, что Горький Максим и Пешков – одна личность. Увидел его портрет в магазине-то, в окне, и дыть присел: “Алёха, – думаю, – брат – ого-го-го! Да какими же путями...”

Вы спрашиваете, как жил-то Алексей. Удивительно. Помню вот, словно надясь было. А ведь прошло годов много... Это вот приходит раз длинный и лохматый верзила.

– Пусти, – крик, – дядя Ван, в ночлежку!..

Пустил.

Понравился верзила мне сразу, хоша больно он был свирепый во взгляде.

А жил он у меня не то два, не то один месяц.

Ну, значит, писал он. То ись я думал, что он того, божественное что, а он просто так.

Другой раз скучища, а он сидит на табурете у стола, прижмется грудью, строчит и сопит, индо другой раз зубами скрипнет.

– Ах, – говорит, – и паскуды же это все люди.

Чудной был. А так добрый, другой раз, когда зашибет где, всем даст, кто попросит...

А вот раз девку ошпарили, тогда он долго писал что-то, а потом все порвал, страшно осерчал на что-то. Умственный был парень. А часто вот загрустит, заляжет спать, а сам не спит и все лоб чешет.

– Смотри, – говорю, – мозоль натрешь...

А он мне:

– Ладно, дядя Ван, у меня и так мозоль в мозгу. Это от разных мыслей, значит...

Потеха. Какие там мозоли.

А расстались с ним хорошо.

– Пойду, – крик, – дядя Ван, и где лучше, к моей земле.

– К какой земле?

– А туда, где паскудства нет.

– Везде одно, – махаю я рукой. – А коли охота идти – скатертью дорога.

Владыкина Горький в ответном письме к Груздеву не признал. Он отнесся к рассказу холодно, но и не стал его полностью опровергать. Сцена с девушкой, которую ошпарили кипятком, могла быть взята из пьесы “На дне”. Слова о людском “паскудстве” могли идти и от Коновалова, и от Аристида Кувалды, и от сапожника Орлова, и от других героев раннего Горького.

Но вот что настораживает. Откуда знал некий Владыкин, что молодого Пешкова все принимали сперва за расстригу либо за божьего странника? Откуда Владыкин знал о привычке Алексея уничтожать свои стихи? А слово “умственный”? Как это точно сказано о Пешкове казанского периода! И наконец, откуда мог знать Владыкин о привычке Горького не отказывать в деньгах, привычке, унаследованной от бабушки Акулины? Ведь в 1907 году, когда в “Босаяцкой газете” вышел рассказ Владыкина, “Детство” еще не было написано.

В Казани Алеша Пешков предстает перед нами классическим переростком, физическим и умственным. Он ворочает многопудовые мешки с мукой, а затем читает “Афоризмы и максимы” Артура Шопенгауэра. Прямо здесь, на мешках. Он не мог грамотно писать до тридцати

лет, но поражал своими знаниями и литературным вкусом Деренкова, студентов университета и Духовной академии.

Перенапряжение физических и умственных сил едва не закончилось трагедией. Однажды он пишет свою *предсмертную* записку:

В смерти моей прошу обвинить немецкого поэта Гейне, выдумавшего зубную боль в сердце. Прилагаю при сем мой документ, специально для сего случая выправленный. Останки мои прошу взрезать и рассмотреть, какой черт сидел во мне за последнее время. Из приложенного документа видно, что я А. Пешков, а из сей записки, надеюсь, ничего не видно. Нахожусь в здравом уме и полной памяти. А. Пешков. За доставленные хлопоты прошу извинить.

Горький и черт

Если сравнить рассказ о попытке самоубийства в “Случае из жизни Макара” и повести “Мои университеты” с известными реальными фактами этого дела, возникает несколько нестыковок. В “Моих университетах” попытка Алексея покончить с собой подается как досадное недоразумение, “конфуз”. В “Случае из жизни Макара” все как раз очень серьезно и подробно описывается. Каждой мысли, каждому душевному движению Макара автор уделяет пристальное внимание. Как будто его самого ужасно занимает опыт самоубийства, и он смотрит на себя со стороны, и даже имя себе меняет, чтобы облегчить этот сторонний взгляд.

Приняв решение убить себя, Макар начинает действовать. Он покупает на базаре револьвер, “за три рубля тяжелый тульский”, где “в ржавом барабане торчало пять крупных, как орехи, серых пуль, вымазанных салом и покрытых грязью, а шестое отверстие было заряжено пылью”. (В “Моих университетах” пуля была четыре.) Ночью Макар тщательно вычистил оружие, смазал керосином, наутро взял у знакомого студента анатомический атлас Гиртля, внимательно рассмотрел, как помещено в груди человека сердце, запомнил это, а вечером сходил в баню и хорошо вымылся. Этих подробностей нет в “Моих университетах”.

Пешков тщательно выправил свои документы. Значит, он заботился о том, чтобы его хоронили не как анонимного самоубийцу. Он был лицо в Казани уже довольно известное. Ему было не все равно, что будут думать и говорить о нем после самоубийства. Случай с Латышевой, мельком описанный в “Моих университетах”, в реальности занимал его, возможно, куда больше.

А вот как действовал Макар в “Случае из жизни...”: “...заранее высмотрел себе место на высоком берегу реки, за оградой монастыря: там под гору сваливали снег, он рассчитал, что если встать спиной к обрыву и выстрелить в грудь, – скатишься вниз и, засыпанный снегом, зарытый в нем, незаметно пролежишь до весны, когда вскрыется река и вынесет труп на Волгу. Ему нравился этот план, почему-то очень хотелось, чтобы люди возможно дольше не находили и не трогали его труп”.

Гражданская жена Горького О. Ю. Каменская свидетельствовала в своих мемуарах, что о покушении на самоубийство Горький рассказал в “Случае...” “буквально так”, как он рассказывал ей за много лет до создания рассказа. Тем более любопытны нестыковки.

Сомневаться в том, что он всерьез хотел убить себя, не приходится. Только чудом пуля миновала сердце, пробила легкое и застряла в спине. Опять же чудом поблизости оказался сторож-татарин, который вызвал полицию. Неудачливого самоубийцу доставили в больницу. Этот сторож – крайне интересный персонаж “Случая из жизни...”. Он не только спасает юношу, но и делает ему духовное внушение:

- Прости, брат...
- Молчай... Бульна убил?
- Больно...

– Сачем? Алла велит эта делать?”

Пешков стрелялся возле монастырских стен. Однако не ему, а простому татарину пришло в голову, что самоубийство – это грех.

Дальнейшие физиологические подробности не очень интересны. Стрельца доставили в земскую больницу, где ему была сделана операция. На девятый день его выписали. В “скорбном листе” мужского хирургического отделения была сделана запись: “Алексей Максимов Пешков, возраст 19, русский, цеховой нижегородский, занятие – булочник, грамотный, холост; местожительство – по Бассейной улице в доме Степанова... Время поступления в больницу 12 декабря 1887 года в 8½ часов вечера. Болезнь – огнестрельная рана в грудь. Входное отверстие на поперечный палец ниже левого соска, круглой формы, в окружности раны кожа обожжена. На задней поверхности груди на три поперечных пальца ниже нижнего угла лопатки в толще кожи прощупывается пуля. Пуля вырезана. На рану наложена антисептическая повязка. Выписан 21 декабря 1887 года, выздоровел... Ординатор Ив. Плюшков. Старший врач д-р Малиновский...”

Итак, кожа вокруг раны была обожжена. Это совпадает с тем, что описывается в “Случае...”. Макар, лежа на снегу, чувствовал запах горелого. По-видимому, от выстрела в упор загорелось ватное пальто. Если бы не татарин, Пешков мог элементарно сгореть. Как говорится, слава Аллаху!

Но вот то, что произошло с Пешковым после больницы, требует самого пристального внимания. Алексея Пешкова на семь лет (по другим сведениям – на четыре года) отлучили от церкви. Причем он сознательно пошел на это, хотя мог бы отлучения избежать.

Был ли Горький верующим человеком? Очень трудно ответить на этот вопрос. Во всяком случае, он не был атеистом в буквальном смысле. Вопрос о Боге страшно его волновал и был едва ли не главным пунктом его протестного отношения к миру. “Я в мир пришел, чтобы не соглашаться...” Эта строка из несохранившейся поэмы молодого Горького “Песнь старого дуба” говорит о том, что его протест распространялся на весь мир как Божье творение.

Но и верующим в Бога Горький себя не считал. Зато можно без тени сомнения сказать: у Горького были какие-то особенные, очень интимные отношения с *чертом*.

Многие мемуаристы свидетельствуют, что на протяжении всей жизни Горький постоянно чертыхался. Понятие “черт” имело у него множество оттенков, но чаще они были ласкательные. “Черти лысые”, “черти драповые”, “черти вы эдакие”, “черт знает как здорово” – обычный способ употребления Горьким слова “черт”.

Языческое влияние бабушки оказало на него гораздо большее влияние, чем суровое православие дедушки. Горький не был христианином и уж точно не был православным. Но не был он и язычником в точном значении этого слова. Просто все языческое неизменно притягивало его внимание. Это было характерно для эпохи “рубежа веков”.

Вот только один эпизод из последних лет его жизни. С мая 1928 года в семью Горького стала вхожа удивительно красивая, с роскошными длинными волосами и раскосыми глазами, студентка Коммунистического университета трудящихся Востока (сокращенно КУТВ) Алма Кусургашева. Алма происходила из малого алтайского народа – шорцев. Ее предки были шаманами.

“Она родилась в год Огненной Лошади, – пишет о ней ее дочь Айна Погожева, – и обладала всеми чертами этого необузданного животного, от дикой красоты и порывистости до косящего в ярости глаза”.

Стареющего Горького увлекла эта девушка. Он много спрашивал ее о шаманизме и проявлял в этом немалую осведомленность. В последний год жизни Горького Алма гостила у него в Тессели. Рано утром с “тозовкой” вышла в парк, чтобы подстрелить ворона. У Кусургашевой был значок “Ворошиловский стрелок”, но ей не верили, что она метко стреляет. Неожиданно

возле нее оказался Алексей Максимович. Он взял ее под локоть и сказал: “Не надо этого ворона убивать. Он летал над дачей в год смерти Максима (погибший сын Горького. – П.Б.)”.

Кусургашева умирала в возрасте девяноста четырех лет, и она была обездвижена. Накануне смерти она, по свидетельству дочери, “сверхъестественным усилием попыталась приподняться, протянула руки и, обращаясь в пространство, четко и отдельно произнесла: «А-лек-сей Макси-мо-вич!»” Это были ее последние слова.

Два ранних рассказа Горького называются “О черте” и “Еще о черте”. В них черт буквально является писателю. Рассказы носят скорее фельетонный характер, но названия их говорят сами за себя. Как и имя главного персонажа пьесы “На дне” Сатина (Сатана). Как и то, что в предсмертной записке Пешков просил его “взрезать” и обнаружить там черта. В книге “Заметки из дневника” Горький рассказывает о встрече с неким колдуном-горбуном, который представлял себе весь мир состоящим из чертей – как из атомов.

– Да, да, черти – не шутка... Такая же действительность, как люди, тараканы, микробы. Черти бывают разных форм и величин...

– Вы – серьезно?

Он не ответил, только качнул головою, как бы стукнув лбом по невидимому, беззвучному, но твердому. И, глядя в огонь, тихонько продолжал:

– Есть, например, черти лиловые; они бесформенны, подобны слизнякам, двигаются медленно, как улитки, и полупрозрачны. Когда их много, их студенистая масса похожа на облако. Их страшно много. Они занимаются распространением скуки. От них исходит кислый запах и на душе делается сумрачно, лениво. Все желания человека враждебны им, все...

«Шутка?» – подумал я. Но если он шутил, то – изумительно, как тонкий артист. Глаза его мерцали жутковато, костлявое лицо заострилось. Он отгребал угли концом палки и легкими ударами дробил их, превращая в пучки искр.

– Черти голландские – маленькие существа цвета охры, круглые, как мячи, и лоснятся. Головки у них сморщены, как зерно перца, лапки длинные, тонкие, точно нитки, пальцы соединены перепонкой и на конце каждого красный крючок. Они подсказывают странное: благодаря им человек может сказать губернатору – «дурак!», изнасиловать свою дочь, закурить папиросу в церкви, да, да! Это – черти неосмысленного буйства...

Черти клетчатые – хаос разнообразно кривых линий; они судорожно и непрерывно двигаются в воздухе, образуя странные, ими же тотчас разрушаемые узоры, отношения, связи. Они страшно утомляют зрение. Это похоже на зарево. Их назначение – пресекать пути человека, куда бы он ни шел... куда бы ни шел...

Драповые черти напоминают формой своей гвозди с раздвоенным острием. Они в черных шляпах, лица у них зеленоватые и распространяют дымный фосфорический свет. Они двигаются прыжками, напоминая ход шахматного коня. В мозгу человека они зажигают синие огни безумства. Это – друзья пьяниц.

Горбун говорил все тише и так, как будто затверженный урок. Жадно слушая, я недоумевал, что это: болтовня шарлатана или бред безумного?

– Страшны черти колокольного звона. Они – крылаты, это единственные крылатые среди легионов чертей. Они влекут к распутству и даже внешне напоминают женский орган. Они мелькают, как ласточки, и, пронизывая человека, обжигают его любострастием. Живут они, должно быть, на колокольнях, потому что особенно яростно преследуют человека под звон колоколов.

Но еще страшнее черти лунных ночей. Это – пузыри. В каждой точке окружности каждого из них непрерывно возникает, исчезает одно и то же лицо, прозрачно-голубоватое, очень печальное, с вопросительными знаками на месте бровей и круглыми глазами без зрачков. Они двигаются только по вертикали, вверх и вниз, вверх и вниз, и внушают человеку неотвязную

мысль о его вечном одиночестве. Они внушают: на земле, среди людей, я живу только еще в предчувствии одиночества. Совершенное же одиночество наступит для меня после смерти, когда мой дух унесется в беспредельность вселенной и там, навсегда неподвижно прикованный к одной точке ее, ничего, кроме пустоты, не видя, будет навеки осужден смотреть в самого себя, вспоминая свою земную жизнь до ничтожных мелочей. Тысячелетия – только это одно: всегда жить воспоминаниями о печальной глупости земной жизни. И неподвижность. Пустота...

Прошла минута, две. Было очень странно. Я спросил:

– Вы серьезно верите...

Он не дал мне кончить, крикнув звонко:

– Пошел прочь!”

Насколько правдива эта история? В цикле очерков “По Руси”, написанном за десять с лишним лет до “Заметок из дневника”, Горький не вспомнил об этом горбуне-колдуне, описывая тот же период своей скитальческой жизни. Память Горького была прихотливой. Примерно в это же время, когда писались очерки “По Руси”, в повести “Детство” Горький забавно описывает чертей, которых видела его бабушка. Эти симпатичные чертенята появляются в рассказе бабушки Акулины:

“– Иду как-то Великом постом, ночью, мимо Рудольфова дома; ночь лунная, молосная, вдруг вижу: верхом на крыше, около трубы, сидит черный, нагнув рогатую-то голову над трубой и нюхает, фыркает, большой, лохматый. Нюхает да хвостом по крыше и возит, шаркает. Я перекрестила его: «Да воскреснет Бог и расточатся врази его», – говорю. Тут он взвизгнул тихонько и соскользнул кувырком с крыши-то во двор, – расточился! Должно, скоромное варили Рудольфы в этот день, он и нюхал, радуясь.

Я смеюсь, представляя, как черт летит кувырком с крыши, и она тоже смеется, говоря:

– Очень они любят озорство, совсем как малые дети! Вот однажды стирала я в бане, и дошло время до полуночи; вдруг дверца каменки как отскочит! И посыпались оттуда они, мал мала меньше, красненькие, зеленые, черные, как тараканы. Я – к двери, – нет ходу; увязла среди бесов, всю баню забили они, повернуться нельзя, под ноги лезут, дергают, сжали так, что и окститься не могу! Мохнатенькие, мягкие, горячие, вроде котят, только на задних лапках все; кружатся, озоруют, зубенки мышинные скалят, глазишки-то зеленые, рога чуть пробились, шишечками торчат, хвостики пороссячи, – ох ты, батюшки! Лишилась памяти ведь! А как воротилась в себя, – свеча еле горит, корыто простыло, стиранное на пол брошено. Ах вы, думаю, раздуй вас горой!”

Бабушка, с ее “большими светящимися” зелеными глазами, подозрительно часто встречалась с нечистой силой. И хотя она прогоняла ее самой правильной для подобных случаев молитвой, создается впечатление, что дед недаром называл ее ведьмой. Вот и еще случай ее встречи с нечистым:

“– А то, проклятых, видела я; это тоже ночью, зимой, вьюга была. Иду я через Дюков овраг, где, помнишь, сказывала, отца-то твоего Яков да Михайло в проруби в пруде хотели утопить? Ну вот, иду; только скувырнулась по тропе вниз, на дно, ка-ак засвистит, загикает по оврагу! Гляжу, а на меня тройка вороных мчится, и дородный такой черт в красном колпаке колом торчит, правит ими, на облучок встал, руки вытянул, держит вожжи из кованых цепей. А по оврагу езды не было, и летит тройка прямо в пруд, снежным облаком прикрыта. И сидят в санях тоже всё черти, свистят, кричат, колпаками машут, – да эдак-то семь троек проскакало, как пожарные, и все кони вороной масти, и все они – люди, проклятые отцами-матерями; такие люди чертям на потеху идут, а те на них ездят, гоняют их по ночам в свои праздники разные. Это я, должно, свадьбу бесовскую видела”.

У многих русских писателей были свои черти. У Пушкина это водяные, обманутые Балдой, метельные бесы, Мефистофель, искушающий Фауста. У Гоголя, по мнению Набокова, черт всегда эдакий “немец”, “иностранец”, вертлявый, смазливый и вопиюще контрастирую-

щий с широтой славянской природы. У Достоевского черт – философ, умник. Какой же черт был у Горького?

Прежде всего он многолик. Это и черт из бабушкиных быличек, то есть черт в народном представлении. Скорее всего, именно его поминал к месту и не к месту Горький, когда черты-хался. Это и черт-умник, который сидел в Алексее в Казани и довел его до попытки наложить на себя руки. Упоминание в предсмертной записке имени Гейне придает этому черту “немецкий”, “иностраный” характер.

Черти постоянно мерещились Горькому в последние годы жизни. Вячеслав Иванов, который тогда был мальчиком, вспоминает, что однажды послал с родителями Горькому свой рисунок: собачка на цепи. Горький принял ее за черта со связкой бубликов. Ему очень понравился рисунок Иванова.

Впрочем, есть и другая версия отношений Горького с нечистой силой. Принадлежит она писателю-эмигранту И. Д. Сургучеву (1881–1956), который знал Горького в каприйский период.

Сургучев прямо считал, что Горький продал свою душу дьяволу.

“Я знаю, что много людей будут смеяться над моей наивностью, – писал он в 1955 году в очерке «Горький и дьявол» в газете «Возрождение» (Париж), – но я все-таки теперь скажу, что путь Горького был страшен. Как Христа в пустыне, дьявол возвел его на высокую гору и показал ему все царства земные и сказал:

– Поклонись, и я все дам тебе.

И Горький поклонился.

И ему, среднему в общем писателю, был дан успех, которого не знали при жизни своей ни Пушкин, ни Гоголь, ни Толстой, ни Достоевский. У него было всё: и слава, и деньги, и женская лукавая любовь”.

Однако версия Сургучева не выдерживает критики. В его изображении Горький – это антихрист. Именно антихрист, подменный Христос, должен явиться в мир с помощью дьявола. Тема антихриста была глубоко разработана Достоевским, К. Н. Леонтьевым и В. С. Соловьевым. Владимир Соловьев в “Краткой повести об Антихристе” подытожил это направление религиозной мысли. Антихрист – это “лучший из людей”. В этом весь парадокс этой страшной фигуры. Он не просто умнее и талантливее всех, но и нравственнее, совестливее. Именно поэтому за ним идут люди всего мира, не догадываясь, что за “лучшим из людей” стоит “враг человеческий”. Благодаря антихристу на земле прекращаются войны и религиозные распри.

Горький никогда не был “лучшим из людей”. Слишком много было у него грехов, а также врагов и завистников. Творчество Горького не приводит мысль к общему знаменателю. Напротив, взрывает ее.

Конец Горького – это не поражение “лучшего из людей”. Это последние дни и часы несчастного, запутавшегося человека с грешной, но щедрой душой. Такой, какая была у его последнего любимого героя – Егора Булычова.

При чем здесь антихрист?

Горький и церковь

В казанском музее А. М. Горького на стене под стеклом висит документ. Это не оригинал, а копия. Все оригиналы важных документов, связанных с именем Горького, хранятся в Архиве Горького в Институте мировой литературы в Москве. Но читать этот документ интереснее в Казани, потому что именно здесь произошло описанное в нем событие. Это протокол за № 427 заседания Казанской духовной консистории о “предании епитимии цехового Александра (переправлено на Алексея. – П.В.) Максимова Пешкова за покушение на самоубийство”.

1887 года декабря 31 дня. По указу Его Императорского Величества Казанская Духовная Консistorия в следующем составе: члены Консistorии: протоиерей Богородицкого Собора В. Братолюбов, протоиерей Вознесенской церкви Ф. Васильев, священник Богоявленской церкви А. Скворцов и священник Николонизской церкви Н. Варушкин при исполняющем должность секретаря А. Звереве слушали:

1) Присланный при отношении пристава 3 части г. Казани от 16 сего декабря за № 4868-м акт дознания о покушении на самоубийство Нижегородского цехового Алексея Максимова Пешкова, проживавшего по Бассейной улице в доме Степанова. Из акта видно, что Пешков, с целью лишить себя жизни, выстрелил себе в бок из револьвера и для подания медицинской помощи отправлен в земскую больницу, где при нем была найдена написанная им, Пешковым, записка следующего содержания: (полностью приводится цитированная выше записка. – П.Б.).

2) Отношение смотрителя Казанских земских заведений общественного призрения, от 30 сего декабря за № 723, коим он уведомил Консistorию, на отношение ее от 24 декабря за № 9946, что цеховой Алексей Максимов Пешков из больницы выписан 21 декабря, почти здоровым и ходит в больницу на перевязку. Во время его пребывания в больнице никакого психического расстройства замечать не было. Закон: 14 правило Святого Тимофея, архиепископа Александрийского. Приказали: цехового Алексея Максимова Пешкова за покушение на самоубийство на основании 14 правила Святого Тимофея, архиепископа Александрийского, предать приватному суду его приходского священника, с тем, чтобы он объяснил ему значение и назначение здешней жизни, убедил его на будущее дорожить ею, как величайшим даром Божиим, и вести себя достойно христианского звания, о чем к исполнению и послан указ (на полях пометка: “исполнен 15 января № 269”. – П.Б.) благочинному первой половины Казанских городских церквей, протоиерею Петропавловского собора Петру Малову.

Протокол подписан 13 января 1888 года. С этого момента Алексей Пешков вступает с церковью в бурные отношения. Но прежде задумаемся о самом этом документе. На современный взгляд, он производит туманное впечатление. Какой-то осколок непонятной цивилизации. В самом деле: “цеховой Алексей Максимов Пешков”, да еще и не местный, да еще и не своим прямым делом занимающийся, по каким-то причинам вздумал себя застрелить. Ну и что такого?! Одним “самострельщиком” больше, одним меньше. Сколько народу ежедневно приезжало в Казань и уезжало из нее. Сколько людей умирали, и сколько из них – неестественной смертью.

М. Н. Пинегин в книге “Казань в ее прошлом и настоящем” приводит статистику самоубийств в Казани и губернии в целом. На 100 самоубийств в губернии 34,5 приходилось на Казань. Это и понятно: город, много пьяниц, босяков, наконец – студентов и вообще “умственной” молодежи, вроде Латышевой и Пешкова. В период с 1882 по 1888 год, пишет Пинегин, в Казани было: самоубийц – мужчин 77, женщин 54; умерших от пьянства – мужчин 120, женщин 28. Мужчины чаще “опивались”, чем кончали с собой (быть может, из-за того же пьянства), женщины – наоборот. Пинегин с грустью называет это “темной стороной жизни Казани”.

Но при этом только номерных документов по поводу поступка Алеши Пешкова было подписано четыре! Это те, о которых мы знаем. Смотритель земских заведений общественного призрения доносит о Пешкове в духовную консistorию. Немедленно собирается син-

клит из протоиереев и просто иереев, двух настоятелей и двух просто священников. Они выносят постановление о предании юноши епитимии. Непосредственным вразумлением должен заняться священник его прихода по месту жительства. Если бы земский смотритель со слов врачей сообщил, что Пешков пребывает в психическом расстройстве, дело бы усложнилось. Самоубийство (или его попытка) в состоянии помешательства могло рассматриваться не как духовное преступление, а как несчастный случай. Но Пешков в записке специально указал, что он в “здравом уме”.

Можно по-разному отнестись к этому документу. Это – Система. Закон. Правило святого Тимофея, архиепископа Александрийского, о самоубийцах было принято еще в IV веке и неуклонно исполнялось православной церковью. Самоубийц не хоронили на православных кладбищах, а на выживших накладывали епитимью. Епитимья не наказание, а воспитание. Она могла выражаться в более продолжительных молитвах, в усиленном посте, в паломничестве... Форму епитимьи и продолжительность ее назначал духовник или приходской священник. В данном случае это был казанский священник Петр Малов.

Получив от полиции постановление консистории, Алеша отказался идти на покаяние к Малову. Тогда пригрозили привести его силой, но в результате привели уже не в приходскую церковь, а в Феодоровский монастырь. Это было сделано ввиду особого случая. Ведь духовный преступник упорствовал в своей гордыне, а кроме того, нанес оскорбление церкви.

Горький в письме к Груздеву вспоминал это так: “Постановление суда Духовной консистории было сообщено мне через полицию, и был указан день, час, когда я должен явиться к протоиерею Малову для того, чтоб выслушать благопоучения, кои он мне благопожелает сделать. Я сказал околоточному надзирателю, что к Малову не пойду, и получил в ответ: «Приведем на веревочке». Эта угроза несколько рассердила меня, и, будучи в ту пору настроен саркастически, я написал и послал Малову почтой стихи, которые начинались как-то так:

«Попу ли рассуждать о пуле?»

Через несколько дней студент Дух<овной> академии диакон Карцев сообщил мне, что протопоп стихи мои получил, рассердился и направил их в Дух<овную> консисторию и что, вероятно, мне «попадет за них». Но – не попало, и лишь весной, в селе Красновидове, урядник предъявил мне бумагу Дух<овной> консистории, в которой значилось, что я отлучен от церкви на семь лет”.

Это письмо написано не ранее 1929 года. Возможно, Горький еще не знал, что в 1928 году в Казани вышла книга местного краеведа Н. Ф. Калинина “Горький в Казани. Опыт литературно-биографической экскурсии”. Но в любом случае, он знал о ней в 1934 году, читал ее и потому описал свое отлучение от церкви в письме к тому же Груздеву гораздо более подробно.

“Правильнее, пожалуй, будет сказать, что меня не судили, а только допрашивали, и было это не <в> Духовной консистории (как написал И. А. Груздев. – П.Б.), а в Феодоровском монастыре. Допрашивал иеромонах, «белый» священник, а третий – Гусев, проф<ессор> Казанск<ой> дух<овной> академии. Он молчал, иеромонах сердился, поп уговаривал. Я заявил, чтоб оставили меня в покое, а иначе я повешусь на воротах монастырской ограды”.

Отсюда становится более понятным довольно темный момент в биографии Пешкова, его отлучение от церкви. Как громко звучит: отлучение от церкви! На семь лет! Впрочем, в том же письме к Груздеву Горький пишет: “...в 96 г. протоиерей Самар<ского> собора Лаврский, – «друг Добролюбова», называл он себя, – сообщил мне, пред тем, как венчать с Е<катериной> П<авловной>, что срок отлучения давно истек, ибо отлучен я был на четыре года”.

Но все равно. Отлучен! Раньше Толстого!

Илья Груздев в книге “Горький и его время” иронизирует над профессором Духовной академии Гусевым: “Какого рода был этот профессор, можно судить по тем брошюрам, которыми он наводнял Казань: «Необходимость внешнего Богопочтения», «О клятве и присяге», «Религиозность – опора нравственности» и т. п.”.

Александр Федорович Гусев служил профессором апологетики христианства в Духовной академии и был автором множества книг и статей: “Дж. Ст. Милль как моралист” (1875), “О Конте” (1875), “Христианство в его отношении к философии и науке” (1885), “Необходимость внешнего благочестия (против Л. Н. Толстого)” (1890), “Л. Н. Толстой, его исповедь и мнимо-новая вера” (1886–1890), “Нравственный идеал буддизма в отношении к христианству” (1874), “Нравственность как условие истинной цивилизации и специальный предмет науки (разбор теории Бокля)” (1874), “Зависимость морали от религиозной или философской метафизики” (1886) и др.

Следовательно, Пешкова, сироту без определенного места жительства, нахамившего (увы, это так!) в не очень остроумной форме пожилому протоиерею, допрашивал не последний в городе человек.

Что касается работы А. Ф. Гусева о “внешнем благочестии”, направленной против Л. Н. Толстого, это было действительно не лучшее из его сочинений. Однако необходимость наводнять такими брошюрами Казань, очевидно, была. И тому свидетель сам Горький. Именно он в “Моих университетах” вспоминает о появлении в Казани “толстовца”, который произвел на Пешкова очень плохое впечатление.

В Феодоровском монастыре Пешкова не допрашивали, а *уговаривали* раскаяться, принести извинения протоиерею и принять епитимью. Алексей упорствовал, загоняя всех в тупик. В сущности, за написанные стихи он мог подлежать и гражданскому наказанию, вплоть до телесного. Тем более что он уже был под подозрением полиции.

Угроза повеситься на монастырской ограде стала последней каплей в чаше терпения духовных лиц. Та мера наказания, которую избрали они, для Алексея была пустяком. На полученную уже в Красновидове бумагу об “отлучении” Пешков откликнулся ехидными стихами:

Только я было избавился от бед,
Как от церкви отлучили на семь лет!
Отлучение, положим, не беда,
Ну, а все-таки обидно, господа!
В лоне церкви много всякого зверья,
Почему же оказался лишним я?

А теперь представьте огромный полиэтнический город. И вот в этой массе людей точно Божий глаз обращается на юного Пешкова. Какая вокруг него свистопляска! Газета “Волжский вестник” помещает об этом сообщение:

“Покушение на самоубийство. 12 декабря, в 8 часов вечера, в Подлужной улице, на берегу реки Казанки, нижегородский цеховой Алексей Максимов Пешков 32 лет (газетчик переврал, Алексею было лишь 19 лет. – П.Б.) выстрелил из револьвера в левый бок” и т. д. Задействованы журналисты, доктора, земский смотритель, протоиереи, священники, профессор Духовной академии, монахи. А до этого еще и сторож-татарин, пристав, околоточный. Секретари, написавшие все эти бумаги.

До какой же степени ценилась единичная жизнь и душа человеческая в России в эпоху “свинцовых мерзостей жизни”! Насколько внимательной к личности была эта Система. Да, громоздкая, грубоватая. Да, не учитывавшая, что только что отошедшего от шока молодого человека нельзя вести в церковь “на веревочке”. Но это была Система, в которой каждый человек был ценен.

Сегодня самоубийцу отвезут в морг, и никто в городе об этом не узнает.

Из “Практического руководства при отправлении приходских треб” священника отца Н. Сильченкова читаем “Правило о епитимии”: “Все люди светского звания, присуждаемые к церковному покаянию, проходят сие покаяние под надзором духовных их отцов, исключая тех

епитимийцев, прохождение которыми епитимий на месте оказалось безуспешным и которые посему подлежат заключению в монастыри”.

Вот о чем Пешкова упрасивали в монастыре. Понести монастырское покаяние. Искупить двойной грех: попытку наложения на себя рук и неприличный поступок в отношении священника. Вот почему он пригрозил им, что повесится на ораде монастыря. Если они его запрет.

Пешков отделался малым из возможных наказаний. Скорее всего, его отлучили от церкви действительно на четыре года, как сказал ему об этом при его венчании с Е. П. Волжиной самарский батюшка. Согласно “Правилам о епитимий”, это церковное наказание назначается “отступникам от веры, судя по обстоятельствам, побудившим их на то”, на срок от четырех лет “до самой смерти”. Все гражданские права у Пешкова сохранялись. Через восемь лет, венчаясь в самарском храме с Екатериной Павловной Волжиной, он формально вернулся в лоно православной церкви.

Но только формально. В 1888 году будущий великий писатель сделал окончательный выбор. Отныне он жил вне церковных стен. Это было его самовольное отлучение – навсегда.

“Затерянный среди пустынь вселенной, один на маленьком куске земли, несущемся с неуловимой быстротою куда-то в глубь безмерного пространства, терзаемый мучительным вопросом – зачем он существует? – он мужественно движется – вперед! И – выше! – по пути к победам над всеми тайнами земли и неба” (“Человек”).

В 1888 году Алексей Пешков сделал свой выбор в пользу одиночества и трагедии. А русская православная церковь лишилась талантливого молодого брата, будущего писателя, “властителя дум” и строителя новой культуры. И в этом была ее драма.

Не об этом ли думал профессор Казанской духовной академии Гусев, когда во время допроса он “молчал”?

День третий Опасные связи

*Человек – это переход и гибель.
Нищие. Так говорил Заратустра*

«В пустыне, увы, не безлюдной»

После Казани Пешков побывал в Красновидове, окрестных деревнях и дрался с мужиками, которые подожгли лавку народника Ромася, затем батрачил у тех же мужиков. Когда батрачить надоело, он через Самару на барже отправился на Каспийское море и работал на рыбном промысле Кабанкулбай. По окончании путины пешком через Моздокские степи пришел в Царицын. Устроился работать на станции Волжская Грязе-Царицынской железной дороги, затем – сторожем на станции Добринка. Перевелся в Борисоглебск. Еще раз перевелся – на станцию Крутая. Все это время продолжал пропагандировать и участвовать в кружках самообразования, за что вновь удостоился полицейского наблюдения.

Именно в этот период Пешков проходит искуc “толстовства”, которым в свое время переболели многие крупные писатели: Чехов, Бунин, Леонид Андреев и другие. На станции Крутая с телеграфистами Д. С. Юриным, И. В. Ярославцевым и дочерью начальника станции М. З. Басаргиной он решил организовать земледельческую колонию и был отправлен к Льву Толстому – просить у него кусок земли и денег на хозяйство. Ехал “зайцем”, на тормозных площадках вагонов, а больше шел пешком, оправдывая свою фамилию. Побывал в Донской области, в Тамбовской, в Рязанской губерниях. Так и дошел до Москвы.

Но до этого он посетил Ясную Поляну в надежде найти Толстого. Его там не было, он уехал в Москву. Но и в Москве, в Хамовниках, Толстого не оказалось. По словам Софьи Андреевны, он ушел в Троице-Сергиеву лавру. Неизвестно, что наговорил жене великого писателя никому не известный Пешков, но Софья Андреевна, хотя и встретила долговязого просителя ласково и даже угостила кофеем с булкой, как бы между прочим заметила, что к Льву Николаевичу шляется очень много “темных бездельников” и что Россия вообще “изобилует бездельниками”.

Пешков расстроился и ушел.

Но прежде Алексей оставил письмо Толстому. Письмо поражает дремучей провинциальной наивностью. И в то же время трогает, ибо за этим письмом стоит не только он, а целая группа растерянных молодых людей, одуревших от уездной скучной и бессмысленной жизни, с жарой, холодом, завыванием вьюги в степи и однообразным свистом сусликов, беспробудным пьянством и бесконечными сплетнями. Скуки, от которой хочется повеситься и которая способна сделать из людей завистливых и беспощадных циников. Вспомните горьковский рассказ “Скуки ради”, где именно от скуки, ради развлечения работники станции доводят Арину до самоубийства. А молодые люди одержимы жадной деятельностью. Они хватаются за Толстого как за соломинку. Молодым людям невдомек, что таких, как они, по России великое множество. И все эти люди уже порядком надоели Толстому. А его жене еще больше.

25 апреля 1889 г., Москва

Лев Николаевич!

Я был у Вас в Ясной Поляне и Москве; мне сказали, что Вы хвораете и не можете принять.

Порешил написать Вам письмо. Дело вот в чем: несколько человек, служащих на Г<рязе>-Ц<арицынской> ж<елезной> д<ороге>, – в том числе

и пишущий к Вам, – увлеченные идеей самостоятельного, личного труда и жизнью в деревне, порешили заняться хлебопашеством. Но, хотя все мы и получаем жалованье – рублей по 30-ти в месяц, средним числом, – личные наши сбережения ничтожны, и нужно очень долго ждать, когда они возрастут до суммы, необходимой на обзаведение хозяйством. И вот мы решили прибегнуть к Вашей помощи, у Вас много земли, которая, говорят, не обрабатывается. Мы просим Вас дать нам кусок этой земли.

Затем: кроме помощи чисто материальной, мы надеемся на помощь нравственную, на Ваши советы и указания, которые бы облегчили нам успешное достижение цели, а также и на то, что Вы не откажете нам дать книги: “Исповедь”, “Моя вера” и прочие, не допущенные в продажу. Мы надеемся, что, какой бы ни показалась Вам наша попытка – достойной ли Вашего внимания и поддержки или же пустой и сумасбродной, – Вы не откажетесь ответить нам. Это немного отнимет у Вас время. Если Вам угодно ближе познакомиться с нами и с тем, что нами сделано к осуществлению нашей попытки, двое или один из нас могут прийти к Вам. Надеемся на Вашу помощь. От лиц всех – нижегородский мещанин

Алексей Максимов Пешков

Итак, он всего лишь просил у Толстого земли и денег на обустройство на его же графской земле. Еще просил, чтобы снабдил их книгами, которые запрещены к распространению и за которые графа через несколько лет отлучат от церкви. Наконец, он просил хотя бы ответить им письмом (“это немного отнимет у Вас время”), не понимая, что подобных “хотя бы ответов” ждали от писателя сотни людей.

Например, ждала ответа от Льва Толстого гимназисточка из богатой киевской семьи – Лидочка, будущая жена философа Н. А. Бердяева. Ей казалось безнравственным жить в роскоши и процветании, когда страдает народ, и она решила уйти из семьи и пойти на акушерские курсы. Тогда многие девушки рвались на акушерские курсы. Толстой ответил Лидочке, что делать добро можно и в своей социальной среде, для этого вовсе не обязательно убежать от родителей. Лидочке этого показалось мало. Она написала графу еще одно письмо, на которое Толстой ничего не ответил.

Толстой задыхался от нашествия “толстовцев”. “Толстовские” коммуны стали появляться с 1886 года, и отношение к ним графа было скорее отрицательным. В работе “Так что же нам делать?” он писал: “На вопрос, нужно ли организовывать этот физический труд, устроить сообщество в деревне, на земле, оказалось, что все это не нужно, что труд, если он имеет свою целью не приобретение возможности праздности и пользования чужим трудом, каков труд наживающих деньги людей, а имеет целью удовлетворение потребностей, сам собой влечет из города в деревню, к земле, туда, где труд этот самый плодотворный и радостный. Сообщества же не нужно было составлять потому, что человек трудящийся сам по себе естественно при-мыкает к существующему сообществу людей трудящихся”.

Толстой на письмо Пешкова не ответил. Что он мог? Еще раз посоветовать молодежи “делать добро”? На забытой Богом степной станции, где единственным событием являются короткие остановки пассажирских поездов, которые с поэтической и безнадежной тоской описал Александр Блок:

Три ярких глаза набегающих,
Нежней румянец, круче локон.
Быть может, кто из проезжающих
Посмотрит пристальной из окон?

Посоветовать молодым людям бросить работу, родителей и садиться “на землю”? Но только не на его, толстовскую, землю. Потому что Толстой, по признанию его дочери Александры, не любил “толстовцев”.

Что он мог ответить?

К тому же в письме... не было обратного адреса. Его-то молодой “толстовец”, делегированный в Москву со станции Крутая, почему-то забыл указать. Может, он был на конверте? Но в то время было не принято писать на конвертах обратные адреса.

Через несколько лет Софья Андреевна на письме Пешкова сделала пометку: “Горький”. Тем самым существенно повысила корреспонденцию в ее статусе. Пока же долговязый проситель уезжал в родной Нижний Новгород в вагоне... для скота. И можно ни секунды не сомневаться, что он на всю жизнь запомнил этот отъезд. Помнил о нем и когда впервые встречался с Толстым. Граф разговаривал с ним нарочито грубовато, с матерком – из народа же человек! И когда писал пьесу “На дне”. И когда истинно по-рыцарски защищал Софью Андреевну от желтой прессы, травившей ее после ухода и смерти мужа. И когда создавал свой очерк-портрет Льва Толстого, где высказал о нем все самое восторженное и наболевшее в собственной душе.

Пешков хотел организовать коммуну только для того, чтобы “отойти в тихий угол и там продумать пережитое”. Пережитое – это Казань и Красновидово, где он возбуждал крестьян речами о лучшей жизни. Он, потерявший смысл этой жизни, едва не убивший себя физически и раздавленный душевно. Описание красновидовской жизни – самое смутное место в “Моих университетах”. И самое, надо признаться, скучное. Как и повесть “Лето”, написанная раньше по тем же воспоминаниям. И какой дымный, угарный конец! Сожгли избу Ромаса с книгами. Ромась уехал из Красновидова. Алексей остался на распутье. Смерть не удалась ему. Жизнь тоже не удастся.

Возникает какой-то крестьянин Баринов, “с обезьяньими руками”, из той породы людей, которым не сидится на одном месте. Положим, и Пешков такой же. Но Пешков ищет истину, а Баринов просто проживает жизнь. Без цели, без смысла. Когда Ромась уехал, Пешков жил у Баринова в бане (добавим: “с пауками”). Баринов сманил его на рыбные промыслы и там надоел ему смертельно, так что Алеша бежал от него в Моздок.

Этот Баринов, которого Илья Груздев метко называет “народным Хлестаковым”, предтеча князя Шакро из рассказа “Мой спутник”. Баринов подбивал Пешкова бежать в Персию, благо Персия была рядом с рыбными промыслами. А Персия, если вспомнить “В людях”, была не просто заветной мечтой Алексея, но и единственной в его подростковом сознании альтернативой поступлению в университет.

Таким образом, Баринов стал очередным искусителем Пешкова после Смурого, Евреинова и отчасти Ромаса. Но обратимся к Ромасю.

В прозе Горького он предстает настоящим народнико-революционером, который поддерживал Пешкова в период духовного отчаяния. В “Моих университетах” он выступает под кличкой Хохол.

“В конце марта, вечером, придя в магазин из пекарни (это уже после попытки самоубийства. – П.Б.), я увидел в комнате продавщицы Хохла. Он сидел на стуле у окна, задумчиво покуривая толстую папиросу и смотря внимательно в облака дыма.

– Вы свободны? – спросил он, не здороваясь.

– На двадцать минут.

– Садитесь, поговорим.

Как всегда, он был туго зашит в казакин из «чертовой кожи», на его широкой груди растилась светлая борода, над упрямым лбом торчит щетина жестких, коротко стриженных волос, на ногах у него тяжелые, мужицкие сапоги, от них крепко пахнет дегтем.

– Ну-те-с, – заговорил он спокойно и негромко, – не хотите ли приехать ко мне? Я живу в селе Красновидове, сорок пять верст вниз по Волге, у меня там лавка, вы будете помогать мне

в торговле, это отнимет у вас не много времени, я имею хорошие книги, помогу вам учиться – согласны?

– Да”.

В этом отрывке Ромась предстает как спаситель Алексея, который после попытки самоубийства был вынужден вернуться к Деренкову, в булочную, к пекарям и студентам, то есть на тот же самый круг бесплодных духовных исканий, который привел его к попытке самоубийства. И сама внешность Ромася напоминала сказочного богатыря: “Он ушел не оглядываясь, твердо ставя ноги, легко неся тяжелое, богатырски литое тело”. За этим не сразу обращаешь внимание на “чертову кожу” и “упрямый лоб”, а также на то, что Хохол словно с неба свалился на Алексея или, напротив, выскочил, как черт из преисподней. Он сочетает в себе черты и ангела-спасителя, и змия-искусителя, который зовет Пешкова отведать неизведанного.

Фотография Ромася, сделанная в шестидесятые годы, ничего особенного не отражает. Типичная внешность нигилиста-шестидесятника, “базаровца”, с твердым, холодным и весьма неприятным взглядом из-за классических “чернышевских” круглых очков. Борода, коротко стриженные усы, высокий и в самом деле упрямый лоб.

Что пропагандировал Ромась в Красновидове? Из “Моих университетов” ничего понять нельзя. Зато понятно, что местные богатые мужики Хохла очень не полюбили, потому и подожгли его лавочку – “прикрыли” ее. И вот что интересно. Отношение к этому событию Алеши – шок! Сцена пожара описана в апокалиптических тонах. Это событие страшно повлияло на отношение будущего Горького к мужику. Он снова раздавлен, снова в духовной пустыне. Народ его ожиданий (то есть того, что обещал Ромась) не оправдал. И снова максималист Пешков переносит это злое чувство на “людей”. Не любит он “людей”! Не удались, Бог с ними!

“Не умею, не могу жить среди этих людей. И я изложил все мои горькие думы Ромасю в тот же день, когда мы расставались с ним”.

Что же Ромась? Он... совершенно спокоен.

– Преждевременный вывод, – заметил он с упрямством.

– Но – что же делать, если он сложился?

– Неверный вывод. Неосновательно. Не торопитесь осуждать! Осудить – всего проще, не увлекайтесь этим. Смотрите на все спокойно, памятуя об одном: все проходит, все изменяется к лучшему. Медленно? Зато прочно! Заглядывайте всюду, ощупывайте всё, будьте бесстрашны, но – не торопитесь осудить. До свидания, дружище!”

Еще один учитель расстался с ним, ничему его толком не научив, а только внушив, что мир не так прост. Но то же говорил ему колдун Смурый на пароходе о книгах: не понял книгу, читай еще раз! Снова не понял – еще раз читай! Семь, двенадцать раз прочитай, пока не поймешь! И расставались они с Ромасем тоже на пристани. Ромась – вверх по Волге, в Казань. Алексей – вниз, в Самару и Царицын.

Они встретились через тринадцать лет, из которых восемь лет Ромась провел в заключении и ссылке по делу “народоправцев”. Ромась был настоящий железный революционер. “Редкой крепости машина”, – писал о нем Горький К. П. Пятницкому. Иногда горьковские определения людей при удивительной точности бывали также поразительно двусмысленны. Например, свою невестку Надежду Алексеевну, красавицу Тимошу, за ее сдержанный, молчаливый характер он назвал в одном из писем “красивым растением”.

“Редкой крепости машина” не увлек Пешкова за собой в якутскую ссылку. Но именно он женился на сестре Андрея Деренкова, Марье, в которую был влюблен Алексей. Марья страдала каким-то нервным заболеванием и была крайне ранимым и добрым существом. “За Ромася, – впоследствии писал Горький Груздеву, – она вышла замуж, конечно, «из милости», по доброте души, как я *теперь* понимаю”. Марья была моложе Ромася почти на десять лет. “Была она маленькая, – писал Горький, – пухлая, голубоглазая и – невиннее птицы зорянки”. В “Моих университетах” ее образ несколько иной: своенравна, любила провоцировать Алексея, подшу-

чивать над юношей. Но и из “Моих университетов” видно, что это было милое, слабое и беззащитное существо. Головная боль для брата. И вот ее-то “редкой крепости машина” не смутился позвать за собой.

О скитаниях Ромася пишет Илья Груздев в книге “Горький и его время”. Он также показан в рассказе В. Г. Короленко “Художник Алымов” под именем Романыча. Романыч в рассказе Короленко изображен в момент посадки на пароход вместе с девушкой Фленушкой, в которой легко угадать Марью. Вот как описывает Ромася-Романыча писатель: “Образования нигде не получил, а между тем читал Куно Фишера, Спенсера и Маркса и обо всем, о чем мы сейчас говорим с вами и еще будем говорить, во всей этой игре ума может легко принять участие на равных правах. Но... пишет плохо, с ошибками, и в конторщики, например, не годится... настоящий представитель бродячей интеллигенции, вышедшей из народа... Судьба наполовину переписала его, да так неотделанным и пустила. Ищи своего места, бедняга...”

После пожара в лавке Ромась остался весь в долгах, что не помешало ему жениться на Марье. Несколько лет Ромась мыкался в поисках денег и работы, но его революционное прошлое и крайне неуживчивый характер не позволяли получить ни то ни другое. В сентябре 1888 года (сразу после женитьбы) он пишет Короленко: “Видите, в чем дело, на мне лежит много долгу, который на меня давит, вы этого состояния не понимаете, потому что ваше положение и мое две разные вещи. Вы с определенным положением, а я?”

А его жена?

Короленко хлопотал через писателя Евгения Чирикова, чтобы устроить Ромася на той же Грязе-Царицынской железной дороге, где Пешков получил место сторожа. Но Ромася носит по стране как перекасти-поле. То он пишет Короленко из Иркутска, а то из Саратова, где находился один из пунктов революционной организации “Народное право”. В 1894 году он арестован в Смоленске и затем провел восемь лет в тюрьме и якутской ссылке. После возвращения устроился кладовщиком в городке Седлеце на строящейся железной дороге. О своем бывшем приказчике в лавке Пешкове, уже ставшем знаменитостью, Ромась писал Короленко без особой симпатии:

“С Горьким у меня переписка, захотелось мне прочесть его Мещан, я, не нашовши (так у автора. – П.Б.) здесь в продаже, обратился к нему. Он прислал мне чувствительное письмо, предложил книг. <...> Ничего, Максимыч в письмах без приложения гениальности проявляется. Выглядит сдаточным, дослужившимся до генерала...”

Ирония тут прозрачна. “Сдаточный” – это солдат из рекрутов, сданный помещиком или крестьянским миром вне очереди обычно за какую-то провинность – драку, пьянство или воровство.

Горький сам отправился навестить Ромася в Седлеце. О встрече с ним Ромась пишет Короленко: “Всё расспрашивал о вас у Максимыча, и ничего не вышло. Он на бумаге помянует (так у автора. – П.Б.), а на словах тот же грохало, как я его знал на Волге...”

Обиду Ромася можно понять. Горький не сидел подолгу в тюрьмах, не жил бесконечными зимами с якутами. Стартовые условия у него и Ромася были равные, даже, пожалуй, у Ромася они были более прочными ввиду общей зараженности интеллигенции революционной модой. И Ромась, как и Пешков, что-то пописывал. И вот какая несправедливость!

Со всех мест работы Ромася быстро выживали. Он не умел ладить с людьми, а тем более с начальством. После Седлеца он объявлялся то в Кишиневе, то в Севастополе, то в Чернигове, то в Мелитополе. К тому времени у него была другая семья: больная жена, четверо ребятишек и слепая старуха-мать. Вынужденный постоянно занимать где-то деньги, Ромась страдал ужасно.

Настоящим его призванием были тюрьма и ссылка.

Не наше дело кого-то судить, но жизнь всё расставила по своим местам. Пешков не стал железным революционером. Марья Деренкова развелась с Ромасем перед его ссылкой, пережив

какую-то личную драму. При встрече с Горьким в 1902 году на его вопрос: “Где Маша?” – Ромась ответил с подлинно революционным хладнокровием: “Кажется, умерла”.

Она прожила долгую жизнь подвижницы в глухом селе Макарово Стерлитамакского уезда в Башкирии, работая акушеркой и фельдшерницей. В 1931 году, через год после смерти Деренковой, местный башкирский работник отвечал на запрос Горького о судьбе Марьи: “Макарово – небольшое селение верстах в 30 от г. Стерлитамака, в довольно глухом углу, населенном бедной, малокультурной мордвой... В этом селении М.С. проработала и прожила почти всю свою одинокую жизнь, обслуживая медицинской помощью и работая большей частью самостоятельно, так как врачей в такие глухие углы залучить было трудно. Население довольно большой округи ее хорошо знало. Имя М.С. приходилось слышать постоянно. О прошлом М.С. не любила говорить, и мало что приходилось от нее слышать... Только когда появились «Мои университеты» и к ней стали обращаться с вопросами, не о ней ли идет речь, она кое-что рассказала о своей жизни, но и здесь не была особенно таровата; иногда ей почему-то казалось, что Вы можете быть в Башкирии и, может быть, даже в наших краях... Несмотря на свое слабое здоровье, вечно хлопотала о нуждах обслуживаемого населения, с каким-то удивительным терпением перенося все тяготы работы и жизни в глухих углах.

Три года назад ее работа и служба были отмечены общественностью присуждением ей звания «Герой труда». Скончалась М.С. 24 ноября 1930 года в том же Макарове”.

Известно, что пожилой Горький был легок на слезу. Как же он, должно быть, обливался слезами над этим письмом ответственного башкирского работника, понимая, какого ангела он проморгал в казанской духовной пустыне, отправляясь в село Красновидово за мощным человеком с упрямым лбом, в куртке из “чертовой кожи”!

Впрочем, Марья едва ли могла влюбиться в Пешкова казанского периода, угловатого “умника”. И потом, судьба Горького была не для нее, как и судьба Ромася. Это был глубоко русский тип христианской подвижницы, любящей народ и людей не отвлеченно-рассудочной, а сердечной и деятельной любовью. Горький хорошо чувствовал этот русский тип, высоко ценил его, но он не вполне отвечал его идеалу Человека. “Малые дела” были не по его масштабу.

Плакал или нет Алексей Максимович над письмом башкирского работника, но Илье Груздеву он написал следующие слова: “Вот какую жизнь прожил этот человек! Начать ее среди эпигонов нигилизма, вроде Сомова, Мельникова, Ромася, среди мрачных студентов Духовной академии, людей болезненно, садически распутных, среди буйных мальчишек, каким был я, мой друг Анатолий, маляр Комлев, ее брат Алексей, выйти замуж за Ромася, который был старше ее на 21 год (на 9 лет. – П.В.), и затем прожить всю жизнь как «житие» – не плохо?”

Для кого этот вопросительный знак? Не для себя ли, уже понимавшего, к какому финалу идет его бурная жизнь?

“Был случай, – писал далее Горький, – мы трое – Алексей, брат ее... Комлев и я поспорили, потом начали драться. Она, увидав это из окна, закричала: «Что вы делаете, дураки! Перестаньте, сейчас ватрушек принесу!» Ватрушки эти обессилили меня и Комлева: мы трое готовы были головы разбить друг другу, а тут – ватрушки. «Умойтесь», – приказала она. А когда смыли мы кровь и грязь с наших морд, она дала нам по горячей ватрушке и упрекнула: «Лучше бы чем драться – двор подмели...»

“Влекло меня к людям со странностями...” Вот “странный” человек Баринов. Лентяй, проходимец, как его описывает Горький. Кстати, этимология фамилий Бариновы, Барские, как Князевы, Графовы, восходит к понятиям “барские”, “князевы” или “графовы” крестьяне, а вовсе не к барскому происхождению носителя фамилии. Сергачский уезд отличался слабым местным промыслом и широким отхожим – в летний период. Таким образом, Баринов был одним из мигрировавших летом со скудного русского севера на богатый российский юг (Дон, Украина, Кавказ, Молдавия, Ставрополье) “отхожих” мужичков, с которыми впоследствии, во время странствия по Руси, путешествовал Горький.

В рассказе “Весельчак” Баринов изображен трусом, лентяем и циником. Однако уже в поздние годы Горький писал Груздеву: “Любопытнейший мужик был Баринов, и сожалею, что я мало отвел ему места в книге «Мои университеты»”.

Его всегда тянуло к людям такого сорта. Он симпатизировал артистическим жуликам. Присматривался к ним, и они, в свою очередь, как бы случайно находили его и делались “его спутниками”. Бывали и случаи тяжелые, вроде описанной в очерке о Ленине истории с жуликом Парвусом, растратившим деньги большевиков, пожертвованные Горьким. (Впрочем, и Парвус в очерке описан без злобы, с юмором.) В зрелые годы его восхищали ловкие итальянские мальчишки-извозчики, норвившие надуть своих клиентов.

Загулявший мастеровой по имени Сашка изображен в рассказе “Легкий человек”. В Сашке, баламуте, влюбляющемся во всех девушек подряд, включая монашек, несложно узнать Гурия Плетнева, наборщика типографии, который познакомил Алексея с жизнью казанских трущоб и был арестован за печатанье нелегальных текстов. К таким людям тянуло Пешкова и потом Горького. Но при этом он понимал, сколь далеки они от Человека.

Напротив, все основательное не нравилось ему. С Бариновым на рыбном промысле они познакомились с семейством раскольников или сектантов, “вроде «пашковцев»”. “Во главе семьи, – писал потом Горький, – хромой старик 83 лет, ханжа и деспот; он гордился: «Мы, Кадочкины, ловцы здесь от годов матушки царицы Елисаветы». Он уже лет 10 не работал, но ежегодно «спускался» на Каспий, с ним – четверо сыновей, все – великаны, силачи и до идиотизма запуганы отцом; три снохи, дочь – вдова с откушенным кончиком языка и мятой, почти непонятной речью, двое внучат и внучка лет 20-ти, полудиотка, совершенно лишенная чувства стыда. Старик «спускался» потому, что «Исус Христос со апостолами у моря жил», а теперь «вера пошатнулась» и живут у морей «черномазые персюки, калмыки да проклятые махмутки – чечня». Иностранцев он ненавидел, всегда плевал вслед им, и вся его семья не допускала иностранцев в свою артель. Меня старичок тоже возненавидел зверски. <...> Баринов, лентяй, любитель дарового хлеба, – тоже «примостился» к нему, но скоро был «разоблачен» и позорно изгнан прочь”.

И вновь мы имеем дело с особым углом зрения Горького. Ведь семья староверов может быть увидена и совсем иными глазами. Мощный старик, глава семейства, от одного слова или взгляда которого трепещут сыновья, “великаны”, прекрасные работники. Три снохи, которых автор никак не отмечает, наверное, из-за их скромности и незаметности для посторонних. Двое внуков, помогающих отцам, и больная, несчастная внучка, “крест” для большой семьи. Но угол зрения Горького скорее совпадает с углом зрения Баринова, который ему хотя и неприятен, но с которым легко. Как с Гурием Плетневым. Как с бабушкой Акулиной.

С ними легко, а с дедушкой Василием и этой крепкой староверческой семьей... неприятно.

Но главное – нигде нет Человека.

“В пустыне, увы, не безлюдной”.

Эти слова Горький напишет во время революции в “Несвоевременных мыслях”.

Положительный человек

Встреча с В. Г. Короленко стала для Алексея едва ли не первым опытом общения с позитивным человеком, который стоял неизмеримо выше его и в социальном, и в литературном, и в умственном отношении. Короленко был первым, от кого Пешков не отчалил, как от бабушки, Смурого, Ромаса и других. Он с некоторым изумлением для себя вдруг понял, что существуют на свете люди, которые, не вторгаясь в твою душу, способны *спокойно* тебя поправить и поддержать.

Это еще не Человек. Но и не “люди” в отрицательном смысле. Они как оазисы в духовной пустыне. Напиться воды, омыть душевные раны. И уйти дальше, но набрав с собой воды.

Вернувшись из ссылки в январе 1885 года, Короленко поселился в Нижнем Новгороде, где прожил до января 1896 года.

Нет, все-таки Ромась, бродяжья душа, стал для Пешкова спасителем, а не искусителем! Ромась написал о нем Короленко. Поэтому когда Пешков явился к Короленко с визитом, тот уже знал о нем. Впрочем, и так бы не прогнал. И все-таки важно – всякий провинциальный писатель это хорошо знает и чувствует, – когда о тебе что-то уже знают.

Но прежде представим себе состояние Пешкова, когда он покидал Крутую, направляясь к Толстому.

Во-первых, он опять сжигал за собой мосты. Он взял расчет на станции, строптиво отказавшись от бесплатного билета в любой конец. Во-вторых, с названной выше Басаргиной, дочерью начальника станции, у него что-то было. “Между мной и старшей дочерью Басаргина возникла взаимная симпатия...” – писал он позже. А вот с отцом ее отношения были напряженные. В 1899 году Горький переписывался с Басаргиной, жившей уже в Петербурге. “Будете писать Вашим, поклонитесь Захару Ефимовичу. Я виноват перед ним: когда-то заставил его пережить неприятные минуты...” В другом письме к ней того же года он писал: “Я всё помню, Мария Захаровна. Хорошее не забывается, не так уж много его в жизни, чтобы можно было забывать...”

Однако в 1889 году на Крутую он возвращаться не собирался и покидал это место с душой, очередной раз отравленной ненавистью к “людям”. “Уходя из Царицына, я ненавидел весь мир и упорно думал о самоубийстве (опять! – П.Б.); род человеческий – за исключением двух телеграфистов и одной барышни – был мне глубоко противен”.

Вот с каким настроением он пришел просить у Льва Толстого землю. Вот с каким настроением он залезал в вагон для скота, чтобы отправиться в родной Нижний Новгород. Вот с каким настроением он шел к Короленко.

Конечно, настроение временами менялось. Были смутные мечты о коммуне. Было короткое путешествие по центральной России, бескрайние тамбовские черноземы, рязанские леса и Ока, Ясная Поляна. В клеенчатой котомке лежала и грела душу молодого графомана бесконечная поэма, написанная ритмической прозой, под названием “Песнь старого дуба”. От нее до нас дошла одна-единственная строка, но зато какая выразительная: “Я в мир пришел, чтобы не соглашаться!”

С этой-то поэмой он и явился к Короленко. Но прежде Пешков прочитал его замечательный рассказ “Сон Макара”. Рассказ ему не понравился. Это очень важный момент! Он касается уже не биографии Пешкова, но духовной судьбы Горького.

“Сон Макара”, написанный Короленко в ссылке в 1883 году и напечатанный в 1885-м в журнале “Русская мысль”, читала вся мыслящая Россия. Это шедевр Короленко, может быть, лучшая его вещь, главная для понимания его символа веры. Этот рассказ невозможно читать без сопереживания, если только остались в человеке жалость, жажда справедливости. В то же время он написан очень рационально, как своего рода адвокатская речь на суде. Только это защита не отдельного подсудимого, а всего человечества.

Макар, сын северного народа, видит сон, что он умер и идет на суд к Тойону. Тойон и его слуги судят Макара, взвешивая на весах его грехи и добродетели. Добродетелей мало, почти нет, а грехов – хоть отбавляй! Он и пьяница, и маловер, и обманывал людей. Чаша с грехами быстро опускается вниз, и недалеко минута, когда Макар окажется в аду. Но вдруг он начинает рассказывать Тойону свою жизнь. И оказывается, что в этой жизни не было радости, только ежедневный труд, нужда, мысли о хлебе насущном. Когда ему было молиться и думать о душе своей, когда было совершать добрые дела, если всю жизнь он бился с нуждой, чтобы не умереть с голоду? Неужели справедливо после этого вновь наказывать Макара? И так этот

рассказ Макара потряс Тойона, что тот заплакал, и медленно поднялась чаша с грехами. Макар был прощен.

В этом рассказе духовное кредо Короленко. Он судит человека не по внешним требованиям морали и религиозности, а по справедливости. Оправдан не тот, кто формально прав, а тот, кто в заданных ему Богом, природой и обществом обстоятельствах выполнил все, на что способен.

Делай, что должно, и пусть будет, что будет. Это известный девиз Короленко.

“– Почему вы такой спокойный?”

Это Пешков спросил у Короленко во время их второй встречи. Спросил нервно, искренне не понимая этого спокойствия.

“– Я знаю, что мне нужно делать, и убежден в полезности того, что делаю...”

На самом деле Короленко вовсе не был таким уж спокойным человеком. После революции, в Полтаве, он с пистолетом погнался за бандитами, которые хотели ограбить его дом. До революции страстно защищал подсудимых по “мултанскому делу”. Он был беспощадным редактором, в чем Пешков убедился при первой же встрече с ним.

“– Вы часто допускаете грубые слова, – должно быть, потому, что они кажутся вам сильными? Это – бывает. <...>

Внимательно взглянув на меня, он продолжал ласково:

– Вы пишете: «Я в мир пришел, чтобы не соглашаться. Раз это так...» «Раз так» – не годится! Это – неловкий, некрасивый оборот речи. Раз так, раз этак, – вы слышите?..

Далее оказалось, что в моей поэме кто-то сидит «орлом» на развалинах храма.

– Место мало подходящее для такой позы, и она не столько величественна, как неприлична, – сказал Короленко, улыбаясь”.

Вот так ласково, улыбаясь, он уничтожил поэму Пешкова.

Уходя от него, Пешков решил больше не писать стихов. Обещания не сдержал. Но можно сказать, что именно после первой встречи с Короленко Пешков превратился в писателя.

Через три года появится “Макар Чудра”, первый рассказ, который он подпишет псевдонимом Горький. Спустя три года благодаря Короленко в журнале “Русское богатство” будет опубликован “Челкаш”. А еще через три года выйдут “Очерки и рассказы”. В Петербурге столичная интеллигенция даст банкет в честь новорожденного гения. На этом банкете будет присутствовать и Короленко.

Переход и гибель

“Человек – это переход и гибель”, – говорил Заратустра Ницше, имея в виду, что человек – это “мост”, протянутый природой между животным и сверхчеловеком. С этой “истиной” молодой Пешков познакомился еще до того, как стал Горьким.

Но прежде – некоторые бытовые подробности его пребывания в Нижнем. С октября 1889 года он устроился работать письмоводителем к присяжному поверенному А. И. Ланину за двадцать рублей в месяц. Двадцать рублей – деньги хорошие. Это меньше тридцати рублей, которые весовщик Пешков получал на железной дороге, но и не три рубля, получаемые за работу в пекарне. Тем более что Ланин работой Пешкова не обременял, зато позволял пользоваться своей роскошной библиотекой.

Ланин был личностью в Нижнем Новгороде известной. Прекрасный адвокат, либеральный общественный деятель, председатель совета Нижегородского общества распространения начального образования. “Влияние его на мое образование было неизмеримо огромным, – писал Горький. – Это высокообразованный и благороднейший человек, коему я обязан больше всех...”

Любопытно сравнить его и Ромаса фотопортреты, поместив между ними портрет Короленко. Если совместить лица Ромаса и Ланина, то получится почти Короленко. Во внешности Ланина сочетались барин и интеллигент. Густая шелковистая борода, в которой было что-то “тургеневское”, как и в его умных, пронизательных и очень доброжелательных глазах. Огромный лоб, но без упрямства Ромаса. Большие, красиво очерченные уши, кажется, созданные для того, чтобы внимательно слушать собеседника.

Трудно вообразить, какой из полуграмотного Пешкова был письмоводитель, но хлопоты Ланину он доставил тотчас же. Уже в октябре Пешков был арестован и заключен в первый корпус нижегородского замка.

Это было эхо Казани. После разгрома студенческого движения, отчисления и высылки многих студентов часть из них осела в Нижнем. Вообще в Нижнем произошло своеобразное повторение казанской ситуации. Горький вновь оказался в кругу своих бывших приятелей. Среди них были А. В. Чекин и С. Г. Сомов, с которыми он поселился в трехкомнатной квартире по Жуковской улице. Чекин – педагог, организатор народнических кружков в Казани – продолжал заниматься этим и в Нижнем. Сомов был странный человек. В письме к Груздеву Горький утверждал, что именно Сомова описал Боборыкин в романе “Солидные добродетели” и Лесков в рассказе “Шерамур”. Когда Груздев усомнился, что карикатурный персонаж эмигранта, выведенный в рассказе Лескова, и есть бывший приятель Горького, тот стал настаивать: “С. Г. Сомов именно таков был, как его написал Лесков: среднего роста, квадратный, с короткой шеей, отчего казался сутулым. На квадратном лице – темненькие, пренебрежительные глазки, черная, тупая бородка. Уши без мочек. Голос – ворчливый, бурчащий, фраза небрежная, короткая. Черноволосость, прямота и жесткость волоса указывали как будто на инородческую, всего скорее калмыцкую кровь. После остался сын в Саратове. Писал мне в 17 или 18 гг. С.Г. был убежден в своей исключительной гениальности, но это выходило у него не смешно и не тяжело, а как-то по-детски забавно. «Гениальность» делала его отчаянным эгоистом. Был прожорлив. Съедал молоко своих девочек; у него было две, обе очень болезненные. Когда их мать, некрасивая, нездоровая и задавленная нищетой, говорила ему: «Как же дети? Ты съел их молоко!» – он ворчал, что неизвестно еще, дадут ли дети миру что-нибудь ценное, тогда как он – уже... В общем же это был все-таки хороший человек. Странно, что некоторые его идеи – напр<имер> о Китае – совпадали с идеями Н. Ф. Федорова”.

Остается добавить, что Сергей Григорьевич Сомов родился в 1842 году и, значит, был старше Пешкова на двадцать шесть лет. За совместное проживание с этим “темным” человеком Пешкова и арестовали. На первом допросе, по замечанию полиции, он “держал себя в высшей степени дерзко и нахально”. В очерке “Время Короленко” Горький описывает свое пребывание в замке с иронией.

Допрашивал Пешкова начальник нижегородского жандармского управления генерал И. Н. Познанский – это говорит о том, какое значение придавали разным странным людям, вроде Сомова и Пешкова, в нижегородской жандармерии. Познанский был человеком глубоко несчастным, и об этом знал весь город.

18 апреля 1879 года, когда Познанский служил начальником Санкт-Петербургского жандармского управления, его шестнадцатилетний сын, ученик Первой петербургской гимназии, был найден мертвым после сильнейшего отравления морфием. В убийстве его подозревалась гувернантка, француженка Маргарита Жюжан. Судьей на процессе был знаменитый А. Ф. Кони, в результате чего суд вынес оправдательный приговор, а сын главного петербургского жандарма был признан морфинистом.

Горький описывает генерала в мягких, но иронических тонах. “Какой вы революционер? – брюзгливо говорил он. – Вы не еврей, не поляк. Вот – вы пишете, ну, что же? Вот когда я выпущу вас – покажите ваши рукописи Короленко, – знакомы с ним? Нет? Это – серьезный писатель, не хуже Тургенева...” Таким образом, первым серьезным ценителем его творчества

был добрый жандармский генерал, который и благословил его на литературную стезю. Ведь известно, что Пешков прятал от друзей свои стихи, стеснялся их. После обыска они оказались у генерала.

Дочь генерала была талантливой пианисткой. О том, как Пешков с улицы слушал ее музыкальные упражнения дома, Горький описал в рассказе “Музыка”. Так что генерал Познанский сыграл в судьбе Горького определенную роль.

Ланин не зря натерпелся от своего служащего, которого он готовил в присяжные поверенные. Первая книга Горького носила посвящение А. И. Ланину. Между прочим, его имя на титульном листе могло всерьез навредить легенде по имени М. Горький. Как и тот несомненный, но неизвестный широкой публике факт, что невольный (или сознательный?) творец этой легенды, якобы “босяк”, еще до выхода первой книги был знаком (лично и по письмам) с виднейшими личностями того времени – Н. Ф. Анненским и В. Г. Короленко, Ф. Д. Батюшковым и Н. К. Михайловским, Д. В. Григоровичем и А. М. Скабичевским. Это было просто: заявиться в дом Короленко, показать рукопись, получить отклик. Будучи провинциальным журналистом, перекинуться парой слов с художником Верещагиным, оказавшимся на нижегородской Всероссийской промышленной и торговой выставке, где Пешков был аккредитован. Послать рассказ по почте в столичные “Русские ведомости” (даже не сам отправил, а его приятель Н. З. Васильев, без ведома автора) и через месяц читать рассказ “Емельян Пиляй” напечатанным. Сидючи в “глухой провинции”, искать в столице издателей через посредников (В. А. Поссе) и находить – не одного, так другого. Отказались издавать “Очерки и рассказы” О. Н. Попова, М. Н. Семенов и А. М. Калмыкова. Зато взяли А. П. Чарушников и С. П. Дороватовский.

Поражает невероятная плотность культурного пространства в гигантской бездорожной стране! Слово между столицами и провинцией не было никакого расстояния! Вот еще пример. Через два месяца после выхода “Очерков и рассказов” литературная знаменитость опять попадает в тюрьму. На сей раз посадили уже как политического преступника, по старым, еще тифлиским революционным делам. Арестовали в Нижнем, но сидеть надлежало в Тифлисе, на месте, так сказать, преступления. И вот из Метехского замка Горький пишет жене: «Гиббона» скоро прочту”. То есть что же еще читать в провинциальной тюрьме, как не гиббоновскую “Историю упадка Римской империи”, сравнивая ее с упадком империи собственной!

Когда главный редактор “Русского богатства” критик и публицист Н. К. Михайловский обозревал в своем журнале “Очерки и рассказы” “господина М. Горького”, он естественно задался вопросом: каким образом в произведениях этого самоучки, не знавшего иностранных языки, проникли идеи Ницше, которого в самой Европе в то время считали обычным умалишенным? Вероятно, решил Михайловский, эти идеи попали туда случайно. Они “носятся в воздухе” и “могут прорезываться самостоятельно”. Замечание, достойное той эпохи. Европейская профессура в большинстве своем все еще считает Ницше неудавшимся филологом, “зарвавшимся мыслителем”, а в России его идеи “носятся в воздухе” и “прорезываются самостоятельно” в творчестве провинциального самоучки.

Михайловский переосторожничал. Ничего случайного в ницшеанстве самоучки из Нижнего Новгорода не было. Не сам ли Михайловский еще в 1894 году выступил в “Русском богатстве” с двумя капитальнейшими статьями о Ницше, равных по глубине которым в европейской периодике еще не было? Не он ли едва не первым заговорил об особой морали Ницше (“он – моралист и притом гораздо, например, строже и требовательнее гр. Л. Н. Толстого”)? И это в то время, когда Европа считала Ницше исключительно аморальным мыслителем. Не он ли задолго до экзистенциалистов написал работу “Ницше и Достоевский”? Этих статей Горький не мог не знать. Знал он, как сегодня известно, и о статьях московских профессоров Грота, Лопатина, Астафьева и Преображенского, появившихся в “Вопросах философии и психологии” в 1892–1893 годах. Спорил о них со студентами ярославского лицея.

В конце восьмидесятых, находясь на пороге окончательного безумия, Ницше только получал первые весточки о том, что его признали одинокие умы Европы и Скандинавии. Только-только Георг Брандес в Дании выступил с лекциями о “базельском мудреце”. Законодатель интеллектуальной моды во Франции Ипполит Тэн только-только бросил свой благосклонный взор на европейского мыслителя, уже завершающего свой творческий путь. А через несколько лет ярославские студенты уже ожесточенно спорят о нем с каким-то Пешковым, не окончившим даже начального училища Кунавинской слободы.

Это и была Россия, “которую мы потеряли”. И в этой стране не могла не накопиться та критическая масса, которая вскоре породила взрыв. В культуре той эпохи была какая-то избыточность. Что ни писатель, то мировое событие. Что ни фигура, то мессия. Явление Белого с “Симфониями”, Блока с “Незнакомкой”, Андреева с “Бездной”. И молодой Горький здесь не только не исключение, но – главный участник этого процесса.

“Карьера Горького замечательна, – писал впоследствии князь Д. П. Мирский. – Поднявшись со дна провинциального пролетариата, он стал самым знаменитым писателем и наиболее обсуждаемой личностью в России <...>, его нередко ставили рядом с Толстым и безусловно выше Чехова”. В 1903 году было продано в общей сложности 103 тысячи экземпляров его сочинений и отдельно 15 тысяч экземпляров пьесы “Мещане”, 75 тысяч экземпляров пьесы “На дне”. В то время такие тиражи считались огромными.

В конце сентября 1899 года Горький впервые приехал в Петербург. И уже через десять дней басовито дерзил именитым столичным литераторам и общественным деятелям на банкете, организованном в журнале “Жизнь”. Именитости, конечно, обижались. Но – терпели. Почему? В их глазах Горький, выражаясь сегодняшним языком, был выразителем “альтернативной” культуры. Не зная толком ни кто он, ни откуда явился, все видели в нем вестника неизвестной России. Той, что начиналась даже не за последней петербургской заставой, а в каком-то мистическом пространстве, где прошлое соединяется с будущим. Конечно, это случайность, что появление “Очерков и рассказов” почти буквально совпало с выходом в свет первого русского перевода “Так говорил Заратустра”. Но Горький к этой случайности хорошо подготовился.

В архиве Горького хранятся воспоминания жены его нижегородского знакомого Николая Захаровича Васильева. Химик по профессии и философ по призванию, он так напичкал Пешкова древней и новейшей философией, что едва не довел его до умопомрачения. В очерке “О вреде философии” Горький ярко описал и личность самого Васильева, и свое умственное состояние в 1889–1890 годах.

“Прекрасный человек, великолепно образованный, он, как почти все талантливые русские люди, имел странности: ел ломти ржаного хлеба, посыпая их толстым слоем хинина, смачно чмокал и убеждал меня, что хинин – весьма вкусное лакомство. Он вообще проделывал над собою какие-то небезопасные опыты: принимал бромистый калий и вслед за тем курил опиум, отчего едва не умер в судорогах; принял сильный раствор какой-то металлической соли и тоже едва не погиб. Доктор, суровый старик, исследовав остатки раствора, сказал:

– Лошадь от этого издохла бы. Даже, пожалуй, пара лошадей!

Этими опытами Николай испортил себе все зубы, они у него позеленели и выкрошились. Он кончил все-таки тем, что – намеренно или нечаянно – отравился в 1901 году в Киеве”.

Над своим другом Васильев поставил другой эксперимент. “Будем философствовать”, – однажды заявил он. Горький вспоминал: “...развернул передо мною жуткую картину мира, как представлял его Эмпедокл. Этот странный мир, должно быть, особенно привлекал симпатии лектора: Николай рисовал мне его с увлечением, остроумно, выпукло и чаще, чем всегда, вкусно чмокал”.

За Эмпедоклом последовали другие. И наконец – Ницше, о котором в России в то время еще не упоминали в печати. В своих воспоминаниях жена Н. З. Васильева пишет: “Из литера-

турных их (Пешкова и Васильева. – П.Б.) интересов этого времени помню большую любовь к Флоберу, которого знали почти всего. Почему-то, вероятно за его безбожность, не было перевода «Искушения св<ятого> Антония», и меня заставили переводить его, так же как впоследствии Also sprach Zarathustra (Заратустра) Ницше, что я и делала – наверное, неуклюже, и долгое время посылала Алексею Максимовичу в письмах на тонкой бумаге мельчайшим почерком”.

Судя по сохранившимся в архиве Горького письмам Васильева, он методично просвещал своего приятеля и потом сурово разбирал его произведения с точки зрения соответствия ницшеанской морали. Результатом этой философской учебы стало то, что однажды Горький почувствовал: он сходит с ума. “Жуткие ночи переживал я. Сидишь, бывало, на Откосе, глядя в мутную даль заволжских лугов, в небо, осыпанное золотой пылью звезд, и – начинаешь ждать, что вот сейчас, в ночной синеве небес, явится круглое черное пятно, как отверстие бездонного колодца, а из него высунется огненный палец и погрозит мне.

Или: по небу, сметая и гася звезды, проползет толстая серая змея в ледяной чешуе и навсегда оставит за собою непроницаемую, каменную тьму и тишину. Казалось возможным, что все звезды Млечного Пути сольются в огненную реку и вот сейчас она низринется на землю...”

И наконец явные признаки безумия: “Я видел Бога, это Саваоф, совершенно такой, каким его изображают на иконах и картинах...”

Примерно в это же время, в январе 1889 года, в Турине прямо на улице Ницше настигает апоплексический удар, за которым следует окончательное умопомрачение. Он рассылает знакомым безумные почтовые открытки с подписями “Дионис” и “Распятый”. 17 января мать с двумя сопровождающими отвозит его в психиатрическую клинику Йенского университета. Улыбаясь, как ребенок, он просит врача: “Дайте мне немножко здоровья”. Потом начинаются частые приступы гнева. Кричит. Принимает привратника больницы за Бисмарка. В страхе разбивает стакан, пытается “забаррикадировать вход в комнату осколками стекла”. Прыгает по козлиному, гримасничает. Ни за что не желает спать в кровати – только на полу.

Горький, человек с более крепкой нервной организацией, отделался легче.

Нижегородский психиатр, “маленький, черный, горбатый, часа два расспрашивал, как я живу, – писал Горький, – потом, хлопнув меня по колену странно белой рукой, сказал: «Вам, дружище, прежде всего надо забросить ко всем чертям книжки и вообще всю эту дребедень, которой вы живете! По комплекции вашей вы человек здоровый, и – стыдно вам так распускать себя. Вам необходим физический труд. Насчет женщин – как? Ну! это тоже не годится! Предоставьте воздержание другим, а себе заведите бабенку, которая пояднее к любовной игре, – это будет вам полезно!»”

В апреле 1891 года Горький действительно бросил “ко всем чертям книжки и вообще всю эту дребедень” и отправился из Нижнего в свое знаменитое странствие “по Руси”. А через год в тифлисской газете “Кавказ” появился его первый рассказ – “Макар Чудра”, который открывался следующими рассуждениями старого цыгана: “Так нужно жить: иди, иди – и все тут. Долго не стой на одном месте – чего в нем? Вон как день и ночь бегают, гоняясь друг за другом, вокруг Земли, так и ты бегай от дум про жизнь, чтоб не разлюбить ее. А задумаешься – разлюбишь жизнь, это всегда так бывает. И со мной это было. Эге! Было, сокол...”

Ницше и Горький

Вопрос о ницшеанстве раннего (и не только раннего) Горького весьма сложен. Легко заметить, что и в более поздних произведениях он не забывал о Ницше. Например, название самого известного цикла горьковской публицистики “Несвоевременные мысли” заставляет вспомнить о “Несвоевременных размышлениях” (в другом переводе – “Несвоевременные мысли”) Ницше.

В архиве Горького хранится любопытное письмо М. С. Саяпина, внука сектанта Ивана Антоновича Саяпина, описанного в очерке Г. И. Успенского “Несколько часов среди сектантов”. М. С. Саяпин, внимательно изучавший русских сектантов, находил в их учениях сходство с философией Ницше: “Все здесь ткалось чувством трагедии. Чтобы как-нибудь объяснить себе эти жизненные иероглифы, я стал буквально изучать книгу Ницше «Происхождение трагедии из духа музыки», читал я всё, что могло мне попасться под руки в этом направлении, и наконец убеждение окрепло: да, дух русской музыки, живущей в славянской душе, творит неписаную трагедию, которую люди разыгрывают самым идеальным образом – не думая о том, что они играют”.

Не исключено, что молодой Горький читал Ницше аналогичным образом. Чтобы как-то объяснить события русской жизни, он обращался к мировой философии и находил в ней то, что наиболее отвечало его собственным, уже сформировавшимся впечатлениям и мыслям.

В переписке Горького и в его статьях можно заметить, что при довольно частых упоминаниях Ницше (около сорока раз) его отзывы о нем были либо сдержанными, либо критическими. Единственным исключением является письмо к А. Л. Волынскому от 1897 года, где Горький признается: “. . . и Ницше, насколько я его знаю, нравится мне, ибо, демократ по рождению и чувству, я очень хорошо вижу, что демократизм губит жизнь и будет победой не Христа – как думают иные, – а брюха”.

Но Ницше никак не мог желать победы Христа, поскольку был ярким врагом христианства. Гораздо точнее Горький отозвался о Ницше в письме к князю Д. П. Мирскому от 8 апреля 1934 года: “Ницше Вы зачислили в декаденты, но – это очень спорно, Ницше проповедовал «здоровье»...” Если вспомнить, что вернувшийся к тому времени в СССР Горький тоже проповедовал здоровье как идеал советской молодежи, то это высказывание приобретает особый смысл.

В то же время в цитированном письме к А. Л. Волынскому чувствуется желание молодого Горького подыграть настроению автора книги “Русские критики” и статей об итальянском Возрождении, о которых, собственно, и идет в письме разговор. Это его, Волынского, идеи пересказывает Горький, пользуясь именем Ницше как языком своей эпохи. В 1897–1898 годах Горький сотрудничал в “Северном вестнике” Волынского и искал с ним общий язык.

В целом ранние отзывы Горького о Ницше можно считать умеренно положительными. Он высоко ценил его бунтарство, протест против буржуазной культуры и весьма низко ставил его социальную проповедь. Но сдержанность, с которой Горький отзывался о Ницше вплоть до конца двадцатых годов, не исключает возможности высокого, но скрываемого интереса к нему. На отношение Горького к вопросу о Ницше могла повлиять шумная кампания в критике вокруг его первых вещей. В статьях Н. К. Михайловского, А. М. Скабичевского, М. О. Меньшикова, В. Г. Короленко и других ницшеанство писателя было подвергнуто резкой критике. В ницшеанстве его обвинил и Лев Толстой. Все это не могло не повлиять на Горького. Он не мог чувствовать себя свободно, когда публично высказывался о Ницше.

В 1906 году, впервые оказавшись за границей, Горький получил письменное приглашение сестры уже покойного Ницше, Элизабет Фёрстер-Ницше.

12 мая 1906 г. Веймар

Милостивый государь!

Мне приходилось слышать от Вандервельде и гр<афа> Кесслера, что Вы уважаете и цените моего брата и хотели бы посетить последнее местожительство покойного.

Позвольте Вам сказать, что и Вы и Ваша супруга для меня исключительно желанные гости, я от души радуюсь принять Вас, о которых слышала восторженные отзывы от своих друзей, в архиве Ницше, и познакомиться с

Вами лично. На днях мне придется уехать, но к 17 мая я вернусь. Прошу принять и передать также Вашей супруге мой искренний привет.

Ваша Э. Фёрстер-Ницше

Имя бельгийского социал-демократа Эмиля Вандервельде позволяет оценить всю сложность и запутанность вопроса о нищезанстве Горького. В начале века социализм и нищезанство еще не враждуют, но часто идут рука об руку. Недаром в это время о нищезанстве Горького под знаком плюс писала и марксистская критика, скажем, А. В. Луначарский. Мысль о “браке” Ницше и социализма носилась в воздухе и заражала многие умы и сердца. Так, в письме к Пятницкому в 1908 году Горький писал о поэте Рихарде Демеле, творчеством которого увлекался в это время. Это, по его мнению, “лучший поэт немцев”, “ученик Ницше и крайний индивидуалист”, но главная его заслуга в том, что он, “как и Верхарн, передвинулся от индивидуализма к социализму”.

В январе 1930 года Горький получил письмо от немецкого поэта Вальтера Гильдебранда. Оно весьма точно отражает начало кризиса этой идеи: “Признаешь водовороты Ницше и в то же время являешься коммунистом, с другой стороны – ты коммунист, на которого Ницше смотрит с презрением. Я почитаю Райнера Мария Рильке, этого большого одинокого человека, ушедшего в себя, и в то же время я чувствую сродство и единомыслие с Вами”.

Но отношение Горького к Ницше в это время было уже резко отрицательным. В статьях “О мещанстве” (1929), “О старом и новом человеке” (1932), “О солдатских идеях” (1932), “Беседы с молодыми” (1934), “Пролетарский гуманизм” (1934) и других он проклинал Ницше как предтечу нацизма. Именно Горький стал главным проводником этого мифа в СССР. Впрочем, в эти годы значительная часть интеллектуальной Европы (Ромен Роллан, Томас Манн и другие), напуганная фашизмом, отвернулась от своего прежнего кумира.

Интересно, что именно в это время современники отмечали внешнее сходство Ницше и Горького. Ольга Форш в статье “Портреты Горького” писала: “Он сейчас очень похож на Ницше. И не только пугающими усами, а более прочно. Может, каким-то внутренним родством, наложившим на их облики общую печать”. Загадка этого двойничества, по-видимому, волновала и самого писателя. В повести “О тараканах” Горький заметил: “Юморист Марк Твен принял в гробу сходство с трагиком Фридрихом Ницше, а умерший Ницше напомнил мне Черногорова – скромного машиниста водокачки на станции Кривая Музга”.

День четвертый Правда или сострадание? (Пьеса “На дне”)

Сатин. Вы – все – скоты!

Сатин. Че-ло-век! Это – великолепно! Это звучит... гордо!

Горький. На дне

Рубежной в жизни и творчестве Горького является пьеса “На дне”.

С сопутствующей ему жанровой скромностью он дал ей подзаголовок “Картины”. Но на самом деле пьеса является сложной философской драмой с элементами трагедии.

Настоящая слава Горького – неслыханная, феноменальная, такая, какой не знал до него ни один не только русский, но и зарубежный писатель (исключение может составить лишь Лев Толстой), – началась с постановки “На дне”. До этого можно было говорить только о высокой популярности молодого прозаика.

Грандиозный успех постановки “На дне” 18 декабря 1902 года в Московском Художественном театре под руководством К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко превзошел все ожидания. В том числе и ожидания цензоров, которые, как предполагал Немирович-Данченко, разрешили постановку лишь потому, что власти были уверены в полном провале пьесы на спектакле. Любопытно заключение цензора Трубачова после прочтения присланного в цензуру текста:

“Новая пьеса Горького может быть разрешена к представлению только с весьма значительными исключениями и некоторыми изменениями. Безусловно необходимо городского Медведева превратить в простого отставного солдата, так как участие «полицейского чина» во многих проделках ночлежников недопустимо на сцене. В значительном сокращении нуждается конец второго акта, где следует опустить из уважения к смерти чахоточной жены Клеца грубые разговоры, происходящие после ее кончины. Значительных исключений требуют беседы странника, в которых имеются рассуждения о Боге, будущей жизни, лжи и прочем. Наконец, во всей пьесе должны быть исключены отдельные фразы и резкие грубые выражения...”

Сейчас проще всего посмеяться над мнением литературного чиновника Трубачова. (Хотя в то время автору и руководителям Московского Художественного театра было не до смеха. Немирович потратил немало сил, чтобы спасти многое из изъятого цензурой, в противном случае Горький отказывался от постановки.) Но если вчитаться в цензорские слова в контексте старого времени, то мы обнаружим вещи весьма интересные.

Например, предложение превратить городского в отставного солдата. Только ли заботой о чести полицейского управления диктовалось это требование? Дело в том, что в России с 1867 года городские набирались именно из отставных солдат (реже из унтер-офицеров) по вольному найму для охраны порядка в губернских и уездных городах, а также посадах и местечках. Городовой являлся низшим полицейским чином. Таким образом, цензора смутило явное нарушение правды жизни. Отставной солдат, нанявшийся в городские (с приличным, кстати, заработком – от 150 до 180 рублей в год), хотя и мог оставаться своим братом ночлежникам, но участвовать в их плутнях он едва ли мог.

В душе он этих людей мог жалеть и понимать. Вспомним: кто подобрал на улице Нижнего пьяную нищенку, бабушку Акулину, которая повредила себе ногу и не могла идти сама? Это был городской. “Он смотрел на нее сурово, тон его голоса был зол и резок, но бабушку Акулину все это не смущало. Она знала, что он добрый *солдат* (курсив мой. – П.Б.), зря ее не обидит, в часть не отправит – разве первый раз ему приходится поднимать ее на улице?”

Это написал Пешков в очерке “Бабушка Акулина”. Он не мог наблюдать этой сцены, ибо в тот момент находился в Казани. Он выдумал эту сцену, но в согласии с правдой жизни, *типической* правдой. А вот в “На дне” он зачем-то выдумывает *нетипического* городского Медведева, который вместо того, чтобы степенно ходить свататься к Квашне, “скачет” вместе с ними по сцене. Это не могло не смутить цензора.

Но едва ли не на этом построена вся пьеса! На множественных, так сказать, “коротких замыканиях”, которые должны возникать в сознании зрителя. Пьеса должна вышибать его с орбиты привычных ему правд и ценностей и ввергать в хаос тех вопросов, которыми неразрешимо мучился сам автор: “зачем человек?”, “отчего он страдает?”, “как человеку сохранить свое благородство?” В контексте этих вопросов какая-то малая неправда с городовым не имела значения. Имело значение то, что Медведев не мог быть *просто* городовым, так же как и Сатин не был *просто* шулером.

Откуда было знать об этом *просто* цензору?

Обратим внимание на другое. Цензор Трубачов позаботился о том, чтобы возле умершей Анны не было грубых разговоров. “Из уважения к смерти”, – пишет он. С религиозной точки зрения эти разговоры – святотатство. И Горький, конечно, сознательно шел на это. Причем здесь-то правда жизни могла быть соблюдена. Алеша Пешков немало насмотрелся покойников и того, как к ним относятся на социальном дне. В очерке “Бабушка Акулина” он пишет о том, как пасомые его бабушкой “внучата” из нижегородского отребья попросту забирают у нее последние три рубля, приготовленные на похороны. И значит, здесь цензор потребовал от автора как раз не правды, но соблюдения духовного приличия. А вот его-то, этого духовного приличия, Горький соблюдать не желал. Напротив, он хотел взорвать его, как духовный “бомбист”.

И, наконец, третье соображение по поводу цензорских замечаний. Почему его взгляд так цепко ухватился именно за Луку? Ведь с позиции современного сознания Лука-то как раз добренький, как раз христоробивый. Это Сатин злой и желчный. Это Сатин отрицает Бога и жалость.

А Лука вон какой! Если веришь в Бога, то и есть Бог, а если не веришь, то и нет. Именно эта формула Луки наиболее комфортна для современного человека. Именно это и заставляет нас любить доброго бога бабушки, а не злого Бога дедушки. С таким Богом комфортно. О нем можно на время забыть. Вспомнить, когда умер близкий, родственник. Можно не думать о нем годами. Но во время болезни обратиться к нему с мольбой. Вот этого бога и предлагает героям Лука.

Однако цензор Трубачов учился не в советской школе. Наверняка Закон Божий, а скорее всего, и церковный устав он знал неплохо. Трубачова Лука не провел.

В другом ошибся Трубачов. Пьеса не могла провалиться не только потому, что автор ее был фантастически талантлив, но и потому, что в воздухе уже носилось предчувствие новой этики. Кто-то ее ждал, кто-то боялся, кто-то ее сознательно создавал. Но всем она была жутко интересна!

В пьесе “На дне” возникает спор между бунтарем и крайним гуманистом Сатиным и Лукой, пытающимся примирить человеческое и божественное. В глазах автора всякое подобное примирение есть ложь. Или, по крайней мере, *пока* ложь. Пока человек не возвысился до Бога и “спокойно” не встал с Ним вровень. Но ложь в какой-то степени допустимая и для обреченного человека, вроде больной Анны или проститутки Насти, даже спасительная. И тем не менее, заставив Луку в разгар конфликта исчезнуть со сцены, попросту сбежать, а Актера, поверившего ему, повеситься, автор не стоит на стороне Луки. Но и бунт Сатина, на грани истерики, за бутылкой водки, отчасти спровоцированный самим Лукой, не несет в себе положительного начала. Он лишь устраняет завалы на пути к неведомой правде о гордом Человеке, которые пытался своей проповедью о сострадании нагромоздить Лука.

Пьеса “На дне” – удивительное произведение! Это одновременно начало модернистского театра, затем подхваченного Леонидом Андреевым, и завершение театра реалистического. Чехов “убил реализм”, считал Горький. Но после этого заявления Горький вовсе не отшатнулся от реализма.

Совершенно невозможно уловить прозрачную границу, где в пьесе “На дне” заканчивается бытовая драма и начинается драма идей. Каким образом читатель из грязного бытового сюжета попадает в горние области духа? Где кончается просто жизнь и возникает философия, предвосхитившая открытия экзистенциализма?

Что происходит в пьесе “На дне”, если взглянуть на эту вещь простыми глазами? Драма ревности старшей сестры к младшей. Галерея характеров опустившихся или опускающихся людей, которые только и делают, что пьют, орут, дерутся, оскорбляют друг друга. Почти все ключевые монологи они произносят в пьяном виде, включая духоподъемный монолог Сатина о Человеке, который “звучит гордо”. В советских школах дети заучивали этот монолог как истину в последней инстанции, не замечая, что произносит его шулер, которого накануне избили за обман и непременно избьют завтра.

Появление Луки в пьесе ничем не мотивировано, как и его исчезновение. Просто пришел и просто ушел. Между тем совершенно ясно, что без Луки в пьесе ничего важного не произошло бы. Обитатели ночлежки продолжали бы пить, буянить. Жена Костылева наставляла бы рога мужу с Васькой Пеплом. Настя содержала бы Барона, торгуя своим телом. Сатин произносил бы бессмысленные слова: “сикамбр”, “органон”, – рычал, обзывал всех подлецами и плутовал в карты.

Автор запускает Луку в это сырое тесто как дрожжи. И тесто начинает взбухать, подниматься, вылезать из квашни. Бытовая драма превращается в полигон идей. Все спорят со всеми, и слова всех, в том числе и самые обычные (Бубнов: “А ниточки-то гнилые”), обретают философский смысл. Это позволяет сделать неожиданный вывод, что переодетым, загримированным Лукой в пьесе является сам Горький.

Он не согласился бы с такой трактовкой. Его вообще удивило и рассердило, что публика образ Луки приняла с куда большим энтузиазмом, чем образ Сатина.

Он приписал это великому сценическому таланту И. М. Москвина, игравшего Луку, а также своему “неуменью”. “...Ни публика, ни рецензента – пьесу не раскусили, – писал Горький. – Хвалить – хвалят, а понимать не хотят. Я теперь соображаю – кто виноват? Талант Москвина – Луки или же неуменье автора? И мне – не очень весело”.

“Основной вопрос, который я хотел поставить, – говорил Горький в интервью, – это – что лучше: истина или сострадание? Что нужнее?”

Истина и сострадание, в глазах Горького, вещи не просто разные, но и враждебные. “Человек выше жалости”. Жалость унижает его духовную сущность. А между тем, если пристально читать пьесу, окажется, что человеческая сущность начинает вырываться из пропитых глоток Сатина, Барона, Актера, Пепла и Насти, лишь когда их пожалел Лука.

До его появления они спали. Когда он их пожалел, они проснулись. В том числе проснулся и гордый Сатин, заговорив о Человеке. Том самом, который “выше жалости”. Которого надо не жалеть, а уважать. Но за что можно уважать обитателей ночлежки? За что их можно жалеть – понятно. А вот за что уважать? Это очень сложный вопрос.

В монологе о Человеке Сатин рисует рукой в воздухе странную фигуру и заявляет: “Это не ты, не я, не они... нет! – это ты, я, они, старик, Наполеон, Магомет... в одном!” Эта ремарка (“*Очерчивает пальцем в воздухе фигуру человека*”) очень важна, без нее теряется весь смысл пьесы. Если говорить о возможном ключе к пониманию этой вещи, он находится как раз тут.

Человек не в состоянии справиться с Богом в одиночку. Это попытались сделать многие герои Горького – Лунев, Гордеев и другие – и погибли на этом пути. Только совокупное человечество способно сразиться с создателем этого несправедливого мира. Только все вместе, “в

одном”, включая и героев, и пророков прошлого и настоящего. И даже таких ничтожных, спившихся созданий, как Сатин. Романтический бунт одинокого “я” против Бога Горький заменяет коллективным восстанием всего человечества.

“Понимаешь? Это – огромно! В этом – все начала и концы... Всё – в человеке, всё – для человека! Существует только человек, все же остальное – дело его рук и его мозга. Че-ло-век! Это – великолепно! Это звучит... гордо! Че-ло-век! Надо уважать человека! Не жалеть... не унижать его жалостью... уважать надо! Выпьем за человека, Барон!”

Гимн Сатина Человеку – это смертный приговор “людям”. Его тост за Человека – это поминальный стакан за Барона, Настю и Актера. После того как произносится этот возвышенный монолог, происходит следующее:

Актер. Татарин! (*Пауза.*) Князь!

(*Татарин поворачивает голову.*) <...>

Актер. За меня... помолись...

Татарин (*помолчав*). Сам молись...

Актер (*быстро слезает с печи, подходит к столу, дрожащей рукой наливает стакан водки, пьет и – почти бежит – в сени*). Ушел!

Сатин. Эй ты, сикамбр! Куда?

Куда? Вешаться! Последним аккордом пьесы, после монолога Сатина и каторжной песни (“Солнце всходит и заходит, а в тюрьме моей темно”), является самоубийство Актера. Потому что Сатин, воспев Человека как идеал будущего, отказал Актеру в праве на сегодняшнюю жизнь.

Не Лука виноват в том, что Актер повесился. Сатин! Лука жалел обитателей ночлежки, потому что они люди конченные. Дело не в том, что для Актера нет в России лечебницы, а в том, что Актер – это “бывший человек”, а грядет новая мораль, в которой “бывшим” нет места.

Поэт и критик Иннокентий Анненский пронизательно заметил: “Читая ее (пьесу. – П.Б.), думаешь не о действительности и прошлом, а об этике будущего...” И в той же статье о “На дне” он задает вопрос: “Ах, Горький – Сатин! Не будет ли тебе безмерно одиноко на этой земле?”

Вопрос звучит странно, ибо Сатин говорит как раз о совокупном Человеке, о “восстании масс”, выражаясь словами Ортеги-и-Гассета. Какое же тут одиночество? Но в том-то и дело, что совокупный Человек, как отвлеченный идеал, как цель будущего, не менее, а как раз более одинок, чем многие из “людей”.

Фигура, нарисованная в воздухе Сатиным, висит в пустоте. И в такой же пустоте шагает гордый Человек Горького в одноименной поэме.

“Затерянный среди пустынь вселенной, один на маленьком куске земли, несущемся с неуловимой быстротою куда-то в глубь безмерного пространства, терзаемый мучительным вопросом – зачем он существует? – он мужественно движется – вперед! И – выше! – по пути к победам над всеми тайнами земли и неба”.

Куда уж горше одиночество! Но именно это и есть тот совокупный Человек, за которого Сатин торжественно поднимал стакан водки, провожая в последний путь не только Актера, но и себя, и всех обитателей ночлежки. Тех, кого пожалел Горький – Лука, Горький – Сатин красиво отпел.

О-о, они прекрасно поняли друг друга! Жалко “людей”? Конечно! “Все черненькие, все прыгают”. Все уважения или хотя бы жалости просят.

Жалости – сколько угодно! Но уважения – ни-ни! “Дубье... молчать о старике! (*Спокойнее.*) Ты, Барон, – всех хуже!.. Ты – ничего не понимаешь... и врешь! Старик – не шарлатан! Что такое – правда? Человек – вот правда! Он это понимал... вы – нет! Вы – тупы, как кирпичи”.

“Вы – все – скоты!” Вот и вся правда. Вот и путь к разгадке мнимого противостояния Сатина и Луки. Любопытно, что сам Горький не видел в пьесе противостояния. “В ней нет

противостояния тому, что говорит Лука. Основной вопрос, который я хотел поставить, это – что лучше: истина или сострадание? Что нужнее? Нужно ли доводить сострадание до того, чтобы пользоваться ложью, как Лука? Это вопрос не субъективный, а общефилософский. Лука – представитель сострадания и даже лжи как средства спасения, а между тем противостояния проповеди Луки представителей истины в пьесе нет. Клещ, Барон, Пепел – это факты жизни, а надо отличать факты от истины. Это далеко не одно и то же”.

Эти слова из интервью Горького 1903 года, и они многое объясняют в “На дне”. Лука и Сатин – не оппоненты, но два философа, которые не знают об истине, но знают о правде и делают из нее противоположные выводы. Собственно говоря, это две ипостаси Максима Горького.

“Правда” заключается в том, что для этики будущего, этики XX века “люди” перестанут быть индивидуальными, духовно ценными единицами. Попытка самоубийства нового Алеши Пешкова уже не всколыхнет огромный город, не заставит церковь заниматься практическим вопросом его духовного спасения. Жизнь человеческая вообще не будет стоить ломаного гроша. В грязные окопы пойдут миллионы людей, став пушечным мясом, пищей для вшей. Их будут травить ядовитыми газами, как крыс и насекомых. Потом будут красный террор, голодоморы тридцатых годов на Украине, на Кавказе, в Поволжье. Потом – печи Бухенвальда, массовое истребление целых наций и даже рас. Хиросима. И многое другое, что станет этикой будущего. Вот от чего убегает со своей последней жалостью Лука и над чем в глубоком отчаянии, хлопнув для храбрости стакан водки, пытается утвердить знамя “уважения” к Человеку богоборец Сатин.

День пятый Сила и слава

Ко времени первой встречи с ним слава его шла уже по всей России. Потом она только продолжала расти. Русская интеллигенция сходила от него с ума... И вот, каждое новое произведение Горького тотчас делалось всероссийским событием. И он все менялся и менялся – и в образе жизни, и в обращении с людьми.
Бунин. Горький

Испытание Льва, испытание Львом

Вспоминает Немирович-Данченко: “Весной 1902 года, приехав в Ялту, я узнал, что Алексей Максимович живет в Олеше, и когда я к нему туда приехал, он мне прочел два первых акта «На дне». Там же находился Лев Толстой, с которым Горький до этого уже встречался в Хамовниках и Ясной Поляне. Горький вспоминал: “Прочел ему сцены из пьесы «На дне», он выслушал внимательно, потом спросил: «Зачем вы пишете это?»”

Как ни странно, но можно предположить, что во время слушания пьесы “На дне” Толстого одолевали те же сомнения, что и цензора Трубачова. В самом деле – зачем? Толстой воспринимал мир и искусство органически. Если человек за стаканом водки произносит монолог о гордом Человеке, значит, он просто бредит.

Толстой ждал от Горького произведений в народном вкусе. И вдруг такое! Толстой высоко оценил то, что Горький в первых своих очерках и рассказах обратил внимание публики на человека “дна”, на “совсем пропащих”. “Мы все знаем, – записывает Толстой в дневнике 11 мая 1901 года в Ясной Поляне, – что босяки – люди и братья, но знаем это теоретически; он же показал нам их во весь рост, любя их, и заразил нас этой любовью. Разговоры его неверны, преувеличенны, но мы всё прощаем за то, что он расширил нашу любовь”.

В этой записи очень важна формулировка “заражать”. Главную цель искусства Толстой видел именно в том, чтобы “заражать” читателя своими мыслями, чувствами, духовным настроением.

Но вот к художественным достоинствам произведений Горького Толстой бывал порой беспощаден. Начинаящего драматурга Горького не мог не задеть вопрос, брошенный великим старцем: “Зачем вы пишете это?” Но едва ли он знал, какие пометки оставил Толстой на полях его “Очерков и рассказов”. Часть горьковских книг, подаренных Толстому, хранится в яснополянском музее. Вот Толстой пишет карандашом на полях рассказа “Супруги Орловы”: “Какая фальшь!” Ниже: “Фальшь ужасная!” Еще ниже: “Отвратительно!” А вот его мнение о рассказе “Варенька Олесова”: “Гадко” и “Очень гадко”. И только рассказу “Озорник” великий Лев поставил “4”, написав в конце текста рассказа: “Хорошо всё”.

По воспоминаниям вождя символистов Валерия Брюсова, Петр Боборыкин возмущался сенсационным успехом постановки “На дне” в Московском Художественном театре: “Всего пять лет пишет! Я вот сорок лет пишу, шестьдесят томов написал, а мне таких оваций не было!”

В самом деле, было на что обидеться. Слава молодого Горького действительно была сверхъестественной. Его фотографии продавались на книжных лотках. В губернских и уездных городах появились двойники Максима Горького. Они носили, как и он, сапоги с заправленными в них штанами, украинские расшитые рубахи, наборные кавказские пояски, отращивали себе усы и длинные волосы, выдавали себя за настоящего Горького, устраивали концерты

с чтением его произведений. Простонародная внешность Горького, лицо типичного мастера-вого сыграли с ним злую шутку.

Несомненно, он задумывался над этим и через некоторое время резко изменил свой внешний стиль – стал носить дорогие костюмы, обувь, сорочки... Зрелый Горький, каким мы знаем его по фотографиям, – это высокий, сухопарый, изящно одетый мужчина, не стесняющийся фотографов, умеющий артистично позировать перед ними.

Слава Горького начинает раздражать Толстого. “Настоящий человек из народа”, который понравился ему своей, с одной стороны, стеснительностью, а с другой – независимостью суждений, превратился в кумира публики, известность которого затмила чеховскую и стремительно поднималась к его, великого Льва, олимпийской вершине. Но речь, разумеется, не могла идти о зависти. Просто Толстой почувствовал, что с появлением Горького наступает какая-то новая эра в литературе. Внешне Горький сохранял преемственность литературных поколений. Он клялся – и неоднократно – в верности Короленко. Он, как и Иван Бунин, Леонид Андреев, Борис Зайцев, Иван Шмелев и другие писатели-реалисты, с глубоким и даже каким-то интимным пиететом относился к Чехову. Что же касается Толстого, то для них он был богом, как, впрочем, и для Чехова. Бунин вспоминал, что каждый раз, отправляясь к Толстому, весьма независимый в поведении Чехов очень старательно одевался. “Вы только подумайте, – говорил Чехов, – ведь это он написал: «Анна чувствовала, что ее глаза светятся в темноте!»”

Для Горького Толстой, помимо писательской величины, являл собой еще и величину духовную, воплощая в себе образ Человека. “А я, не верующий в Бога, смотрю на него почему-то очень осторожно, немножко боязливо, смотрю и думаю: «Этот человек – богоподобен»”. Эти слова завершают очерк Горького о Толстом.

Толстой одним из первых почувствовал, что Горький несет с собой новую мораль. Это насторожило его, потому что противоречило его философии личного спасения через индивидуальное делание добра, вне лона соборного православия. С Горьким же приходила какая-то новая, искаженная “соборность” в образе социализма. Это тем более насторожило Толстого, что он глубоко почувствовал гордый индивидуализм раннего Горького и его нищенские истоки. Вера Толстого все-таки не порывала с христианством, какие бы еретические мысли ни высказывал он о Божественном происхождении Иисуса и непорочном зачатии, как бы разрушительно ни отзывался он о таинстве Евхаристии и об институте церкви в целом. Взгляды Толстого имели христианские истоки. Он искал последней правды и хотел очистить христианство от наносной лжи. Горький же искал не христианской правды, а *выхода* из нее.

Первые дневниковые записи Толстого о Горьком были благожелательны. “Хорошо поговорили”, “настоящий человек из народа”, “рад, что и Горький и Чехов мне приятны, особенно первый”. Но примерно с середины 1903 года отношение Толстого к Горькому меняется резко. И даже – капризно.

“Горький недоразумение, – записывает Толстой 3 сентября 1903 года и раздраженно добавляет: – Немцы знают Горького, не зная Поленца”.

Но Вильгельм фон Поленц (1861–1903), известный немецкий писатель-натуралист, не мог составлять конкуренцию Горькому, который к 1903 году прославился в Германии пьесой “На дне”. 10 января 1903 года в Берлине состоялась ее премьера в Kleines Theater Макса Рейнгарта под названием “Ночлежка”. Пьеса была поставлена известным режиссером Рихардом Валлентином, исполнившим роль Сатина.

В роли Луки выступил сам Рейнгарт. Успех немецкой версии “На дне” был настолько ошеломляющим, что она выдержала триста (!) спектаклей подряд, а весной 1905 года отмечалось пятисотое представление “На дне” в Берлине.

Глупо и смешно подозревать Льва Толстого в зависти, но известный момент писательской ревности в этой записи присутствовал. Неслучайно, называя Горького “недоразумением”, он вспоминает о немцах. Ошеломительный успех пьесы “На дне” не только в России, но и в

Германии уже дошел до его слуха. Толстой слушал “На дне” еще в рукописи в исполнении самого Горького в Крыму, и уже тогда пьеса показалась ему странной, непонятно для чего написанной. Если бы пьеса не имела такого успеха, Толстой просто посчитал бы, что молодой писатель сделал неверный творческий выбор. Он ведь и до этого упрекал Горького за то, что его мужики говорят “слишком умно”, что многое в его прозе преувеличенно и ненатурально.

Подозрение в ревности усилится, если мы прочитаем дневниковую запись Толстого от 25 апреля 1906 года. В это время Горький вместе с актрисой М. Ф. Андреевой со скандалом путешествует по Америке, встречается с американскими писателями, дает интервью, и все это широко освещается не только в американской, но и в российской прессе. “Читаю газету о приеме Горького в Америке, – пишет Толстой, – и ловлю себя на досаде”.

Вот записи от 24 и 25 декабря 1909 года. “Читал Горького. Ни то, ни се”. Что же он читал? Пьесу “Мещане”. Но почему с таким запозданием, ведь это первая пьеса Горького, написанная еще до “На дне”? “Вечер вчера, – пишет он уже 25-го, – читал «Мещане» Горького. Ничтожно”.

9 и 10 ноября того же года: “Дома вечер кончил читать Горького. Все воображаемые и неестественные, огромные героические чувства и фальшь”. Опять – “фальшь”! Впрочем, есть добавление: “Но талант большой”.

Талант большой, а вещь ничтожная и фальшивая?

Тем не менее интерес великого старца к “фальшивому” писателю не ослабевает. Запись от 23 ноября того же, 1909 года: “Читал после обеда о Горьком. И странно, недоброе чувство к нему, с которым борюсь. Оправдываюсь тем, что он, как Ницше, вредный писатель: большое дарование и отсутствие каких бы то ни было религиозных, то есть понимающих значение жизни убеждений, и вместе с этим поддерживаемая нашим «образованным миром», который видит в нем своего выразителя, самоуверенность, еще более заражающая этот мир. Например, его изречение: веришь в Бога – и есть Бог; не веришь в Бога – и нет Его. Изречение скверное, а между тем оно заставило меня задуматься. Есть ли тот Бог сам в себе, про которого я говорю и пишу? И правда, что про этого Бога можно сказать: веришь в Него – и есть Он. И я всегда так думал. И от этого мне всегда в словах Христа: любить Бога и ближнего – любовь к Богу кажется лишней, несовместимой с любовью к ближнему, – несовместимой потому, что любовь к ближнему так ясна, яснее чего ничего не может быть, а любовь к Богу, напротив, очень неясна. Признать, что Он есть, Бог сам в себе, это – да, но любить?.. Тут я встречаюсь с тем, что часто испытывал, – с раболепным признанием слов Евангелия.

Бог – любовь, это так. Мы знаем Его только потому, что любим; а то, что Бог есть сам в себе? Это – рассуждение, и часто излишнее и вредное. Если спросят: а сам в себе есть Бог? – я должен сказать и скажу: да, вероятно, но я в нем, в этом Боге самом в себе, ничего не понимаю. Но не то с Богом – любовью. Этого я наверно знаю. Он для меня всё, и объяснение и цель моей жизни”.

Фактически Горький словами Луки в “На дне” поколебал религиозные взгляды Толстого. Если Бог только в тебе, а Бога Самого в Себе нет, то и Бога нет. Неожиданно Толстой предвзрывает мысли о любви бабушки из “Детства”. Кто его знает, Бога? А вот людей любить нужно.

Великий Лев продолжает сердиться. Запись от 12 января 1910 года, последнего года жизни Толстого: “После обеда пошел к Саше (дочь. – П.Б.), она больна. Кабы Саша не читала, написал бы ей приятное. Взял у нее Горького. Читал. Очень плохо. Но, главное, нехорошо, что мне эта ложная оценка неприятна. Надо в нем видеть одно хорошее”.

За всеми сердитыми и раздраженными высказываниями Толстого о Горьком нельзя не обнаружить пристального, пристрастного и даже ревнивого отношения к нему. Толстой понимал, что именно Горький выражает настроение новой молодежи и чрезмерное внимание к персоне Горького со стороны интеллигенции вызвано этим обстоятельством.

Толстой не считал, что Горький был “голосом народным”. Но именно за Горьким шла новая эпоха, а вместе с ней новая этика, новая культура. Горький бросал вызов. Толстой не

знал, как на этот вызов отвечать. Таким образом, Горький на короткое время явился испытателем Толстого. Особенно в образе Луки, лукавого старца, поколебавшего словами о Боге веру Толстого.

Но если в жизни Толстого Горький был только эпизодом, то на самого Горького Толстой оказал едва ли не самое мощное духовное влияние. В лице Толстого Горький встретил “испытателя”, даже близко не сравнимого ни с поваром Смуром, ни с Ромасем. Единственный персонаж духовной биографии Горького, который может встать рядом с Толстым, – это бабушка Акулина Ивановна. Смерть Толстого Горький воспринял так же остро, как и смерть бабушки: “Умер Лев Толстой.

Получена телеграмма, и в ней обыкновеннейшими словами сказано – скончался. Это ударило в сердце, заревел я от обиды и тоски, и вот теперь, в полоумном каком-то состоянии, представляю его себе, как знал, видел, – мучительно хочется говорить о нем”.

Когда умерла бабушка, Алеша Пешков не заплакал. Но “точно ледяным ветром охватило” его. И вновь, как и в случае смерти бабушки, ему не с кем поговорить, кроме как с самим дорогим мертвецом.

Очерк Горького о Толстом был написан много позднее смерти Толстого, из-за утраты, как уверял Горький, беглых заметок, сделанных им во время общения с Толстым в Крыму. В 1919 году он их нашел.

О бабушке Акулине он написал спустя почти тридцать лет после ее смерти. И через два года после смерти Толстого. “Детство” писалось на Капри в 1912–1913 годах. Но замысел его возник именно в 1910 году, когда умер Толстой. Это еще одна неслучайная случайность в духовной биографии Горького. Образно можно сказать так: слезами о Толстом он как бы окропил “Детство”.

В религиях бабушки и Толстого было много общего. Безграмотная старуха, “чуваша”, чувствовала бога именно так, как образованнейший граф и писатель, знавший множество языков, изучивший все мировые религии. Только в вере Толстого не было бабушкиной сердечности. К своему богу Толстой пришел рационально, через “пустыню безверия”. Он ухватился за “Бога в себе” как за спасительную соломинку в водовороте своих духовных метаний.

Акулина Ивановна верила в своего доброго бога просто. Да и не то это слово – “верила”. Пьяная, грешная, шалопутная бабушка Каширина любила и жалела людей так же естественно, как любила пить водочку и плясать с Цыганком.

Очерк Горького о Толстом представляет собой сложный жанр. Это и воспоминания, и записи рассуждений Толстого о разных лицах, включая самого Горького, и философское эссе на тему “Бог и человек”. Михаил Слонимский вспоминал, что в 1919 году, найдя свои старые записки о Толстом, Горький сначала хотел обработать их, но затем “принес их в издательство, бросил на стол и сказал: «Ничего с ними не могу поделать. Пусть уж так и останутся...»”

Слонимскому противоречит Виктор Шкловский: “В 1919 году Горький написал одну из лучших своих книг – «Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом». Эта книга составлена из кусочков и отрывков, сделана крепко. Мне приходилось видеть рукопись, и я знаю, сколько раз переставлялись эти кусочки, чтобы стать вот так крепко”. Но и Шкловский впоследствии подтвердил, что кусочки и отрывки эти были в свое время утеряны, а затем найдены.

“Его интерес ко мне – этнографический интерес. Я, в его глазах, особь племени, мало знакомого ему, и – только”. Какая короткая фраза, но это целая отдельная запись, идущая под номером XV.

Сколько в ней обиды!

Он не забыл, как уезжал из Москвы, так и не встретившись с Толстым, в вагоне для скота. Такие вещи не забываются! И хотя Толстой не был ни в чем виноват (уехал в Сергиев Посад отдохнуть от московского шума к князю Урусову), символика порой сильнее рациональных объяснений.

Да, обида! Недаром Горький приводит в своем очерке слова Толстого, сказанные Чехову: «Горький – злой человек. Он похож на семинариста, которого насильно постригли в монахи и этим обозлили его на всё. У него душа соглядатая, он пришел откуда-то в чужую ему, Хананскую землю, ко всему присматривается, всё замечает и обо всем доносит какому-то своему богу. А бог у него – урод...»

Ни Бунин, ни Куприн, ни Леонид Андреев не вызвали в Толстом такого мощного духовного отторжения, как Горький. Ну да, старик брюзжал. Поругивал их как писателей. Порой и хвалил, особенно Бунина и Куприна. Однако духовными соперниками они не были. И только за Горьким стоял какой-то «еще бог», который выглядывал из-за его долговязой фигуры и строил рожи толстовскому «богу в себе».

«Однажды он спросил меня: – Вы любите меня, А.М.?» «Он – черт, а я еще младенец, и не трогать бы ему меня».

Тоже случайная запись, когда-то сделанная, а потом потерянная. Однако поверить в то, что до 1919 года, то есть до момента обретения этой записи, Горький не помнил о том, как искоушал его великий Лев, невозможно. Такие вещи не забываются!

«Вы любите меня, А.М.?»

В самом вопросе как бы нет подвоха. Любите ли вы меня как человека, как писателя? Но Горький страшно смущен. Дело в том, что он не знает ответа на вопрос: любит ли он Толстого? Боготворит – да. Но любит ли?

«У него удивительные руки – некрасивые, узловатые от расширенных вен и все-таки исполненные особой выразительности и творческой силы. Вероятно, такие руки были у Леонардо да Винчи. Такими руками можно делать. Иногда, разговаривая, он шевелит пальцами, постепенно сжимает их в кулак, потом вдруг раскроет его и одновременно произнесет хорошее, полновесное слово. Он похож на бога, не на Саваофа или олимпийца, а на этакого русского бога, который «сидит на кленовом престоле под золотой липой» и хотя не очень величествен, но, может быть, хитрей всех других богов».

Закончим фразу Толстого про «бога-урода». «А бог у него – урод, вроде лешего или водяного деревенских баб». Вот они и обменялись «богами».

Впрочем, в другом месте Горький поправляет свою же версию толстовского «русского бога», хитрого, но не величественного. «Он сидел на каменной скамье под кипарисами, сухонький, маленький, серый и все-таки похожий на Саваофа». И тотчас из Саваофа Толстой превращается в гнома: «В жаркий день он обогнал меня на нижней дороге; он ехал верхом в направлении к Ливадии; под ним была маленькая татарская спокойная лошадка. Серый, лохматый, в легонькой белой войлочной шляпе грибом, он был похож на гнома».

Но этому «гному» уступают дорогу сами Романовы:

«У границы имения великого князя А. М. Романова, стоя тесно друг ко другу, на дороге беседовали трое Романовых: хозяин Ай-Тодора, Георгий и еще один – кажется, Петр Николаевич из Дюльбера, – все бравые, крупные люди. Дорога была загорожена дрожками в одну лошадь, поперек ее стоял верховой конь; Льву Николаевичу нельзя было проехать. Он устался на Романовых строгим, требующим взглядом. Но они, еще раньше, отвернулись от него. Верховой конь помялся на месте и отошел немного в сторону, пропуская лошадь Толстого.

Проехав минуты две молча, он сказал:

– Узнали, дураки.

И еще через минуту.

– Лошадь поняла, что надо уступить дорогу Толстому».

Именно потому, что Толстой богоподобен, его любовь к Христу вызывает у Горького сомнение: «О буддизме и Христе он говорит всегда сентиментально; о Христе особенно плохо – ни энтузиазма, ни пафоса нет в словах его и ни единой силы сердечного огня. Думаю, что он

считает Христа наивным, достойным сожаления, и хотя – иногда – любит его, но – едва ли любит. И как будто опасается: приди Христос в русскую деревню – его девки засмеют”.

Христа, стало быть, засмеют, а русского бога, который сидит на кленовом престоле под золотой липой, не засмеют? Потому что свой, деревенский? Бог-мужичок?

“Иногда он бывает самодоволен и нетерпим, как заволжский сектант-начетчик, и это ужасно в нем, столь звучном колоколе мира сего. Вчера он сказал мне:

– Я больше вас мужик и лучше чувствую по-мужицки.

О, господи! Не надо ему хвастать этим, не надо!”

И дальше – еще жестче: “Может быть, мужик для него просто – дурной запах, он всегда чувствует его и поневоле должен говорить о нем”.

Что же, Толстой – не народный характер? Нет, оказывается, все-таки народный: “Он напоминает тех странников с палочками, которые всю жизнь меряют землю, проходя тысячи верст от монастыря к монастырю, от мощей к мощам, до ужаса неприютные и чужие всем и всему. Мир – не для них, Бог – тоже. Они молятся ему по привычке, а в тайне душевной ненавидят его: зачем гоняет по земле из конца в конец, зачем? Люди – пеньки, корни, камни по дороге, – о них спотыкаешься и порою от них чувствуешь боль. Можно обойтись и без них, но иногда приятно поразить человека своею непохожестью на него, показать свое несогласие с ним”.

И вдруг образ странника в очерке о Толстом перерастает в образ, очень схожий с тем, которым наградил Толстой Горького. Пришлого, внимательно наблюдающего за чужой ему жизнью незнакомых людей: “Иногда кажется: он только что пришел откуда-то издалека, где люди иначе думают, чувствуют, иначе относятся друг к другу, даже – не так двигаются и другим языком говорят. Он сидит в углу, усталый, серый, точно запыленный пылью иной земли, и внимательно смотрит на всех глазами чужого и немного”.

“...Пришел откуда-то в чужую ему, Ханаанскую землю, ко всему присматривается, всё замечает и обо всем...”

Вот именно: “...доносит какому-то своему богу”. Только в случае Толстого бога этого нет, потому что Толстой *сам бог*.

“В тетрадке дневника, которую он дал мне читать, меня поразил странный афоризм: «Бог есть мое желание».

Сегодня, возвратив тетрадь, я спросил его – что это?

– Незаконченная мысль, – сказал он, глядя на страницу прищуренными глазами. – Должно быть, я хотел сказать: Бог есть мое желание познать его... Нет, не то... – Засмеялся и, свернув тетрадку трубочкой, сунул ее в широкий карман своей кофты. С Богом у него очень неопределенные отношения, но иногда они напоминают мне отношения «двух медведей в одной берлоге»”.

Напомним: это взгляд Горького, так он видел Толстого. Или так хотел его видеть.

В очерке Горького Толстой предстает в различных “божественных” ипостасях. Саваоф, “русский бог”. А вот он напоминает Посейдона:

“Видел я его однажды так, как, может быть, никто не видел: шел к нему в Гаспру берегом моря и под именем Юсупова, на самом берегу, среди камней, заметил его маленькую угловатую фигурку, в сером помятом тряпье и скомканной шляпе. Сидит, подперев скулы руками, – между пальцев веют серебряные волосы бороды, и смотрит вдаль в море, а к ногам его послушно подкатываются, ластятся зеленоватые волнишки, как бы рассказывая нечто о себе старому ведуну. День был пестрый, по камням ползали тени облаков, и вместе с камнями старик то светлел, то темнел. Камни – огромные, в трещинах и окиданы пахучими водорослями, – накануне был сильный прибой. И он тоже показался мне древним, ожившим камнем, который знает все начала и цели, думает о том – когда и каков будет конец камней и трав земных, воды морской и человека и всего мира, от камня до солнца. А море – часть его души, и

всё вокруг – от него, из него. В задумчивой неподвижности старика почудилось нечто вещее, чародейское, углубленное во тьму под ним, пытливо ушедшее вершиной в голубую пустоту над землей, как будто это он – его сосредоточенная воля – призывает и отталкивает волны, управляет движениями облаков и тенями, которые словно шевелят камни, будят их. И вдруг в каком-то минутном безумии я почувствовал, что – возможно! – встанет он, взмахнет рукой, и море застынет, остеклеет, а камни пошевелиятся и закричат, и всё вокруг оживет, зашумит, заговорит на разные голоса о себе, о нем, против него. Не изобразить словом, что почувствовал я тогда; было на душе и восторженно и жутко, а потом всё слилось в счастливую мысль: «Не сирота я на земле, пока этот человек есть на ней!»»

“Представляю его в гробу, – лежит, точно гладкий камень на дне ручья, и, наверное, в бороде седой тихо спрятана его – всем чужая – обманчивая улыбочка. И руки наконец спокойно сложены – отработали урок свой каторжный”.

Не бог – человек.

Ко времени смерти Толстого уже была написана повесть “Мать”, в которой Горький повернул от “сверхчеловека” к идее “сверхчеловечества”. От обиды на Бога и жажды мести к попытке создания новой веры и церкви. Уже была написана “Исповедь”, в которой провозглашалась мысль о “богостроительстве”. Однако новая вера не противоречила прежнему “человекопоклонству” Горького, о котором он писал в письме к Толстому еще в 1900 году. “Глубоко верю, что лучше человека ничего нет на земле, и даже, переворачивая Демокритову фразу на свой лад, говорю: существует только человек, все же прочее есть мнение. Всегда был, есть и буду человекопоклонником, только выражать это надлежало сильно не умею”.

Новая вера была продолжением “человекопоклонства”. Но только в возможность обращения личности в божество Горький уже не верил.

Смерть Толстого ставила последнюю точку в былой романтической вере в Человека, как смерть Акулины Ивановны поставила последнюю точку в его вере в силу жалости и любви. Впрочем, эти точки ставились только в его голове. Недаром Толстой однажды заметил Горькому: “Ума вашего я не понимаю – очень запутанный ум, а вот сердце у вас умное... да, сердце умное!”

“А вот теперь (после смерти Толстого. – П.Б.) – чувствую себя сиротой, пишу и плачу, никогда в жизни не случалось плакать так безутешно, и отчаянно, и горько. Я не знаю – любил ли его, да разве это важно – любовь к нему или ненависть? Он всегда возбуждал в душе моей ощущения и волнения огромные, фантастические; даже неприятное и враждебное, вызванное им, принимало формы, которые не подавляли, а, как бы взрывая душу, расширяли ее, делали более чуткой и емкой. Хорош он был, когда, шаркая подошвами, как бы властно сглаживая неровность пути, вдруг являлся откуда-то из двери, из угла, шел к вам мелким, легким и скорым шагом человека, привыкшего много ходить по земле, и, засунув большие пальцы рук за пояс, на секунду останавливался, быстро оглядываясь цепким взглядом, который сразу замечал все новое и точно высасывал смысл всего.

– Здравствуйтесь!

Я всегда переводил это слово так: «Здравствуйтесь, – удовольствия для меня, а для вас толку не много в этом, но все-таки – здравствуйтесь!»»

Последним жестом Горького в отношении Толстого было его выступление в берлинском журнале “Беседа” в защиту уже покойной Софьи Андреевны Толстой. Поводом к написанию статьи Горького “О С. А. Толстой” послужила книга В. Г. Черткова “Уход Толстого” (Берлин, 1922), в которой известный последователь учения Льва Толстого изобразил его уход как результат исключительно семейной драмы, тенденциозно изобразив при этом жену Толстого.

Это страшно возмутило Горького! “Полагаю, – пишет он, – что я могу говорить о ней совершенно беспристрастно, потому что она мне очень не нравилась, а я не пользовался ее симпатиями, чего она, человек прямодушный, не скрывала от меня. Ее отношение ко мне нередко

принимало характер даже обидный, но – не обижало, ибо я хорошо видел, что она рассматривает большинство людей, окружавших ее великомученика мужа, как мух, комаров, вообще – как паразитов.

Возможно, что ревность ее к чужим людям иногда огорчала Льва Толстого. Здесь для остроумных людей является удобный случай вспомнить басню «Пустынник и Медведь». Но будет еще более уместно и умно, если они представят себе, как велика и густа была туча мух, окружавших великого писателя, и как надоедливо были некоторые из паразитов, кормившихся от духа его. Каждая муха стремилась оставить след свой в жизни и в памяти Толстого, и среди них были столь назойливые, что вызвали бы ненависть даже в любвеобильном Франциске Ассизском. Тем более естественно было враждебное отношение к ним Софьи Андреевны, человека страстного”.

Вот поистине рыцарское понимание роли в жизни Толстого женщины, которая не любила Горького и была прежде неприятна ему. Для молодого Горького Толстой был богом. Для Софьи Андреевны – мужем и отцом ее детей.

“Кратко говоря: Лев Толстой был самым сложным человеком среди всех крупнейших людей XIX столетия. Роль единственного интимного друга, жены, матери многочисленных детей и хозяйки дома Льва Толстого, – роль неоспоримо очень тяжелая и ответственная. Возможно ли отрицать, что София Толстая лучше и глубже, чем кто-либо иной, видела и чувствовала, как душно, тесно гению жить в атмосфере обыденного, сталкиваться с пустыми людьми? Но в то же время она видела и понимала, что великий художник поистине велик, когда тайно и чудесно творит дело духа своего, а играя в преферанс и проигрывая, он сердится, как обыкновенный смертный, и даже порою неосновательно сердится, приписывая свои ошибки другому, как это делают простые люди и как, вероятно, делала она сама...”

Уже один факт неизменности и длительности единения с Толстым дает Софии Андреевне право на уважение всех истинных и ложных почитателей работы и памяти гения; уже только поэтому господа исследователи «семейной драмы» Толстого должны бы сдерживать свое злоязычие, узко личные чувства обиды и мести, их «психологические розыски», несколько напоминающие грязненькую работу полицейских сыщиков, их бесцеремонное и даже циничское стремление приобщиться хоть кожей пальцев к жизни величайшего писателя”.

Последние строки очерка “О С. А. Толстой” не оставляют сомнения, что в 1924 году Горький уже не смотрел на Толстого как на бога. Гений, величайший русский писатель, но... не бог.

“В конце концов – что же случилось?”

Только то, что женщина, прожив пятьдесят трудных лет с великим художником, крайне своеобразным и мятежным *человеком* (курсив мой. – П.Б.), женщина, которая была единственным другом на всем его жизненном пути и деятельной помощницей в работе, – страшно устала, что вполне понятно.

В то же время она, старуха, видя, что колоссальный *человек* (курсив мой. – П.Б.), муж ее, отламывается от мира, почувствовала себя одинокой, никому не нужной, и это возмутило ее.

В состоянии возмущения тем, что чужие люди отталкивают ее прочь с места, которое она полвека занимала, София Толстая, говорят, повела себя недостаточно лояльно по отношению к частоколу морали, который возведен для ограничения *человека* (курсив мой. – П.Б.) людьми (так у Горького. – П.Б.), плохо выдумавшими себя.

Затем возмущение приняло у нее характер почти безумия.

А затем она, покинутая всеми, одиноко умерла, и после смерти о ней вспомнили для того, чтобы с наслаждением клеветать на нее.

Вот и всё.”

Как удивительно просто и глубоко понял Горький семейную драму Толстых! Насколько в очерке о Толстом он путался в определениях, не понимая, с какого бока подойти к великому

Льву, как миновать его когтей, настолько по-человечески просто и благородно написал он о его жене. Тем самым доказав, что он сам выдержал испытание Львом. Не благодаря уму. Благодаря умному сердцу.

Старик победил его...

Горький, Бунин и Шалапин

Жизнь Горького в период написания “На дне” ничем не отличалась от жизни обычного писателя. Впрочем, уже хлебнувшего известности. Но еще не ставшего “властителем дум”.

Он и от провинции-то еще не отпочковался. Но уже не бедствует, есть средства. По свойственной ему щедрости тратит их направо и налево. Чувствует себя физически хорошо. “Новый век я встретил превосходно, в большой компании живых духом, здоровых телом, бодро настроенных людей”, – пишет он К. П. Пятницкому. Живет в Нижнем Новгороде. В столицах ему не понравилось.

Например, в октябре 1900 года во время спектакля “Чайка” произошел скандал. Великая пьеса, ставшая впоследствии признанным мировым шедевром наравне с “Гамлетом”, “оселком” для проверки высшего режиссерского мастерства, во время премьеры в Петербурге провалилась, зато в Москве пользовалась огромным успехом. Но тут в фойе оказался Горький, приглашенный Чеховым. Публика ринулась глазеть на новую знаменитость. Более двусмысленной, обидной и унижительной для Чехова ситуации невозможно было представить. И тогда Горький взорвался:

– Я не Венера Медицейская, не пожар, не балерина, не утопленник... И как профессионалу-писателю мне обидно, что вы, слушая полную огромного значения пьесу Чехова, в антрактах занимаетесь пустяками.

Впрочем, это по версии виновника скандала. В газете “Северный курьер” написали, что он орал на публику так:

“Что вы глазете!”

“Не смотрите мне в рот!”

“Не мешайте мне пить чай с Чеховым!”

В Москве Горький познакомился с вождем символистов Валерием Брюсовым и начинающей знаменитостью Федором Шалапиным. С первым завязываются ровные деловые отношения. Горький, хотя и реалист по вкусам, не прочь поскандальить творчески и согласен печататься вместе с “декадентами”. В январе 1901 года он напишет Брюсову в ответ на его просьбу прислать в символистский альманах “Северные цветы” какой-нибудь рассказ: “Ваш первый альманах выйдет без меня. Искренно говорю – мне это обидно. Почему? Потому что вы в литературе – отверженные и ходить с вами мне не приличествует”. Так и написал – “ходить”.

Короткая московская встреча с Шалапиным переросла в многолетнюю дружбу. Конечно, была в этой дружбе *звездная*, как сказали бы нынче, сторона. Когда Горький с Шалапиным появлялись на публике, в театре, ресторане или просто на улице, это производило двойной фурор. А если рядом оказывался Леонид Андреев или Куприн, публика просто теряла дар речи.

На это обратил внимание в своих поздних воспоминаниях Бунин. На роскошную жизнь писателей в то время, когда простое население страны трудилось в поте лица своего, жило в бедности. В “Окаянных днях”, самой страшной и пронзительной своей книге, Бунин, не без покаяния, вспоминал:

“Вот зима 16 г. в Васильевском. Поздний вечер, сижу и читаю в кабинете, в старом, спокойном кресле, в тепле и уюте, возле чудесной старинной лампы. Входит Марья Петровна, подает измятый конверт из грязно-серой бумаги:

– Прибавить просит. Совсем бесстыжий стал народ.

Как всегда, на конверте ухарски написано лиловыми чернилами рукой измалковского телеграфиста: «Нарочному уплатить 70 копеек». И как всегда, карандашом и очень грубо, цифра семь исправлена на восемь: исправляет мальчишка этого самого «нарочного», то есть измалковской бабы Махоточки, которая возит нам телеграммы. Встаю и иду через темную гостиную и темную залу в прихожую. В прихожей, распространяя крепкий запах овчинного полушубка, смешанный с запахом избы и мороза, стоит закутанная заиндедевшей шалью, с кнутом в руке, небольшая баба.

– Махоточка, опять приписала за доставку? И еще прибавить просишь?

– Барин, – отвечает Махоточка деревянным с морозу голосом, – ты глянь, дорога-то какая. Ухаб на ухабе. Всю душу вышибло. Опять же стынь, мороз, коленки с пару зашлись. Ведь двадцать верст туда и назад...

С укоризной качаю головой, потом сую Махоточке рубль. Проходя назад по гостиной, смотрю в окна: ледяная месячная ночь так и сияет на снежном дворе. И тотчас же представляется необозримое светлое поле, блестящая ухабистая дорога, промерзлые розвальни, стучающие по ней, мелко бегущая бокастая лошаденка, вся обросшая изморосью, с крупными, серыми от изморози ресницами... О чем думает Махоточка, сжавшись от холоду и огненного ветра, привалившись боком в угол передка?

В кабинете разрываю телеграмму: «Вместе со всей Стрельной пьем славу и гордость русской литературы!»

Вот из-за чего двадцать верст стукалась Махоточка по ухабам”.

От кого могла быть эта телеграмма? Ее могли подписать Горький с Шаляпиным, Куприн с Андреевым, Скиталец с Телешовым. В самом тексте телеграммы чувствуется пьяный кураж, желание сделать приятное коллеге по перу. И, конечно, никто из них не думал о какой-то Махоточке. Впрочем, и Махоточка не осталась внакладе: получила тридцать копеек сверх положенного. Но именно такие сюжеты (Бунин вспомнил его уже в феврале 1918 года, когда бежал от большевиков на юг, в Одессу, а затем за границу) и предвещали революцию.

В эмиграции Бунин несколько раз публично высказывался о Горьком. И всякий раз отрицательно. Только в написанном после смерти Горького и опубликованном в газете “Иллюстрированная Россия” (июль 1936 г.) своеобразном некрологе он написал, что смерть Горького вызвала у него “очень сложные чувства”. Но вслед за этим Бунин не пощадил и мертвого, изобразив Горького все-таки в карикатурных тонах. И опять чувствовалось, что его страшно раздражала ранняя и, по его мнению, незаслуженная слава молодого Горького. Эту славу он объяснял чем угодно, но только не крупным талантом.

“Мало того, что это была пора уже большого подъема русской революционности: в ту пору шла еще страстная борьба между народниками и недавно появившимися марксистами. Горький уничтожал мужика и воспевал «Челкашей», на которых марксисты, в своих революционных надеждах и планах, делали такую крупную ставку. И вот, каждое новое произведение Горького тотчас делалось всероссийским событием. И он все менялся и менялся – и в образе жизни, и в обращении с людьми. У него был снят теперь целый дом в Нижнем Новгороде, была большая квартира в Петербурге, он часто появлялся в Москве, в Крыму, руководил газетой «Новая жизнь», начинал издательство «Знание»... Он уже писал для Художественного театра, артистке Книппер делал на книгах такие, например, посвящения: «Эту книгу, Ольга Леонардовна, я переплел бы для Вас в кожу сердца моего!»

Он уже вывел в люди сперва Андреева, потом Скитальца и очень приблизил их к себе. Временами приближал и других писателей”.

Бунин странно “забыл” сказать, что среди этих “других писателей” был он сам. Что он сам охотно печатался в руководимых Горьким периодических изданиях, а еще более охотно – в издательстве “Знание”, где писателям платили огромные гонорары, выдавали неслыханные авансы под еще не написанные вещи. Это позволяло им роскошно жить в России и ездить

за границу. Ничего удивительного, что первую свою поэму – “Листопад” – Бунин посвятил Горькому, как посвятил Горькому Куприн свою повесть “Поединок” (оба посвящения затем были сняты). Он “вспомнит” об этом страницей позже, но скороговоркой: “Мы встречались в Петербурге, в Москве, в Нижнем, в Крыму, – были и дела у нас с ним: я сперва сотрудничал в его газете «Новая жизнь», потом стал издавать книги в его издательстве «Знание», участвовал в сборниках «Знания». Его книги расходились чуть не в сотнях тысяч экземпляров, прочие, – больше всего из-за марки «Знания», – тоже неплохо”.

Прочие – это чьи? В том числе и бунинские.

Бунин – великий художник. Но его некролог о Горьком говорит о том, что он не выдержал испытания славой... чужой славой. Иначе не стал бы писать и печатать о недавно скончавшемся человеке следующее:

“В гостях, в обществе было тяжело видеть его: всюду, где он появлялся, набивалось столько народу, не спускавшего с него глаз, что протолпиться было нельзя. Он же держался все угловатее, все неестественнее, ни на кого из публики не глядел, сидел в кружке двух, трех избранных друзей из знаменитостей, свирепо хмурился, по-солдатски (нарочито по-солдатски) кашлял, курил папиросу за папиросой, тянул красное вино, – выпивал всегда полный стакан, не отрываясь, до дна, – громко изрекал иногда для общего пользования какую-нибудь сентенцию или политическое пророчество и опять, делая вид, что не замечает никого кругом, то хмурясь, то барабанив большими пальцами по столу, то с притворным безразличием поднимая вверх брови и складки лба, говорил только с друзьями, но и с ними как-то вскользь, – хотя и без умолку, – они же повторяли на своих лицах меняющиеся выражения его лица и, упиваясь на глазах публики гордостью близости с ним, будто бы небрежно, будто бы независимо, то и дело вставляли в свое обращение к нему его имя:

– Совершенно верно, Алексей... Нет, ты не прав, Алексей... Видишь ли, Алексей... Дело в том, Алексей...”

Но кто был среди друзей? Вероятно, Скиталец, Леонид Андреев. Несомненно Шаляпин. А сам Бунин? Видимо, смерть Горького действительно вызвала в нем “очень сложные чувства”, если в конце он все-таки решил признаться:

“Мы с женой лет пять подряд ездили на Капри, провели там целых три зимы. В это время мы с Горьким встречались каждый день, чуть не все вечера проводили вместе, сошлись очень близко. Это было время, когда он был наиболее приятен мне, в эти годы я видел его таким, каким еще никогда не видал.

В начале апреля 1917 года мы расстались с ним дружески. В день моего отъезда из Петербурга он устроил огромное собрание в Михайловском театре, на котором выступал с каким-то культурным призывом, потащил и меня туда. Выйдя на сцену, он сказал: «Господа, среди нас такой-то...» Собрание очень бурно меня приветствовало, но оно было уже такого состава, что это не доставило мне большого удовольствия.

Потом мы с ним, с Шаляпиным, с А. Н. Бенуа отправились в ресторан «Медведь». Было ведро с зернистой икрой, было много шампанского... Когда я уходил, он вышел за мной в коридор, много раз крепко обнял меня, крепко поцеловал, на вечную разлуку, как оказалось...”

Так заканчивается некролог, тоже вызывающий “очень сложные чувства”. Попытка позднего Бунина отстраниться от писателей-реалистов начала XX века, во главе которых стоял Горький, была заведомо обреченной. Сам Бунин это, скорее всего, понимал. Только пристрастным, ревнивым (не в толстовском смысле) отношением его к Горькому объясняется то, что в заметках о Горьком Бунин представал в стане этих литераторов в одиночестве. Это была не столько попытка отстраниться от коллег, с которыми у Бунина были хотя и сложные, но полнокровные творческие и дружеские отношения, сколько желание вывести себя за круг легенды, когда-то созданной Зинаидой Гиппиус, выступавшей в качестве критика под псевдонимом Антон Крайний.

Это была легенда о “подмаксимках”. Именно так назвала она писателей-реалистов – Андреева, Скитальца, Телешова, Чирикова и других. Бунин тоже оказался в их числе. До последних дней гордый Бунин не мог простить этой обиды. В какую ярость он пришел, когда увидел в иллюстрированной газете “Искры” (не путать с большевистской “Искрой”) от 2 февраля 1903 года ехидный шарж Кока (псевдоним Н. И. Фидели) под названием “Подмаксимки”! Там Горький был изображен в своей широкополой шляпе в виде большого гриба, под которым росли маленькие грибочки с физиономиями Андреева и Скитальца. И уж совсем крохотный грибок с лицом Ивана Бунина стыдливо выглядывал из-за спины... вернее, “ножки” маэстро. К тому времени Бунин был уже автором “Листопада”, рассказов “Танька”, “На чужой стороне”, “Антоновские яблоки”.

“Есть, – пишет Бунин, – знаменитая фотография, – знаменитая потому, что она, в виде открытки, разошлась в свое время в сотнях тысяч экземпляров, – та, на которой сняты Андреев, Горький, Шаляпин, Скиталец, Чириков, Телешов и я. Мы сошлись однажды на завтрак в московском немецком ресторане «Альпийская роза», завтракали долго и весело и вдруг решили ехать сниматься”.

Значит, внешняя сторона жизни Бунина в начале XX века не слишком отличалась от жизни его соратников по “Знанию”? Просто поздний Бунин на многое смотрел иначе. Как, впрочем, и сам Горький...

В дружбе Горького и Шаляпина звездная сторона не играла решающей роли. Рожденные и выросшие на Волге, хлебнувшие в детстве и юности горя и тяжелого труда и при этом органически талантливые, Горький и Шаляпин были родственны по природе своей.

Как они бросились друг к другу во время следующей, уже не мимолетной, как в Москве, встречи в Нижнем Новгороде! Они вдруг выяснили, что все это время (до славы) жили где-то рядом и наверняка не раз видели один другого, но так и не познакомились. Вспоминает Шаляпин:

“Хотя познакомились мы с ним сравнительно поздно – мы уже оба в это время достигли известности, – мне Горький всегда казался другом детства. Так молодо и непосредственно было наше взаимоотношение. Да и в самом деле: наши ранние юношеские годы мы действительно прожили как бы вместе, бок о бок, хотя и не подозревали о существовании друг друга. Оба мы из бедной и темной жизни пригородов, он – нижегородского, я – казанского, одинаковыми путями потянулись к борьбе и славе. И был день, когда мы одновременно в один и тот же час постучались в двери Казанского оперного театра и одновременно держали пробу на хориста: Горький был принят, я – отвергнут. Не раз мы с ним по поводу этого впоследствии смеялись. Потом мы еще часто оказывались соседями в жизни, одинаково для нас горестной и трудной. Я стоял в «цепи» на волжской пристани и из руки в руку перебрасывал арбузы, а он в качестве крючника тащил тут же, вероятно, какие-нибудь мешки с парохода на берег. Я у сапожника, а Горький поблизости у какого-нибудь булочника...”

Дружба Горького с Шаляпиным длилась более четверти века, до серьезной размолвки в конце двадцатых годов. Тогда Шаляпин наотрез отказался от уже не первого совета Горького приехать из эмиграции в Советский Союз. Окончательный разрыв между ними случился в тридцатые годы, когда Шаляпин потребовал от советского издательства гонорар за публикацию своей автобиографии, записанной Горьким (Шаляпин был полуграмотен). Были между ними и раньше трения, но всегда как-то разрешались, а этот конфликт уже был неразрешим. Горький возвращался на родину в душевном одиночестве, хотя и окруженный множеством людей, и встреченный на Белорусском вокзале многотысячной толпой. Шаляпин прямо сказал ему во время встречи в Риме в 1929 году, что на родину ехать не хочет.

“Не хочу потому, – объяснял он позднее в мемуарной книге «Маска и душа. Мои сорок лет на театрах», – что не имею веры в возможность для меня там жить и работать, как я понимаю жизнь и работу. И не то что я боюсь кого-нибудь из правителей или вождей в отдельности,

я боюсь, так сказать, всего уклада отношений, боюсь «аппарата»... Самые лучшие намерения в отношении меня любого из вождей могут остаться праздными. В один прекрасный день какое-нибудь собрание, какая-нибудь коллегия могут уничтожить все, что мне обещано. Я, например, захочу поехать за границу, а меня оставят, заставят, и нишкни – никуда не выпустят. А там ищи виноватого, кто подковал зайца. Один скажет, что это от него не зависит, другой скажет: «вышел новый декрет», а тот, кто обещал и кому поверил, разведет руками и скажет:

– Батюшка, это же революция, пожар. Как вы можете претендовать на меня?..

Алексей Максимович, правда, ездит туда и обратно, но он же действующее лицо революции. Он вождь. А я? Я не коммунист, не меньшевик, не социалист-революционер, не монархист и не кадет, и вот когда так ответишь на вопрос: кто ты? – тебе и скажут:

– А вот потому именно, что ты ни то ни се, а черт знает что, то и сиди, сукин сын, на Пресне...

А по разбойничьему характеру моему я очень люблю быть свободным и никаких приказаний – ни царских, ни комиссарских – не переносю”.

В очерке о Шаляпине Бунин еще раз вспомнил эпизод своей последней встречи с Горьким в апреле 1917 года. В этой встрече участвовал и Шаляпин.

“В России я видел его (Шаляпина. – П.Б.) в последний раз в начале апреля 1917 года, в дни, когда уже приехал в Петербург Ленин, встреченный оркестром музыки на Финляндском вокзале, когда он тотчас же внедрился в особняк Кшесинской. Я в эти дни тоже был в Петербурге и вместе с Шаляпиным получил приглашение от Горького присутствовать на торжественном сборище в Михайловском театре, где Горький должен был держать речь по поводу учреждения им какой-то «Академии свободных наук». Не понимаю, почему мы с Шаляпиным явились на это во всех смыслах нелепое сборище. Горький держал свою речь весьма долго и высокопарно и затем объявил:

– Товарищи, среди нас Шаляпин и Бунин! Предлагаю их приветствовать!

Зал стал бешено аплодировать, стучать ногами и вызывать нас. Мы скрылись за кулисы, как вдруг кто-то прибежал вслед за нами, говоря, что зал требует, чтобы Шаляпин пел. Вышло так, что Шаляпину опять надо было «становиться на колени». Но он очень решительно сказал прибежавшему:

– Я не трубочист и не пожарный, чтобы лезть на крышу по первому требованию. Так и объявите в зале.

Прибежавший скрылся, а Шаляпин сказал мне, разводя руками:

– Вот, брат, какое дело: и петь нельзя, и не петь нельзя, – ведь в свое время вспомнят, на фонаре повесят, черти. А все-таки петь я не стану.

И так и не стал, несмотря на рев из зала”.

История с “коленипоклонением” была такова. 6 января 1911 года на премьере оперы “Борис Годунов” в конце спектакля артисты хора встали на колени и передали находившемуся в театре Николаю II прошение о надбавке жалования. Оказавшийся среди них Шаляпин тоже встал на колени. После 9 января 1905 года, поражения революции 1905–1907 годов, так называемых столыпинских галстуков (виселицы) отношение к императору Николаю со стороны либеральной интеллигенции было безоговорочно отрицательным. В то же время Шаляпина с его знаменитыми “Дубинушкой”, “Марсельезой”, которую он исполнял в конце “Двух гренадеров”, числили среди “левых” по убеждениям. Шаляпин на коленях перед Николаем Кровавым? Скандал был огромный!

В знак протеста А. В. Амфитеатров вернул Шаляпину его фотографическую карточку с дарственной надписью.

Горького, находившегося в это время на Капри, известие о поступке Шаляпина тоже возмутило. “...Если бы ты мог понять, как горько и позорно представить тебя, гения, – на коленях перед мерзавцем...” – писал он Шаляпину, еще не разобравшись в существе дела.

Между тем поступок Шаляпина, который в отличие от артистов хора в деньгах не нуждался, был демократическим жестом. Он свидетельствовал об отсутствии высокомерия перед людьми более низкого социального положения, перед своими коллегами “на театрах”. Именно это ценил в Шаляпине Горький. “Этот человек – скромно говоря – гений”, – писал он В. А. Поссе. А в письме к К. П. Пятницкому уточнил: “Шаляпин – это нечто огромное, изумительное и – русское. Безоружный, малограмотный сапожник и токарь, он сквозь тернии всяких унижений взошел на вершину горы, весь окурен славой и – остался простецким, душевным парнем”.

Что же произошло на сцене Мариинки 6 января 1911 года? Об этом Шаляпин рассказал Бунину:

“Как же мне было не стать на колени? Был бенефис императорского оперного хора, вот хор и решил обратиться на высочайшее имя с просьбой о прибавке жалования, которое было просто нищенским, воспользоваться присутствием царя на спектакле и стать перед ним на колени. И обратился и стал. И что же мне, тоже певшему среди хора, было делать? Я никак не ожидал этого коленопреклонения, как вдруг вижу: весь хор точно косою скосило на сцене, – весь он оказался на коленях, протягивая руки к царской ложе! Что же мне было делать? Одному торчать над всем хором телеграфным столбом?”

Разобравшись, Горький вступился за своего друга. Шаляпин, писал он А. В. Амфитеатрову, “похож на льва, связанного и отданного на растерзание свиньям”. Между Горьким и Шаляпиным состоялось письменное объяснение, а затем Шаляпин отправился на Капри.

“Против своего обыкновения ждать гостей дома или на пристани, – вспоминал Шаляпин, – Горький на этот раз выехал на лодке к пароходу мне навстречу. Этот чуткий друг понял и почувствовал, какую муку я в то время переживал. Я был так растроган этим его благородным жестом, что от радостного волнения заплакал. Алексей Максимович меня успокоил, лишний раз дав мне понять, что знает цену мелкой пакости людской...”

Но почему так переживал Шаляпин?

Надо учитывать психологию артиста. Для него мнение публики – крайне важная составляющая часть творчества. Если артист не чувствует любви публики, он вянет, как цветок, который перестали поливать. Артист заряжается от любви публики, от ее обожания, от своего успеха. А если публика или хотя бы ее значительная часть не доверяет ему и подозревает его в подобию к сильным мира сего, он и играть не может полнокровно. И петь не может во весь голос, с открытой настежь душой.

И это тоже понял Горький.

Неслучайно в тот визит на Капри благодарный своему другу Шаляпин много и охотно пел. Две недели пробыл он у Горького. На прощание он устроил потрясающий концерт. “Два гренадера”, “Ноченька”, “Сомнение” Глинки, неизменная “Блоха”, “Молодешенька” и, конечно, “Вдоль по Питерской”. Но это не все. “Действительно – пел Ф<едор> сверхъестественно, страшно, – писал тогда Горький А. Н. Тихонову, – особенно Шуберта «Двойник» и «Ненастный день» Корсакова. Репертуарище у него расширено очень сильно. Изумительно поет Грига и вообще северных. И – Филиппа II. Да вообще – что же говорить – маг”.

А вот встреча в Риме в 1929 году закончилась скверно. Горький не захотел понять Шаляпина. Может быть, потому, что и самого себя в то время не очень хорошо понимал.

“Я почувствовал, – продолжает свои воспоминания Шаляпин, – что Алексею Максимо-вичу мой ответ не очень понравился”.

Фактически он намекнул Горькому, что дружба дружбой, а характеры у них все-таки разные. Горький был способен не только подчиниться “аппарату”, но и быть “аппаратом”, чем он и стал при сталинском режиме. Шаляпин же не столько разбойник, сколько птица, которая поет где хочет, и эти песни всюду нужны людям. Правда, именно Шаляпину принадлежит афоризм:

“Я не птичка, чтобы петь задаром”. Как раз материально Шаляпина, вернись он вместе с Горьким в СССР, обеспечили бы не хуже, чем в Европе. Лучше. Но свобода!..

Горький поступался ею, а Шаляпин не желал. Но у него были другие возможности. Знаменитый оперный певец всегда более востребован за границей, чем знаменитый писатель.

“Среди немногих потерь и нескольких разрывов последних лет, не скрою и с волнением это говорю, – потеря Горького для меня одна из самых тяжелых и болезненных”.

“Я думаю, – тактично продолжает Шаляпин, – что чуткий и умный Горький мог бы при желании менее пристрастно понять мои побуждения в этом вопросе. Я, с своей стороны, никак не могу предположить, что этот человек мог бы действовать под влиянием низких побуждений. И всё, что в последнее время случалось с моим милым другом, я думаю, имеет какое-то неведомое ни мне, ни другим объяснение, соответствующее его личности и характеру.

Что же произошло? Произошло, оказывается, то, что мы вдруг стали различно понимать и оценивать происходящее в России. Я думаю, что в жизни, как в искусстве, двух правд не бывает – есть только одна правда. Кто этой правдой обладает, я не смею решить. Может быть, я, может быть, Алексей Максимович. Во всяком случае, на общей нам правде прежних лет мы уже не сходимся”.

Это была дружба двух талантов и русских людей, которых связывал один, может быть, самый главный жизненный исток – Волга.

И это была красивая дружба!

“При Шаляпине особый размах приобретали так называемые «большие рыбные ловли», – пишет исследователь двух итальянских периодов жизни Горького Л. П. Быковцева, – которыми время от времени «угощали» на Капри самых дорогих гостей. В таких случаях привычный распорядок дня ломался. И с самого раннего утра на нескольких лодках большими компаниями отправлялись из Марина Пиккола, влево за Фаральони, к Белому гроту. В громадной пещере грота свободно могло разместиться много людей. Там была своего рода «база», где складывали провизию и разводили огонь. Оттуда уходили в море ловить рыбу. К полудню возвращались с уловом, и вскоре в Белом гроте закипала уха. Иногда в завершение такого дня большой лодочный караван объезжал вокруг острова, что соответствовало давней местной традиции рыбацкого Капри и называлось «повенчаться с островом»”.

Вспоминает один из участников рыбалки М. М. Коцюбинский:

“В 6 часов утра мы уже были в море, на трех лодках... Вода тихая и такая прозрачная, что на большой глубине уже видишь, как серебряным пятном или серебряным ужом плывет еще живая, но на крючке, рыба. Вот вытаскивают вьюна, который длиннее меня, а толщиной в две человеческих ноги. Вьюн вьется, бьется, и его оглушают железным крюком и бросают в лодку. Затем опять идет рыба – черт, вся красная, как коралл, с большими крыльями, как Мефистофель в плаще. Затем опять вьюны, попадаются маленькие и большие акулы. Последних должны убивать в воде, потому что втаскивать их живыми в лодку опасно, могут откусить руку или ногу... Каких только рыб не наловили... Наконец вытащили такую большую акулу, что даже страшно стало. Это зверь, а не рыба. Едва нас не перевернула, бьет хвостом, раскрывает огромную белую пасть с тремя рядами больших зубов, в которой поместились бы 2 человеческих головы, и светит и светит зеленым дьявольским глазом, страшным и звериным. Ее нельзя было вытащить, ее обмотали веревками, били железом и привязали к лодке. Говорят, в ней пудов девять – десять. Вообще поймано много рыбы, одних акул штук пятнадцать – двадцать... Затем мы заплыли в какую-то пещеру, там закусывали, пели песни и купались, кто мог. Потом еще ловили рыбу удочками и возвратились домой только вечером, так что пробыли на море 12 часов”.

Об акульей охоте с невольным восхищением вспоминает и художник Бродский:

“В честь нашего приезда Горький устроил грандиозную рыбную ловлю, в которой участвовало двадцать пять человек. Ранним утром, вместе с рыбаками, мы отправились в море,

наловили много рыбы и начали на берегу варить замечательную каприйскую уху, о которой так восторженно отзывался Алексей Максимович. Пока рыбаки варили уху, мы купались, а затем, выкупавшись, расположились у костра. Вдруг кто-то заметил, что к берегу быстро приближается что-то большое, вроде подводной лодки. Когда это «что-то» подплыло очень близко, рыбаки догадались, что это акула. Не опасаясь людей, она приблизилась к лодке, в которой был богатый улов рыбы. Рыбаки вместе с Горьким бросились к лодке, сделали из каната петлю, накинули ее на голову акулы и принялись избивать хищницу веслами. Это занимательное зрелище продолжалось довольно долго, так как акула утащила лодку от берега на целый километр. Мы все восторгались, видя, как рыбаки, во главе с Горьким, глушат веслами акулу. Окончательно добить хищницу им удалось уже далеко в море, и только через несколько часов бесстрашные охотники вернулись на берег, волоча за собой на буксире побежденного врага. Наконец акулу вытащили на берег, и рыбаки стали ее потрошить: разрезали брюхо, вытащили внутренности, а сердце преподнесли Алексею Максимовичу. Отделенное от тела небольшое сердце акулы, величиной с кулак, билось еще два часа, а сама акула также жила еще несколько часов и долго била хвостом, так что нельзя было к ней подойти. Мы все любовались невиданной жизненной силой...»

В шутовском письме к писателю А. С. Черемнову Горький писал: «Мы живем на Капри, не капризная. Вчера с 6-ти утра до 11 ночи ловили рыбу компанией в 13 рыбаков и 32 капризника и капризниц. Поймали – хорошо. Пили белое, красное, зеленое, чай, кофе и всякие иные жидкости».

Но все эти отчасти веселые, отчасти кровавые забавы не мешали главному занятию, которому посвящал себя Горький на Капри, – литературе. «После уженья поели ухи и засиделись до двенадцати часов ночи, – вспоминает Коцюбинский. – *Литература, литература и литература*». О том же вспоминала жена Бунина Вера Николаевна Муромцева: «Горький один из редких писателей, который любил литературу больше себя. Литературой он жил, хотя интересовался всеми искусствами и науками...» Она же отметила манеру чтения Горьким вслух своих произведений: «Он читал как будто однообразно, а между тем очень выразительно, выделяя главное, особенно это поражало при его чтении пьес».

«Большую искренность» любви Горького к литературе признавал даже Бунин. Уже зная о злых высказываниях Бунина в эмиграции на свой счет, в СССР Горький и в статьях, и устно продолжал писать и говорить о недостижимой высоте мастерства Бунина-прозаика, призывал молодых писателей учиться у него. Между прочим, это помогло А. Т. Твардовскому в советские шестидесятые годы «пробить» издание девятитомного собрания сочинений И. А. Бунина. Как не издать писателя, мастерством которого восхищался великий пролетарский писатель Горький!

Ирония судьбы – Бунин возвращался на родину, к русскому читателю, благодаря тому, кого он язвительно высмеивал в своих эмигрантских заметках: «О Горьком, как ни удивительно, до сих пор никто не имеет точного представления. Сказочна вообще судьба этого человека. Вот уже целых 35 лет мировой славы, совершенно беспримерной по незаслуженности, основанной на безмерно счастливом для ее носителя стечении обстоятельств, – например, полной неосведомленности публики в его биографии. Конечно, талант, но вот до сих пор не нашлось никого, кто сказал бы наконец здраво и смело о том, что такое и какого рода этот талант, создавший, например, такую вещь, как «Песня о Соколе», – песня о том, как «высоко в горы вполз уж и лег там», а затем, ничуть не будучи от природы смертоносным гадом, все-таки ухитрился ужалить за что-то сокола, тоже почему-то оказавшегося в этих горах».

Эти безусловно критически верные, но в то же время удивительно *несправедливые* слова о Горьком Бунин опубликовал в газете «Иллюстрированная Россия» в 1930 году. До этого заметки о Горьком были прочитаны им вслух в собрании русской эмиграции. Бунин читал Горького куда менее внимательно, чем Горький – Бунин. Уж не жалил Сокола. Сокол бросился

со скалы в пропасть. Ругать аллегорическую вещь за реалистическую неточность – все равно что критиковать баснописца: зачем у него животные говорят человеческим языком? Конечно, в “Песне о Соколе”, одном из самых ранних произведений Горького (впервые напечатанном в “Самарской газете” под названием “В Черноморье” с подзаголовком “Песня” в 1892 году, за шесть лет до выхода книги “Очерки и рассказы”), было много романтически преувеличенного и даже безвкусного. С высоты требовательного художественного вкуса Бунина эта вещь действительно выглядела ужасной. Но разве Бунин не знал ее прежде? Когда издавался вместе с Горьким, Куприным, Андреевым? Когда печатался в сборниках “Знания”, изрядно потрудившись в провинциальной периодике и зная, чего стоит журналистский хлеб, который зарабатывал и Горький, печатаясь в “Самарской газете” в самых разнообразных жанрах, от “Песни” до фельетонов?

Бунин был несправедлив. Но главное, именно в это время оба они стали претендентами на Нобелевскую премию. В плане мировой известности Бунин серьезно уступал Горькому. Почему именно в это время Бунин “вдруг” заговорил о несчастном гордом Соколе и трусливом Уже? Почему спустя почти сорок лет, не помня даже сюжета ранней вещи Горького и не удосужившись ее перечитать, он набрасывается на нее с критикой?

В январе 1932 года, когда до присуждения Нобелевской премии Бунину оставалось полтора года, он вновь выступает против Горького в самой влиятельной парижской эмигрантской газете “Последние новости”. На этот раз объектом его насмешек становится самая знаменитая на Западе вещь Горького – пьеса “На дне”. Бунин язвительно описывает первое представление “На дне” в Московском Художественном театре, после которого Горький закатил грандиозный ужин в ресторане. И вновь – Горький нелеп, смешон, неприятен.

Оба эти выступления стали известны Горькому, который и в СССР, и в Сорренто следил за эмигрантской печатью. “Жутко и нелепо настроен Иван Алексеев (Иван Алексеевич Бунин. – П.Б.), – пишет Горький А. Н. Тихонову, – злопахательство его все возрастает, и – странное дело! – мне кажется, что его мания величия – болезнь искусственная, самовнушенная, выдумана им для самосохранения”.

Если не считать отдельных упоминаний Бунина в связи с горьковской критикой белоэмиграции в целом, Горький ни разу публично не ответил на грубые наскоки Бунина, продолжая говорить о его мастерстве и восхищаясь им как живым классиком. Но в блокноте он сделал такую запись:

“Читал «Заметки» Бунина и вспомнил тетку Надежду, вторую жену дяди моего Михаила Каширина. Дядя и его работник били бондаря, который, работая в красильне, пролил синюю «кубовую» краску. Из дома на шум вышла тетка и, схватив кол, которым подпирали «сушильные» доски, побежала, крича:

– Нуте-ко, постойте-ко, дайте-ко я его...

На Бунина тетка Надежда ничем не похожа была, – огромная, грудастая, необъятные бедра и толстейшие ножищи. Рожа большая, круглая, туго обтянута рыжеватой, сафьяновой кожей, в середине рожи – маленькие синеватые глазки, синеватые того цвета огоньков, который бывает на углях, очень ядовитые глазки, а под ними едва заметный, расплывшийся нос и тонкогубый рот, длинный, полный мелких зубов. Голос у нее был пронзительно высокий, и я еще теперь слышу ее куриное квохтанье:

– Ко-ко-ко-ко...”

Горький не опубликовал этого. Но внутренне он отомстил Бунину как художник художнику, на что справедливо указала исследователь творчества Горького Н. Н. Примочкина. Зачем Горький записал это в блокнот? Возможно, только затем, чтобы сказать самому себе: если надо, если *потребуется*, я могу “отхлестать” Бунина не менее зло и язвительно. Но, повторяем, публично он этого не сделал.

Перипетии присуждения Бунину Нобелевской премии не имеют отношения к теме духовной судьбы Горького. Но в жизни Горького это событие сыграло значительную роль. Судя по воспоминаниям Нины Берберовой, Горький на премию некоторое время рассчитывал, и его возвращение в СССР отчасти было связано с тем, что расчеты эти не оправдались.

В эмиграции присуждение Нобелевской премии Бунину было воспринято неоднозначно. Так, Марина Цветаева писала в связи с этим: «Премия Нобеля. 26-го буду сидеть на эстраде и чествовать Бунина. Уклониться – изъявить протест. Я не протестую, я только не согласна, ибо несравненно больше Бунина: и больше, и человечнее, и своеобразнее, и нужнее – Горький. Горький – эпоха, а Бунин – конец эпохи. Но – так как это политика, так как король Швеции не может нацепить ордена коммунисту Горькому... Впрочем, третий кандидат был Мережковский, и он также несомненно больше заслуживает Нобеля, чем Бунин, ибо если Горький – эпоха, а Бунин – конец эпохи, то Мережковский – эпоха *конца* эпохи, и влияние его в России и за границей несоизмеримо с Буниным, у которого *никакого*, вчистую, влияния ни там, ни здесь не было. А «Посл<едние> новости», сравнивавшие его стиль с толстовским (точно дело в «стиле», т. е. *пере*, которым пишешь), сравнивая в *ущерб* Толстому, – просто позорны. Обо всем этом, конечно, приходится молчать».

Нобелевская премия была куда нужнее Бунину, чем Горькому. Горький имел выбор: остаться за границей или уехать в СССР. До самого последнего момента, до отъезда в СССР в 1933 году, он колебался в этом выборе, с 1928 по 1933 год фактически жил «на два дома», зиму и осень проводя в Сорренто. У Бунина такого выбора не было.

Судьба расставила всё по своим местам. Горький, с его неумной жадной деятельностью, стал тем, кем он стал: вождем и узником одновременно. Бунин, с его стремлением к свободе, самосохранению, получив премию, приобрел материальную передышку, самое главное – мировое признание.

Бунин, «Записи»:

«9 ноября 1933 года, старый добрый Прованс, старый добрый Грасс, где я почти безвыездно провел целых десять лет жизни, тихий, теплый, серенький день поздней осени...»

Такие дни никогда не располагают к работе. Все же, как всегда, я с утра за письменным столом. Сажусь за него и после завтрака. Но, поглядев в окно и видя, что собирается дождь, чувствую: нет, не могу. Нынче в синема дневное представление – пойду в синема.

Спускаясь с горы, на которой стоит Бельведер, в город, гляжу на далекие Канны, на чуть видимое в такие дни море, на туманные хребты Эстреля и ловлю себя на мысли: «Может быть, как раз сейчас где-то там, на другом краю Европы, решается и моя судьба...»

В синема я, однако, забываю о Стокгольме.

Когда, после антракта, начинается какая-то веселая глупость под названием «Бэби», смотрю на экран с особенным интересом: играет хорошенькая Киса Куприна, дочь Александра Ивановича. Но вот в темноте возле меня какой-то осторожный шум, потом свет ручного фонарика и кто-то трогает меня за плечо и торжественно и взволнованно говорит вполголоса:

– Телефон из Стокгольма...

И сразу обрывается вся моя прежняя жизнь».

День шестой Дружба-вражда

Мне всегда казалось, что наша дружба или вражда не есть только наше личное дело.

Из письма Леонида Андреева Горькому

Единственный друг

На известной фотографии 1902 года, сделанной в Нижнем Новгороде М. П. Дмитриевым, Горький и Леонид Андреев сидят вместе, тесно прижавшись друг к другу. Горький обнял Андреева за плечо. Давайте внимательно всмотримся в фотографию... Это был, наверное, наиболее романтический период их дружбы, когда они только что познакомились и с интересом всматривались друг в друга, одновременно и узнавая себя в другом, и понимая, насколько они непохожие и даже противоположные натуры.

“Он сел на диван вплоть ко мне и прекрасно рассказал о том, как однажды, будучи подростком, бросился под товарный поезд, но, к счастью, угодил вдоль рельс, и поезд промчался над ним, только оглушив его. В рассказе было что-то неясное, недействительное, но он украсил его изумительно ярким описанием ощущений человека, над которым с железным грохотом двигаются тысячепудовые тяжести. Это было знакомо и мне, – мальчишкой лет десяти я ложился под балластный поезд, соперничая в смелости с товарищами, – один из них, сын стрелочника, делал это особенно хладнокровно. Забава эта почти безопасна, если топка локомотива достаточно высоко поднята и если поезд идет на подъем, а не под уклон; тогда сцепления вагонов туго натянуты и не могут ударить вас или, зацепив, потащить по шпалам. Несколько секунд переживаешь жуткое чувство, стараясь прильнуть к земле насколько возможно плотнее и едва побеждая напряжением всей воли страстное желание пошевелиться, поднять голову. Чувствуешь, что поток железа и дерева, проносясь над тобою, отрывает тебя от земли, хочет увлечь куда-то, а грохот и скрежет железа раздается как будто в костях у тебя. Потом, когда поезд пройдет, с минуту и более лежишь на земле, не в силах подняться, кажется, что ты плывешь вслед поезду, а тело твое как будто бесконечно вытягивается, растет, становится легким, воздушным, – и – вот сейчас полетишь над землей. Это очень приятно чувствовать”.

Это строки из очерка Горького о Леониде Андрееве. Он был написан осенью 1919 года, сразу после смерти Андреева в Финляндии. Корней Чуковский вспоминал, как Горький узнал о кончине Леонида Андреева:

“В сентябре 1919 года в одну из комнат «Всемирной литературы» вошел, сутулясь сильнее обычного, Горький и глухо сказано, что из Финляндии ему сейчас сообщили о смерти Леонида Андреева...”

И, не справившись со слезами, умолк. Потом пошел к выходу, но повернулся и проговорил с удивлением:

– Как это ни странно, это был мой единственный друг. Единственный”.

Вот как! Не Шалапин... Не десятки других людей, с которыми Горький общался на протяжении жизни, с которыми вел переписку, встречался более или менее постоянно. Леонид Андреев! Оказывается, Горький, этот борец и жизнелюб, всю жизнь душой тянулся к Леониду Андрееву, главной мыслью которого была мысль о смерти человеческой...

Невидимый враг

И снова мы имеем дело с неслучайной случайностью. Очерк об Андрееве был написан почти сразу после воспоминаний о Толстом. В этом не было воли самого Горького. Просто одновременно с известием о смерти Леонида Андреева были обреты записки о Толстом.

Портрет Андреева писался Горьким, еще не остывшим после схватки с великим Львом. Эти два портрета – как два зеркала, направленных друг на друга. Они создают два бесконечных коридора в обе стороны. И в каждом коридоре, в бесконечной перспективе, блуждает Горький.

Толстой и Андреев не похожи друг на друга ничем, кроме главной мысли. Это – мысль о смерти. Для Толстого смерть – великое событие жизни, то, ради чего живет человек. И для Андреева смерть – единственное, что есть настоящего в жизни. Что не призрачно, не обманчиво. А для Горького смерти словно не существует. Она для него “недоразумение”, такая же ошибка природы и Бога, как всякое несовершенство человеческое, которое необходимо исправить. Не сейчас, так потом. Когда человек возвысится до Бога. Горький отодвигает вопрос о смерти не в сторону, а в будущее. Когда он писал об Андрееве, им уже был прочитан русский философ Николай Федоров, тоже высказавший идею о необходимости уничтожить смерть как причину страданий людских.

Позиция Горького разумна. Смерть, мысли о ней не должны мешать человеку совершенствоваться – прочь эти мысли, и да здравствует жизнь! Эта позиция противоположна христианской, где мысль о смерти (*memento mori*) занимает центральное место.

Леонид Андреев ближе к позиции христианства. Но странно! Мысль о смерти гнетет и отравляет его существование, а Горький живет как человек истинно верующий, без страха, не испытывая ни малейшего ужаса перед неизбежным концом. В этом, наверное, главный парадокс его мировоззрения. Горький – верующий без Бога, бессмертный без веры в загробное существование. Его вера – в пределах человеческого разума. А поскольку разум человеческий, по его убеждению, беспределен, всё, что находится за пределами разума, до поры до времени не имеет никакого смысла.

Например смерть...

Андреев считал это трусостью.

“– Это, брат, трусость – закрыть книгу, не дочитав ее до конца! Ведь в книге – твой обвинительный акт, в ней ты отрицаешься – понимаешь? Тебя отрицают со всем, что в тебе есть, – с гуманизмом, социализмом, эстетикой, любовью, – все это – чепуха по книге? Это смешно и жалко: тебя приговорили к смертной казни – за что? А ты, притворяясь, что не знаешь этого, не оскорблен этим, – цветочками любишься, обманывая себя и других, глупенькие цветочки!..

Я указывал ему на некоторую бесполезность протестов против землетрясения, убеждал, что протесты никак не могут повлиять на судороги земной коры, – все это только сердило его”.

Во время этого разговора Андреев “льнет” к Горькому, тянется к нему “вплоть”. И в то же время ненавидит его. “Обняв меня за плечи, он сказал, усмехаясь:

– Ты – все видел, черт тебя возьми! <...>

И, бодая меня головой в бок:

– Иногда я тебя за это ненавижу.

Я сказал, что чувствую это.

– Да, – подтвердил он, укладывая голову на колени мне. – Знаешь – почему? Хочется, чтоб ты болел моей болью, – тогда мы были бы ближе друг к другу, – ты ведь знаешь, как я одинок!”

В отношениях с Толстым Горький был в большей степени испытываемым, нежели испытателем. Для Толстого Горький был эпизодом, “недоразумением”, в котором великий Лев пытался разобраться, но которое, конечно, не являлось главным содержанием его духовной

и умственной жизни. Горький мог его интересовать, раздражать, даже испытывать (образом Луки). Но изменить Толстого Горький не мог. Наоборот: Толстой мощно влиял на Горького. Как художник Горький знал свою зависимость от какой-то почти нечеловеческой силы реализма Толстого. Один раз вкусив божественного меда эстетической правды Толстого, он уже не мог любить эрзац псевдоромантической эстетики, которой изрядно послужил в молодые годы. Мучаясь и бесконечно работая над словом, Горький не только врожденным талантом, но и неустанным трудом выбился в мастера реализма, не обращая внимания на шумный успех своих ранних вещей. И конечно, строгий взор автора “Казakov” и “Хаджи-Мурата” всегда был перед его глазами.

В очерке о Леониде Андрееве есть эпизод, когда в гости к Горькому в Нижнем Новгороде приходит отец Феодор Владимирский, арзамасский протоиерей, член второй Государственной думы. Интересный человек, философ, дочери которого стали революционерками, а сын – коммунистом, с 1930 по 1934 годы служившим наркомом здравоохранения РСФСР. В это время к Горькому в Нижний приехал Леонид Андреев и быстро сошелся с отцом Феодором на почве философских споров. “По стеклам хлещет дождь, на столе курлыкает самовар, старый и малый ворошат древнюю мудрость, а со стены вдумчиво смотрит на них Лев Толстой с палочкой в руке – великий странник мира сего...”

Ирония Горького очевидна. Старый и малый, как дети неразумные, ворошат вечные вопросы, а со стены на них смотрит Толстой, который для Горького в этот период являлся Учителем, причем таким, который учит не теориями, а личным духовным масштабом. От такого Учителя возможно заслужить презрение, а можно – легкое (но не более!) одобрение. Но самое высшее, что можно заслужить, – это интерес Учителя к твоей собственной духовной личности.

Вот чем в это время озадачен Горький. Эпизод, описанный в очерке об Андрееве, относится к октябрю 1902 года. В апреле этого же года Горький приехал в Нижний из Крыма, где встречался с Толстым. Именно тогда он видел Толстого – Посейдона на берегу моря и навсегда запомнил его таким. И, возможно, тогда родились записи: “Его интерес ко мне – этнографический интерес...” “Он – черт, а я еще младенец, и не трогать бы ему меня”.

Критик и литературовед В. А. Сурганов, занимавшийся творчеством Горького, однажды указал автору этой книги на ключевое слово во второй записи. *Еще*. В 1902 году *еще* младенец? Но позвольте! Именно 1902 год был ключевым, поворотным в жизни Горького, когда из молодого и популярного автора “Очерков и рассказов”, романов “Фома Гордеев” и “Трое” он становится одной из главных фигур русской культурной и общественной жизни начала XX века. И уже не только русской, но и мировой. Им активно интересуются в Европе и США, его рассказы спешно переводят на английский, болгарский, венгерский, голландский, датский, испанский, литовский, немецкий, норвежский, польский, сербский, французский, чешский и шведский языки – и все это за один лишь 1902 год!

Младенец?!

8 февраля 1902 года он избран в почетные академики на заседании Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук и изящной словесности. В марте получает от Академии извещение об этом и уведомление, что диплом ему будет послан дополнительно. Увы, академики поспешили. Министерство внутренних дел представило Николаю II доклад об избрании Горького в почетные академики вместе с подробной справкой о его политической неблагонадежности. Известны слова императора, начертанные на докладе: “Более чем оригинально”.

Менее известно его письмо к министру народного просвещения П. С. Ванновскому с требованием отменить избрание. Между тем в этом письме есть свои резоны:

“Чем руководствовались почтенные мудрецы при этом избрании, понять нельзя.

Ни возраст Горького, ни даже коротенькие сочинения его не представляют достаточное наличие причин в пользу его избрания на такое почетное звание.

Гораздо серьезнее то обстоятельство, что он состоит под следствием. И такого человека в теперешнее смутное время Акад<емия> наук позволяет себе избирать в свою среду. Я глубоко возмущен всем этим и поручаю вам объявить, что <по> моему повелению выбор Горького отменяется. Надеюсь хоть немного отрезвить этим состояние умов в Академии”.

9 марта министр просвещения П. С. Ванновский пишет президенту Академии наук России великому князю К. К. Романову: “Государь император мне повелеть соизволил: объявить соединенному собранию Отделения русского языка и словесности и Разряда изящной словесности императорской Академии наук, что Его Величество глубоко огорчен избранием вышеупомянутым соединенным собранием в свою среду Алексея Максимовича Пешкова (псевдоним «Максим Горький»)”.

В “Правительственном вестнике” появляется сообщение о недействительности выборов Горького: “Ввиду обстоятельств, которые не были известны соединенному собранию Отделения русского языка и словесности и Разряда изящной словесности императорской Академии наук, выборы в почетные академики Алексея Максимовича Пешкова (псевдоним «Максим Горький»), привлеченного к дознанию в порядке ст. 1035 уголовного судопроизводства, объявляются недействительными”.

Горький в это время находится в Крыму. Встречается с Чеховым, читает Толстому сцены из еще не законченной пьесы “На дне”. К. К. Романов обращается к таврическому губернатору В. Ф. Трепову с распоряжением отобрать у Горького уведомление об избрании почетным академиком.

Горький закусывает удила: “С просьбой о возврате этого уведомления Академия должна обратиться непосредственно ко мне”.

6 апреля Короленко пишет председателю II Отделения Академии наук А. Н. Веселовскому письмо, в котором не соглашается с отменой выборов Горького и просит созвать собрание Отделения русского языка и словесности и Разряда изящной словесности, чтобы сделать заявление о сложении с себя звания почетного академика. 25 июля Короленко посылает на имя А. Н. Веселовского новое письмо – с отказом от звания почетного академика. Ровно через месяц, 25 августа, то же делает Чехов.

Младенец?!

Рядом с Толстым – да, духовный младенец. Горький понимал это и в 1902 году, когда была сделана запись о “черте” и “младенце”, и в 1919-м – когда писался очерк о Льве Толстом.

С Леонидом Андреевым ситуация обратно противоположная. И хотя Андреев был слишком увлечен собой, чтобы боготворить Горького, он, несомненно, находился под его мощным влиянием и переживал это как личную проблему. Проблема “Горький – Толстой” во многом напоминает проблему “Андреев – Горький”. И характерно, что обе эти проблемы обозначаются именно в 1902 году. Но разница была в том, что Горький, угодивший в когти великого Льва, был сильной натурой. Этим он одновременно и раздражал Толстого, и вызывал его интерес к себе. Андреев был натурой слабой, изначально склонной к душевному подчинению. Поэтому Горький выбрался из-под влияния Толстого как духовного учителя. На Андреева влияние Горького оказало положительное воздействие, а вот процесс внутренней борьбы с Горьким не закалил его, а еще более закрепостил. Иногда борьба с тем, от кого ты душевно зависишь, ведет к еще худшей зависимости.

Горький понимал эту личную драму Андреева и никогда не пытался своего друга испытывать. Наоборот, Андреев постоянно испытывал Горького, не всегда понимая, что испытывает он, в сущности, самого себя.

“На «Собрании сочинений», которое Леонид подарил мне в 1915 г., он написал: «Начиная с курьерского “Бегемота”, здесь всё писалось и прошло на твоих глазах, Алексей: во многом это – история наших отношений».

Это, к сожалению, верно; к сожалению – потому, что я думаю: для Л. Андреева было бы лучше, если бы он не вводил в свои рассказы «историю наших отношений». А он делал это слишком охотно и, торопясь «опровергнуть» мои мнения, портил этим всю обедню. И как будто именно в мою личность он воплотил своего невидимого врага”.

Непокорный ученик

Отношения Андреева с Горьким чем-то похожи на отношения Ницше и Вагнера. И там и тут можно выделить три периода. Первый: сильнейшая душевная и интеллектуальная зависимость. Второй: попытка выбраться из-под влияния. Третий: ненависть и презрение.

Но в отличие от Ницше, в молодости боготворившего Вагнера, Андреев изначально переживал свою зависимость от Горького как несвободу и своеобразно мстил другу в своем творчестве. Эта месть смущала Горького. Он видел в ней кривое отражение их с Андреевым отношений. Как ни странно, но общественник Горький, упрекавший Бунина в эстетической самодостаточности и отсутствии революционных идей (“Не понимаю, как талант свой... вы не отточите в нож и не ткнете им куда надо”), в отношениях с Андреевым оказался как раз эстетическим пуристом и защитником творческой свободы. Горький тяготился своим влиянием на Андреева и радовался, когда Андреев от него отмежевывался, как это было во время конкуренции издательств “Знание” и “Шиповник”. Но это еще больше разжигало в Андрееве страсть испытывать своего учителя.

А начиналась их дружба безоблачно...

“Весною 1898 г. я прочел в московской газете «Курьер» рассказ «Баргамот и Гараська», – пишет Горький.

Первый номер газеты “Курьер” вышел в 1897 году. Редактором ее был А. Я. Фейгин. Скоро газета собрала вокруг себя лучших писателей того времени. С “Курьером” сотрудничали Чехов, Горький, Бунин, Вересаев, Станюкович, Телешов, Гиляровский, Серафимович и другие.

Андреев сотрудничал с “Курьером” наиболее активно. За пять лет, с 1898 по 1902 год, он напечатал там 28 рассказов и около 220 фельетонов.

“Пасхальный” рассказ “Баргамот и Гараська” был напечатан 5 апреля 1898 года.

Прочитав его, Горький сказал: “Черт знает что такое... Я довольно знаю писательские штуки, как вогнать в слезу читателя, а сам попался на удочку: нехотя слеза прошибла...”

В то же время Горький заметил в рассказе то, чего не заметил никто: “От этого рассказа на меня повеяло крепким дуновением таланта, который чем-то напомнил мне Помяловского, а кроме того, в тоне рассказа чувствовалась скрытая автором *умненькая улыбочка недоверия к факту* (курсив мой. – П.В.)”.

В 1901 году по протекции Горького книга рассказов Андреева выходит в “Знании”, и автор ее просыпается знаменитым. Ранние рассказы Андреева – “Баргамот и Гараська”, “Петька на даче”, “Ангелочек” и другие – привлекают редкой душевной чистотой и сентиментальностью в лучшем смысле этого слова. За этой сентиментальностью не сразу разглядишь “умненькую улыбочку недоверия к факту”, которая затем разрастется у Андреева до масштабов “Красного смеха”. И так же ранний скептицизм Андреева, привлекательный тем, что это был скептицизм легкий, ненатужный, придающий его рассказам необходимую остроту, впоследствии разовьется во “вселенскую критику” (А. В. Луначарский), в отрицание смысла бытия.

Рассказ “Баргамот и Гараська” повествует о том, как орловский городской на Пасху пожалел нищего как брата во Христе и пригласил его домой. Но там случился конфуз. От неожиданности Гараська расплакался, и притом так некрасиво, что испортил Баргамоту и его жене

праздник. Кстати, этот конец возник уже во второй, книжной редакции рассказа и не без влияния Горького.

Первая их встреча состоялась 12 марта 1900 года на Курском вокзале в Москве, где Горький оказался проездом из Нижнего в Крым.

“Одетый в старенькое пальто-тулупчик, он напоминал актера украинской труппы. Красивое лицо его показалось мне малоподвижным, но пристальный взгляд темных глаз светился той улыбкой, которая так хорошо сияла в его рассказах и фельетонах... Не помню его слов, но они были необычны, и необычен был строй возбужденной речи. Говорил он торопливо, глуховатым, бухающим голосом, простуженно кашляя, немножко захлебываясь словами и однообразно размахивая рукой, – точно дирижировал. Мне показалось, что это здоровый, неуемно веселый человек, способный жить, посмеиваясь над невзгодами бытия. Его возбуждение было приятно.

– Будемте друзьями! – говорил он, пожимая мою руку.

Я тоже был радостно возбужден”.

На обратном пути из Крыма в Нижний Горький ненадолго остановился в Москве, и их отношения “быстро приняли характер сердечной дружбы”.

Горький легко сходился с людьми, молодой Андреев – тоже. Хотя в гимназии Андреева за гордый и сумрачный вид прозвали Герцогом. Но это была одна из его масок. В семье доброго, ласкового Леонида звали Коточкой. Рано потеряв отца, сильно пившего орловского землемера, Леонид нежно любил мать, происходившую из бедных дворян Пацковских. Несмотря на дворянское происхождение, Анастасия Николаевна была полуграмотна. После смерти отца заботы о многочисленной семье легли на плечи старшего из детей – Леонида.

В детских и юношеских биографиях Горького и Андреева почти нет ничего общего, кроме ранней потери отца. Но есть “странные сближенья”. Оба подростками ложились между рельс под поезд, испытывая себя. Оба юношами пытались покончить с собой. Андреев – не меньше трех раз.

“Ладонь одной руки у него была пробита пулей, пальцы скрючены, – я спросил его: как это случилось?”

– Экивок юношеского романтизма, – ответил он. – Вы сами знаете, – человек, который не пробовал убить себя, – дешево стоит”.

Первый раз Андреев бросился под поезд, прочитав “В чем моя вера?” Толстого. Из этой статьи он сделал странный вывод: Бога нет. А раз нет, то зачем жить? И вот, возвращаясь с ребятами с пикника вдоль железной дороги, лег под поезд. Конечно, были и другие причины. Андреев с детства был влюбчив. Первый опыт любви к зрелой женщине случился у него в одиннадцать лет.

Как и Горький, Андреев рано увлекся Шопенгауэром, а затем Ницше.

“Еще в гимназии, классе в 6-м, начитался он Шопенгауэра, – вспоминала его двоюродная сестра З. Н. Пацковская. – И нас замучил прямо. Ты, говорит, думаешь, что вся вселенная существует, а ведь это только твое представление, да и сама-то ты, может, не существуешь, потому что ты – тоже только мое представление”.

В отличие от обширных читательских интересов молодого Горького, круг философского чтения Андреева был весьма ограничен. Писарев, Толстой, Гартман, Шопенгауэр. И здесь же почему-то “Учение о пище” Молешотта. Все это понималось им как отрицание смысла бытия. Еще подростком он записывает в дневнике, что станет “знаменитым писателем и своими писаниями разрушит и мораль, и установившиеся человеческие отношения, разрушит любовь и религию и закончит свою жизнь всеразрушением”. Когда в зрелом возрасте Андреев читал свой дневник, эти слова удивили его самого “совсем не мальчишеской серьезностью”.

В отличие от Горького, не закончившего даже средней школы, Андреев учился в классической гимназии. В 1891 году, когда Пешков странствовал по Руси, Андреев поступил на

юридический факультет Петербургского университета. Во время учебы страшно бедствовал, почти голодал. Тогда им был написан первый рассказ – о голодном студенте, который пытается покончить с собой необычным способом: снимает с кровати матрас и ложится спиной на железную сетку, поставив под нее пылающую жаровню.

“Я плакал, когда писал его, – вспоминал потом Андреев, – а в редакции, когда мне возвращали рукопись, смеялись”.

Впоследствии Андреев использовал этот сюжет в рассказе “Загадка”, но жаровню заменила свеча. Таким образом, самоубийство выглядело еще более странным, изощренным и невероятным. Интересно, что в 1925 году, обсуждая в переписке с Груздевым самоубийство Сергея Есенина, Горький неожиданно повторил андреевский сюжет (см. в главе “Сирота казанская”).

Вообще удивительно, что они подружились. Более непохожих людей трудно себе представить. Горький – поклонник Человека и его разума. Андреев – отрицатель разума и смысла жизни человеческой.

“Следует написать рассказ о человеке, который всю жизнь – безумно страдая – искал истину, и вот она явилась пред ним, но он закрыл глаза, заткнул уши и сказал:

«Не хочу тебя, даже если ты прекрасна, потому что жизнь моя, муки мои – зажгли в душе ненависть к тебе»”.

“Мне эта тема не понравилась, – пишет Горький, – он вздохнул, говоря:

– Да, сначала нужно ответить, где истина – в человеке или вне его? По-вашему, в человеке?”

И засмеялся:

– Тогда это очень плохо, очень ничтожно...”

Это был их первый серьезный разговор после встречи на вокзале. И сразу между Андреевым и Горьким обозначилось противостояние. Но отчего их так тянуло друг к другу? Ведь именно после этой встречи они стали друзьями.

“Не было почти ни одного факта, ни одного вопроса, на которые мы с Л.Н. смотрели бы одинаково, но бесчисленные разногласия не мешали нам – целые годы – относиться друг к другу с тем напряжением интереса и внимания, которые нечасто являются результатом даже долготной дружбы. Беседовали мы неумолимо, помню – однажды просидели непрерывно более двадцати часов, выпив два самовара чая, – Леонид поглощал его в неимоверном количестве...”

Беседа длиною в двадцать часов не может держаться на одном умственном интересе. Почему Андреев нуждался в Горьком, понятно. Если рассуждать прагматически, то Горький предоставил Андрееву площадку для успешного старта. Он выполнил миссию, которую по эстафете получил от Короленко: известные писатели должны помогать неизвестным. В идеальном плане Андреев видел в Горьком “рыцаря духа”, называя себя “колеблющимся поклонником” духа. Горький был для него своего рода Данко, который выводил его из тьмы сомнений к ясности. Под влиянием Горького Андреев настолько увлекся освободительными идеями, что порой становился революционером больше, чем Горький.

Например, Андреев не мог понять, как Горький может любить В. В. Розанова. Ведь Розанов – монархист, сотрудник суворинской газеты “Новое время”! И для Горького здесь было противоречие, но не из самых трудных. Весь сотканный из противоречий, подобные вопросы он решал легко. Розанов талантлив, следовательно, уже является украшением образа Человека. А монархист он или нет, не суть важно. Не верящий в Человека Андреев подобного решения вопроса не понимал из-за своей прямолинейности. Не мог он понять и того, почему Горький так увлекается житийной, религиозной литературой. Для Андреева любая мистика – это трусость. “Ядро культурных россиян совершенно чуждо мистической свистопляске и якобы религиозным исканиям – этой эластичной замазке, которой они замазывают все щели в окнах, чтобы с улицы не дуло”, – писал Андреев В. С. Миролубову в 1904 году. Под этими словами подписался бы и Владимир Ленин.

«Мужское» и «женское»

После смерти Андреева его огромным архивом владела его вторая жена – Анна Ильинична. Наиболее значительную часть писем Горького к Андрееву она передала сыну Валентину Леонидовичу, жившему во Франции. Затем 93 письма приобрел у Валентина Леонидовича Архив русской и восточноевропейской истории и культуры при Колумбийском университете в Нью-Йорке, 10 писем он передал старшему брату, Вадиму Леонидовичу, жившему в Швейцарии. Копии этих 103 писем получил Илья Зильберштейн, они легли в основу 72-го тома “Литературного наследия”. Судьба писем Андреева к Горькому еще сложнее. Часть их Горький сжег, по-видимому, не желая, чтобы наиболее скандально откровенные письма Андреева были обнародованы. Часть – раздарил. В результате в 72-м томе “Наследия” были опубликованы 103 письма Горького и 75 писем Андреева. Но и этого достаточно, чтобы том превратился в напряженный и увлекательный психологический роман.

В этом романе Андрееву отведена женская роль, а Горькому – мужская. Андреев постоянно о чем-то вопрошает Горького, о чем-то умоляет его, что-то требует от него. Он несколько раз признается ему в любви как художнику и человеку. Горький это благосклонно принимает, но не позволяет слишком увлекаться темой своего “я”, полагая, что есть темы более важные. Эта его закрытость злит Андреева. Он желает предельной откровенности. Горький от нее лукаво уклоняется. Несколько раз Андреев провоцирует ссоры, разрывы отношений, совершает глупости, ведет себя по-хулигански, как бы испытывая другую сторону: а вот это ты стерпишь? а это? а так?

Наконец Андреев “изменяет” Горькому. Вернее, их общему делу, как его понимает Горький. И тут Горький обнаруживает ревность, которой не было прежде. После большой измены он не прощает Андрееву уже и малейших прегрешений, на которые раньше смотрел сквозь пальцы. Ссора следует за ссорой, и Андреев, униженный, подавленный, рвет с Горьким. Оба страдают от этого разрыва, но в большей степени Андреев. По крайней мере, его страдания более заметны. Несколько раз они пытаются помириться, но не получается. Что-то непоправимо сломалось в их отношениях, порвался какой-то центральный нерв. Остается только вспоминать прошлое.

Волевой и позитивно мыслящий Горький нуждается в слабом и негативистски настроенном Андрееве. Почему? Потому что это позволяет ему, не изменяя своей внешней цельности, внутренне переживать андреевский *раздрай* как свой собственный и тем самым отдыхать от тягостной необходимости быть всегда волевым, всегда лидером. В свою очередь Андреев нуждается в Горьком и в качестве душевной опоры, и в качестве объекта для своих провокаций. Провоцировать такого же провокатора, как ты сам, неинтересно да и бессмысленно. Психологическая искра высекается, когда объект сопротивляется твоим провокациям.

Например: Горький – поклонник книги. Следовательно, Андреев должен быть ее противником.

“Читать Л. Н. не любил и, сам являясь делателем книги – творцом чуда, – относился к старым книгам недоверчиво и небрежно.

– Для тебя книга – фетиш, как для дикаря, – говорил он мне. – Это потому, что ты не протирал своих штанов на скамьях гимназии, не соприкасался науке университетской. А для меня «Илиада», Пушкин и все прочее замусолено слюною учителей, проституировано геморроидальными чиновниками. «Горе от ума» – скучно так же, как задачник Евтушевского. «Капитанская дочка» надоела, как барышня с Тверского бульвара. <...> Однажды я читал газетную статью о Дон Кихоте и вдруг с ужасом вижу, что Дон Кихот – знакомый мне старичок, управляющий казенной палатой, у него хронический насморк и любовница, девушка из кондитерской, он называл ее – Милли, а в действительности – на бульварах – ее звали Сонька Пузырь...”

Провокация тут очевидна. Для Горького русская и мировая литература – это незабываемая система ценностей. Да и Андреев, конечно, не верит в то, что говорит. На самом деле он видел в русской литературе ее вселенский смысл, обожал Достоевского и был как писатель зависим от него. Но его “женская” природа возмущена “мужской” любовью Горького к литературе вообще, где писатель Андреев, как единица, значит очень мало, а пожалуй, и не значит вообще ничего в отдельности от общемировой системы ценностей. Это все равно что любить Красоту, не замечая живущей рядом красивой женщины. Уже в период разрыва отношений с Горьким в статье “«Летопись» Горького и мемуары Шаяпина” Андреев выскажет свою обиду откровенно:

“Любя литературу как нечто отвлеченно-прекрасное и безгрешное, Горький не сумел внушить своей аудитории и своим последователям любви к литераторам, – к живой, грешной, как все живое, и все же прекрасной литературе. Всю жизнь смотря одним глазом (хотя бы и попеременно, но никогда двумя сразу), Горький кончил тем, что установил одноглазие как догмат”.

Несправедливость обвинения Андреева в отношении Горького очевидна. Никто из русских писателей не сделал столько для литераторов, сколько сделал Горький. И ни один писатель так не умел ценить “чужое”, как он. Но по-человечески Андреева можно понять. Ведь совсем недавно Горький не захотел вникнуть в его проблемы, не пожелал прислушаться к его голосу. И сразу забыты горьковский искренний восторг и от “Баргамота и Гараськи”, и от первой книги Андреева в “Знании”, и многое другое.

Впрочем, мотив “одноглазия” Горького появится и в дневниковой записи Блока от 22 декабря 1920 года: “Гумилев и Горький. Их сходства: волевое; ненависть к Фету и Полонскому – по-разному, разумеется. Как они друг друга ни не любят, у них есть общее. Оба не ведают о трагедии — о двух правдах. Оба (северо) – восточные”.

Эти строки возникли год спустя после того, как Блок, по просьбе Горького, написал свои воспоминания об Андрееве. В этих воспоминаниях он выделил важную характерную черту личности Андреева – постоянное чувство хаоса в себе. Таким образом, Горький и Андреев, как видит их Блок, стоят на разных полюсах. Блок сочувственно цитирует отзыв Андрея Белого о пьесе Андреева “Жизнь Человека”, которая была антитезой поэмы Горького “Человек”. Белый услышал в пьесе “рыдающее отчаянье”. “Это – правда, – писал Блок, распространя творческую характеристику Белого на личность Андреева, – рыдающее отчаянье вырывалось из груди Леонида Андреева, и некоторые из нас были ему за это бесконечно благодарны”.

Кто некоторые? По-видимому, писатели из круга символистов. И уж точно не волевой Горький. Ему “рыдающее отчаянье” Андреева как раз не нравилось, он всерьез переживал за разум и психику своего друга.

“Я думаю, что хорошо чувствовал Л. Андреева: точнее говоря – видел, как он ходит по той тропинке, которая повисла над обрывом в трясину безумия, над пропастью, куда заглядывая, зрение разума угасает.

Велика была сила его фантазии, но – несмотря на непрерывно и туго натянутое внимание к оскорбительной тайне смерти, он ничего не мог представить себе по ту сторону ее, ничего величественного или утешительного, – он был все-таки слишком реалист для того, чтобы выдумать утешение себе, хотя и желал его.

Это его хождение по тропе над пустотой и разъединяло нас всего более. Я пережил настроение Леонида давно уже, и, по естественной гордости человеческой, мне стало органически противно и оскорбительно мыслить о смерти”.

Это мужской взгляд.

В свою очередь Андреев хорошо чувствовал женскую логику.

“Однажды я рассказал ему о женщине, которая до такой степени гордилась своей «честной» жизнью, так была озабочена убедить всех и каждого в своей неприступности, что все

окружающие ее, издыхая от тоски, или стремглав бежали прочь от сего образца добродетели, или же ненавидели ее до судорог.

Андреев слушал, смеялся и вдруг сказал:

– Я – женщина честная, мне ни к чему ногти чистить – так?

Этими словами он почти совершенно точно определил характер и даже привычки человека, о котором я говорил, – женщина была небрежна к себе. Я сказал ему это, он очень обрадовался и детски искренно стал хвастаться:

– Я, брат, иногда сам удивляюсь, до чего ловко и метко умею двумя, тремя словами поймать самое существо факта или характера”.

Революция и эмиграция

В начале 1905 года Андреев предоставил свою московскую квартиру для заседания большевистской фракции ЦК РСДРП. В донесении в департамент полиции сообщалось, что 9 февраля там состоялось собрание “главных деятелей Российской социал-демократической рабочей партии для выработки программы по вопросу о революционизировании народных масс”. Вместе с участниками заседания хозяин квартиры был арестован и отправлен в Таганскую тюрьму. После освобождения под залог за ним было установлено наблюдение полиции, которое велось до его отъезда в Берлин.

Настроение Андреева после освобождения было более чем радужным. “Воспоминание о тюрьме, – писал он Горькому, – будет для меня одним из самых милых и светлых – в ней я чувствовал себя человеком”. Пребывание в тюрьме он назвал “увеселительной поездкой”.

Свое жизненное кредо Андреев излагает в письме к Вересаеву: “Кто я? До каких неведомых и страшных границ дойдет мое отрицание? Вечное «нет» – сменится ли оно хоть каким-нибудь «да»? И правда ли, что «бунтом жить нельзя»?

Не знаю. Не знаю. Но бывает скверно. Смысл, смысл жизни – где он? Бога я не приму, пока не одурею, да и скучно – вертеться, чтобы снова вернуться на то же место. Человек? Конечно, и красиво, и гордо, и внушительно – но конец где? Стремление ради стремления – так ведь это верхом можно поехать для верховой езды, а искать, страдать для искания и страдания, без надежды на ответ, на завершение, нелепо. А ответа нет, всякий ответ – ложь. Остается бунтовать – пока бунтуется, да пить чай с абрикосовым вареньем”.

“Быть может, все дело не в мысли, а в чувстве? – спрашивает он Вересаева. – Последнее время я как-то особенно горячо люблю Россию – именно Россию. Всю землю не люблю, а Россию люблю, и странно – точно ответ какой-то есть в этой любви. А начнешь думать – снова пустота”.

В апреле 1906 года Андреев переехал жить в Финляндию. Ее северная природа, скалистые берега были близки натуре Андреева. 8–9 июня он присутствовал на съезде представителей финской Красной гвардии и выступил там против роспуска Государственной думы в России, призвав к вооруженному восстанию. Однако жестокое подавление Свеаборгского восстания 17–20 июля произвело перелом в сознании Андреева.

“Вскоре он уехал в Финляндию, – вспоминает Горький, – и хорошо сделал – бессмысленная жестокость декабрьских событий раздавила бы его. В Финляндии он вел себя политически активно, выступал на митинге, печатал в газетах Гельсингфорса резкие отзывы о политике монархистов, но настроение у него было подавленное, взгляд на будущее безнадежен. В Петербурге я получил письмо от него; он писал между прочим: «У каждой лошади есть свои врожденные особенности, у наций – тоже. Есть лошади, которые со всех дорог сворачивают в кабак, – наша родина свернула к точке, наиболее любезной ей, и снова долго будет жить распивочно и навынос»”.

Вот он пишет Н. Д. Телешову в 1905 году из Берлина, когда в Москве на баррикадах льется кровь: “Милый мой Митрич! <...> Что, брат, Москва-то? Для меня – это сон, и для тебя – тоже должно быть вроде сна. Живодерка (район Москвы. – П.Б.) – и баррикады! Целыми часами переворачиваю в голове эти дикие комбинации и все не могу поверить, что это не литература, а действительность. И хотя это было, но это – не действительность. Это сон жизни. Брат Павел описывает мне сидение свое на Пресне под бомбами и бегство оттуда сквозь линию огня – какая же это, черт, действительность! <...> Знаешь, Митрич, самая лучшая все же страна: Россия. Возлюбил я ее тут...”

Итак, известное русофильство Леонида Андреева, которое во время русско-германской войны привело его в стан патриотов и окончательно поссорило с Горьким, началось с обиды на Германию и немцев за их отношение к русской революции. Андреев возненавидел буржуазную Европу за то, что она может позволить себе быть сытой и спокойной, когда в России льется кровь. Об этом он очень выразительно писал Н. Д. Телешову: “Немец испорчен дотла своим порядком. Как в их языке всё по порядку: подлежащие, сказуемые... так и в голове, так и в жизни. Все они тут ненавидят русскую революцию, замалчивают ее – и прежде всего потому, что она – беспорядок”.

Андреев страстно ругал не только немцев вообще, но и немецких социал-демократов в частности: “Хоть они и с.-д. и в этом звании очень себя уважают, но не менее уважают они и шущмана, который позволяет им быть с.-д. – тами, и всюду эту махинацию, при которой все в таком порядке: налево – социал-демократы, направо – консерваторы. И попробуй его посадить направо – он сразу ошалевает и позабудет, что ему хочется. И дай ему свободы не на 10 пфеннигов, а на марку, – он сперва растеряется, потом отсчитает себе сколько нужно, а остальное отдаст шущману”.

О своих германофобских настроениях Андреев объявил и в письме Горькому.

“Если хочешь особенно полюбить Россию, приезжай на время сюда, в Германию. Конечно, есть и здесь люди свободной мысли и чувства, но их не видно – а то, что видно, что тысячами голосов кричит в своих газетах, торчит в кофейнях, хохочет в театрах и сбегается смотреть на проходящих солдат, всё это чистенькое, самодовольное, обожествляющее порядок и шущмана, до тошноты влюбленное в своего kaiser’a, – все это омерзительно. На всю Германию, с ее сотнями газет, есть четыре-пять органов, сочувствующих русской революции. Но их и читают только люди партий. А все остальное, либеральное, консервативное – ненавидит революцию. Что они пишут! «Новое время» – единственный источник их мудрости. Сволочи!”

Вообще в письмах из Берлина Андреев едва ли не впервые резко выказал Горькому свой собственный характер, не задумываясь о том, как это будет воспринято “старшим братом”. И сразу произошел надлом в их отношениях. Если еще в марте 1905 года Андреев писал из Москвы: “Как я люблю тебя, Максим Горький!” – то уже в марте 1906 года Андреев тревожно намекает в письме на “странный характер” их отношений за последнее время, на что Горький отвечает:

“Что Савва (герой одноименной пьесы Андреева. – П.Б.) похож на меня – сие не суть важно, но что наши отношения «по причинам совершенно непонятным для тебя изменились» – это важно. И – печально.

Расходиться нам – не следует, ибо оба мы друг для друга можем быть весьма полезны – не говоря о приятном. Почему изменились твои отношения ко мне – не ведаю, а за себя могу, по правде, сказать вот что: сумма моих отношений к тебе есть нечто твердое и определенное, эта сумма не изменяется ни количественно, ни качественно, она лишь перемещается внутри моего «я» – понятно?

Живя жизнью более разнообразной, чем ты, я постоянно и без усталости занят поглощением «впечатлений бытия» самых резко разнообразных, порою обилие этих впечатлений мас-

сой своей отодвигает прежде сложившиеся в глубь души – но не изменяет созданного по существу. Это очень просто. Вот и всё, что я могу сказать тебе об «отношениях»».

Начало вражды

Это было началом серьезного расхождения Горького и Андреева. Бывали между ними и раньше разрывы и даже крупные ссоры, длиною в полгода, но теперь было не то. Теперь никакого разрыва, собственно, и не было. Началось худшее – неуклонное охлаждение в отношениях. И виноват в этом охлаждении в большей степени был Горький. Увлеченный новой для него религией социализма, он фактически потерял единственного друга.

Все начиналось незаметно. Андреев вдруг стал ощущать недостаток той самой энергетической подпитки от Горького, в которой всегда нуждался как натура слабая, неуверенная.

“Милый Алексеюшка! – пишет он в марте 1903 года. – Что ты не отзовешься, черт? Тошно на душе становится, когда ты молчишь. Вот что мне нужно. Я еду на днях в Крым и очень хотел бы повидаться до отъезда с тобой”.

Горький отозвался бодрой телеграммой: “Обожаю тебя. <...> Жму руку, обнимаю”.

По-видимому, Андреев написал Горькому еще письмо или несколько, которые нам неизвестны, где жаловался ему на что-то. Но вспомним девиз Горького: “Правда выше жалости”. А правда была в том, что Андреев с его метаниями начинал раздражать Горького.

“Прочитав твои письма, – отвечает он, – наполненные перечислением всех существующих и разрушающих тебя болезней, стал с озлоблением ждать телеграммы твоей с извещением о смерти и подписью «Новопреставленный Леонид»”.

Это был хотя и дружеский, но обидный ответ. Вероятно, задело Андреева и то, что посланный им Горькому в рукописи рассказ “Из глубины веков” Горький похвалил скупой (“недурная вещь”), но печатать его без серьезной правки не посоветовал, что Андреев и сделал, то есть не печатал рассказ до 1908 года.

Именно в это время в первой книге сборника “Знания” за 1903 год (вышел в 1904 году) появляется программная вещь Горького – поэма или рассказ, написанный ритмической прозой, под названием “Человек”.

В двадцатые годы XX века французский писатель-экзистенциалист Альбер Камю фактически повторил неудавшуюся попытку Горького изобразить Человека вообще, то есть человеческую сущность. Для этого он и прибег к иносказанию – к мифу о Сизифе. Между “Человеком” Горького и “Мифом о Сизифе” Камю есть буквальные и просто поразительные переключки, причем, скорее всего, невольные, ибо нет сведений, что Камю читал горьковского “Человека”.

Сизиф, наказанный богами, вечно обречен катить в гору камень. Он сравнивается у Камю с Человеком, который тоже наказан Богом за своеволие, за попытку создания собственной человеческой культуры, не санкционированной Богом. Его “камень” – это вечное постижение собственной existence, “сущности”, в эпоху, когда “Бог умер”, и Человеку нет иного оправдания, кроме как в самом себе. Вспомним горьковское: “Всё – в Человеке, всё – для Человека!” Если не воспринимать эти слова как бравурный девиз, то обнажится их страшный смысл: если все оправдание только в Человеке, а он смертен, значит, жизнь бессмысленна? Да, отвечает Камю, жизнь бессмысленна, но в том-то и заключено высшее достоинство Человека и его вызов богам, что он может жить и творить, сознавая бессмысленность жизни.

То, что Камю понимал как трагическую проблему, которая не может иметь решения, в поэме Горького представало апофеозом гордого человека, который не просто один во Вселенной, “на маленьком куске земли, несущемся с неуловимой быстротой куда-то в глубь безмерного пространства”, не просто “мужественно движется – вперед! И – выше!” (вспомним Сизифа!), но и обязательно придет “к победам над всеми тайнами земли и неба”.

Однако в конце собственной поэмы Горький противоречит себе, ибо объявляет, что “Человеку нет конца пути”. Но если конца пути нет, то и побед над *всеми* тайнами земли и неба не будет. Надо либо признавать бытие Божье, либо уходить в разумный стоицизм: Бога нет, жизнь бессмысленна, но, по крайней мере, я, осознающий это, не сходящий от этого с ума и даже способный творить, *пока* существую.

Если бы Леонид Андреев дожил до открытий французских экзистенциалистов – Габриеля Марселя, Альбера Камю, Жана-Поля Сартра и других, чье творчество Андреев во многом предвосхитил, его мятущийся ум нашел бы какую-то опору. Но в начале века он мог опираться только на религиозные искания Достоевского и Льва Толстого, а также на духовные поиски своего друга – Горького.

Вот почему он с жадностью прочитал в первом сборнике “Знания” “Человека” Горького и немедленно сочувственно на него отреагировал. Это сочувствие тем более трогательно, что на “Человека” обрушились практически все. Поэма “Человек” ошеломила В. Г. Короленко. Чуткий художник, защитник униженных и оскорбленных, Короленко почувствовал в философии Горького страшный разрыв между новым гуманизмом и человечностью. Это было уже и в ранних рассказах Горького, и особенно в пьесе “На дне”, но там ответственность за свои речи брали на себя персонажи, а здесь?

Короленко впервые (Толстой почувствовал это раньше, познакомившись с “На дне”) понял, что Горький не просто писатель-романтик, а новый религиозный лидер.

“Подлинный Человек, – писал Короленко в «Русском богатстве», – не противостоит человеку и человечеству, а состоит «из порывов мысли, из кипения чувства, из миллиардов стремлений, сливающихся в безграничный океан и создающих *в совокупности* представление о величии всё совершенствующейся человеческой природы».

«Человек» г-на Горького, насколько можно разглядеть его черты, – есть именно человек ницшеанский: он идет «свободный, гордый, *далеко впереди людей* (значит – не с ними?) и *выше* жизни (даже самой жизни?), *один*, среди загадок бытия...» И мы чувствуем, что это «величание», но не величие. Великий человек Гёте, как Антей, почерпает силу в общении с родной стихией человечества; ницшеанский «Человек» г-на Горького презирает ее даже тогда, когда собирается облагодетельствовать. Первый – сама жизнь, второй – только фантом”.

Отрицательно принял “Человека” и художник М. В. Нестеров. Он писал своему другу А. А. Турыгину: “«Человек» предназначается для руководства грядущим поколениям, как «гимн» мысли. Вещь написана в патетическом стиле, красиво, довольно холодно, с определенным намерением принести к подножью мысли чувства всяческие – религиозные, чувство любви и проч. И это делает Горький, недавно проповедовавший преобладание чувства над мыслью, всю жизнь доказавший, что он раб «чувства»...” Нестеров писал о Горьком: “Дилетант-философ в восхвалении своем мысли позабыл, что все лучшее, созданное им, создано при вдохновенном гармоническом сочетании *мысли и чувства*”.

Резко отозвался о “Человеке” Лев Толстой. К тому же это был публичный отзыв, напечатанный в газете “Русь”. “Упадок это, – сказал корреспонденту газеты Лев Толстой, – самый настоящий упадок; начал учительствовать, и это смешно...” В разговоре с тем же корреспондентом Толстой говорил: “Человек не может и не смеет переделывать того, что создает жизнь; это бессмысленно – пытаться исправлять природу, бессмысленно...”

24 июля 1904 года А. Б. Гольденвейзер записал в дневнике: “Говорили о Горьком и о его слабом «Человеке». Л.Н. рассказал, что нынче, гуляя, встретил на шоссе прохожего, оказавшегося довольно развитым рабочим. Л.Н. сказал: «Его мирозерцание вполне совпадает с так называемым ницшеанством и культом личности Горького. Это, очевидно, такой дух времени...»”

Но самый язвительный отклик о поэме принадлежал А. П. Чехову. Он писал А. В. Амфитеатрову: «Сегодня читал «Сборник», изд. «Знания», между прочим горьковского «Человека», очень напомнившего мне проповедь молодого попа, безбородого, говорящего басом на о...»

Отношение критики к «Человеку» тоже было отрицательным. Известный критик «Нового времени» В. П. Буренин писал о поэме в развязном тоне: ««Человек» Горького – не «услуживший» из трактира, а «человек до того особенный», что наш сочинитель воспевае́т его «размеренной прозой». Создавая свою «курьезную пииму», – продолжал издеваться Буренин, – Горький руководствовался «образцами «словесности»», переданными ему его первым наставником в литературе, кажется, из поваров». Это был прямой намек на повара Смурого с парохода «Добры́й», где посудником служил Алеша Пешков. О конце Горького как художника писала Зинаида Гиппиус. Впрочем, защищать его пытались А. В. Амфитеатров и В. В. Стасов.

Но самого высокого отзыва о «Человеке» Горький удостоился от Леонида Андреева.

«Милый Алексей! – писал он Горькому из Ялты в апреле 1904 года. – <...> Прочел я «Человека», и вот что в нем поразило меня. Все мы пишем о «труде и честности», ругаем сытое мещанство, гнушаемся подлыми мелочами жизни, и все это называется «литературой». Написавши вещь, мы снимаем актерский костюм, в котором декламировали, и становимся всем тем, что так горячо ругали. И в твоём «Человеке» не художественная его сторона поразила меня – у тебя есть вещи сильнее, – а то, что он при всей своей возвышенности передает только *обычное* состояние твоей души. *Обычное* — это страшно сказать. То, что в других устах было бы громким словом, пожеланием, надеждою, – у тебя лишь точное и прямое выражение обычно существующего. И это делает тебя таким особенным, таким единственным и загадочным, а в частности для меня таким дорогим и незаменимым. Если б ты разлюбил меня, ушел бы от меня с своей душою, это было бы непоправимым изъяном для моей личной жизни – но только личной. Не любитя, так и не любитя – что же поделаешь. Но если бы ты изменился, перешел к нам, невольно или вольно изменил бы себе – это разворотило бы всю мою голову и сердце и извлекло бы оттуда таких гадов отчаяния, после которых жить не стоит». Этим письмом пылкий Андреев подписал их дружбе смертный приговор. Так оно и вышло... Примерно с 1906 года отношения Горького и Андреева начинают непоправимо меняться.

На Капри

28 ноября 1906 года в Берлине после мучительной агонии от родовой горячки скончалась первая жена Андреева Александра Михайловна (урожденная Велигорская), дальняя родственница Тараса Шевченко. Это был удивительной души человек, ставший для Андреева и женой, и талантливым читателем-редактором его рукописей. Умерла, разрешившись вторым сыном, Даниилом, будущим религиозным мыслителем, визионером, поэтом, автором религиозно-философской книги «Роза мира», которого называют «русским Данте», «русским Сведенборгом».

Крестным отцом Даниила был Максим Горький. Но затем пути крестного и крестника решительно разойдутся: Горький станет великим «пролетарским писателем», «основоположником социалистического реализма», Даниил Леонидович, отслужив в Красной армии, окажется во владимирской тюрьме, где будет сидеть до смерти Сталина.

Не в состоянии управляться с малолетним сыном, Андреев отправил Даню в Москву, к бабушке по матери, урожденной Шевченко. О том, насколько мучительно переживал Андреев смерть «дамы Шуры» (как шутливо называл ее Горький, и ей нравилось это прозвище), можно судить по его письму от 23 ноября 1906 года, за два дня до кончины его жены:

Милый Алексей! Положение очень плохое. После операции на 4-й день явилась было у врачей надежда, но не успели обрадоваться – как снова жестокий озноб и температура 41,2. Три дня держалась только ежечасными

впрыскиваниями кофеина, сердце отказывалось работать, а вчера доктора сказали, что надежды в сущности никакой и нужно быть готовым. Вообще последние двое суток с часу на час ждали конца. А сегодня утром – неожиданно хороший пульс, и так весь день, и снова надежда, а перед тем чувствовалось так, как будто она уже умерла. И уже священник у нее был, по ее желанию, приобщили. Но к вечеру сегодня температура поднялась, и начались сильные боли в боку, от которых она кричит, и гнилостный запах изо рта. Очевидно, заражение проникло в легкие, и там образовался гнойник. Если выздоровеет, то весьма вероятен туберкулез. Но это-то не так страшно, только бы выздоровела. Сейчас, ночью, несмотря на морфий, спит очень плохо, стонет, задыхается, разговаривает во сне или в бреду. Иногда говорит смешные вещи.

И мальчишка (Даниил. – П.Б.) был очень крепкий, а теперь заброшенный, с голоду превратился в какое-то подобие скелета с очень серьезным взглядом.

И временами ошалевашь ото всего этого. Третьего дня я все смутно искал какого-то угла или мешка, куда бы засунуть голову, – все в ушах стоят крики и стоны. Но вообще-то я держусь и постараюсь продержаться. Ведь ты знаешь, она действительно очень помогала мне в работе. До свидания. Поцелуй от меня Марию Федоровну.

Твой Леонид

Не удивляйся ее желанию приобщиться, она и всегда была в сущности религиозной. Только поп-то настоящий уехал в Россию, а явился вместо него какой-то немецкий поп, не знающий ни слова по-русски. Служит по-славянски, то есть читает, но, видимо, ничего не понимает. И Шуре, напрягаясь, пришлось приискивать немецкие слова. 32 дня непрерывных мучений!

В декабре 1906 года Андреев вместе со старшим сыном Вадимом приехал на Капри к Горькому.

Но прежде надо представить себе положение Горького в Италии. Его американская поездка фактически сорвалась и сопровождалась постоянным скандалом: его с М. Ф. Андреевой, как невенчанной, отказались пустить в гостиницу, даже самую захудалую.

Впрочем, поначалу Горький был восхищен Америкой, особенно Нью-Йорком. “Вот, Леонид, где нужно тебе побывать, – уверяю тебя. Это такая удивительная фантазия из камня, стекла, железа, фантазия, которую создали безумные великаны, уроды, тоскующие о красоте, мятежные души, полные дикой энергии. Все эти Берлины, Парижи и прочие «большие» города – пустяки по сравнению с Нью-Йорком. Социализм должен впервые реализоваться здесь...”

Но через несколько дней он изменил отношение к стране и писал Андрееву: “Мой друг, Америка изумительно-нелепая страна, и в этом отношении она интересна до сумасшествия. Я рад, что попал сюда, ибо и в мусорной яме встречаются перлы. Например, серебряные ложки, выплеснутые кухаркой вместе с помоями.

Америка – мусорная яма Европы. <...>

Я здесь все видел – М. Твена, Гарвардский университет, миллионеров, Гиддингса и Марка Хаша, социалистов и полевых мышей. А Ниагару – не видал. И не увижу. Не хочу Ниагары.

Лучше всего здесь собаки, две собаки – Нестор и Деори. Затем – бабочки. Удивительные бабочки! Пауки хорошо. И – индейцы. Не увидав индейца, нельзя понять цивилизацию и нельзя почувствовать к ней надлежащего по силе презрения. Негр тоже слабо переносит цивилизацию, но негр любит сладкое. Он может служить швейцаром. Индеец ничего не может. Он

просто приходит в город, молча, некоторое время смотрит на цивилизацию, курит, плюет и молча исчезает. Так он живет, и когда наступит час его смерти, он тоже плюется, индеец!

Еще хороши в Америке профессора и особенно психологи. Из всех дураков, которые потому именно глупы, что считают себя умными, эти самые совершенные. Можно ездить в Америку для того только, чтобы побеседовать с профессором психологии. В грустный час ты сядешь на пароход и, проболтавшись шесть дней в океане, вылезаете в Америке. Подходит профессор и, не предлагая понести твой чемодан, – что он, вероятно, мог бы сделать артистически, – спрашивает, заглядывая своим левым глазом в свою же правую ноздрю:

– Полагаете ли вы, сэр, что душа бессмертна?

И если ты не умрешь со смеха, спрашивает еще:

– Разумна ли она, сэр?

Иногда кожа на спине лопается от смеха.

Интересна здесь проституция и религия. Религия – предмет комфорта. К попу приходит один из верующих и говорит:

– Я слушал вас три года, сэр, и вы меня вполне удовлетворяли. Я люблю, чтобы мне говорили в церкви о небе, ангелах, будущей жизни на небесах, о мирном и кротком. Но, сэр, последнее время в ваших речах звучит недовольство жизнью. Это не годится для меня. В церкви я хочу найти отдых... Я – бизнесмен – человек дела, мне необходим отдых. И поэтому вы сделаете очень хорошо, сэр, если перестанете говорить о... трудном в жизни... или уйдете из церкви...

Поп делает так или эдак, и все идет своим порядком”.

1 апреля 1906 года его и М. Ф. Андрееву буквально выставили на улицу из отеля “Бельклер” и не приняли ни в какой другой. Сперва Горький с гражданской женой были вынуждены поселиться в клубе молодых писателей на 5-й авеню, а затем их любезно приютили в своем доме на севере Америки супруги Престони и Джон Мартины. Кстати, живя в их доме на вилле “Саммер Брукс”, Горький с Андреевой совершили путешествие на Ниагарский водопад.

Горький написал возмущенное письмо в “Times”: “Моя жена – это моя жена, жена М. Горького. И она, как и я – мы оба считаем ниже своего достоинства вступать в какие-то объяснения по этому поводу. Каждый, разумеется, имеет право говорить и думать о нас все, что ему угодно, а за нами остается наше человеческое право – игнорировать сплетни. Лучшие люди всех стран будут с нами”.

Совсем иной прием ждал Горького в Италии. Там его знали задолго до приезда. Его произведениями увлекалась молодежь, его творчество изучали в Римском университете. И потому, когда пароход “Принцесса Ирэн” с Горьким и Андреевой на борту 13 октября подошел к началу неаполитанского порта, к ним ринулись журналисты. Корреспондент местной газеты Томмазо Вентуро по-русски произнес приветствие от имени неаполитанцев “великому писателю Максиму Горькому”. На следующий день все итальянские газеты сообщали о прибытии Горького в Италию. Газета “Avanti” писала:

“Мы также хотим публично, от всего сердца приветствовать нашего Горького. Он – символ революции, он является ее интеллектуальным началом, он представляет собой все величие верности идее, и к нему в этот час устремляются братские души пролетарской и социалистической Италии.

Да здравствует Максим Горький!

Да здравствует русская революция!”

На узких неаполитанских улочках его поджидали восторженные толпы, которые скандировали: “Да здравствует Максим Горький! Да здравствует русская революция!” И Горький едва не пострадал от всеобщего обожания: в дело пришлось вмешаться карабинерам.

Неаполитанский театр “Политеама” пригласил Горького и Андрееву на спектакль “Маскотт”. Гости опоздали, и когда они вошли в ложу, увертюра уже началась. Представление

немедленно остановили, зажгли свет, музыка прервалась, артисты вышли из-за кулис, публика вскочила с мест с криками: “Да здравствует Горький!”, “Да здравствует революция!”, “Долой царя!”. Оркестр вместо увертюры заиграл “Марсельезу”. После спектакля народ ждал Горького у подъезда, он едва добрался до своего экипажа, который потом долго двигался сквозь толпу к отелю. Подобного Горький не знал даже в России.

Вопрос о месте его пребывания в Европе был решен. Горькому понравился остров Капри, где было относительно тихо, в сравнении с Неаполем, и можно было спокойно работать, принимать гостей. Для старейшин и жителей острова это была огромная честь. На Капри Горький провел семь лет и написал здесь “Исповедь”, “Детство”, “Городок Окуров”, “Хозяин”, “По Руси” и другое.

В чаду апофеоза встречи великого писателя мало кто обратил внимание на два очевидных противоречия. Во-первых, политический изгнанник поселился сперва в роскошном отеле “Везувий”, а затем снял виллу на самом дорогом итальянском курорте. Вспомним рассказ Бунина “Господин из Сан-Франциско”. Именно на острове Капри останавливались богатые американские туристы. Во-вторых, непонятно, почему левые итальянские журналисты с настойчивостью желали русской революции и свержения русского царя, будто в самой Италии, и в том же Неаполе, не было проблем с нищетой. Нельзя сказать, что Горький закрывал на это глаза. В его “Сказках об Италии” сказано и об этом.

Но Россия посадила его в Петропавловку и выдворила из страны. Европа его приняла, а Италия почти обожествила. В России неловко богато жить автору “Челкаша” и “На дне”. Русская этика не принимает расхождения между словом и поведением, а слово и образ жизни у Горького стали расходиться. С точки зрения европейской этики в этом не было противоречия.

Уже в письме к Андрееву, написанном в марте 1906 года, когда он впервые оказался за границей, в Берлине, чувствуется, что Горький очарован европейской жизнью.

“Когда ворочусь из Америки, – пишет он, – сделаю турне по всей Европе – то-то приятно будет! А ты живи здесь (то есть за границей. – П.В.). Ибо в России даже мне стало тошно, на что выносливая лошадка”.

И вот они встречаются на Капри. Горький в апофеозе своей итальянской славы, весь переполнен восторгом от Италии, ее моря, солнца, весь насыщен творческими планами. Бодрый, веселый, щедрый. Способный обворожить любого гостя. Даже Бунин, несколько раз побывавший у Горького на Капри вместе с Верой Муромцевой, вспоминал, что это было лучшее время, проведенное им с Горьким, когда он был ему “особенно приятен”. Вера же Николаевна была просто без ума от горьковских рассказов, его остроумия и какого-то аристократического артистизма. Кажется, именно она впервые заметила, что у Горького длинные тонкие пальцы музыканта.

Андреев в это время страдает после потери жены. И не получается у него отдохнуть душой в обществе Горького. Он пишет Евгению Чирикову с Капри: “Скучновато без людей. Горький очень милый, и любит меня, и я очень люблю, – но от жизни, простой жизни, с ее болями, он так же далек, как картинная галерея какая-нибудь. Во всяком случае, с ним мне приятно – хоть часть души находит удовлетворение. Занятный человек и Пятницкий, но сблизиться с ним невозможно. Остальное же, что вокруг Горького, только раздражает. <...> И неуютно у них. Придешь иной раз вечером – и вдруг назад на пустую виллу потянет”.

Вспоминает Горький:

“Андреев приехал на Капри, похоронив «даму Шуру» в Берлине, – она умерла от послеродовой горячки. Смерть умного и доброго друга очень тяжело отразилась на психике Леонида. Все его мысли и речи сосредоточенно вращались вокруг воспоминаний о бессмысленной гибели «дамы Шуры».

– Понимаешь, – говорил он, странно расширя зрачки, – лежит она еще живая, а дышит уже трупным запахом. Это очень иронический запах.

Одетый в какую-то черную бархатную куртку, он даже и внешне казался измятым, раздавленным. Его мысли и речи были жутко сосредоточены на вопросе смерти. Случилось так, что он поселился на вилле Карачиолло, принадлежавшей вдове художника, потомка маркиза Карачиолло, сторонника французской партии, казненного Фердинандом Бомбой. В темных комнатах этой виллы было сыро и мрачно, на стенах висели незаконченные грязноватые картины, напоминая о пятнах плесени. В одной из комнат был большой закопченный камин, а перед окнами ее, затеняя их, густо разросся кустарник; в стекла со стен дома заглядывал плющ. В этой комнате Леонид устроил столовую.

Как-то под вечер, придя к нему, я застал его в кресле пред камином. Одетый в черное, весь в багровых отсветах тлеющего угля, он держал на коленях сына своего, Вадима, и вполголоса, всхлипывая, говорил ему что-то. Я вошел тихо; мне показалось, что ребенок засыпает, я сел в кресло у двери и слышу: Леонид рассказывает ребенку о том, как смерть ходит по земле и душил маленьких детей.

– Я боюсь, – сказал Вадим.

– Не хочешь слушать?

– Я боюсь, – повторил мальчик.

– Ну, иди спать...

Но ребенок прижался к ногам отца и заплакал. Долго не удавалось нам успокоить его. Леонид был настроен истерически, его слова раздражали мальчика, он топал ногами и кричал:

– Не хочу спать! Не хочу умирать!

Когда бабушка увела его, я заметил, что едва ли следует пугать ребенка такими сказками, какова сказка о смерти, непобедимом великане.

– А если я не могу говорить о другом? – резко сказал он. – Теперь я понимаю, насколько равнодушна «прекрасная природа», и мне одного хочется – вырвать мой портрет из этой пошло-красивенькой рамки.

Говорить с ним было трудно, почти невозможно, он нервничал, сердился и, казалось, нарочито растревлял свою боль”.

Вспоминает Е. П. Пешкова:

“Вскоре после смерти жены Леонид Николаевич решил уехать на Капри, зная, что там живет Горький. Когда они встретились, он просил Алексея Максимовича быть крестным отцом несчастного ребенка, на что Алексей Максимович дал письменное согласие.

На другой же день я отправилась к Леониду Николаевичу. Он жил в большой мрачной вилле, густо заросшей деревьями, которые подступали к окнам. Жил он с матерью, Анастасией Николаевной, и маленьким сыном Вадимом.

Леонид Николаевич мне обрадовался, повел в столовую, усадил за стол, на котором стоял горячий самовар, привезенный Анастасией Николаевной из Москвы, – налил мне и себе чаю и тут же стал подробно рассказывать о болезни Александры Михайловны. Говорил, что ее лечили неправильно, обвинял берлинских врачей.

Рассказывал Леонид Николаевич медленно, с остановками, глядя куда-то вдаль, точно оживляя для себя то, о чем рассказывал. стакан за стаканом пил он очень крепкий чай, потом опять ходил по комнате, порою подходил к буфету, доставал фиаско местного вина, наливал в бокал и залпом выпивал. И снова молча ходил по комнате.

Я старалась перевести разговор на другое. Рассказывала о жизни в Москве. Он слушал рассеянно, видимо, думая о другом.

В одно из моих посещений, когда мы были одни, Леонид Николаевич сказал:

– Знаете, я очень часто вижу Шуру во сне. Вижу так реально, так ясно, что, когда просыпаюсь, ощущаю ее присутствие; боюсь пошевелиться. Мне кажется, что она только что вышла и вот-вот вернется. Да и вообще я ее часто вижу. Это не бред. Вот и сейчас, перед вашим при-

ходом, я видел в окно, как она в чем-то белом медленно прошла между деревьями... точно растаяла...

Мы долго сидели молча”.

“Когда я уехала с Капри, – продолжала Екатерина Павловна, – он собирался мне писать, но получила я только одно письмо:

14 февраля 1907 г.

Милая Екатерина Павловна!

Не пишу, потому что в ужасно мерзком состоянии. И душа и тело развалились.

Бессонница, мигрень и пр. Кроме того, пишу рассказ (“Иуда Искариот”. – *П.Б.*) и десятки, сотни деловых писем. И писать мне вам – скучно. Хочется поговорить, а не писать. Вероятно, приеду – к вам. Вы верите, что я вас люблю? Даже – когда молчу и ничего не пишу. И Максимку (сын Горького Максим Пешков. – *П.Б.*). Алексей – крестный отец у моего несчастного Данилки, а я – разве я не чувствую себя крестным отцом Максимки? Вы не смеетесь? Вы не сердитесь?

В гостях у Горького на его вилле “Спинола” в период с 1906 по 1913 год побывали десятки гостей – Ленин, переводчик “Капитала” Маркса Генрих Лопатин, Бунин, Шаляпин, издатель А. Н. Тихонов, приемный сын Горького Зиновий Пешков, будущий боевой генерал, герой французского Сопротивления. Бывали здесь и сын Максим с матерью, Е. П. Пешковой. И все получали заряд силы, бодрости, радости. Чудотворные лучи каприйского солнца и морской воздух как бы умножились энергетической натурой Горького. И только с Андреевым, его лучшим другом, отношения не заладились. Вокруг Горького находилось слишком много людей, как это всегда бывает вокруг человека, когда он “в силе и славе”. Андреев же после смерти жены нуждался в особом отношении к себе. По-видимому, он этого от Горького не получил.

Вражда

Горький вспоминал:

“Уехал он с Капри неожиданно; еще за день перед отъездом говорил о том, что скоро сядет за стол и месяца три будет писать, но в тот же день вечером сказал мне:

– А знаешь, я решил уехать отсюда. Надо все-таки жить в России, а то здесь одолевает какое-то оперное легкомыслие. Водевили писать хочется, водевили с пением. В сущности здесь не настоящая жизнь, а – опера, здесь гораздо больше поют, чем думают. Ромео, Отелло и прочих в этом роде изобрел Шекспир, – итальянцы неспособны к трагедии. Здесь не мог бы родиться ни Байрон, ни Поэ.

– А Леопарди?

– Ну, Леопарди... кто знает его? Это из тех, о ком говорят, но кого не читают.

Уезжая, он говорил мне:

– Это, Алексеюшка, тоже Арзамас, – веселенький Арзамас, не более того.

– А помнишь, как ты восхищался?

– До брака мы все восхищаемся. Ты скоро уедешь отсюда? Уезжай, пора. Ты становишься похожим на монаха...”

И все же пребывание на Капри благотворно отразилось на творчестве Андреева. Здесь он написал “Иуду Искариота”, затеял одну из самых знаменитых пьес – “Черные маски”, создал план большого романа “Сашка Жегулев”, сделал две или три главы повести “Мои записки” и, наконец, написал рассказ “Тьма”. Именно “Тьма” явилась причиной решительной ссоры Горького с Андреевым.

Впрочем, были и еще причины. На Капри Андреев стал уговаривать Горького и Пятницкого реорганизовать “Знание”, привлечь туда новых талантливых писателей из лагеря символистов, в частности Александра Блока и Федора Сологуба. Нельзя отказать Андрееву в удивительной точности в выборе этих имен. Блок – первый поэт среди символистов, к тому же тяготеющий к народной теме. Сологуб – один из самых талантливых символистских прозаиков, автор романа “Мелкий бес”. Пятницкий отказался от соредакторства с Андреевым, и Андрееву было предложено самому взяться за редактуру сборников.

После возвращения в Россию Андреев с жадностью взялся за дело. В письмах к знакомым писателям он отговаривал их от участия в только что созданном издательстве “Шиповник”. В письме к Чирикову он писал: “И согласился я с тем, чтобы ведение сборников сделать нашим общим делом, твоим, зайцевским, серафимовическим и т. д. Сообща, я убежден, мы двинем к достоинствам первых сборников, но перешеголяем их. Все малоценное выбросим к черту, подберем новых ценных сотрудников, реформируем и внешность – одним словом, создадим то, что называется «своим журналом». Будут у нас и собрания и всё. И уже в денежном отношении ты получишь больше, чем в «Шиповнике» или где бы то ни было. Таких гонораров, как у «Знания», ни одно издательство долго не выдержит”.

В письме к Серафимовичу он повторял: “Хочу я к работе привлечь всю компанию: тебя, Чирикова, Зайчика (Б. Н. Зайцева. – П.Б.) – сообща соорудить такие сборники, чтобы небу жарко стало. В сборнике будут только шедевры”.

В. В. Вересаев, марксист, пытался ввести Андреева в литературный марксистский кружок. Несколько человек из этого кружка он пытался приводить на московские собрания “Среды”, где на квартире Телешева собирались по средам писатели-реалисты. Андреев наивно восторгался: “Да, необходимо освежить у нас атмосферу. Как бы было хорошо, если бы кто-нибудь прочел у нас доклад, например, о разных революционных партиях, об их программах, о намечаемых ими путях революционной борьбы”.

В 1907 году, уже вплотную взявшись за издание сборников “Знания” и, вероятно, пообещав кому-то денежные авансы, Андреев пишет Горькому: “А сейчас – дело. Нужно собирать материал для сборника, вообще начать редакторствовать. Нужно приглашать новых (на одних старых никуда не уедешь, жизнь уходит от них), а я не знаю, насколько в этом случае я могу быть самостоятелен. По-моему, например, следует... пригласить теперь же: Блока, Сологуба, Ауслендера, еще кой-кого. Как бы не вышло у нас недоразумений! Вообще, веришь ли ты, что я не подведу? Выбор материала будет у меня параллелен моей собственной работе: «буду помещать только то, что ведет к освобождению человека». Точнее формулировать трудно, ибо все, в конце концов, дело такта и понимания. Так вот: как ты думаешь?”

Очень мешает отсутствие Константина Петровича (Пятницкого. – П.Б.). Некоторые просят аванса, и дать необходимо, а как я могу? И вообще получается какая-то неопределенность. «Шиповник» же действует энергично”.

Горький решительно отказался печатать новых авторов, которых предложил Андреев. Кроме того, он напомнил своему другу о его ограниченных финансовых полномочиях: “О пределах твоей власти тебе напишет или скажет лично Константин Петрович, который скоро едет в Финляндию, а я скажу о литературе.

Мое отношение к Блоку – отрицательно, как ты знаешь. Сей юноша, переделывающий на русский лад дурную половину Поля Верлена, за последнее время прямо-таки возмущает меня своей холодной манерностью, его маленький талант положительно иссякает под бременем философских потуг, обессиливающих этого самонадеянного и слишком жадного к славе мальчика с душою без штанов и без сердца.

Нет, ты его оставь в покое года на три, может быть, он подрастет за это время и научится говорить искренно о простых вещах – о том, что сейчас кажется ему изумительно премудрым и что уже сказано во Франции сильнее и красивее, чем это может сделать он.

Старый кокет Сологуб, влюбленный в смерть, как лакеи влюбляются в барынь своих, и заигрывающий с нею всегда с тревожным ожиданием получить щелчок по черепу; склонный к садизму Сологуб – фигура лишняя в сборниках «Знания». Будь добр, не беспокой его ветхие дни и будь уверен, что он еще раз не напишет «Мелкого беса», – единственную вещь, написанную им как литератором – с любовью и, по-своему, красиво.

<...> Сборники «Знания» – сборники литературы демократической и для демократии – только с ней и ее силою человек будет освобожден. Истинный, достойный человека индивидуализм, единственно способный освободить личность от зависимости и плена общества, государства, будет достигнут лишь через социализм, то есть через демократию. Ей-то и должны мы служить, вооружая ее нашей дерзостью думать обо всем без страха, говорить без боязни.

Указанные тобою Сологуб и Блок боятся своего воображения, стоят на коленях перед своим страхом – куда уж им человека освобождать!”

Горький фактически поставил Андреева в двусмысленное положение. На Капри он дал ему карт-бланш на ведение сборников, на основании чего Андреев вступил в переговоры с людьми и пообещал им огромные гонорары. И после этого Горький словно окатил Андреева холодным душем, напомнив ему и о пределах его финансовых возможностей, и о том, что единственным идеологическим диктатором в “Знании” остается он, Горький. Надежда Андреева перестроить “Знание” на подлинно товарищеских началах рухнула.

Андреев с плохо скрываемой обидой ответил Горькому длинным письмом, в котором решительно отказывался от редактирования сборников “Знания”. Письмо было написано в исключительно вежливых, даже как бы извиняющихся тонах: “Милый мой Алексеюшка! Самое плохое в этой истории то, что ты – боюсь – рассердишься на меня. И это было бы очень тяжело. Отношусь я к тебе с великой любовью, с великой дружбой; понимаю тебя, как очень немногие...” и т. п.

Но этот тон не должен сбивать с толку. Андреев обиделся на Горького и ушел из “Знания” в “Шиповник” – редактировать альманахи. Кстати, и платить в “Шиповнике” стали больше, чем в “Знании”. Одновременно из “Знания” редактировать сборники “Земля” Московского книгоиздательства ушел Иван Бунин. За ними потянулись Чириков, Куприн, Вересаев, Серафимович, Айзман, Юшкевич и другие. Остались Телешов и Гусев-Оренбургский, но на этих именах, даже при поддержке горьковского имени, ярких сборников было не сделать.

Горький вскоре понял это. В одном из писем он заметил: “Вида, что Андреевы, Бунины и прочие осетры уплыли из вкусных вод «Знания», Тимковские, Брусянины, Измайловы и другие пескари осыпают меня своим творчеством. Как много я читаю рукописей и какие все р-р-революционные, если бы вы знали!”

Тем не менее он не только не пошел на компромисс, но даже отказался напечатать в “Знании” произведения Андреева “Тьма”, “Царь-Голод” и “Жизнь Человека”. Позже Андреев с горечью напишет Горькому, что “Знание” тогда ничего не сделало для возобновления с ним отношений. Больше того: когда в конце 1908 года Андреев опять принес в “Знание” пьесу “Любовь студента” и Пятницкий телеграфировал о том Горькому на Капри, Горький отказал в резкой форме. Все же Пятницкий был вынужден поместить пьесу в сборнике ввиду нехватки материала. Но это было сделано вопреки воле Горького.

Прощальные слова Андреева во время его последнего посещения “Знания” были исполнены горечи: “Чувствую, что Алексей Максимович злобствует на меня, незаслуженно обвиняет меня. Как я верю в то, что, сойдись я теперь с ним, вместе с ним появись и мои вещи в сборниках, – всем конкурирующим альманахам конец”.

Казалось, и Горький понимал проблемы своего бывшего друга. Во всяком случае, переписка между ними пока не прерывалась. Более того, Горький звал Андреева к себе на Капри:

“Ехал бы ты, Леонид, сюда и жил здесь до поры, пока не выстроят тебе дом (в Финляндии. – П.Б.), – нечего тебе делать на этом рынке нищих, кои торгуют краденым тряпьем и грязными обносками гнилых своих душ.

Ты посмотри, что делают с тобой все эти хулиганы – ныне товарищи твои по сотрудничеству: основоположник их, Мережковский, ходит грязными ногами по твоему лицу, Гиппиус поносит тебя в «Mercure de France», а в журнале Брюсова ты назван невеждой и дураком – это уже не критика, а организованная травля, гнусная травля, нечто невиданное в нашей литературе.

<...> Эх ты, дитя мое.

<...> Имей в виду и впредь – будут тебя гнуснейше травить, доколе не получат должного отпора, который, вероятно, придется дать нам, то есть с нашей стороны”.

На Капри Андреев не поехал. Его отношения с Горьким стремительно ухудшаются, а в период русско-германской войны 1914–1919 годов перерастают в открытое противостояние. Во время войны Андреев возглавляет беллетристический отдел газеты “Русская воля”, уже самим своим названием выражающей радикально-патриотическую позицию. Наоборот, вернувшийся в 1913 году в Россию Горький в созданном им журнале “Летопись” занимает пацифистскую позицию и в статье “Две души” (декабрь 1915 г.) обращается к национальной самокритике.

У Горького всегда было пристрастное отношение к русскому народу. С одной стороны, он считал его “изумительно”, “фантастически” талантливым, с другой – не принимал его социальной пассивности. Даже дураки в России, по мнению Горького, “глупы оригинально”, и нет более благодатного материала для художника, чем русские лица. Русь – грешная, вольная, окаянная – всегда пленяла творческое воображение Горького. Ей он посвятил, может быть, лучшие страницы своей прозы. Но тот же Горький писал о России и ее народе совсем другие слова. Один из истоков отрицательного отношения Горького к русскому крестьянству лежал в его ранней биографии. И не только в истории с сожженной в Красновидове лавкой Ромася. Во время странствия по Руси в селе Кандыбино Пешков был зверски, до полусмерти избит мужиками за то, что вступился за женщину. Унизительное наказание, которому была подвергнута молодая крестьянка за измену мужу (голой ее везли, привязанную к телеге, по деревне и при этом били кнутом), Горький описал в очерке “Вывод”. Травма эта оставалась в его душе на всю жизнь.

В “Истории русской литературы”, написанной Горьким на Капри, читаем: “Русский человек всегда ищет хозяина, кто бы командовал им извне, а ежели он перерос это рабье стремление, так ищет хомута, который надевает себе изнутри, на душу, стремясь опять-таки не дать свободы ни уму, ни сердцу”.

В статье “Две души” Горький писал: “У нас, русских, две души, одна от кочевника-монгола, мечтателя, мистика, лентяя... а рядом с этой бессильной душой живет душа славянина, она может вспыхнуть красиво и ярко, но недолго горит, быстро угасая...” По убеждению Горького, Восток погубит Россию, только Запад может ее спасти. Поэтому

“нам нужно бороться с азиатскими настроениями в нашей психике, нам нужно лечиться от пессимизма, – он постыден для молодой нации...”

Статья Горького прозвучала подобно разорвавшейся бомбе на фоне патриотических настроений, связанных с русско-германской войной. В редакцию “Летописи” приходили письма, некоторые из них содержали анонимные угрозы. Корней Чуковский, сотрудничавший с Горьким в это время, вспоминал, что иногда к письмам “было приложение – петля из тончайшей веревки. Такая тогда установилась среди черносотенцев мода – посылать «пораженцу» Максиму Горькому петлю, чтобы он мог удавиться. Некоторые петли были щедро намылены”.

Возмущен был и Леонид Андреев. В полемической статье в журнале “Современный мир” он резонно заметил, что критика русской души в устах Горького звучит слишком “по-русски”,

не имея ничего общего с западным типом самокритики. “Не таков Запад, – писал он, – не таковы его речи, не таковы и поступки... Критика, но не самооплевание и не сектантское саможжение, движение вперед, а не верчение волчком – вот его истинный образ”.

В письме к И. С. Шмелеву Андреев высказался о Горьком еще более откровенно. “Даже трудно понять, что это, откуда могло взяться? Всякое охаяние русского народа, всякую напраслину и самую глупую обывательскую клевету он принимает как благою истину... нет, и писать о нем не могу без раздражения, строго воспрещенного докторами. Ну его к лысому... А бороться с ним все-таки необходимо...”

В 1921 году в эмигрантской газете “Общее дело” Иван Бунин с наслаждением процитирует высказывание о Горьком из предсмертного дневника Леонида Андреева. Процитирует, впрочем, не совсем точно. Приведем точные слова Андреева:

“Вот еще Горький. Мучает меня мысль о нем и несправедливости. На днях попал в руки номер «Новой жизни» – все та же гнусность, и тут же сообщается, что общество «Культура» устраивает митинг для сбора книг и участвуют Зелинский и другие истинно почтенные, а председатель Горький и товарищ председателя В. Фигнер. Мучает меня то, что моя ненависть и презрение к Горькому (в теперешней фазе) останутся бездоказательными. Если Фигнер, Зелинский и другие могут совместно с Горьким выступать и работать, следовательно, они не видят и не понимают, что так ясно; и нужно составить целый обвинительный акт, чтобы *доказать* им преступность Горького и степень его участия в разрушении и гибели России.

Такой обвинительный акт, убийственный, неопровержимый, можно составить, проследив с первого номера «Новую жизнь», – но разве я могу взяться за такой труд? И кто возьмется? А так забывают, не помнят, не знают, пропустили – а там новые времена и новые песни, когда тут раскапывать старье.

Но неужели Горький так и уйдет ненаказанным, неузнанным, неразоблаченным, «уважаемым»? Конечно, я говорю не о физическом возмездии, это вздор, а просто о том, чтобы действительно уважаемые люди осудили его сурово и решительно. Если этого не случится (а возможно, что и не случится, и Горький сух вылезет из воды) – можно будет плюнуть в харю жизни”.

Газета “Новая жизнь” издавалась Горьким. В 1917–1918 годах он печатал в ней статьи в цикле “Несвоевременные мысли”, в которых резко осуждал большевиков и лично Ленина за Октябрьский переворот и развязывание кровавой Гражданской войны. Другое дело, что вторым и едва ли не самым главным объектом его обвинений стало русское крестьянство. По мысли Горького, большевики были виноваты не в том, что совершили революцию, а в том, что совершили ее, опираясь на освобожденные звериные инстинкты крестьянской массы в лице вернувшихся с фронта Первой мировой войны солдат и матросов.

“Горький и его «Новая жизнь» невыносимы и отвратительны именно тем, – продолжал свою мысль Андреев, – что полны несправедливости, дышат ею, как пьяный спиртом. Лицемеры, обвиняющие всех в лицемерии, лжецы, обвиняющие во лжи, убийцы и погубители, всех обвиняющие в том, в чем сами они повинны. Убийцы”.

Это было последнее, что мог сказать о своем бывшем друге Андреев. С этим чувством он и скончался 12 сентября 1919 года в финской деревне Нейвала.

А ведь накануне революции они едва не помирились...

В очерке об Андрееве Горький писал: “В 1916 году, когда привез мне книги свои, оба снова почувствовали, как много было пережито нами и какие мы старые товарищи. Но мы могли, не споря, говорить только о прошлом, настоящее же воздвигало между нами высокую стену непримиримых разноречий.

Я не нарушу правды, если скажу, что для меня стена эта была прозрачна и проницаема – я видел за нею человека крупного, своеобразного, очень близкого мне в течение десяти лет, единственного друга в среде литераторов.

Разногласия умозрений не должны бы влиять на симпатии, я никогда не давал теориям и мнениям решающей роли в моих отношениях к людям. Л. Н. Андреев чувствовал иначе, но я не поставлю это в вину ему, ибо он был таков, каким хотел и умел быть – человеком редкой оригинальности, редкого таланта и достаточно мужественным в своих поисках истины”.

День седьмой Евангелие от Максима¹

Как бы ни рассматривать социализм – с теоретической ли или с философской точки зрения, – он содержит в себе мощный дух и пламя религии.

Горький. О “Бунде”

Гапоновщина

“Рабочих, с которыми шел Гапон, расстреляли у Нарвской заставы в 12 часов, в 3 часа Гапон уже был у меня, – вспоминает Горький. – Переодетый в штатское платье, остриженный, обритый, он произвел на меня трогательное и жалкое впечатление оципанной курицы. Его остановившиеся, полные ужаса глаза, охрипший голос, дрожащие руки, нервная разбитость, его слезы и возгласы: «Что делать? Что я буду делать теперь? Проклятые убийцы...» – все это плохо рекомендовало его как народного вождя, но возбуждало симпатию и сострадание к нему как просто человеку, который был очевидцем бессмысленного и кровавого преступления”.

Позвольте! Гапон был не только *очевидцем* этого преступления, но одним из самых деятельных и амбициозных *организаторов* его. Сам Горький пишет об этом в начале очерка “Гапон”. Кстати, когда он писался, Горький уже знал о двурушничестве Гапона и, конечно, догадывался, что Гапон не самоубийством покончил, а его убили его же “товарищи” из боевой организации эсеров. В Личность Гапона Горький знал очень хорошо. Очерк “Гапон”:

Человек этот, имя которого прогремело по всему свету как имя вождя русского народа, родился двадцать восемь лет тому назад на юге России, в маленьком городке Белинках, Полтавской губернии. Его отец – управляющий именем генерала Рындина, человек религиозный, – пожелал, чтобы сын служил церкви, и отдал его в семинарию. Там Георгий Гапон, юноша впечатлительный, как всякий южанин, подпал под влияние рационалистических идей графа Л. Толстого. Однако это увлечение враждебными духу ортодоксальной церкви идеями не помешало ему кончить семинарию и принять священство.

В 1901 году Георгий Гапон получил место священника в церкви пересыльной тюрьмы Петербурга. Тюрьма стоит в местности, где группируется много фабрик, в том числе обширный казенный Путиловский завод. Здесь Гапон невольно должен был войти в соприкосновение с рабочими. Он – человек футов около шести, черноволосый, худой, с темными, тревожными глазами, быстрый в движениях. Черты лица его – мелкие и острые – не останавливают на себе внимания и запоминаются с трудом. Говорит он очень страстно, обнаруживая сильный темперамент и очевидный для интеллигентного человека недостаток эрудиции, широкого образования и политических знаний.

Чтобы понять его влияние на рабочих, необходимо рассказать следующее.

В 1900–1901 гг. правительство, испуганное развитием интереса к вопросам политики и ростом революционного настроения среди рабочих

¹ Идея назвать повесть «Мать» «Евангелием от Максима» принадлежит критику и литературоведу Генриху Митину.

Москвы и Петербурга, задумало взять это движение в свои руки. С этой целью были ассигнованы крупные суммы и избраны лица, на которых департамент полиции возложил задачу перенести интересы рабочих с вопросов политики на вопросы экономические. В Москве за это принялся чиновник охранного отделения Зубатов, быстро доказавший, что департамент не ошибся, поручив ему <это дело>. В короткое сравнительно время агенты Зубатова успели убедить рабочих Москвы, что правительство ничего не имеет против экономического улучшения быта рабочего класса, но этому всеми силами препятствуют капиталисты. Рабочие должны бороться с капиталом, а не с правительством, правительство же готово всячески способствовать успешной борьбе рабочих. Бороться с фабрикантами необходимо на экономической почве, а потому правительство предлагает рабочим организовывать союзы для улучшения быта рабочих, общества взаимопомощи, кассы и т. д. Было обещано издание законов о фабричной инспекции, о стачках, страховании, была сказана туча ласковых слов; для тех рабочих, которые вошли в организацию Зубатова, дана свобода собраний. Рабочие пошли на эту удочку, революционное настроение среди них стало понижаться, образовалось “Общество рабочих механического производства”. На собраниях этого общества всякий начинавший говорить на политические темы немедленно изгонялся рабочими вон из зала, а затем шпионы Зубатова тащили его в тюрьму. Эта наивная и грубая политика... бездарных и жадных людей, озабоченных только сохранением своей власти, разумеется, не могла держаться долго. На первых же порах она возбудила тревогу среди капиталистов и сильно помогла росту их оппозиционного настроения, что вполне естественно. Затем – наиболее разумные рабочие скоро начали понимать, что их обманывают. Но раньше, чем дело Зубатова провалилось в Москве, оно нашло для себя почву и организаторов в Петербурге.

Поп Георгий Гапон явился на сцену как организатор петербургских рабочих в начале 1904 г. Его публичному выступлению в этой роли предшествовало следующее весьма важное обстоятельство. В феврале 1904 г. он пришел к петербургскому митрополиту и просил главу церковных учреждений разрешить ему, Гапону, посвятить свои силы делу организации рабочих Петербурга для проповеди среди них религиознонравственных идей... Митрополит категорически запретил ему заниматься этим делом. Но, несмотря на запрет непосредственного начальства, министр внутренних дел Плеве удовлетворил просьбу Гапона, что являлось со стороны министра явным нарушением прерогатив церкви, а со стороны Гапона – слушанием, за которое, по церковным правилам, он подлежал духовному суду и строгому наказанию. Однако митрополит не протестовал против грубого вторжения Плеве в область, ему не подведомственную, и не предал суду Гапона. Последнее обстоятельство всех очень удивило, потому что русская церковь крайне строго следит за дисциплиной среди своих служителей и наказывает их весьма сурово. Такое мягкое отношение к Гапону могло бы быть объяснено нежеланием раздражать рабочих, но в то время Гапон еще не был популярен среди них.

Через несколько дней после визита к митрополиту Гапон публично открыл основанное с разрешения Плеве “Общество петербургских рабочих” и был выбран председателем этого общества. На открытии присутствовал петербургский градоначальник Фуллон, чиновники полиции и агенты

охранного отделения. Гапон снялся вместе с ними в одной группе. Общество основало в разных частях города Петербурга одиннадцать отделов, председателем каждого отдела был выбран рабочий, а во главе всех стоял сам Гапон. Когда факт сношений Гапона с министром Плеве и охранным отделением был точно установлен – революционная интеллигенция и политически развитые рабочие решили не вступать в сношения с Гапоном, но вести революционную пропаганду на собраниях его легального общества. На первых же митингах среди рабочих своей организации поп стал резко нападать на деятельность революционных партий и предостерегать рабочих от увлечения политикой.

Его личная политическая программа была крайне неопределенна, можно, однако, характеризовать ее старой славянофильской формулой “Царь и народ”, т. е. – непосредственное общение царя с народом. Но в своих речах он старался избегать вопросов политики. Критикуя весьма невежественно и пристрастно деятельность революционных партий, он не выдвигал, как я сказал уже, ясной программы. Такой же неопределенностью отличались и его экономические взгляды, в формулировке их он подчинялся практическим указаниям самих рабочих, творчество его личной мысли отсутствовало и в этой области.

Кратко говоря – он был только фонографом идей и настроений рабочей массы. Около него группировалась бессознательная, но все более возбуждавшаяся под давлением действительности рабочая масса, он собирал в себе, как в фокусе, ее инстинктивное, все возраставшее революционное настроение, и его сильный темперамент отражал это настроение обратно в массу, не вводя, однако, в ее духовный мир каких-либо своих идей. Пафос его речи, его странные жесты, сверкающие глаза, сильный, хотя грубый язык показывал рабочим, как в зеркале, самих себя в образе, уже несколько облагороженном, в формулах, уже более ясных, чем их личные, полусознательные догадки о причинах бедствий рабочего класса в России. Он был типичный демагог очень дурного толка. <...> “Кровавое воскресенье” было подготовлено силою рабочей массы, и роль Гапона в этот день мог с успехом выполнить любой из них. В этот день рабочие двинулись к Зимнему дворцу сразу из одиннадцати разных пунктов; во главе одной из этих волн шел Гапон... Была ли именно эта волна самой сильной?

В ней было около двадцати тысяч человек, всего же к Зимнему дворцу шло почти 200 000.

Очерк Горького о Гапоне оставляет сложное ощущение. В нем слишком много противоречий. Если Гапон был фигурой настолько сильной, что сумел уговорить умнейшего Плеве, победить всевластного в Петербургской епархии митрополита, организовать политическое общество, которому подчинялось двести тысяч человек, и вывести рабочих к Зимнему (руководители одиннадцати ячеек подчинялись непосредственно ему), то каким образом можно называть его безликим отражением рабочей массы?

Кстати, в письме к Е. П. Пешковой от 9 января 1905 года Горький отзывался о Гапоне совсем иначе. “Его (Гапона. – П.Б.) будущее <...> рисуется мне страшно интересным и значительным – он поворотит рабочих на настоящую дорогу”. Да и гибель рабочих совсем не воспринималась им тогда как бессмысленная бойня: “Рабочие проявляли сегодня много героизма, но это пока еще героизм жертв. Они становились под ружья, раскрывали груди и кричали: «Пали! Все равно – жить нельзя!»”

Сравните это с описанием расстрела в очерке “9 января”, созданном после того, как Горький отошел от эсеров и примкнул к большевикам:

“– Какая там стрельба? К чему? – солидно говорил пожилой человек с проседью в бороде. – Просто они не пускают на мост, дескать – идите прямо по льду...”

И вдруг в воздухе что-то неровно и сухо просыпалось, дрогнуло, ударило в толпу десятками невидимых бичей. На секунду все голоса вдруг как бы замерзли. Масса продолжала тихо подвигаться вперед.

– Холостыми... – не то сказал, не то спросил бесцветный голос.

Но тут и там раздавались стоны, у ног толпы легло несколько тел. Женщина, громко охая, схватилась за грудь и быстрыми шагами пошла вперед на штыки, вытянутые встречу ей. За нею бросились еще люди и еще, охватывая ее, забегая вперед ее.

И снова треск ружейного залпа, еще более громкий, более неровный. Стоявшие у забора слышали, как дрогнули доски, – точно чьи-то невидимые зубы злобно кусали их. А одна пуля хлестнула вдоль по дереву забора и, стряхнув с него мелкие щепки, бросила их в лица людей. Люди падали по двое, по трое, приседали на землю, хватаясь за животы, бежали куда-то прихрамывая, ползли по снегу, и всюду на снегу обильно вспыхнули яркие красные пятна. Они распозались, дымились, притягивали к себе глаза... Толпа подалась назад, на миг остановилась, оцепенела, и вдруг раздался дикий, потрясающий вой сотен голосов. Он родился и потек по воздуху непрерывной, напряженно дрожащей пестрой тучей криков острой боли, ужаса, протеста, тоскливого недоумения и призывов на помощь”.

В очерке “9 января” акценты существенно смещены. Это уже пишет человек, серьезно разуверившийся в возможностях народной революции, на которую делали ставку народники и эсеры. Это пишет совсем другой революционер, поставивший на партийную элиту, на рабочую революционную аристократию, которую он изобразил в повести “Мать”.

И все же, при всем видимом презрении к Гапону в очерке не чувствуется ненависти к нему. Если вспомнить ранний рассказ Горького “Мой спутник” о проходимце князе Шахро, то Гапона тоже можно считать “спутником” Горького. Да и разве его одного? Разве не целое поколение маленьких вождей, “героев” было воспитано революционной романтикой раннего Горького? Снимая с Гапона вину за то, что случилось 9 января, Горький фактически снимал вину и с себя, называя причиной случившегося неразвитость народной массы. Но не он ли возбуждал эти неразвитые массы и их вождей? Не он ли призывал к *безумству* храбрых и высмеивал *мудрость* кротких?

Очерк о Гапоне писался в 1906 году в Америке с очевидной целью убедить американскую прессу, что проблема поражения революции заключается не в ее вождях, а в недостаточной подготовленности народа. Поэтому с таким жаром Горький возражал против того, что Гапона могли убить сами революционеры. “В американской прессе говорят, – пишет Горький, – что Гапон повешен революционерами. Этого не может быть. Революционерам не было никакого дела до попа Гапона, они не состояли в сношениях с ним. Дело русской революции – чистое, честное и великое дело, в нем не могут играть никакой роли люди, подобные попу Гапону. Если попу повесили, это должны были сделать его друзья, рабочие созданной им организации, они могли казнить его за попытку продать их правительству...”

Горький был неискренен. Он лукавил. Конечно, тогда он еще мог не знать, что Гапона убил его друг и учитель Рутенберг. Позже Горький сам напишет об этом в “Климе Самгине”. Но то, что после расстрела рабочих 9 января Гапон скрывался в квартире Горького, что его остриг и передел друг Горького Савва Морозов, что Рутенберг вместе с Гапоном тут же сели писать воззвание к рабочим против царя, – этого Горький не мог не знать, ибо он сам в этом участвовал.

Сектант и еретик

Первое известное письмо Горького к Ленину было связано с просьбой... передать послание Гапону. Это письмо от июня-июля 1905 года было передано из Петербурга в Женеву. Это даже не письмо, а записка лидеру из партии, к которой Горький тяготел, общаясь одновременно и с эсерами, и с другими партийными революционерами, и с непартийными революционерами, и просто с людьми, разделявшими революционные взгляды. А таких было тогда великое множество.

Владимиру Ильичу Ульянову

Глубокоуважаемый товарищ!

Будьте добры – прочитав прилагаемое письмо – передать его – возможно скорее – Гапону.

Хотел бы очень написать Вам о мотивах, побудивших меня писать Гапону так – но, к сожалению, совершенно не имею свободной минуты.

Крепко жму Вашу руку.

Да, – считая Вас главой партии, не будучи ее членом, и всецело полагаясь на Ваш такт и ум – предоставляю Вам право, – в случае если Вы из соображений партийной политики найдете письмо неуместным – оставить его у себя, не передавая по адресу.

А. Пешков

В письме к Гапону Горький пытался убедить его отказаться от планов создания в России новой рабочей партии без участия интеллигенции: “Вашу работу считаю вредной, малопродуманной и разъединяющей силы пролетариата”.

Из записки к Ленину можно понять следующее. Во-первых, бежавший после событий 9 января 1905 года Гапон общался за границей с верхушкой РСДРП. Строго говоря, он *и бежал к ним*. Так что не только Плеве и Зубатов были повинны в провокации 9 января. Во-вторых, для Горького Ленин уже тогда был главным авторитетом в РСДРП. Учитывая то, что Горький понимал неизбежность своего отъезда за границу (слишком тесно сотрудничал с теми силами, которые развязали революцию), он зондировал почву для знакомства с Лениным, о котором был уже слышан как о человеке волевом и широко образованном. Последнее было для Горького едва ли не самым важным. В-третьих (и это самое главное), Горький зондировал почву для своего вступления в партию.

Выпущенный из Петропавловской крепости после мощного давления на царя мирового общественного мнения, Горький через Финляндию попадает в Германию. Судя по письму сестры Ницше Элизабет Фёрстер, которое мы цитировали в главе “Опасные связи”, в Германии Горький встречался с виднейшим бельгийским социал-демократом Эмилем Вандервельде. Встречался он и с социалистом Августом Бебелем. Вандервельде сообщил Элизабет, что Горький “уважает и ценит” ее брата и “хотел бы посетить последнее местожительство покойного”, которое стараниями сестры и поклонников было превращено в архив-музей Ницше. Сюда в конце двадцатых годов придет с визитом Адольф Гитлер, чтобы засвидетельствовать сестре Ницше свое почтение и преклонение перед философией ее брата. Растроганная Элизабет делает Адольфу символический подарок – трость Ницше. Кстати, муж Элизабет – Фёрстер – был одним из первых немецких идейных нацистов. Он основал в Парагвае колонию для спасения немецкого духа от всемирной “еврейской заразы”, поразившей, по его мнению, Германию. Сам Ницше Фёрстера не терпел, считал грубым и невежественным.

Итак, судьба готовила для Горького новое испытание. Ему предстояло стать “мостом между Ницше и социализмом”, по символическому выражению Томаса Манна. Но Горький не просто окончательно повернул к социализму. Он становится недвусмысленным партийным

функционером. Для писателя его масштаба и мировой известности это было непростым решением. И если Горький пошел на него, значит, он сильно изменил стратегию своего поведения. Ведь когда-то он гордился тем, что не принадлежит ни к одной из партий, “ибо это свобода”.

В русской критике немедленно заговорили о “конце Горького” (Д. В. Философов). Дело дошло до смешного. Леопольд Сулержицкий, известный анархист, близкий знакомый Чехова, Толстого, Горького, дал интервью газете “Утро России”, где утверждал, что Чехов глубоко сожалел о вступлении Горького в партию. Но Чехов скончался в 1904 году, когда Горького в партии еще не было.

Отправляясь в Америку, он еще не был по-настоящему знаком с Лениным. Не был он знаком и с Плехановым, и с другими виднейшими лидерами РСДРП. Идея американской поездки, как пишет Горький, принадлежала Л. Б. Красину. Но о Ленине Горький слышал давно, еще с 1896 года.

Впервые они вроде бы увиделись в Петербурге 27 ноября 1905 года во время пребывания Ленина в России и перед длительной эмиграцией самого Горького. Но когда Горький писал свой знаменитый очерк о Ленине, он странно “забыл” об этой встрече. О ней ему потом напомнили посторонние люди, и Горький согласился с этим уточнением. Это очень странно... Если бы Горького познакомили с Лениным в 1905 году на тайном заседании ЦК РСДРП, куда допускались самые проверенные люди, он едва ли забыл бы это, ибо, по собственному признанию, был очень внимателен к людям. А ведь Ленин был в его глазах не простым революционером. Судя по первому письму, он считал его “главой партии”.

Так или иначе, но близкое знакомство Горького с Лениным состоялось в апреле 1907 года на V Лондонском съезде РСДРП. Горький присутствовал там уже как член большевистской фракции. Съезд открывал лидер меньшевиков Г. В. Плеханов. Тогда Плеханов был фигурой более влиятельной, чем Ленин. Кстати, и с Плехановым Горький впервые познакомился в Лондоне.

Он всё замечает. И прежде всего – главную особенность личности Ленина. Ленин – это прирожденный вождь, который никогда не признает себя вторым. Стоило Плеханову заявить во время выступления, что “ревизионистов в партии нет”, как “Ленин согнулся, лысина его покраснела, плечи затряслись в беззвучном смехе, рабочие, рядом с ним и сзади него, тоже улыбались, а из конца зала кто-то угрюмо и громко спросил:

– А по ту сторону – какие сидят?”

Это спросил кто-то из большевиков. Из ленинской фракции. Из ленинской *партийной секты*.

“Партия” и “секта” – почти синонимы. “Партия” (party (*фр.*), partei (*нем.*), party (*англ.*)) означает “часть” или “группа”. “Секта” (secta) слово латинское и значит “школа”, “учение”. В то же время “secta” является однокоренным со словом “sector”, то есть “отделяющий”, “отсекающий”. Обособляясь в “школе”, “учении”, человек неизбежно отсекает себя от целостного восприятия мира. Порой это необходимо для более глубокого изучения мира. Но чаще это приводит к отсечению человека или группы людей от целого. Не понимая этого, личность или группа подменяют понятие “целого” своей “частью” и начинают утверждать, что их “часть” и есть “целое”. Поэтому всякая “школа” или партия всегда находятся в опасной близости к сектантству.

Ленин был сектантом. Горький указывает на это с первых же страниц очерка “В. И. Ленин”. Но не зная всего комплекса их отношений, этого можно не понять.

Солженицын в “Красном колесе” предполагает, что сектантские настроения возникли у Ленина после сильнейшей душевной травмы, нанесенной ему Плехановым во время их первой встречи в Швейцарии.

“С каким еще молодым восторгом и даже влюбленностью ехал он тогда в Швейцарию на свидание с Плехановым, получить от него корону признания. И, посылая дружбу свою вперед,

в письме из Мюнхена – тому «Волгину», – в первый раз придумал подписаться «Ленин». Всего-то нужно было – не почваниться старику, всего-то нужно было одной великой реке признать другую и вместе с ней обхватить Россию.

Молодые, полные сил, отбивши ссылку, избежав опасностей, вырвавшись из России, везли им, пожилым заслуженным революционерам, проект «Искры», газеты-организатора, совместно раздувать революцию! Дико вспомнить – еще верил во всеобщее объединение с экономистами и защищал даже Каутского от Плеханова, – анекдот! Так наивно представлялось, что все марксисты – заодно и могут дружно действовать. Думали: вот радость им везем – мы, молодые, продолжаем их.

А натолкнулись – на задний расчет: как удержать власть и командовать. Решительно безразличен оказался Плеханову этот проект «Искры» и раздувание пламени по России – ему только нужно было руководить единолично. И для того он хитрил и представлял Ленина смешным примиренцем, оппортунистом, а себя – каменным революционером. И преподал урок преимуществ в расколе: кто требует раскола – у того линия всегда тверже.

Разве забыть когда-нибудь эту ночь в деревушке Везенац – сошли с женева парохода с Потресовым как высеченные мальчишки, обожженные, униженные, и в темноте расхаживали из конца в конец деревни, озлобленно выкрикивали, кипели, стыдились самих себя, – а по ночному небу над озером и над горами ходили молнии кругом, не разражаясь в дождь. До того было обидно, что минутами хоть расплакаться. И чертовский холод опускался на сердце”.

Можно спорить с историко-художественной версией Солженицына. Можно спорить и с версией, что причиной ленинской нетерпимости была юношеская душевная травма – казнь любимого брата Володи Александра Ульянова. Но сектантская нетерпимость Ленина и его страсть к расколам внутри своей партии – факты очевидные.

Это подтверждается перепиской Ленина с Горьким во время пребывания писателя на Капри и создания “каприйской школы” для рабочих-эмигрантов, организованной Горьким вместе с А. В. Луначарским, Г. А. Алексинским, А. А. Богдановым (Малиновским) и другими. Все они, по мнению Ленина, были “махистами”, “ревизионистами”, посягнувшими на учение Маркса, которое Ленин считал единственно верным, как и единственно верным считал *свое* понимание марксизма. Впрочем, как раз в борьбе с “махистами” он оказался солидарен с Плехановым. Но это ни о чем не говорит. Когда лидер секты освобождается от соперников, он может прибегнуть к помощи самого заклятого врага. Таким образом сектант убивает двух зайцев.

Впоследствии в цикле статей “Несвоевременные мысли”, направленном против политики Ленина и большевиков, Горький не раз употребит слово “сектантство”. Но есть подозрение, что гнев его был разогрет еще и тем, что в политической перспективе политика Ленина оказалась куда продуктивней горьковского идеализма и веры в объединение демократических сил. В отличие от Горького и его соратников, Ленин взял власть. И сумел ее удержать. Потому что пока Горький с Богдановым и Луначарским занимались “богостроительством”, Ленин ковал свою партию. И хотя, как считает Солженицын, к началу мировой войны и Февральской революции партия Ленина находилась в плачевном состоянии, уж точно ее единственным непрекаемым лидером был Ленин.

Об отношениях Горького и Ленина в советские годы написаны тысячи страниц. И почти все это, за редкими исключениями, невообразимая риторика о дружбе вождя революции и великого писателя, изредка омрачаемой какими-то темными разногласиями между ними. Когда были опубликованы “Несвоевременные мысли” Горького, родилась демагогия совсем другого сорта: о Горьком, будто бы противостоявшем Ленину, но не сумевшем справиться с ним и вынужденном уехать в эмиграцию. На самом деле и друзьями они не были, и в эмиграцию от Ленина Горький не уезжал. Потому что нельзя назвать эмиграцией оплаченную бессрочную командировку от Наркомпроса.

Все было проще и сложнее...

Надпись на венке от Горького и Андреевой покойному Ленину – “Прощай, друг” – была, конечно, ритуальной. Но не был Горький и врагом Ленина в 1917–1921 годах. Да, он был нравственно потрясен и раздавлен волной “красного террора”. Да, Горький и в страшном сне не мог представить, что русская революция выльется в массовое самоистребление народа, гибель интеллигенции и методическое уничтожение большевиками своих политических оппонентов. Конечно, он мечтал о другом. О культурной роли революции. Об освобождении энергии демократии для перестройки жизни в духе “коллективного разума”.

Если Ленин был сектантом, то Горький был *еретиком*. Он неоднократно называл себя “еретиком” в письмах и часто говорил о том, что любит еретиков как духовный тип.

Православный словарь так объясняет “ересь”, “еретик”: “учение (и последователь его), противное точной церковной догматике”. Корень этих слов греческого происхождения и означает по-гречески “личный произвол, захват истины, стремление противопоставить религиозной догме свое субъективное мнение”.

Горький тоже был еретиком в том смысле, что внутренне противился всякой догме. Даже если он подчинялся ей, душа и разум его протестовали. Существует легенда, будто нарком НКВД Ягода, прочтя предсмертные дневники Горького, перед тем как их уничтожить, сказал: “Как волка ни корми, он всё в лес смотрит”.

В этом и состоит “контрапункт” союза Горького с Лениным. В отличие от будущего союза со Сталиным, это был брак во всех отношениях добровольный. Ленин не угрожал Горькому и его семье. Ленин не вынуждал Горького вступать в партии. Ленин мог только *просить* Горького о финансовой поддержке партии и т. д. И наконец, Ленин до революции был в сравнении с Горьким фигурой практически неизвестной широким массам.

Странная это была дружба!

С церковной точки зрения, еретик и сектант не далеко отстоят друг от друга. Ересь может привести к созданию секты, а всякая секта есть ересь. Но во внецерковном смысле еретик и сектант противостоят друг другу. Еретик стремится вырваться за пределы абсолютной истины, утверждая свой идейный произвол, а сектант, напротив, ревностно охраняет абсолютную истину, но претендует на деспотическое обладание ею. Для еретика всякая окончательная правда есть ложь, от которой он отказывается, как только она объявляет себя окончательно победившей; а сектант, наоборот, ищет окончательной правды, которая всё в мире строго расставила бы по своим местам. Еретик бежит от догмы, сектант стремится к ней.

Почему их притягивало друг к другу?

Большая часть их переписки каприйского периода – это жестокая перепалка или, выражаясь по-ленински, *драчка*. Но при этом они считают друг друга товарищами, обращаются друг к другу “дорогой мой человек”, “дружище” и т. п. Не надо быть психологом, чтобы понять: внутри одной партии Горький и Ленин были несовместимы. Они давили один на другого своими авторитетами, оба претендовали на лидерство, пусть и понимая его по-разному. Внутри партии это были два сома в одном аквариуме. Но если у Горького, кроме партии, были и другие занятия и интересы, а главное – другой круг общения, то у Ленина, кроме его партии, не было решительно ничего. Поэтому, по всем сектантским законам, он должен был *ненавидеть* Горького, который покушался на его лидерство в партии. Но между тем странное подобие дружбы действительно существовало, это просто невозможно отрицать. Может быть, их притягивало друг к другу по каким-то объективным законам, как притягивает друг к другу всякие крупные тела, планеты или корабли.

Для Ленина Горький и партийный фракционер, и великий писатель. Как фракционер (Ленин в письмах часто повторяет это слово – “фракция”, – возможно, чтобы напомнить его *status quo* в партии) Горький виноват перед Лениным бесконечно! Он посягнул на сектантскую этику! Мало того, что вместе с другими большевиками-отщепенцами, Богдановым и Луначар-

ским, он “ревизует” марксизм, создает в этом духе школу для рабочих, куда – это уже просто возмутительно! – приглашает самого Ленина читать лекции. Но он выносит сор из избы! Он объявляет о своих “богостроительских” идеях в печати и даже – ну это уже вовсе за пределами сектантского понимания! – присылает в любимое детище Ленина, газету “Пролетарий”, статью “Разрушение личности”, в которой солидаризуется с “ревизионистскими” идеями Богданова.

Богданов в это время находится в Женеве и выслушивает от Ленина “мнение” не печатать статью Горького. Богданов, как и Ленин, соредактор “Пролетария”. Третий – И. В. Дубровинский. Богданов возмущен. Как? Не печатать Горького? Горького?! Богданов требует “третейского суда”, говоря партийным языком, “тройки”. И проигрывает. Дубровинский – на стороне Ленина.

И вот Ленин, не стесняясь, сообщает об этом в письме “другу”: “Когда я, прочитав и перечитав Вашу статью, сказал А.А-чу (Богданову. – П.Б.), что я против ее помещения, тот стал темнее тучи. У нас прямо нависла атмосфера раскола. Вчера мы собрали нашу редакционную тройку в специальное заседание для обсуждения вопроса”.

Вот как получается. В расколе виноват не Ленин. Виноват Горький.

Богданов возмущен. Горький “изумлен”. Получив от Богданова письмо тоже и уже понимая, что в родной партии цензура покруче царской будет, он отвечает Богданову: “Дорогой и уважаемый Александр Александрович! До Вашего письма получил я три листа, свирепо исписанных Ильичом и – был изумлен – до смерти! Ибо странно мне и, не скрою, смешно видеть себя причиной «драчки», как Ильич выражается”.

Статья Горького не была напечатана в “Пролетарии”. Ленин фактически перекрыл Горькому выход в партийную печать.

“Разрушение личности” (1908) не просто программная статья Горького этого времени, но и единственная его философская работа. И хотя в “Пролетарии” не было философского отдела и с первого номера газета объявила, что будет держаться философского “нейтралитета” (на этом настоял Ленин, понимая, что “махистов” в большевистской верхушке много, а он один), для Горького могли бы сделать исключение. Пусть и с редакционной оговоркой, пусть даже с ленинской критикой в том же номере. Но так может думать нормальный журналист, а не руководитель сектантского издания. Для Ленина допущение Горького – как идеолога, а не писателя – в святая святых большевистской прессы было просто невозможно. Это нарушало баланс авторитетов, где главным идейным авторитетом мог быть только один человек – Ленин.

Горький пытался примирить “эмпириомониста” Богданова, “религиозного марксиста” Луначарского и “правильного марксиста” Ленина, не понимая (или понимая?), что тем самым только раздражает Ильича. Ведь примирение, объединение – это отчетливая идеологическая стратегия. А стратегия Ленина *всегда* была направлена на раскол. Горький-примиренец, таким образом, вытеснял Ленина-раскольника, и тот безошибочным сектантским чутьем почувствовал грозящую ему опасность.

Но прямо устранить Горького из партии он не мог. Именно от Горького и через Горького шли в большевистскую кассу финансовые потоки. Каким бы ни был Ленин аскетом, но жизнь в Париже и Женеве была недешевой. Как финансовый источник, как “разводящий” финансовые потоки (между прочим, в сотрудничестве с Богдановым) Горький вполне устраивал Ленина. Горький был посвящен в истории экспроприации на Кавказе, где большевики грабили местных богачей. Цинизм, с которым его партийные товарищи получали деньги, видимо, не смущал Ленина. Вот только один пример финансовой махинации, в которой был замешан и Горький.

Семья Н. П. Шмита принадлежала к известной в России купеческой династии Морозовых (по материнской линии Н. П. Шмит приходился племянником Савве Морозову). Студент Московского университета, к 1905 году после ранней смерти матери и отца он стал, как старший в семье, опекуном сестер Екатерины и Елизаветы и распорядителем всего семейного состояния. Николай Шмит и его сестры с сочувствием относились к революционным собы-

тиям. Через Л. Б. Красина и Горького ими были пожертвованы крупные суммы денег в пользу большевиков. При посредничестве Горького на деньги Шмита вооружались рабочие дружины. Одним из очагов декабрьского восстания в Москве стала мебельная фабрика на Пресне, принадлежавшая семье Шмитов. В начале 1906 года Николай Шмит был арестован. Ему предъявлялось обвинение в непосредственной причастности к революционным событиям. Но суд откладывался. После четырнадцатимесячного предварительного заключения Шмит был убит в тюрьме при загадочных обстоятельствах.

Незадолго до ареста Шмит устно высказал намерение передать свое состояние большевикам. Очевидцем этого *устного* заявления был Горький. Но юридически оформить передачу денег было невозможно. Сложность была в том, что младшая сестра, в силу своей молодости, могла вступить во владение своим наследством только через опекуна. Тогда большевистский ЦК выработал особый план. Было решено организовать фиктивный брак младшей сестры, с тем чтобы через мужа получить наследство Шмита. В разработке этого плана принимали участие Горький и его подруга М. Ф. Андреева.

Фиктивным мужем Елизаветы стал А. М. Игнатъев. При этом был и фактический жених А. Р. Таратута. Старшая сестра, Екатерина, была замужем за адвокатом Андриканисом. Она стала оспаривать план большевиков по присвоению наследства ее брата. Дело осложнялось еще и тем, что на наследство Шмита претендовали не только большевики, но меньшевики и группа “Вперед”. В конце концов победили большевики. Но история вышла грязная, а кроме того, она дошла во всех подробностях до Охранного отделения.

Как финансист партии и как “великий писатель” Горький Ленина совершенно устраивал. Но как идеолог – да еще и партийный – Горький был для Ленина смертельно опасен. Если бы стратегией большевистской элиты стало объединение, в этой новой стратегии для Ленина просто не было бы места.

Поэтому посылая Горькому в письмах бесконечные поклоны как “великому писателю” и даже соглашаясь, что “художник может почерпнуть для себя много полезного во всякой философии”, бесконечно справляясь о быте и здоровье Горького, который живет на одном из самых дорогих европейских курортов – Капри, нежно целуя руку М.Ф. (Марии Федоровне Андреевой), Ленин только и делает, что отсекает, отсекает и отсекает Горького от *своей* партии.

С Богдановым и Луначарским был другой разговор. Эти неопасны. Они хотя и элита партии, но в сравнении с Лениным все-таки рядовые вожди. С тем же Богдановым, которого Ленин нещадно бил за “эмпириокритицизм”, он солидаризировался по вопросу о бойкоте Думы. Луначарский ему “симпатичен”. А вот Горький – вождь фактический, настоящий! Ленин прекрасно понимал, какой это колоссальный авторитет и какая угроза его вождизму. Поэтому он не давал Горькому ни малейшего шанса реально влиять на партийную идеологию. Финансы – ради бога! “Мать”? Да, слабовато. Ленин не скрывает этого. Но – чертовски “своевременная книга”! Даже о повести Горького “Исповедь”, напищенной размышлениями о Боге и являющейся манифестом “богостроительства”, Ленин отзывается почти равнодушно. Надумал было написать ему сердитое письмо, да раздумал. Или написал, но не послал. “Зря не послали!” – сердится Горький, не понимая (или понимая?), с кем он имеет дело.

С вождем партии. Непререкаемым. Бескомпромиссным. Но только в том, что касается вопросов партии. Во всем остальном это душа-человек!

Горький злится ужасно! “Все вы склокисты!” – пишет он Ленину. “Меньшевики выигрывают от драки!” Пытается урезонить Ленина простыми человеческими словами, не понимая (или понимая, но поступая, может быть, назло Ленину), что сектанта переубедить нельзя. С сектантом можно говорить как с нормальным человеком до тех пор, пока речь не зашла о делах сектантских. Об охоте, о рыбалке, о литературе... Но как только вы коснулись дел секты, тогда вы или подчиняетесь воле лидера, или вас отсекают. Или... устраняют. Впрочем, в случае философских распрей Ленина с Горьким в этой крайней мере не было необходимости. Но

уже в 1918 году готовящийся в лидеры большевистской партии Сталин напишет в партийной печати в связи с “Несвоевременными мыслями”, что Горького “смертельно потянуло в архив”.

“Знаете что, дорогой человек, – с лукавостью пишет Ленину Горький. – Приезжайте сюда, до поры, пока школа еще не кончилась, посмотрите на рабочих, поговорите с ними. Мало их. Да, но они стоят Вашего приезда. Отталкивать их – ошибка, более чем ошибка”.

Наивный! Несколько раз Ленин прямо отказывался приехать на Капри. И это при том, что Ленин прекрасно знал разницу между Горьким и “барином” Плехановым. Знал о горьковском такте, о том, что его, Ленина, на Капри не только не станут унижать, но, напротив, Горький расстарается, чтобы Ленин на Капри почувствовал себя как можно комфортнее. Обычному человеку не понять этой нечеловеческой сектантской логики. Но она работала у Ленина безупречно. И она никогда его не подводила.

“Дорогой А.М.! Насчет приезда – это Вы напрасно. Ну, к чему я буду ругаться с Максимовым, Луначарским и т. д. (Да зачем же непременно «ругаться»? – П.Б.) Сами же пишете: ершитесь промеж себя – и зовете ершиться на народе. Не модель. А насчет отталкивания рабочих тоже напрасно. Вот коли примут наше приглашение и заедут к нам (в Париж, где была ленинская школа для рабочих. – П.Б.), – мы с ними покалякаем, повоюем за взгляды одной газетинки, которую некие фракционеры ругают (давно я это от Лядова и др. слышал) скучнейшей, малограмотной, никому не нужной, в пролетариат и социализм не верящей.

Насчет нового раскола некругло у Вас выходит. С одной стороны, оба – нигилисты (и «славянские анархисты» – э, батенька, да неславянские европейцы во времена вроде нашего дрались, ругались и раскалывались во сто раз почище!), а с другой, раскол будет не менее глубок, чем у большевиков и меньшевиков. Ежели дело в «нигилизме» «ершей», в малограмотности и пр. кое-кого, не верящего в то, что он пишет, и т. п., – тогда, значит, не глубок раскол, и даже не раскол. А ежели глубже раскол, чем большевики и меньшевики, – значит, дело не в нигилизме и не в неверящих в свои писания писателях. Некругло выходит, ей-ей! Ошибаетесь Вы насчет теперешнего раскола и справедливо говорите: «людей понимаю, а дела их не понимаю»”.

Но что это за газетина такая? И что это за фракционеры, которые называют ее “скучнейшей, малограмотной, никому не нужной, в пролетариат и социализм не верящей”? Ленин настолько зол, что не стесняется признаться Горькому, что пользуется наушничеством “Лядова и др.”, которые уже донесли мнение Горького о “Пролетарии”. Он не спорит с Горьким. Выкрикивает какие-то слова, из которых можно понять одно: или я, или никто! или со мной, или ни с кем!

Встреча с Лениным на Капри все-таки состоялась. Горький Ленина “дожал”. Да и неприлично уже было отказывать “великому писателю”. Тем более писателю, который написал произведение (“Мать”), где изобразил большевистских сектантов святыми. Который создал для них новое “евангелие”.

В очерке Горького о Ленине эта встреча описана в смягченных тонах. Но и здесь можно почувствовать леденящее дыхание сектантства.

“После Парижа мы встретились на Капри. Тут у меня осталось очень странное впечатление: как будто Владимир Ильич был на Капри два раза и в двух резко различных настроениях.

Один Ильич, как только я встретил его на пристани, тотчас же решительно заявил мне:

– Я знаю, вы, Алексей Максимович, все-таки надеетесь на возможность примирения с махистами, хотя я вас предупреждал в письме: это – невозможно! Так уж вы не делайте никаких попыток.

По дороге на квартиру ко мне и там я пробовал объяснить ему, что он не совсем прав: у меня не было намерения примирять философские распри, кстати – не очень понятные мне. К тому же я, от юности, заражен недоверием ко всякой философии, а причиной этого недоверия служило и служит разноречие философии с моим личным, «субъективным» опытом: для меня

мир только что начинался, «становился», а философия шлепала его по голове и совершенно неуместно, несвоевременно спрашивала: «Куда идешь? Зачем идешь? Почему – думаешь?» Некоторые же философы просто и строго командовали: «Стой!»

Кроме того, я уже знал, что философия, как женщина, может быть очень некрасивой, даже уродливой, но одета настолько ловко и убедительно, что ее можно принять за красавицу. Это рассмешило Владимира Ильича.

– Ну, это – юмористика, – сказал он. – А что мир только начинается, становится – хорошо! Над этим вы подумайте серьезно, отсюда вы придете, куда вам давно следует прийти.

Затем я сказал ему, что А. А. Богданов, А. В. Луначарский, В. А. Базаров – в моих глазах крупные люди, отлично, всесторонне образованные, в партии я не встречал равных им.

– Допустим. Ну, и что же отсюда следует?

– В конце концов, я считаю их людьми одной цели, а единство цели, понятное и осознанное глубоко, должно бы стереть, уничтожить философические противоречия...

– Значит – все-таки надежда на примирение жива? Это – зря, – сказал он. – Гоните ее прочь и как можно дальше, дружески советую вам! Плеханов тоже, по-вашему, человек одной цели, а вот я – между нами – думаю, что он – совсем другой цели, хотя и материалист, а не метафизик.

Затем он азартно играл с Богдановым в шахматы и, проигрывая, сердился, даже унывал, как-то по-детски. Замечательно: даже и это детское уныние, так же как его удивительный смех, – не нарушали целостной слитности его характера.

Был на Капри другой Ленин – прекрасный товарищ, веселый человек, с живым и неутоленным интересом ко всему в мире, с поразительно мягким отношением к людям.

Был в нем некий магнетизм, который притягивал к нему сердца и симпатии людей труда. Он не говорил по-итальянски, но рыбаки Капри, видевшие и Шалапина, и немало других крупных русских людей, каким-то чутьем сразу выделили Ленина на особое место. Обаятелен был его смех – “задушевный” смех человека, который, прекрасно умея видеть неуклюжесть людской глупости и акробатические хитрости разума, умел наслаждаться и детской наивностью «простых сердец».

Старый рыбак, Джиованни Спандаро, сказал о нем:

– Так смеяться может только честный человек”.

В письмах к Богданову Горький признавался, что он *любит* Ленина. А в очерке о Ленине он утверждает, что и Богданов в Ленина был просто *влюблен*. Между тем, вот образец разговора Ленина с Богдановым:

“– Шопенгауэр говорит: «Кто ясно мыслит – ясно излагает», я думаю, что лучше этого он ничего не сказал. Вы, товарищ Богданов, излагаете неясно. Вы мне объясните в двух-трех фразах, что дает рабочему классу ваша «подстановка» и почему махизм – революционное марксизма?»

Богданов пробовал объяснять, но он говорил действительно неясно и многословно.

– Бросьте, – советовал Владимир Ильич. – Кто-то, кажется – Жорес, сказал: «Лучше говорить правду, чем быть министром», я бы прибавил: и махистом”.

Богданов говорил многословно, потому что Богданов, в отличие от Ленина, был реальным философом, автором трехтомного труда “Эмпириомонизм”, нескольких книг по философии и множества статей. Горький, эрудиция которого многих поражала, был восхищен познаниями Богданова в философии. Ленин ничего не говорит от себя, но рубит фразы так, словно он единственный обладатель абсолютной истины. Таковым он себя и считал, и этой истиной был марксизм. Богданов был *ищущим* материалистом. Марксизм не был для него догмой. Богданов искал новые пути в материалистической философии. И вот это-то сектанта Ленина и

злило в Богданове. Потому что если кто-то начинает *искать*, вся пирамида секты может рухнуть.

Так, может, Горький лгал, когда писал о любви к Ленину? Нет. Настоящий вождь тем и отличается, что умеет влюблять в себя людей. Чем? А вот своей цельностью, аскетизмом, беспредельной преданностью секте. Наконец, особенным магнетизмом, о котором неслучайно пишет Горький. Думается, Ленин завораживал Горького именно этим, хотя его сектантство он распознал мгновенно.

Горький не остался в долгу у Ленина за отклонение статьи “Разрушение личности”. Книга “Материализм и эмпириокритицизм”, предложенная издательству “Знание”, по настоятельному письму Горького к Пятницкому была отвергнута так же, как Ленин отверг статью Горького. Книга целиком была посвящена критике “махизма”, критике Богданова отводилась отдельная глава. И хотя имя самого Горького в ней ни разу не было упомянуто, цель книги была понятна.

В этот раз Горький не стал поступать как рыцарь. Он даже не прочитал рукопись книги и написал Пятницкому:

“Относительно издания книги Ленина: я против этого, потому что знаю автора. Это великая умница, чудесный человек, но он боец, и рыцарский поступок его насмешит. Издай «Знание» *эту* его книгу, он скажет: дурачки, – и дурачками этими будут Богданов, я, Базаров, Луначарский”.

Слово “боец” следовало бы заменить на “сектант”, потому что настоящий боец не смеется над рыцарским поступком.

Но гораздо важнее часть письма, где Горький объясняет, почему его философские симпатии на стороне Богданова, а не Ленина. “Спор, разгоревшийся между Лениным – Плехановым, с одной стороны, Богдановым – Базаровым и К°, с другой, – очень важен и глубок. Двое первых, расходясь в вопросах тактики, оба веруют и проповедают исторический фатализм, противная сторона – исповедует философию активности. Для меня – ясно, на чьей стороне больше правды...”

Книга “Материализм и эмпириокритицизм” была направлена против главного в мировоззрении Горького. ЧЕЛОВЕКА. “Всё – в человеке, всё – для человека”. А Ленин? “Быть материалистом значит признавать объективную истину, открываемую нам органами чувств. Признавать объективную, т. е. *не зависящую от человека и от человечества, истину* (курсив мой. – П.В.) значит так или иначе признавать абсолютную истину”. Как это “не зависящую от человека”?! Но ведь именно это Горький и отрицал всю жизнь! Человек способен на всё! Он может даже “построить” Бога!

Логика “богостроительства”, если не вдаваться в философские детали, в целом проста. “Бог умер” (Ницше). Но Бога необходимо возродить, *построить*, опираясь на коллективную волю и коллективный разум человечества. Надо внести в окружающий мир с его бессмысленностью новый, *человеческий* смысл. Надо заполнить страшный “провал”, где со “смертью Бога” образовалась “пустота”, или, выражаясь экзистенциалистским языком, “Ничто”. Поэтому Бог – это партия (“Мать”) или народ (“Исповедь”), но в любом случае это человеческий коллектив, который не признает “абсолютной истины”, унижающей человеческое достоинство.

А Ленин? “Для Богданова (как и для всех махистов) признание относительности наших знаний исключает самое малейшее допущение абсолютной истины. Для Энгельса из относительных истин складывается абсолютная истина. Богданов – релятивист. Энгельс – диалектик”.

Энгельс, может, и “диалектик”, но эта диалектика была органически противна Горькому. Именно через отрицание мира как суммы “относительных истин” стремится Горький к новой абсолютной истине, но созданной ЧЕЛОВЕКОМ. Он еретик. А сектант Ленин предлагает ему встать по стойке смирно перед Энгельсом.

Книга Ленина “Материализм и эмпириокритицизм” возмутила Горького еще и по тону своему. Это был не философский спор, а выволочка лидера партии зарвавшимся фракционерам. Даже непонятно было, зачем Ленин столько читал, готовясь к написанию книги, просиживал в библиотеке, привлекал столько авторитетных философских имен? Ведь цель книги обозначена в подзаголовке – “Критические заметки об одной реакционной философии”. Если “реакционной”, то о чем спорить?

В предисловии к первому изданию сказано однозначно: “Целый ряд писателей, желающих быть марксистами, предприняли у нас в текущем году настоящий поход против философии марксизма. Сюда относятся прежде всего «Очерки по (? Надо было сказать: против) философии марксизма», СПб., 1908, сборник статей Базарова, Богданова, Луначарского, Бермана, Гельфонда, Юшкевича, Суворова; затем книги: Юшкевича – «Материализм и критический реализм», Бермана – «Диалектика в свете современной теории познания», Валентинова – «Философские построения марксизма».

Что касается меня, то я тоже – «ищущий» в философии. Именно: в настоящих заметках я поставил себе задачей разыскать, на чем свихнулись люди, преподносящие под видом марксизма нечто невероятно сбивчивое, путаное и реакционное”.

Это стиль не философской полемики, а партийной выволочки.

Получив книгу Ленина, все-таки изданную в Москве в 1909 году издательством “Зерно”, Горький был в ярости! “Получив книгу Ленина, – писал он Богданову, – начал читать и – с тоской бросил ее к черту. Что за нахальство! Не говоря о том, что даже мне, профану, его философические экскурсии напоминают, как ни странно – Шарапова и Ярморкина, с их изумительным знанием всего на свете, – наиболее тяжкое впечатление производит тон книги – хулиганский тон!

И так, таким голосом говорят с пролетариатом, и так воспитывают людей «нового типа», «творцов новой культуры». Когда заявление «я марксист!» звучит как «я – Рюрикович!» – не верю я в социализм марксиста, не верю! И слышу в этом крике о правоте своем – ноты того же отчаяния гибели, кои столь громко в «Вехах» и подобных надгробных рыданиях.

Все эти люди, взывающие городу и миру: «я марксист», «я пролетарий», – немедля вслед за сим садящиеся на головы ближних, харкая им в лицо, – противны мне, как всякие баре; каждый из них является для меня «мизантропом, развлекающим свою фантазию», как их поименовал Лесков. Человек – дрянь, если в нем не бьется живое сознание связи своей с людьми, если он готов пожертвовать товарищеским чувством – самолюбию своему.

Ленин в книге своей – таков. Его спор «об истине» ведется не ради торжества ее, а лишь для того, чтоб доказать: «Я марксист! Самый лучший марксист это я!»

Как хороший практик – он ужаснейший консерватор. «Истина незыблема» – это для всех практиков необходимое положение, и, если им сказать, что, мол, относительно всякая истина, – они взбесятся, ибо не могут не чувствовать колебание почвы под ногами. Но беситься можно и добросовестно – Ленину это не удалось. В его книге – разъяренный публицист, а философа – нет: он стоит передо мной как резко очерченный индивидуалист, охраняющий прежде всего те привычки мыслить, кои наладили его «я» известным образом, и – теперь будет и уже, и хуже. Вообще – бесчисленное количество грустных мыслей вызывает его работа – неряшливая, неумелая, бесталанная”.

Это приговор еретика, вынесенный сектанту. Это взрыв возмущения человека ищущего против догматика, рыцаря истины против насильника ее. Но поразительно! – это не мешало Горькому *любить* Ленина.

“Люблю его – глубоко, искренно, а не понимаю, почему взбесился человек, какие *ереси* (курсив мой. – П.В.) узрел?” – писал он Богданову. “Мне кажется, что Ленин впадает в декаданс и влечет за собой не только разных юнцов, но и людей серьезных”. И ему же: “Товарищ Л<енин> уважает кулак – мы, осенью, получим возможность поднести к его носу кулачище,

невиданный им. Он, в конце концов, слишком партийный человек для того, чтобы не понять, какая скверная роль впереди у него”.

Это была прямая угроза, которая говорит о том, что Ленин не напрасно боялся Горького. В том же письме Богданову Горький заявляет: “Наша задача – философская и психическая *реорганизация партии* (курсив мой. – П.Б.), мы, как я это вижу, в силах задачу сию выполнить – к выполнению ее и должна быть направлена вся масса нашей энергии”.

Вот так!

В истории конфликта Ленин – Горький – Богданов политическую победу одержал Ленин. Каприйская рабочая школа раскололась и вскоре закрылась. С 1910 года личные отношения Горького с Богдановым были порваны по причинам не вполне понятным. С Лениным Горький поддерживал отношения и вел переписку до своего отъезда из России в 1921 году. Но это не было дружбой. Скорее союзом крупных исторических фигур, коими они себя, конечно, осознавали. *Любил* ли Горького Ленин, сказать трудно, если не считать любовью дежурные заботы о здоровье и советы лечиться у лучших швейцарских врачей (“Пробовать на себе изобретения большевика – это ужасно!”). Но Горький Ленина любил. “С гневом”, как признался он Ромену Роллану, но любил. Так же, как любил Толстого, Шалапина и других *больших* русских людей. С изумлением каким-то любил. Словно не понимая: откуда они берутся такие, “черти драповые”?

Религия социализма

Повесть “Мать” – одно из самых слабых в художественном отношении, но и самых загадочных произведений Горького. Сам Горький прекрасно знал цену этой повести и не слишком высоко ее ставил. Тем не менее, если убрать “Мать” из творчества Горького, обнажится серьезная пустота и многое в судьбе Горького станет непонятным. Дело в том, что “Мать” – это единственная попытка Горького написать новое евангелие.

Дореволюционная критика догадалась об этом сразу. Да и мудро было не догадаться. “Мать” писалась Горьким в расчете на пусть и образованных, но все же простых рабочих. Для них-то, крещеных, воспитанных в православной вере, с детства ходивших в местную церковь в какой-нибудь из рабочих слобод, и была создана повесть. Но для советских школьников, церковь не посещавших и Евангелия не читавших, “Мать” превращалась в своего рода *tabula rasa*, “чистый лист”, на котором советская идеология выводила какие-то собственные письма, не имевшие к смыслу этой вещи почти никакого отношения.

Только погрузив “Мать” в евангельский контекст, можно понять, почему Павел Власов это именно *Павел* и почему однажды он приносит в дом картину с христианским сюжетом.

“Однажды он принес и повесил на стенку картину – трое людей, разговаривая, шли куда-то легко и бодро.

– Это воскресший Христос идет в Эммаус! – объяснил Павел.

Матери понравилась картина, но она подумала: «Христа почитаешь, а в церковь не ходишь...»

Кто эти трое? Современник Горького не нуждался в дополнительных объяснениях. Сюжет “Христос на пути в Эммаус” использовался тогда многими художниками. Он был известен всякому образованному рабочему. Кроме Христа на картине двое его учеников, один из них – по имени Клеопа. Христос уже распят, и жители Иерусалима уже знают о чудесном исчезновении тела из гроба и о явлении возле гроба Ангела, который возвестил о Воскресении. Явившись своим ученикам в виде простого путника, Христос сделал так, чтобы они не узнали Его. Он стал спрашивать их о случившемся в Иерусалиме. Ученики удивлены, ибо об исчезновении тела Христа говорит весь город. Они рассказывают Иисусу Его собственную историю. Из их рассказа Христос понимает, что даже ученики Его не верят до конца в Божественность Его происхождения и в чудо Воскресения.

“Тогда Он сказал им: о, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснил им сказанное о Нем во всем Писании”.

В Эммаусе, селении, находившемся в шестидесяти стадиях (древняя мера длины. – П.Б.) от Иерусалима, Христос остановился с учениками на ночлег. Там, преломив хлеб и благословив учеников, Он открылся им и тотчас стал невидимым. После этого ученики отправились к одиннадцати апостолам и рассказали им о чуде. Когда они рассказывали, Христос вновь явился им, но они, “смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа”.

“Но Он сказал им: что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня”.

Поев с учениками печеной рыбы и сотового меда, Христос напомнил им тайну Своего происхождения и объяснил смысл истории человеческой. После этого они отправились в Вифанию, где Христос стал отдаляться от учеников и возноситься на небо.

Так рассказывает “эммаусский” сюжет евангелист Лука.

Для “Матери” Горького этот сюжет не просто один из главных. Это ключ, без которого повесть не открывается.

Павел Власов приносит картину именно в то время, когда началось его духовное перерождение из простого рабочего в революционера. Но это же, с точки зрения Горького, означало и перерождение из человека неверовавшего в верующего. Только религией Павла становится “новое христианство” – социализм. Это христианство истинное, не искаженное церковной догматикой и не поставленное с помощью церкви на службу “хозяевам жизни”.

С матерью Павла Пелагеей Ниловной происходит перерождение иного рода. В отличие от сына, отшатнувшегося от веры и переставшего ходить в церковь, Ниловна глубоко верующий и церковный человек. На протяжении повести Ниловна “прозревает”. Но меняет она не веру, а взгляд на христианство. Фактически она как бы переходит из одной конфессии в другую, из православия в “новое христианство”. За это время сын ее становится не просто коммунистом, но партийным лидером, одним из апостолов новой веры. Недаром имя у Власова апостольское – Павел.

Апостол Павел был наследственный римский гражданин, который зарабатывал изготовлением палаток. (Его настоящее имя – Савл, данное в честь царя Саула.) Он был воспитан в строгой фарисейской традиции, даже участвовал в убийстве диакона Стефана, забитого камнями. Направляясь в Дамаск, чтобы преследовать бежавших туда христиан, Павел имел видение света, павшего с небес и ослепившего его. Он услышал голос Христа, который укорял его: “Савл, Савл! Что ты гонишь Меня?” После этого началось духовное перерождение Павла. Он принял христианство и стал великим христианским миссионером среди язычников, за что удостоился (хотя не был личным учеником Христа) первоапостольского звания вместе с Петром. Павел знаменит своими посланиями римлянам, коринфянам, галатам, ефесянам, филиппийцам, колоссянам, фессалоникийцам, евреям, которые входят в Евангелие в качестве канонических текстов наряду с Евангелиями от Матфея, Марка, Луки и Иоанна.

Чем занимается Павел Власов с товарищами? Сочинением, изготовлением и распространением революционных листовок. Это тоже послания, но уже от новых духовных лидеров, перехвативших апостольскую инициативу и решивших вернуть христианству его первоначальный облик.

Когда Пелагея Ниловна понимает это, все для нее становится на свои места. Чтобы быть вместе с “детьми” (так она называет Павла и его товарищей), ей не только не нужно отречься от Христа, но, напротив, необходимо Его заново обрести, уже вне церковных стен. В конце романа Пелагея арестована за распространение листовок. В это время ее сын находится в ссылке. Одно из двух: или Пелагея станет прихожанкой новой “церкви”, которую вместе с

другими духовными лидерами создал ее сын (называется она “коммунистическая партия”, еще точнее – РСДРП), или (что более вероятно ввиду ее преклонных лет) останется сочувствующей “детям” и посильно помогающей им в распространении новой веры. Павел после ссылки или побега из нее, скорее всего, из простого миссионера выбьется в сектантские вожди. Мать будет его поддержкой. Кстати, мать Ленина до конца своих дней поддерживала Владимира Ильича материально.

Гадать о том, что случится после ареста Ниловны, можно бесконечно. Горький задумывал повесть “Сын” как продолжение “Матери”, но не написал ее. Это говорит о том, что “власовский” сюжет больше не давал пищи его художественному вдохновению. Прототипом Павла Власова был сормовский рабочий-революционер Петр Заломов, один из главных организаторов первомайской демонстрации в Арзамасе 1902 года. Предшественник Павла Власова в творчестве Горького – Нил из пьесы “Мещане”, характер сильный, но малоинтересный. Продолжением “власовского” сюжета стал Петр Кутузов в “Жизни Клим Самгина” – уверенный в себе большевик, знающий ответы на все вопросы и потому особенно ненавистный Климу. Эхом Власова можно считать и Якова Лаптева, крестника Булычова, в поздней пьесе Горького “Егор Булычов и другие”. В этой великой пьесе, своего рода лирической исповеди Горького, Лаптев фигура все-таки проходная, даже в буквальном смысле: он временами *проходит* через булычовский дом, а свою бурную революционную деятельность развивает где-то в другом месте, о чем Горький лишь глухо намекает. Но почему глухо? Пьеса замышлялась в 1930 году, была написана в 1931-м и предназначена для постановки в Театре имени Евг. Вахтангова. Никаких цензурных препятствий для того, чтобы изобразить революционную деятельность Лаптева, для Горького не существовало.

Ответ мы найдем в пьесе “Достигаев и другие”, написанной в 1932 году как своеобразное продолжение “Булычова”. “Достигаев”, пожалуй, самая слабая вещь Горького, созданная по очевидному заказу Кремля. Это произведение о том, как неустрашимый гэпэушник Лаптев арестовывает осиное гнездо “вредителей”, возникшее в доме Булычова после его смерти. Через дом своего крестного Лаптев в этот раз не *проходит*. Он входит в него как один из хозяев новой жизни, которым, увы, решил творчески поклониться Горький. К чести Горького, это его единственное законченное художественное творение в данной области.

Наиболее мощной попыткой сломать Горького как художника и подчинить его себе стало недвусмысленное предложение Сталина написать о нем книгу или хотя бы очерк, вроде воспоминаний о Ленине. И Горький даже взялся за эту работу в конце 1931 года, стал изучать специально подготовленные для него материалы о вожде. Но дело ограничилось кратким описанием истории Грузии, на этом чернила Горького иссякли. На новые попытки приставленных к Горькому литературных и издательских чиновников уговорить писателя взяться за книгу о Сталине Горький делал “глухое ухо”. Эту миссию выполнил французский писатель-коммунист Анри Барбюс, создавший о Сталине оглушительно бездарную книгу с очевидными подтасовками фактов. Оказывается, Сталин не только исправлял все ошибки Троцкого в Гражданской войне, но и Октябрьский переворот был его заслугой. В книге угодливо описывался аскетизм Сталина, жившего в маленькой квартире в Кремле, и не было ни слова о том, чего Анри Барбюс не мог не знать: какие раблезианские пиры закатывали для Сталина и его окружения на даче Горького в Горках.

Горький-художник дрогнул, но выстоял. Тем не менее эхо “Матери” проносится по всей его жизни. Нельзя, один раз заставив свое перо служить сектантским целям, затем до конца отмыть его. Вернее, это возможно через глубокое раскаяние, но Горький каяться не умел и не желал. Таков был тип его духовной личности.

На протяжении всей жизни Горький последовательно разочаровывался во “власовском” сюжете. Иного и быть не могло. Горький был подлинный художник. Он не мог не чувствовать в этом фальши, как Шаляпин не мог не услышать фальшивую ноту в своем голосе. “Мать”

была первым опытом партийного заказа, который отчасти совпадал с мироощущением самого Горького. Он захотел или заставил себя уверовать в РСДРП и в большевиков как в апостолов новой веры и созидателей новой церкви. Эта новая церковь должна была проповедовать не смирение перед жизнью, но активное вторжение в нее. И все это для конечной победы “коллективного разума”.

В повести “Исповедь”, написанной после “Матери”, Горький показывает, на какие чудеса способен коллектив. Незримая энергия, исходящая из толпы богомольцев, излечивает обезноженную девушку. В свое время, странствуя по Руси, Пешков мог наблюдать подобные случаи в действительности. Хотя бы в Рыжовском монастыре, где он встретился с Иоанном Кронштадтским. Но если толпа способна на такие чудеса, то какие волшебства может творить организованное и сознающее свою мощь человечество! Вот новая вера Горького периода его “богостроительства”, зачатки которого мы найдем в ранней пьесе “На дне”, где Сатин обожествляет “коллективного” Человека.

Однако насколько искренен был Горький в собственной вере? Как художник, он чувствовал, что “Мать” не удалась, а в “Исповеди” самое слабое место – описание рабочей слободки, где обитают рабочие-“богостроители”.

Горький уже знал, что найти Бога нельзя. Но можно ли Его “построить”? Скорее всего, внутренне он сомневался в этом, как сомневался во всем в этом мире.

И тогда он решился на трюк с иллюзией. Это была роковая ошибка на его духовном пути!

Господа! Если к правде святой
Мир дороги найти не сумеет,
Честь безумцу, который навевает
Человечеству сон золотой!

Эти стихи Бомарше в переводе В. С. Курочкина, шатаясь и держась руками за косяки, декламирует пьяный Актер в “На дне” перед тем, как повеситься. По сути, это и стало самоубийственной религией Горького, а первым сигналом была повесть “Мать”. Изображая революционеров святыми, Горький очевидно лукавил и знал об этом. Но может быть... как-нибудь... и выйдет так, что рабочие, прочитав евангелие от Максима, в самом деле станут новыми святыми и подвижниками? Ведь говорят же, что вера чудеса творит...

После Октябрьской революции эти “святые” по приказу Зиновьева придут в его собственный дом с обыском. И если бы не “дружище” Ленин, они, может быть, и “шлепнули” бы его. Вот и вся иллюзия.

Разумеется, “Мать” шире внешнего заказа, который выполнял Горький. Есть в ней художественно сильные места, связанные с непростым образом Пелагеи Ниловны. В описании рабочей слободки внимательный читатель обнаружит не только “свинцовые мерзости”, но и то, что поведение рабочих-революционеров не одобряют наиболее пожилые и квалифицированные рабочие фабрики. Что вся революционность Павла Власова не имела бы смысла, если бы на фабрике была возможность создания профсоюза...

Вообще, с точки зрения правды жизни “Мать” – емкое и интересное произведение. Но в судьбе Горького “Мать” сыграла роковую роль, явив собой первый образец партийной художественной литературы. Будущих разрушителей России она изображала святыми, на долгие годы канонизировав их. Это было духовное поражение Горького, от которого он не смог оправиться до конца жизни. Наконец вспомним, что проповедовал новый “апостол” Павел и чему в течение десятилетий учили школьников.

Вот его знаменитая речь на суде.

“– Мы – социалисты. Это значит, что мы враги частной собственности, которая разъединяет людей...”

Допустим, это позиция социального идеалиста? Но дальше Павел говорит:

“...мы хотим теперь иметь столько свободы, чтобы она дала нам возможность со временем завоевать всю власть”.

Какой же это идеализм? Это слова политика.

Вспомним начало речи Павла:

“– Человек партии, я признаю только суд моей партии...”

Нет другого суда, ни юридического, ни человеческого, ни божеского – кроме суда своей секты.

“Мы стоим против общества, интересы которого вам приказано защищать, как непримиримые враги его и ваши, и примирение между нами невозможно до поры, пока мы не победим”.

И за все это Павел получил высылку на поселение, откуда в любой момент мог убежать.

Наброски Горького к неосуществленной повести “Сын”, рассказы “Романтик” и “Мордовка”, написанные в 1910 году, оставляют впечатление безнадежного поражения “власовского” сюжета. Во всех этих вещах фигурируют молодые рабочие-революционеры (в “Мордовке” даже имя героя – Павел), но акцент смещен в область неразделенной и неудавшейся любви. “Пролетарского писателя” из Горького не получилось. То, что впоследствии его назвали “великим пролетарским писателем”, было подменой, но подменой, которую он подготовил сам. Вакантное место истинно пролетарского писателя мог занять только один человек – Андрей Платонов, который называл рабочий класс своей духовной родиной. Но именно его-то Сталин решительно вычеркнул из списка советских писателей. В творчестве Горького рабочая тема занимает мало места. Она не породила ничего выдающегося в художественном отношении. Гораздо ярче в творчестве Горького звучит тема, с одной стороны, босячества, а с другой – купечества. Такова была парадоксальная природа горьковского таланта.

День восьмой В огне революции

Лучше гореть в огне революции, чем гнить в помойной яме монархии.

Горький. Революция и культура

Революция была ему тяжела. Убытки революции приводили его в ужас.

Виктор Шкловский. Удачи и поражения Максима Горького

Крушение гуманизма

19 января 1918 года в газете “Знамя труда” была опубликована статья Александра Блока “Интеллигенция и Революция”. В ней поэт романтически приветствовал Октябрьский переворот и обвинял интеллигенцию в трусости и непоследовательности, в ее нежелании разделить ответственность за кровь. Статья вызвала бурю возмущения в стане символистов, недавних соратников Блока. Особенно возмущалась Зинаида Гippiус. В лучшем случае Блока жалели как “овцу заблудшую”.

В 1921 году, когда Блок умирал от болезней, вызванных недоеданием, а также глубочайшей депрессией, большевики во главе с Лениным “отблагодарили” поэта тем, что на своем заседании отказались выпустить его в Финляндию на лечение. Хотя на этом многократно настаивал Горький, а накануне заседания непосредственно с Лениным разговаривал нарком просвещения Луначарский. Зато разрешили выехать Сологубу, Бальмонту и Арцыбашеву. Затем Блока официально отпустили, но стали затягивать с разрешением на выезд его жене Менделеевой, хотя всем понятно было, что ехать один Блок не в состоянии. Пока рассматривали вопрос, Блок скончался.

В контексте блоковской статьи “Интеллигенция и Революция” Горький был, конечно же, “интеллигентом”. Но выбор Горького был опять-таки еретическим. В то время, когда к коммунистам переметывались писатели из лагеря прежних врагов, от крупного поэта-символиста Брюсова до незначительного беллетриста Ясинского, который до революции печатался в суворинском “Новом времени” (одно это участие стоило “нововременцу” М. О. Меньшикову жизни), Горький рассорился со своими партийными товарищами, публично назвал Октябрьский переворот “авантюрой”, которая “погубит Россию”, и напечатал в газете “Новая жизнь” цикл обличительных статей против новой власти.

После 1917 года все партийцы проходили перерегистрацию. Горький не стал ее проходить, фактически вышел из партии и затем в нее никогда не возвращался. Его отношения с “дружищем” Лениным портились день ото дня. Ленин относился к интеллигенции в лучшем случае равнодушно. Например, он предлагал разрешить петроградским профессорам иметь лишние комнаты для кабинета или лаборатории, мотивируя это тем, что Питер стал городом “архипустым”. (Правильно: из голодного Петрограда бежали все, кто мог: за границу, в более сытые губернии.) В худшем случае он называл мозг нации просто “г...”, о чем, не смущаясь, написал Горькому в связи с В. Г. Короленко. Он лично распорядился использовать интеллигенцию в виде заложников, “живого щита”, во время наступления на Петроград Юденича. Председателем Петросвета до 1926 года был ленинский ставленник Григорий Зиновьев, человек (и Ленин это прекрасно знал) редкой трусости, лживости и двуличности. Но, как писал Ленин, в апреле 17-го, когда он вернулся в Россию из эмиграции, у него было только два верных сорат-

ника – “Надя (Крупская. – П.Б.) и Зиновьев”. Поэтому он сделал преданного Зиновьева фактическим хозяином Северной области, отдав в его распоряжение и Петроград, и миллионы жизней, и “дружище” Горького, которого Зиновьев в 1921 году начал методично травить, устраивая в его квартире обыски.

Тем не менее, перечитывая статью Блока “Интеллигенция и Революция”, вновь убеждаешься: это великая статья! В ней нет и тени фальши, ни одной попытки спрятаться от истины или солгать. Но, говоря об этой статье, нужно помнить, насколько интимно переживал Блок революцию, как своеобразен был его взгляд на тогдашние события не только в России, но и во всем мире. Статьи Блока, как и поэмы этого времени, нужно рассматривать как “лирические величины”, страстный человеческий документ бесчеловечной эпохи.

Блок взял на себя ответственность интеллигенции за революцию. А за революцию интеллигенция, конечно, была ответственна. Но не хотела этого признать.

В отличие от Горького, Блок был фаталистом и смотрел на революцию как на процесс почти природный, подобный вихрю или землетрясению. К ней нелепо приступать с требованиями морали. Она “легко калечит в своем водовороте достойного; она часто выносит на сушу невредимыми недостойных”, но это все – “частности, это не меняет ни общего направления потока, ни того грозного и оглушительного гула, который издает поток. Гул этот все равно всегда – о великом”.

Взгляд Горького на революцию не был фатален. Он видел не просто поток, но гибнущих художников, ученых, поэтов (и Блока) и на этом фоне – рыхлого, похожего на истеричную бабу Зиновьева, который раскатывал по Петрограду в автомобиле царя. Кроме того, Горький мог публично не признавать, но не мог не чувствовать внутренней *личной* вины за Октябрь. Ведь большевиков к власти привел отчасти и он.

В логике рассуждений Блока о революции был один шаг до этики коммунистов: “лес рубят – щепки летят”, “цель оправдывает средства”. Ведь, говоря о стихийном характере революции, он все же предлагал видеть ее грядущую цель: “Переделать все. Устроить так, чтобы все стало новым; чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью”.

Это уже не фатализм. Это уже по-горьковски. Блок верил, что старое целиком отомрет и на смену ему явится не только новое общество, но и “новый человек”. Но в то же самое верил и Горький. В реальности это означало грандиозный эксперимент над человеком, страшную хирургическую операцию по отсекновению “ветхой” морали.

Вот выразительный пример.

В № 3 журнала “Октябрь” за 1930 год был напечатан очерк Михаила Пришвина “Девятая ель”, написанный под впечатлением его поездки на территорию бывшего Гефсиманского скита недалеко от Троице-Сергиевой лавры. Кстати, именно в Гефсиманском скиту похоронены русские философы Константин Леонтьев и Василий Розанов. С конца двадцатых годов там размещался “дом инвалидов труда с примыкающим к нему исправительным домом имени Каляева”. “Оба эти учреждения революционной силой внедрились в святая святых старой России...” – писал Пришвин.

Цель заведения объяснил Пришвину заведующий: “Сила коллектива в будущем затащит всех в работу (в том числе и инвалидов труда? – П.Б.), нищие и всякого рода бродяги исчезнут с лица земли”.

Судя по описанию Пришвина, коллектив этого исправительного учреждения был пестрый: нищие, бродяги, калеки, умственно и физически неполноценные люди, проститутки, беспризорные, воры. Все они вместе трудились и “перековывались” в людей будущего.

Если вспомнить, что монастыри на Руси издавна служили прибежищем для нищих, сирых, убогих, станет понятна зловещая ирония истории. Всякая попытка радикально изменить то, что создавалось веками, оборачивается дурной пародией на старое. В данном случае

это была пародия на Святую Русь, в которую так отчаянно хотелось “пальнуть пулей” блоковским красногвардейцам из “Двенадцати”.

Но было бы неверно говорить, что Блок этого не понимал. В наброске письма-отклика на стихотворение Владимира Маяковского 1918 года “Радоваться рано”, где тот призывал к разрушению дворцов и прочего “старья”, Блок верно заметил, что “разрушение так же старо, как строительство, и так же традиционно, как оно”. “Разрушая постылое, мы так же скучаем и зеваем, как тогда, когда смотрели на его постройку. Зуб истории гораздо ядовитее, чем Вы думаете, проклятия времени не избыть”.

Все же Блока мучила, скорее, невозможность разрушения старого (“проклятие времени”), чем попытки его разрушения. Здесь он был в гораздо большей степени революционер, чем Горький, который бросился как раз спасти “старье” от разрушения и разграбления.

Блок призывал “всем сердцем” слушать “музыку революции”, но это было, как правильно заметил Горький, похоже на заклинание сил тьмы. В конце концов сам Блок признал, что “музыки революции” он не слышит. Да и трудно было расслышать “музыку” за криками казненных людей, за стонами умирающих от голода детей, за фырканьем зиновьевского автомобиля.

“Я спрашивал у него, – вспоминал Горький, – почему он не пишет стихов. Он постоянно отвечал одно и то же:

– Все звуки прекратились. Разве вы не слышите, что никаких звуков нет?”

Нет, Горький слышал звуки. Слышал постоянные, порой назойливые просьбы о дополнительных пайках, жалобы на бывших партийных товарищей Горького и мольбы о спасении жизни друзей и родственников, попадавших в застенки ЧК.

“Новых звуков давно не слышно, – твердил Блок, говоря о своей «музыке». – Все они притушены для меня, как, вероятно, для всех нас... Было бы кощунственно и лживо припоминать рассудком звуки в беззвучном пространстве”.

Кощунственно в отношении чего или кого? Блок говорил опять-таки о “музыке”, которой ему стало недоставать в революции. По словам Горького, Блок был человеком “бесстрашной искренности”, который умел чувствовать “глубоко и разрушительно”. В момент разрушения России еретик Горький, может быть, из чувства внутреннего противостояния фатальной исторической реальности, хотел быть создателем и собирателем камней. Как остроумно заметил Виктор Шкловский, “у него развит больше всего пафос сохранения культуры, – всей. Лозунг у него – по траве не ходить. Горький как ангар, предназначенный для мирового полета и обращенный в склад Центросоюза”.

Наоборот, Блок желал отдаться мировой стихии, не как горьковский Буревестник, а внутренне, через “музыку”. Но и он не слышал ветра, не видел стихии, а слышал стоны и жалобы и “железную” поступь новой власти.

И все-таки Горький был в лучшем положении, чем Блок. Он оказался на своем месте. Пусть и безнадежного, но защитника культуры. А Блок был просто не нужен новой действительности. Современность выдавливала его из себя как чужеродный объект. Отсюда была и смертельная блоковская депрессия.

Вот разговор Горького с Блоком в Летнем саду:

“С ним ласково поздоровалась миловидная дама, он отнесся к ней сухо, почти пренебрежительно, она отошла, смущенно улыбаясь. Глядя вслед ей, на маленькие, неуверенно шагавшие ноги, Блок спросил:

– Что вы думаете о бессмертии, о возможности бессмертия?

Спросил настойчиво, глаза его смотрели упрямо. Я сказал, что, может быть, прав Ламенне: так как количество материи во вселенной ограничено, то следует допустить, что комбинации ее повторяются в бесконечности времени бесконечное количество раз. С этой точки зрения возможно, что через несколько миллионов лет, в хмурый вечер петербургской

весны, Блок и Горький снова будут говорить о бессмертии, сидя на скамье в Летнем саду. Он спросил:

– Это вы – серьезно?

Его настойчивость и удивляла, и несколько раздражала меня, хотя я чувствовал, что он спрашивает не из простого любопытства, а как будто из желания погасить, подавить некую тревожную, тяжелую мысль.

– У меня нет причин считать взгляд Ламенне менее серьезным, чем все иные взгляды на этот вопрос.

– Ну, а вы, вы лично, как думаете?

Он даже топнул ногою. До этого вечера он казался мне сдержанным, неразговорчивым.

– Лично мне больше нравится представлять человека аппаратом, который претворяет в себе так называемую «мертвую материю» в психическую энергию и когда-то, в неизмеримо отдаленном будущем, превратит весь «мир» в чистую психику.

– Не понимаю – панпсихизм, что ли?

– Нет. Ибо ничего, кроме мысли, не будет, все исчезнет, претворенное в чистую мысль; будет существовать только она, воплощая в себе все мышление человечества от первых проблесков сознания до момента последнего взрыва мысли.

– Не понимаю, – повторил Блок, качнув головою.

Я предложил ему представить мир как непрерывный процесс диссоциации материи. Материя, распадаясь, постоянно выделяет такие виды энергии, как свет, электромагнитные волны, волны Герца и так далее, сюда же, конечно, относятся явления радиоактивности. Мысль – результат диссоциации атомов мозга, мозг создается из элементов «мертвой», неорганической материи. В мозговом веществе человека эта материя непрерывно превращается в психическую энергию. Я разрешаю себе думать, что когда-то вся «материя», поглощенная человеком, претворится мозгом в единую энергию – психическую. Она в себе самой найдет гармонию и замрет в самосозерцании – в созерцании скрытых в ней, безгранично разнообразных творческих возможностей.

– Мрачная фантазия, – сказал Блок и усмехнулся. – Приятно вспомнить, что закон сохранения вещества против нее.

– А мне приятно думать, что законы, создаваемые в лабораториях, не всегда совпадают с неведомыми нам законами вселенной. Убежден, что, если б время от времени мы могли взвешивать нашу планету, мы увидали бы, что вес ее последовательно уменьшается.

– Все это скучно, – сказал Блок, качая головою. – Дело – проще; все дело в том, что мы стали слишком умны для того, чтобы верить в Бога, и недостаточно сильны, чтоб верить только в себя. Как опора жизни и веры существуют только Бог и я. Человечество? Но разве можно верить в разумность человечества после этой войны и накануне неизбежных, еще более жестоких войн? Нет, ваша фантазия... жутко! Но я думаю, что вы несерьезно говорили”.

На самом деле “фантазия” Горького предвляла философские открытия XX века: В. И. Вернадского и Тейяра де Шардена. А вполне религиозная мысль Блока следовала в русле “метафизического эгоизма” Константина Леонтьева. Но Леонтьев и Шарден – фигуры несомнимые. А Блок и Горький как будто нашли один другого. Как будто весь мир замкнулся на Летнем саду, где беседуют эти двое, и вслушивается в их разговор. Кажется, до окончательного понимания им нужно сделать навстречу друг другу один шаг. Но ни один ни другой не делает этого шага. Что-то им мешает...

“Неожиданно встал, протянул руку и ушел к трамваю. Походка его на первый взгляд кажется твердой, но, присмотревшись, видишь, что он нерешительно качается на ногах”.

Горького «заказывали»?

Блок нерешительно качается на ногах по очень простой причине. Недоедание! Будем откровенны: фактически величайшего поэта эпохи уморили голодом и отсутствием медикаментов. Именно он, признавший и даже воспевший революцию, был не нужен вождям этой революции. Но Горький-то находился в ином положении. Как бы он ни спорил с Лениным, у него были старые связи с большевиками...

Почему нельзя было организовать лечение Горького в советской России? Кто довел страну до такого состояния, при котором писателю с мировой известностью элементарно выжить можно было только за границей? Почему из России бежал даже Горький, находившийся, в отличие от других писателей, в привилегированном положении? Что за статьи писал и печатал Горький в своей газете «Новая жизнь»? Почему в 1918 году ее закрыли? Почему закрыли «Новое время» – это понятно. Газета консервативная, явно антибольшевистская. Но почему закрыли старейший журнал «Русское богатство», выходивший с 1876 года и печатавший цвет русской демократической прозы, Горького в том числе? А «Новая жизнь» Горького была просто газетой социалистической, под ее логотипом красовался лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Почему ее-то закрыли? Да потому, что *вся* небольшевистская периодика была запрещена.

Уехал за границу Горький потому, что, во-первых, не смог договориться с Лениным о своем месте в революции. Иными словами, «дружище» Ильич, как и в 1908–1909 годах, элементарно отсек Горького от политики партии. Во-вторых, Горький был действительно болен. Гибель Блока и Розанова, расстрел Гумилева и откровенное хамство Зиновьева сделали свое дело.

Горький был дипломатом по натуре, но у всякой дипломатии ограниченные возможности. Когда Ленин арестовал участников Компомгола (Комитета помощи голодающим), всех, кроме Горького и Фигнер, дипломат оказался невольным провокатором. Именно так и назвал его бывший соратник по кругу реалистов Борис Зайцев. Ведь это Горький с согласия Ленина организовал комитет, куда вошли известные ученые, писатели, общественные деятели Прокопович, Кускова, Осоргин, Зайцев, Ольденбург, куда в качестве почетного «комитетчика» приглашали и Короленко, но его смерть помешала этому. О Горьком как о человеке можно говорить разное. Он мог быть хитрым и лукавым. Он не любил неприятной правды, умел делать «глухое ухо», нередко позволял ввязывать себя в темные провокации. Но подлецом и провокатором Горький не был.

Все, кто вспоминал его в это время, отмечали болезненную худобу и сильное нервное истощение. Привычное кровохарканье приняло угрожающие формы. Неизвестно, как переживал ссору с Горьким Ильич, но для Горького разрыв революции и культуры был глубочайшей личной трагедией, такой же, как для Блока отсутствие в революции «музыки». Он верил в революцию как в способ освобождения культурной энергии народа, но не верил во власть как способ организации этой энергии. На деле революция освобождала низменные инстинкты толпы. Власть их в лучшем случае контролировала. В худшем – поощряла и разжигала сама.

И началось это отнюдь не 25 октября 1917 года. Художник А. Н. Бенуа описывает в дневниках, как он, Горький, Шаляпин и еще несколько крупных представителей литературы и искусства после отречения царя и установления власти Временного правительства мчались в Таврический дворец, чтобы решить вопрос об Эрмитаже, Петергофе, Царском Селе. Ведь там бесценные сокровища! Ведь изгадят! Разворуют! Растащат по сундукам!

И что? Один революционный чиновник кивал на другого. И всем на всё было наплевать. Но главное, что отметил Бенуа: *это* – не власть! *Это* – что угодно, но *это* – не власть. Только в Керенском он заметил «жилку власти».

Был ли отъезд Горького за границу осенью 1921 года эмиграцией в точном смысле слова? Нет, конечно. Тем более это не было бегством за границу, подобно бегству Бунина, Гиппиус и Мережковского. Официально Горький выехал в заграничную командировку “для сбора средств в пользу голодающих” и для лечения. Для Ленина и его окружения Горький формально продолжал оставаться своим.

А на самом деле?

Для большевиков Горький был уже не свой. В советской прессе его имя не упоминают. Имя самого известного из живых русских писателей! В то же время его официальный отъезд на лечение предполагал неучастие во враждебных советской власти зарубежных изданиях. Причем такое соглашение соблюдалось не только Горьким, но всеми, кто уезжал “в командировку” или эмигрировал с разрешения большевиков. Ни Вячеслав Иванов, ни Константин Бальмонт (первое время), ни Андрей Белый, ни Виктор Шкловский, ни Алексей Ремизов, ни Павел Муратов, ни Михаил Осоргин советскую власть публично не ругали. Не говоря уж о выезжающих в короткие командировки Есенине, Маяковском и других.

Например, Андрей Белый вообще не считал себя эмигрантом. Только “временно выехавшим”. Так же говорил о себе “красный граф” Алексей Толстой, бывший белогвардейский публицист, покаявшийся и с весны 1922 года издававший за границей газету “Накануне” с прокоммунистической ориентацией. Да просто выходявшую на деньги Кремля.

Эмиграция была расколота на непримиримых, лояльных, идейно-сочувствующих и элементарно работавших на Москву. Кстати, по отношению того или иного эмигранта к коммунистам и определялось его положение в эмиграции. Одно дело – Бунин, другое – Белый, а третье – Алексей Толстой. Были и совсем безнадежные ситуации. Например, положение Марины Цветаевой, которая воспела Белую гвардию (“Белая гвардия, Путь твой высок...”), обожала поэта Маяковского и была замужем за бывшим белым офицером Сергеем Эфроном, завербованным НКВД.

Но что же Горький?

Долгое время он старается быть в стороне от эмигрантских споров. “Сидит на двух стульях” (Глеб Струве), но стулья эти, по крайней мере, не разъезжаются. Печататься в газете “Накануне” отказывается (в литературном приложении – иное дело), но с самим А. Н. Толстым поддерживает хорошие отношения. Нина Берберова, которая вместе с Ходасевичем близко общалась с Горьким в это время, так описывает его: “Теперь Горький жил в Герингсдорфе (лето 1922 года. – П.Б.), на берегу Балтийского моря, и все еще сердился, особенно же на А. Н. Толстого и газету «Накануне», с которой не хотел иметь ничего общего”. Но и с другими изданиями (“Руль”, “Дни”, “Современные записки” и др.) Горький не сотрудничал. Впрочем, и не выступал публично против эмиграции до 1928 года.

Зато он своеобразно мстит крестьянству, написав о нем в 1922 году злую брошюру “О русском крестьянстве” и выпустив ее в Берлине. Из нее получалось, что не большевики виноваты в трагедии России, а крестьянство с “зоологическим” инстинктом собственника. “Жестокость форм революции, – объявлял Горький на всю Европу, – я объясняю исключительной жестокостью русского народа”. Кстати, эта брошюра – первый шаг Горького к будущему Сталину с его политикой сплошной коллективизации. Тогда в эмигрантской прессе в связи с книгой Горького родилось слово *народозлобие*.

Но досталось от Горького и большевикам. Фактически он все-таки нарушил негласное соглашение с ними. Весной 1922 года в открытом письме к А. И. Рыкову он выступил против московского суда над эсерами, который грозил им смертными приговорами. Письмо было опубликовано в немецкой газете “Форвертс”, затем перепечатано во многих эмигрантских изданиях. Ленин назвал горьковское письмо “поганым” и расценил как предательство. В “Известиях” Горького ругал Демьян Бедный, в “Правде” – Карл Радек.

Значит, война?

Нет, он не хотел воевать.

Покайся Горький перед эмиграцией, как Алексей Толстой покался перед коммунистами, она, конечно же, приняла бы его в свой политический круг в качестве персоны № 1. Какой это был бы козырь для международного оправдания эмигрантского движения! Но Горький к эмиграции относился прохладно. Дело дошло до того, что он вежливо отказался присутствовать на собственном чествовании в Берлине в связи с тридцатилетием своей литературной деятельности, которое организовали наиболее дружественно настроенные к нему Белый, Толстой, Ходасевич, Шкловский и другие.

Горький злится. На всех. На народ и на интеллигенцию. На эмигрантов и на большевиков. И, вероятно, больше всех – на самого себя.

Но именно это позволяет ему в период с 1922 по 1928 год добиться творческого взлета, который признали самые строгие эмигрантские критики Степун, Мирский, Адамович и самые язвительные из критиков советской метрополии Шкловский и Чуковский. Да и как не признать достоинств таких произведений, как “Заметки из дневника”, “Мои университеты”, рассказы 1922–1924 годов! Он часто любил повторять, что не пишет, а только “учится писать”. В эмиграции он “учился писать” особенно хорошо.

До 1924 года итальянские власти не пускали Горького в страну как политически неблагонадежного. Но вот наконец Италия, Сорренто. (На Капри все-таки не пустили.)

Море, солнце, культурный быт. Кто только не побывал у него на вилле – от старых эмигрантов до молодых советских писателей. Например, приезжал символист Вячеслав Иванов. “Горький встретил своего философского врага с изящной приветливостью, они провели день в подробной беседе, – вспоминает свидетель. – Возвращаясь в «Минерву» (гостиница в Сорренто. – П.Б.), утомленный Иванов должен был сознаться, что не встречал более сильного и вооруженного противника”.

Утомленные солнцем. Культурной беседой. На самом деле, культурнейший из символистов, Вяч. Иванов искал расположения соррентинского отшельника по весьма прозаической причине. По той самой причине, по которой искали его расположения многие писатели эмиграции. Зато другие, как Марина Цветаева, вдруг немотивированно отказывались от встречи с ним. Когда Ходасевич в Праге пытался познакомить страшно нуждающуюся Цветаеву с Горьким, намекая, что это знакомство может быть ей полезным, Цветаева отказалась. Из гордости. В то же время Цветаева была благодарна Горькому за помощь ее сестре Анастасии.

Дело в том, что Горький продолжал оставаться “мостом” между эмиграцией и СССР. И те, кто хотел вернуться домой, понимали, что проще это сделать через посредничество Горького. В частности, Вяч. Иванов просил Горького о содействии в решении финансового вопроса: чтобы продлили командировку в Италию от Наркомпроса, организованную Луначарским. Горький немедленно бросился хлопотать. Он хлопотал о многих. Как в России в 1917–1921 годах, так и в эмиграции.

Фактически считать его эмигрантом нельзя. Это был затяжной, вынужденный отъезд, во время которого Горький не только лечился и писал классические вещи, но и пытался проводить сложную и хитроумную политику по сближению эмиграции и метрополии. Но не так, как А. Н. Толстой, скомпрометировавший себя изданием газеты “Накануне”.

И уж конечно не так, как муж Марины Цветаевой, завербованный НКВД и впоследствии погубивший не только самого себя, но и свою семью. Горький был слишком умен и амбициозен для этого. И вообще Горький был Горький.

Но это же стало и причиной глубокой внутренней драмы. Художник Павел Корин, посетивший Горького в Сорренто и написавший, возможно, лучший его портрет, гениально понял это. Да, на его картине Горький возвышается над Везувием (так построена перспектива), что можно счесть художнической комплиментарностью. Но как он одинок в своей громадности! Как очевидно неуютно ему на этой скале! Старый Сокол, доживший до крушения своих самых

заветных иллюзий и не способный расправить крылья, но и понимающий, что бросаться со скалы вниз головой – глупость. Мудрый беспомощный старик, обремененный семьей и осаждаемый просителями. Нет, сил в нем еще достаточно. Но опоры уже нет. Только вот эта толстая палка, помогавшая еще в его ранних странствиях. Так бы и бил этой палкой по башке всех, кто не понимает, что Человек – это звучит гордо!

Возможно, такой взгляд был у Махатмы Ганди в конце сороковых годов, перед тем как его застрелил на улице индусский националист. Тогда, после мировой войны, рушились его главные идеалы, которыми он, говоря словами Толстого, “заразил” индийский народ. Тогда вновь вспыхнул национализм, и великий Ганди оказался “недостаточно” индусом. Как он страдал, видя, что в пламени возбужденных страстей горит то, что он кропотливо созидал всю жизнь, – его идеология “непротивления”! Но простой народ назвал его Махатмой, что означает “великая душа”. Для простых индусов он был почти богом. И до сих пор, подходя к месту его сожжения, надо задолго снимать обувь и идти босиком, какходишь в индусский храм.

А Горький? В двадцатые годы, когда Ганди утверждал свои идеи среди индусов и они побеждали, Горького с его социальным идеализмом “народная власть” выдворила из страны, как при монархии.

О Ганди Горький написал в письме к Федину 28 июля 1924 года: “В России рождается большой Человек, и отсюда ее муки, ее судороги. Мне кажется, что он везде зачат, этот большой Человек. Разумеется, люди типа Махатмы Ганди еще не то, что надо, и я уверен, что Россия ближе других стран к созданию больших людей”.

В сущности, они были антиподами. Ганди был “толстовец”, а Горький давно от “толстовства” отошел. Ганди воспевал этот мир как вечный, данный от богов, а Горький был богоборцем, воспевавшим торжество человеческой мысли.

Но в жизни этих людей было немало общего. Трудное детство. Страсть к образованию, проснувшаяся после небрежного отношения к учебе и отчаянного подросткового нигилизма. Юный Ганди даже мясо ел, что для людей его касты и веры было ужасным грехом. Жажда справедливости. Предпочтение духа материи.

И вообще – два больших человека, несомненных национальных лидера. Только Горький не стал для русского народа “махатмой”. Как ни крути, но по крайней мере на официальном уровне “махатмой” был признан... Сталин.

К нему-то Горький и пришел.

Но зададим неприятный вопрос: на какие средства Горький жил за границей, лечился в лучших санаториях, снимал виллу в Италии, содержал многочисленную семью из родных и приживальщиков?

Месячный бюджет Горького в Италии составлял примерно тысячу долларов в месяц. Это много или мало? По нынешним понятиям – немного. Но не будем забывать о реальной стоимости доллара тогда и сегодня.

При этом значительная часть эмиграции жила даже не в бедности, а в нищете. Так жили Куприн, Цветаева или менее известная поэтесса Нина Петровская, проникновенные воспоминания которой о Брюсове все эмигрантские издания отказались печатать по цензурным соображениям: ведь Брюсов стал коммунистом.

Горький пишет М. Ф. Андреевой, служившей в советском Торгпредстве в Берлине: “Нина Ивановна Петровская <...> ныне умирает с голода, в буквальном, не преувеличенном смысле этого понятия. <...> Знает несколько языков. Не можешь ли ты дать ей какую-либо работу? Женщина, достойная помощи и внимания...”

Согласно заключенному в 1922 году Торгпредством РСФСР в Германии и Горьким договору сроком действия до 1927 года, писатель не имел права “ни сам, ни через других лиц издавать свои сочинения на русском языке, как в России, так и за границей”, кроме как в Госиздате и через Торгпредство. Ежемесячный гонорар, выплачиваемый Горькому из РСФСР за издание

его собрания сочинений и других книг, составлял сто тысяч германских марок (свыше трехсот двадцати долларов). Финансовыми делами Горького в Госиздате вместе с М. Ф. Андреевой занимался будущий секретарь писателя П. П. Крючков, живший тогда за границей и с большим трудом «выбивавший» из России деньги для Горького. М. Ф. Андреева в 1926 году писала: «К сожалению, П.П. абсолютно не имеет возможностей <...> добиться от Госиздата каких-либо отчетов. <...> Сердишься ты – напрасно. <...> Ты забыл, должно быть, условия и обстановку жизни в России?»

Последняя фраза гораздо интереснее путаных объяснений Андреевой о неразберихе, царящей в финансах Госиздата, которые мы опускаем. Еще любопытнее другая фраза: «Вот будет П.П. в Москве, восстановит и заведет связи...»

Связи Горького с Москвой осуществлялись через П. П. Крючкова, М. Ф. Андрееву, Е. П. Пешкову, полпреда в Италии П. М. Керженцева и других людей. А вот отношения с эмиграцией становились всё хуже. Даже с Владиславом Ходасевичем, прожившим в доме Горького в Италии немало времени, он круто расходится. Тем более что рухнул их совместный издательский проект.

Издавая журнал «Беседа», Горький мечтал объединить в нем все культурные силы Европы, русской эмиграции и советской метрополии. Журнал должен был издаваться в Германии, но распространяться в основном в России. Таким образом осуществлялся бы «мост» между заграничной и Россией. Молодые советские писатели имели бы возможность печататься за рубежом, а эмигрантов читали бы на родине. Такой замечательный проект.

Вероятно, получив неофициальное согласие из советской России, Горький на базе берлинского издательства «Эпоха» в 1923 году выпустил первый номер «Беседы». Работал он над ним со страстью и вдохновением. Сотрудниками кроме Ходасевича были Белый и Шкловский. Список приглашенных в журнал имен впечатляет: Роллан, Голсуорси, Цвейг, Ремизов, Осоргин, Муратов, Берберова. Из советских – Пришвин, Леонов, Федин, Каверин, Пастернак и другие.

Понятно, что в «Бесед» не могли напечататься, с одной стороны, Бунин и Мережковский, а с другой – Бедный и Фадеев. Как и в каприйский период, Горький лавировал, искал компромисса. И в Кремле его на словах поддержали. Но в секретных бумагах Главлита журнал «Беседа» оценили как издание идеологически вредное. Ни Пастернак, ни Зощенко, ни Каверин, ни Ольга Форш, ни другие советские авторы печататься в нем не имели права. Но самое главное – «Беседу» не пустили в СССР.

Всего вышло шесть номеров. Журнал был запрещен в советской метрополии и холодно принят в эмиграции. Горький был морально раздавлен. Его снова сделали невольным провокаторм, потому что он наобещал и эмигрантам, и советским писателям приличные гонорары. В который раз его обманули, не позволив сказку сделать былью. В который раз его социальный идеализм и страстное желание всех примирить и объединить для разумной коллективной работы разбились о тупое партийное чванство и политические амбиции.

Но история с «Беседой» преподала ему и еще один практический урок. Он понял, что за границей развивать деятельность ему не дадут. Для Горького-писателя соррентинский период был счастьем, вторым творческим взлетом после Капри. Для Горького-деятеля это был период жестокого кризиса и новой переоценки ценностей.

Насколько непросто складывались издательские и денежные дела Горького за границей, явствует из его переписки с «Мурой» (М. И. Будберг), которая была его доверенным лицом в этих вопросах. Вот она пишет ему в связи с продажей прав на экранизацию «На дне»: «Что же касается требования «скорее денег» с Вашей стороны, а моей просьбы «подождать», то тут я, может быть, проявила излишнюю мягкость. <...> Убедительно все же прошу Вас не предпринимать никаких мер. <...> Деньги у Вас пока есть: 325\$ – это 10 000 лир, и *должно*

(курсив М. И. Брудберг. – *П.Б.*) хватить на месяц”. “Должно” – настаивает Брудберг, намекая, что неплохо бы “семье” Горького ужаться в расходах.

К сожалению, писем Горького к баронессе Брудберг сохранилось очень мало. Но и этих писем достаточно, чтобы понять, как финансово трудно выживал Горький в предвоенной, кризисной Европе. “Коллекцию (нефрита. – *П.Б.*) безумно трудно продать, – пишет она, – я справлялась и в Париже, и в Лондоне, везде советуют продать частями и говорят, что стоимость на 50 % упала, т. е. не 700 ф<ранков>, а 350. Что делать?”

“Нефрит продать за 350–500 – чего? – уже совсем раздраженно спрашивает она в ответ на какое-то письмо Горького. – Драhm? Лей?”

Сиденье “на двух стульях” затянулось. С одной стороны, Горького настойчиво приглашают в Москву. Туда рвется сын Максим с молодой женой и двумя детьми: там его знают, там интересней. Из СССР приезжают молодые писатели. Они жизнерадостные, жадные до творчества, что всегда обожал Горький. Эмиграция смотрит на Горького или враждебно, или косо. Те, кто дружит с ним, сами мечтают вернуться в Россию, но как бы *под его гарантию*. “В Европе холодно, в Италии темно...” – напишет Осип Мандельштам о том, что происходило в Европе и в частности в Италии, где у власти стоял Муссолини. Обыск на вилле Горького “ребятами” Муссолини мало чем отличался от обыска “ребятами” Зиновьева в Петрограде. Но кому жаловаться? Когда обыскивали “ребята” Зиновьева, он помчался в Москву, к Ленину. Теперь – к советскому послу. Кто еще мог защитить обиженного всемирно известного писателя – в революционной России и в фашистской Италии? Только Ленин и советский посол. И однажды Горький понял, что у него *нет* другого варианта. *У него* другого варианта нет.

...В 10 часов вечера 27 мая 1928 года Горький вышел на перрон станции Негорелое и ступил на советскую землю после семилетней разлуки. Здесь, как и на всех других советских станциях, его приветствовали толпы людей. Тысячи людей! Апофеоз встречи состоялся на площади перед Белорусским вокзалом в Москве. Это было началом нового, последнего периода его жизни. Очень точно сказано об этом в воспоминаниях Ходасевича: “Деньги, автомобили, дома – все это было нужно его окружающим. Ему самому было нужно другое. Он в конце концов продался – но не за деньги, а за то, чтобы для себя и для других сохранить главную иллюзию своей жизни”.

День девятый Приглашение на казнь

Русская революция низвергла немало авторитетов. Ее мощь выражается, между прочим, в том, что она не склонялась перед “громкими именами”, она их брала на службу либо отбрасывала их в небытие, если они не хотели учиться у нее. Их, этих “громких имен”, отвергнутых потом революцией, – целая вереница: Плеханов, Кропоткин, Брежневская, Засулич и вообще все те старые революционеры, которые только тем и замечательны, что они старые. Мы боимся, что лавры этих “столпов” не дают спать Горькому. Мы боимся, что Горького “смертельно” потянуло к ним, в архив. Что эс, вольному воля!.. Революция не умеет ни жалеть, ни хоронить своих мертвецов.

Сталин, газета “Рабочий путь”, 1917, 20 октября

Крепко жму Вашу лапу!

Из письма Горького Сталину

«Чудесный грузин»

В феврале 1913 года, накануне возвращения Горького из первой итальянской эмиграции в Россию, Ленин написал ему письмо. Выражая в начале письма свои обычные опасения по поводу здоровья Горького – “Что же это Вы, батенька, дурно себя ведете? Заработались, устали, нервы болят. Это совсем беспорядки”, – Ленин снова и снова набрасывается на уже разгромленный им “махизм” вообще и на Богданова лично. “А Богданов скандалит: в «Правде» № 24 архиглупость. Нет, с ним каши не сварить! <...> Тот же махизм = идеализм, спрятанный так, что ни рабочие, ни глупые редактора в «Правде» не поняли. Нет, сей махист безнадежен, как и Луначарский...”

Но важно письмо не этим, а тем, что в нем произошла заочная смычка “Ленин – Горький – Сталин”. Отвечая на какое-то письмо Горького по поводу разгула национализма (проблема, которая сильно волновала Горького накануне Первой мировой войны), Ленин пишет: “Насчет национализма вполне с Вами согласен, что надо этим заняться посерьезнее. У нас один чудесный грузин засел и пишет для «Просвещения» большую статью, собрав *все* австрийские и пр. материалы. Мы на это наляжем. Но что наши резолюции (посылаю их в печати) «отписка, канцелярищина», это Вы зря изволите ругаться. Нет. Это не отписка. У нас и на Кавказе с.-д. грузины + армяне + татары + русские работали *вместе*, в *единой* с.-д. организации *больше десяти лет*. Это не фраза, а пролетарское решение национального вопроса. Единственное решение. Так было и в Риге: русские + латыши + литовцы; отделялись *лишь сепаратисты* — Бунд. То же в Вильне”.

По-видимому, Ленина, до его размолвки со Сталиным, устраивало, как решал национальный вопрос “чудесный грузин”. Устраивало его и то, что с Кавказа, в бытность там Сталина и Камо, в большевистскую кассу поступали деньги от экспроприации. Ленина вообще устраивало все, что не противоречило его партийным убеждениям. И этот принцип Сталин, несомненно, перенял у Ленина. Так что он был искренен, когда, оказавшись на вершине власти, смиренно называл себя его “верным учеником”.

Достаточно оценить, как Ленин относился к собственной стране и ее населению. В письме к Горькому (конец января 1913 года) Ленин писал: “Война Австрии с Россией была бы очень полезной для революции (во всей Восточной Европе) штукой, но мало вероятно, чтобы Франц Иозеф (так у Ленина. – П.Б.) и Николаша доставили нам сие удовольствие”.

“Сие удовольствие” большевикам доставили в августе 1914 года. Но они сумели воспользоваться им только после февраля 1917-го.

Поражает не только цинизм и жестокость Ленина по отношению к своей родине и своему народу, но и откровенность, с которой он высказывает свою точку зрения Горькому. Ведь Горького разгул национализма волновал именно из-за опасения новых расколов, раздоров, войн.

И все-таки проблема притяжения-отталкивания между Лениным и Горьким более или менее понятна. Каждый из них – авторитет, большой человек. Пусть один из них сектант, а второй еретик. Между этими категориями есть полярность, но существует и взаимопонимание и взаимопритяжение.

Но главное – Ленин в глазах Горького был интеллигентом, а это для Горького являлось решающим обстоятельством. Ленин был умницей, эрудитом. Вне партийного раскола он мог вести беседу в тональности, которая была приятна Горькому.

Легко поверить, что Ленин действительно проверял простыни в гостиничном номере Горького в Лондоне – не сыроваты ли? И едва ли Горький выдумывал, когда писал, что Ленин “заразительно смеялся”, как ребенок. “Заразительный” смех Ленина не один Горький отмечал, как не один Горький отмечал загадочный ленинский *магнетизм*, его способность влюблять в себя партийцев, даже своих оппонентов.

Но что общего у Горького со Сталиным, кроме густых усов? Понятно, что могло сближать его с интеллигентом Львом Каменевым или “любимцем партии” Николаем Бухариным. Даже с Григорием Зиновьевым у Горького до 1921 года были почти теплые отношения. Но об отношениях Горького со Сталиным до того, как они вступили в переписку в конце двадцатых годов, ничего не известно, кроме грубого окрика Сталина в 1917 году в газете “Рабочий путь”, вынесенного в эпиграф этой главы.

Впервые Сталин проявил себя в Гражданскую войну, а до этого был неприметной фигурой в партии. Будучи после Октября комиссаром по делам национальностей, Сталин имел стол в общей комнате с табличкой, написанной от руки. От Сталина того времени до всемогущего вождя, которого Анри Барбюс назвал лицом стомиллионного советского народа, расстояние почти космическое.

Однако ни тот ни другой Сталин не мог быть близок Горькому. Он любил больших “человеков”, но не терпел тиранов. Пресловутый вождизм Горького проявился лишь в самом конце его жизни, в статьях, написанных словно другим человеком. Прочитав его письма к членам писательского товарищества “Серрапионовы братья” Лунцу, Зошенко, Каверину, Вс. Иванову, Федину и другим, можно ощутить, сколько в них было неподдельной любви к “молодым”. Но главное – сколько в них потрясающего такта! И это понятно. У Горького была школа переписки с Чеховым, Толстым, Короленко. Горький элементарно не мог наругать начинающему таланту.

Грубость Сталина отмечали многие. Был он груб и с писателями. “Пожалуй, только с М. Горьким он не мог себе позволить снисходительного, порой грубого тона, каким он говорил нередко с другими писателями”, – пишет Дмитрий Волкогонов, но и он не совсем прав. После охлаждения отношений с Горьким, с 1934 года, Сталин в письмах к нему позволял себе тон если не снисходительный, то достаточно иронический. И то, что он посчитал себя вправе ломиться к умирающему Горькому в два часа ночи, говорит о многом. Из этого становится понятным бешенство больного и беспомощного Ленина, когда Сталин оскорбил Крупскую.

Но тогда почему от “дружищи” Ленина Горький бежал, а к Сталину вернулся, да еще и со словами хвалы на устах? Каким золотым ключиком к душам человеческим обладал этот “чудесный грузин”, что сумел заманить к себе Горького на восемь лет, на весь остаток его жизни, и использовать его мировой авторитет, сделав его частью основания своей пирамиды власти?

Возвращение «условно»

В конце 1921 года Горький уезжал из России, обозленный на коммунистов. Даже трудно сказать, на кого именно он был в наибольшей степени зол. Видимо, все-таки на Зиновьева. Но не понимать, что в центре всех событий стоит его “друг” Ленин, он не мог.

Из переписки Горького с Короленко 1920–1921 годов можно судить об отношении Горького к политике большевиков, то есть Ленина и Троцкого. “Вчера Ревтрибунал судил старого большевика Станислава Вольского, сидевшего десять месяцев в Бутырской тюрьме за то, что издал во Франции книжку, в которой писал неласково о своих старых товарищах по партии. Я за эти три года много видел, ко многому «притерпелся», но на процессе, выступая свидетелем со стороны защиты, прокусил себе губу насквозь”.

В этом же письме Горький с уважением отзывается о патриархе Тихоне, которого Ленин ненавидел: “...Очень умный и честно мыслящий человек”. И это Горький, который не терпел церковников, так как еще с юности был обижен ими! Насколько же должно было измениться его сознание!

Письмо было написано в связи со смертью зятя Короленко К. И. Ляховича. Его арестовали, в тюрьме он заразился сыпным тифом, и тогда его отпустили умирать. “Удар, Вам нанесенный, мне понятен, – пишет Горький, – горечь Вашего письма я очень чувствую, но – дорогой мой В.Г. – если б Вы знали, сколько таких трагических писем читаю я, сколько я знаю тяжелых драм! У Ивана Шмелева расстреляли сына, у Бориса Зайцева – пасынка. К. Тренев живет в судорожном страхе. А. А. Блок, поэт, умирает от цинги, его одолела ипохондрия, опасаются за его рассудок, – а я не могу убедить людей в необходимости для Блока выехать в Финляндию, в одну из санаторий”.

Смерть Блока, расстрел Гумилева (ускоренный именно потому, что Горький бросился хлопотать за Гумилева в Москву), наглость Зиновьева и непробиваемое мнение Ленина, что все, чем занимается Горький, – это “пустяки” и “зряшня суетня”, привели к тому, что Горький из России уехал. Но поостыв в эмиграции, он вновь стал посматривать в сторону советской России. Недостаток денег начинает сильно омрачать быт соррентинского отшельника, причем главным образом даже не его, а его большой семьи. Семья Горького привыкла жить на широкую ногу. Тимоша любила одеваться по последней европейской моде. Так пишет Нина Берберова, кстати, без тени осуждения. Сын Максим был страстным автогонщиком. Спортивные машины стоили дорого. Только в СССР он мог позволить себе иметь спортивную модель итальянской “лянчи”. Наконец, глава семьи привык жить в почти ежевечернем окружении гостей, за щедро накрытым столом. И не привык считать деньги настолько, что их от него прятали.

Все это – неограниченный кредит, отсутствие забот о доме и даче, щедрые гонорары и т. д. – Сталин обещал Горькому через курсировавших между Москвой и Горьким людей. Впрочем, это было и так ясно: всемирно известного писателя, вернувшегося в СССР, не могли поселить в коммунальной квартире, как Цветаеву. Эта часть соглашения с Кремлем была очевидна, но едва ли сам Горький ожидал, что ему подарят особняк Рябушинского, дачи в Горках и Крыму. В этой части их соглашения Сталин переиграл, как классический восточный деспот, закармливающий фаворита халвой до смерти. Да и символика была не без фарса. Хозяин роскошного особняка, построенного архитектором Ф. О. Шехтелем, – С. П. Рябушинский жил в эмиграции, как и все братья Рябушинские, члены огромной купеческой семьи, изгнанной из России революцией. Оставшиеся на родине их сестры, Надежда и Александра, погибли на Соловках в 1938 году.

В материальном отношении Горький и семья получили всё и даже сверх меры. Между тем не будем забывать, что в 1917–1921 годах в квартире Горького на Кронверкском в шкафу

висел один костюм, а на фотографии празднования годовщины издательства “Всемирная литература” на столе стояли только чашки для чая.

Справедливости ради надо сказать, что Сталин в этом отношении был дальновиднее своего учителя Ленина. Литературе он придавал огромное значение. В разработке проекта Союза писателей СССР он принимал личное участие и отступил под нажимом Горького, который пожелал видеть в руководстве своих людей. Он всегда умел временно отступить, чтобы затем вернуться и править единолично.

В отношении писателей у Сталина была весьма избирательная логика. Сталин поддерживал жившего в Кремле большевистского поэта Демьяна Бедного с настоящей фамилией Придворов. Но вторым после Горького по значению писателем стал граф А. Н. Толстой, когда-то работавший в белогвардейской прессе. Сталину нравилась пьеса Константина Тренёва “Любовь Яровая”. Но он поддержал и Булгакова с его “Днями Турбиных”. Смертельно больному Куприну было позволено вернуться на родину. И не просто позволено. Ему была сделана бесплатная операция раковой опухоли, созданы все условия, чтобы он беззаботно дожил последние дни. А ведь Куприн во время Гражданской войны писал оглушительно резкие статьи против “красных”. Откуда такая милость? Какой от возвращения Куприна лично Сталину был прок?

Объяснения можно найти разные. Но была некая общая логика, согласно которой Сталин “окормлял” наиболее крупных писателей. Когда Бунин получил Нобелевскую премию, Сталин будто бы сказал: “Ну, теперь он и вовсе не захочет вернуться...” Допустим, это легенда. Но после войны Бунина реально пытались заманить в СССР. Это известный факт, как и то, что на банкете в советском посольстве Бунин вместе с остальными поднял бокал в честь генералиссимуса. И Маяковского Сталин безошибочно выделил после его смерти среди футуристов и “лефовцев”. И к Шолохову у него было особое отношение.

В то же время именно в период правления Сталина были уничтожены многие прекрасные поэты и прозаики. Понять логику этих казней и немилостей в некоторых случаях невозможно. Уничтожили Даниила Хармса, но до поры не трогали Бориса Пастернака. Старательно истребляли лучших крестьянских писателей – Клюева, Орешина, Клычкова, Васильева. От очерка “Впрок” Андрея Платонова Сталин пришел в такое неопишное бешенство, что автор на всю жизнь был вычеркнут из списка советских писателей. С другой стороны, не был запрещен “Тихий Дон”.

Сталин вел с писателями свою, достаточно сложную игру. Конечно, это не была интрига того накала страстей, которая была у него с оппозицией. Но это были тоже напряженные и по-своему увлекательные игры (только не для тех, кого казнили) между литературой и Сталиным. И вот в эту игру Горький решил ввязаться, рассчитывая на свой мировой авторитет и понимая, что Сталин нуждается в нем.

В короткий период правления Ленина ничего подобного быть не могло. Ленин интересовался не литературой, а “партийной литературой”. Наконец, ему было не до литературы. В стране шла Гражданская война, царил социальный хаос, власть коммунистов находилась под постоянной угрозой. Но в конце двадцатых годов многое изменилось, по крайней мере в столицах. Фасадная часть жизни в СССР налаживалась. О страшном голоде на Украине и Кавказе 1929 года, унесшем миллионы жизней и сделавшем миллионы детей беспризорниками, малолетними проститутками и преступниками, советские газеты ничего не писали. О свержении коммунистической власти не могло быть и речи. У власти появилась возможность обращать внимание на то, что всегда больше всего интересовало Горького: искусство, литература, наука, социальная педагогика. К литературе со стороны советской власти стал проявляться повышенный интерес. Молодые советские писатели могли массовыми тиражами печататься в журналах, издавать книги, жить на гонорары, как это было до революции.

Над всеми ними висел дамоклов меч коммунистической идеологии. Но, во-первых, многие из них разделяли эту идеологию, а во-вторых, писатель, занятый литературным трудом, способен преодолеть идеологию, “переварив” ее по законам художественного творчества. И в этом тоже была игра – опасная, но увлекательная. И материально очень выгодная.

Советских писателей стали выпускать за границу. Почти каждый из них считал святым долгом посетить соррентинского отшельника, выразить свое почтение и привезти с родины общий поклон. Напомнить, что его ждут, ему всегда рады и его место там, а не здесь. Кстати, эти писательские командировки с неременным заездом к Горькому в Сорренто тоже были частью политики Сталина, направленной на его возвращение в СССР. Горькому давали понять: смотрите, как свободно разгуливает по Европе Всеволод Иванов, бывший сибирский типографский наборщик, а ныне знаменитый советский писатель. Разве это не свобода, Алексей Максимович? Не торжество народной культуры, о которой вы, Алексей Максимович, мечтали?

Список советских писателей, которые посетили Горького в Сорренто, впечатляет: Толстой, Форш, Леонов, Иванов, Маршак, Гладков, Афиногенов, Никулин, Бабель, Лидин, Кин, Катаев, Веселый, Асеев, Коган, Жаров, Безыменский, Уткин и другие. Только Шолохову не удалось до него добраться. Но кто был в этом виноват? Сталин? Отнюдь. После письма Горького к Сталину с просьбой ускорить выдачу Шолохову загранпаспорта паспорт был незамедлительно выдан. А вот итальянские власти застопорили выдачу визы.

Из всех писателей, посетивших Горького в Сорренто, почти никто реально не учился у него *писать*. Горький не мог не понимать этого, читая книги Зошенко, Каверина, Леонова, Иванова и других. Не мог не видеть, что куда более авторитетными для них являются Гоголь и Достоевский, а из современных, например, Андрей Белый и Борис Пильняк. Но Горький 20-х годов еще не впал в вождизм. Его письма к молодым исполнены пониманием их поисков, хотя и не без некоторого ворчания на чрезмерную любовь к Андрею Белому и “нигилисту” Борису Пильняку. Наконец, сам факт, что в нем нуждаются, его ждут в СССР молодые азартные советские писатели (а у них был резон иметь защиту в лице Горького как от власти, так и от “напостовской” погромной критики), не мог не растрогать его в условиях отшельничества и откровенной травли со стороны эмиграции. Это был весомый аргумент в пользу возвращения в СССР. Думается, даже более весомый, чем финансовые проблемы.

И все же Горький колебался.

Деятель по натуре, он не мог заниматься чистым творчеством. Начатый в Сорренто “Клим Самгин” грозил стать безразмерным. К тому же Горький всегда умел сочетать творчество и деятельность. Так что не только сына Максима с женой, но и его самого тянуло в СССР.

Однако он понимал, что цена слишком высока.

Кто первый пригласил Горького? Как ни странно, это был все тот же Григорий Зиновьев. Уже в июле 1923 года Зиновьев как ни в чем не бывало пишет Горькому в Берлин: “Пишу под впечатлением сегодняшнего разговора с приехавшим из Берлина Рыковым. Еще раньше Зорин мне говорил, что Вы считаете, что после заболевания В.И-ча у Вас нет больше друзей среди нас. Это совсем, совсем не так, Алексей Максимович. <...> Весть о Вашем нездоровье тревожила каждого из нас чрезвычайно. Не довольно ли Вам сидеть в сырых местах под Берлином? Если нельзя в Италию <...> – тогда лучше всего в Крым или на Кавказ. А подлечившись – в Питер. Вы не узнаете Петрограда. Вы убедитесь, что не зря терпели питерцы в тяжелые годы. Я знаю, что вы любите Петроград и будете рады увидеть улучшения.

Если Вы будете в принципе за это предложение, то Стомоняков (или Н. Н. Крестинский) всё устроят.

Дела хороши. Подъем – вне сомнения. Только с Ильичом беда”.

К письму Зиновьева сделана приписка рукой Бухарина: “Дорогой Алексей Максимович! Пользуюсь случаем (сидим вместе с Григорием на заседании), чтобы сделать Вам приписку. Я Вам уже давно посылал письмо, но ответа не получил. С тех пор у нас основная линия на

улучшение проступила до того ясно, что Вы бы «взвились» и взяли самые оптимистические ноты. Только вот огромное несчастье с Ильичом. Но все стоит на прочных рельсах, уверяю Вас, на гораздо более прочных, чем в гнилой Центральной Европе. Центр жизни (а не хныканья) у нас. Сами увидите! Насколько было бы лучше, если бы Вы не торчали среди говенников, а приезжали бы к нам. Жить здесь в тысячу раз радостнее и веселее! Крепко обнимаю, *Бухарин*”.

Два члена ЦК приглашают Горького в Россию. Это через год после его гневного письма к Рыкову по поводу суда над эсерами, которое Ленин назвал “поганым”. Бухарин делает приписку “на заседании”. На заседании чего? Политбюро? В любом случае, столь ответственное приглашение они не могли написать без коллективного решения партийной верхушки. А в ней, начиная с болезни Ленина, все больше и больше укреплялся Сталин, постепенно сосредоточивая в своих руках неограниченную власть. Даже телеграммы о смерти Ленина “губкомам, обкомам, национальным ЦК” были отправлены за подписью “Секретарь ЦК И. Сталин”.

Вот факт, опрокидывающий классические представления об отношениях Горького с Лениным и Сталиным. Горький в разговоре с А. И. Рыковым в Берлине жалуется, что, кроме Ленина, друзей в верхушке партии у него не осталось. А между тем его приглашают вернуться обратно в Россию именно тогда, когда Ильич настолько болен, что отошел от дел, и власть переходит к Сталину.

Кто же был истинным другом Горького?

Ситуация была слишком запутанной. Встреча Рыкова с Горьким в Берлине и откровенная беседа между ними вне досягаемости “уха” ГПУ – это один факт. Приглашение Горького в СССР его врагом Зиновьевым и Бухариным – другой. Верить в искренность письма Зиновьева можно с большой натяжкой, памятуя о том, что Горький жаловался на Зиновьева Ленину, и тот был вынужден устроить “третейский суд” на квартире Е. П. Пешковой с участием Троцкого, суд, на котором у Зиновьева случился сердечный приступ.

Но факт остается фактом: Горького позвали, когда Ильич отошел от дел, а Сталин к ним приближался. И Горький, переговоривший с Рыковым в Берлине, это прекрасно знал.

Жалобы Горького Рыкову тоже весьма интересны. Возможно, таким образом Горький зондировал почву для возвращения, как бы намекая большевистской верхушке, что о нем забыли. Дело в том, что Горький мечтал поехать в Италию, но именно туда до 1924 года его не пускали итальянские власти из-за “политической неблагонадежности”, проще говоря, из-за связей с коммунистами. В Берлине же, одном из центров русской эмиграции, Горький чувствовал себя неуютно. Тем более невозможно было для него жить в Париже, другом эмигрантском центре, куда более сурово настроенном против Горького. И вообще, в “сырой”, “гнилой” Центральной Европе ему не нравилось. Другое дело – Капри, Неаполь! Там, кроме России, была прописана его душа. Когда итальянская виза была все-таки получена, вопрос о поездке в СССР отпал на неопределенное время. На Капри Муссолини его не пустил. Но и в Сорренто было хорошо!

С 1923 по 1928 год Горького методично обрабатывают с целью возвращения. Для Страны Советов Горький – это серьезный международный козырь. Вариант возвращения постоянно держится Горьким в голове и обсуждается семьей. Но он не торопится. На эпистолярные предложения о хотя бы ознакомительной поездке в СССР отвечает вежливым молчанием.

Ждет.

Присматривается.

Вообразите две чаши весов. На одной чаше – культурные достижения СССР, частью мнимые, но частью и действительные, как, например, расцвет советской литературы, возникновение новых литературных журналов взамен закрытых старых: “Красная новь”, “Молодая гвардия”, “Новый мир”, “Октябрь”, “Сибирские огни” и др. На этой же чаше весов – отсутствие перспективы получения Нобелевской премии и злоба эмиграции, доходящая до абсурда. Бунин открыто матерится в его адрес на эмигрантских собраниях. Здесь же Бенито Муссолини, не

испытывающий уважения к Горькому и не выгоняющий его из Италии только потому, что пока еще вынужден считаться с мировым общественным мнением. Здесь же подлинная тоска по России, по Волге, по русским лицам. Здесь же интересы сына Максима, которого Горький очень любил. Здесь же финансовые затруднения, все более и более досадные.

На другой чаше весов – понимание того, что, как ни крути, а речь идет о *продаже*. Горький слишком хорошо знал природу большевистского строя и как человек умный и зоркий не мог не понимать, что свободы в СССР ему не дадут. Цена возвращения – отказ от еретичества. Можно быть еретиком в эмиграции, но в СССР быть еретиком невозможно. Разве что на Соловках.

На этой же чаше весов и непонятный Горькому характер Сталина. Во время встреч с Рыковым в 1923 году и в переписке с ним, а также во время встречи с Каменевым в Сорренто в конце двадцатых между ними и Горьким несомненно шел разговор о Сталине. Часть писем Рыкова, Каменева и Бухарина Горький, возвращаясь в СССР, оставил вместе с частью своего архива М. И. Будберг, жившей в Лондоне. Эту часть архива вместе с письмами Рыкова и Бухарина Сталин впоследствии страстно возжелал получить и, по всей видимости, получил от Будберг. Сталин как человеческий тип не мог нравиться Горькому. От Сталина разлило восточной деспотией, а Горький был интеллигент, “западник”. Но Сталин ценил литературу и в отличие от Ленина не отсекал Горького, а, напротив, заманивал. Это хотя и льстило, но настораживало. Тем самым облегчало груз на второй чаше весов.

На эту же чашу весов давил продолжающийся в стране террор, уже не такой наглый и откровенный, как в первые годы революции, но ничуть не менее страшный. И, пожалуй, более масштабный. Разорение деревни ради “индустриализации”. Процессы над “вредителями”. Планомерное истребление всяческой “оппозиции”. Только Сталин в отличие от Ленина не бежал с утра в Женевскую библиотеку, чтобы собирать материал для книги “Материализм и эмпириокритицизм”. Сталин расправлялся с оппозиционерами физически. Впрочем, старых большевиков Сталин пока не трогал. Он сделает это немедленно после смерти Горького.

А пока в 1927 году внезапно исключается из партии Лев Каменев, наиболее культурно близкий Горькому человек из большевистской верхушки. Еще раньше, в 1925 году, он был объявлен одним из организаторов “новой оппозиции”, в 1926 году выведен из Политбюро. Казалось бы, это очень весомый груз на второй чаше весов. Но здесь-то и проявилась хитрость Сталина, которой Горький не разгадал. Сталин сделал так, что его борьба с оппозицией и выдавливание старых большевиков из властной верхушки послужили как раз в пользу возвращения Горького. Восточный деспот легко карает, но и легко милует. В 1928 году, когда Горький первый раз приехал в СССР, Лев Каменев был восстановлен в партии. В 1932 году его снова исключили и отправили в ссылку, как в царское время. Но в 1933 году благодаря заступничеству Горького Каменева вернули в Москву и сделали директором издательства “Академия”, созданного по желанию Горького.

Сталин безупречен в исполнении просьб Горького. Он не называет, как Ильич, эти просьбы “пустяками” и “зряшной суетней”. Неожиданные на первый взгляд взлеты и падения Томского, Бухарина, Радека объясняются именно хитрой сталинской игрой, в которую, как король в шахматах (самая слабая, но самая важная фигура), был втянут Горький. Сталин использовал его, а Горький думал, что обыгрывал Сталина.

Видный советский чиновник, один из создателей Союза писателей, автор термина “социалистический реализм”, И. М. Гронский потом вспоминал: “Сталин делал вид, что соглашается с Горьким. Он вводил в заблуждение не только его, но и многих других людей, куда более опытных в политике, чем Алексей Максимович. По настоянию Горького Бухарин был назначен заведующим отделом научно-технической пропаганды ВСНХ СССР (затем главным редактором газеты «Известия». – П.Б.), а Каменев – директором издательства «Академия»”.

После смерти Горького обоих казнили.

Свой шестидесятилетний юбилей в марте 1928 года Горький отмечал за границей. Его чествовали писатели всего мира. Поздравительные послания пришли от Стефана Цвейга, Лиона Фейхтвангера, Томаса и Генриха Маннов, Герберта Уэллса, Джона Голсуорси, Сельмы Лагерлёф, Шервуда Андерсона, Эптона Синклера и других. И в то же время во многих городах и селах Советского Союза точно по мановению волшебной палочки открылись выставки, посвященные жизни и творчеству Горького, состоялись лекции и доклады, шли спектакли и концерты, посвященные юбилею “всемирно любимого писателя”.

20 мая в Риме Горький встречается с Шаляпиным и безрезультатно уговаривает его ехать в СССР. 26 мая в 6 часов вечера из Берлина он поездом выезжает в Москву. В 10 часов вечера 28 мая он сходит на перрон станции Негорелое, где для него уже организован митинг.

Горький вернулся.

Но “условно”.

Одним из главных условий соглашения между Горьким и Сталиным был беспрепятственный выезд в Европу и возможность жить в Сорренто зиму и осень. В 1930 году Горький даже не приехал в СССР по состоянию здоровья.

В ночь с 22 на 23 июля 1930 года, находясь в Сорренто, Горький оказался хотя и не в эпицентре, но и недалеко от одного из крупнейших землетрясений в Италии, сравнимого по масштабам с предыдущим землетрясением в Мессине, унесшим свыше тридцати тысяч жизней. Он ярко описал эту трагедию в письме к Груздеву:

“Вилланова – горный древний городок – рассыпался в мусор, скатился с горы и образовал у подножия ее кучу хлама высотой в 25 метров. Верхние дома падали на нижние, сметая их с горы, и от 4 т<ысяч> жителей осталось около двухсот. Так же в Монте Кальво, Ариано ди Пулья и целом ряде более мелких коммун. Сегодня официальные цифры: уб<ито> 3 700, ранено – 14 т<ысяч>, без крова – миллион. Но – это цифры для того, чтобы не создавать паники среди иностранцев <...>. В одной коммуне жители бросились в церковь, а она – обрушилась, когда в нее набилось около 300 ч<еловек>. Все это продолжалось только 47 секунд. Страшна была паника. Ночь, половина второго, душно, необыкновенная тишина, какой не бывает нигде, т. е. – я нигде ее не наблюдал. И вдруг земля тихонько пошевелилась, загудела, встряхнулись деревья, проснулись птицы, из домов по соседству с нами начали выскакивать полуголые крестьяне, зазвонили колокола; колокола здесь мелкие, звук у них сухой, жестяной, истерический; ночной этот звон никогда не забудешь. Воют собаки. На площади Сорренто стоят люди, все – на коленях, над ними – белая статуя Торквато Тассо и неуклюжая, серая – Сант-Антонино, аббата. Людей – тысячи три, все бормочут молитвы, режут дети, плачут женщины, суетятся черные фигуры попов, но – все это не очень шумно, – понимаете? Не очень, ибо все ждут нового удара, все смотрят безумными глазами друг на друга, и каждый хлопок двери делает шум еще тише. Это – момент потрясающий, неопишимо жуткий. Еще и теперь многие боятся спать в домах. Многие сошли с ума. <...> Несчастливая страна, все хуже живет ее народу, и становится он все сумрачней и злей. А вместе с этим вчера, в день св. Анны, в Сорренто сожгли фейерверк в 16 т<ысяч> лир, хотя в стране объявлен траур”.

Это страшное событие произошло за год до переезда Горького в СССР.

В 1931 году он “как бы” вернулся окончательно, но на том же условии свободного выезда в Италию. Сталин соблюдал его до 1934 года, пока окончательно не понял, что использовать Горького в полной мере не удастся. С другой стороны, Горький понял политику Сталина в отношении себя и оппозиции. И тогда Горького “заперли” в СССР.

Фактически посадили под домашний арест.

Горький – в золотой клетке. Он мечется, однако старается убедить себя и других, что все в полном порядке. Но Л. А. Спиридонова в книге “Горький: новый взгляд” приводит доку-

мент, обойти который, как это ни грустно, нельзя. Секретный лист хозяйственных расходов 2-го отделения АХУ НКВД:

По линии Горки-10. По данному объекту обслуживалось три точки: дом отдыха Горки-10, Мал. Никитская, дом в Крыму “Тессели”. Каждый год в этих домах производились большие ремонты, тратилось много денег на благоустройство парков и посадку цветов, был большой штат обслуживающего персонала, менялась и добавлялась мебель и посуда. Что касается снабжения продуктами, то все давалось без ограничений. Примерный расход за 9 месяцев 1936 г. следующий:

- а) продовольствие руб. 560 000,
- б) ремонтные расходы и парковые расходы руб. 210 000,
- в) содержание штата руб. 180 000,
- г) разные хоз. расходы руб. 60 000. Итого: руб. 1 010 000. Кроме того, в 1936 г. куплена, капитально отремонтирована и обставлена мебелью дача в деревне Жуковка № 75 для Надежды Алексеевны (невестка Горького. – П.Б.). В общей сложности это стоило 160 000 руб.

Для справки: рядовой врач получал в то время около 300 рублей в месяц. Писатель за книгу – 3 000 рублей. Годовой бюджет семьи Ильи Груздева, первого биографа Горького, составлял около 4 000 рублей. Семья Горького в 1936 году обходилась государству примерно в 130 000 рублей в месяц... Горький не мог не понимать всю *ложность* своего положения, явившегося печальным следствием его немисливо запутанной жизни, его великих творческих замыслов и до конца так и не понятых людьми духовных исканий. Но в результате этих исканий оказалось погребенным самое ценное и труднообъяснимое в мировоззрении Горького – его великая идея Человека, разменянная в конце его жизни на множество пострадавших да и просто загубленных *человеков*.

Конец Горького

О последних годах жизни Горького и о его отношениях со Сталиным написано немало. Не найдется ни одной серьезной книги о Сталине, где так или иначе не присутствовало бы имя Горького. И наоборот: говорить о конце Горького вне связи со Сталиным невозможно.

Смерть Горького породила устойчивый слух о том, что он умер не естественной смертью, а был отравлен по приказу Сталина. Версий отравления было несколько. Согласно одной из них Горький был отравлен конфетами, которые Сталин подарил ему; согласно другой версии, высказанной горьковедом В. И. Барановым, Горького по заданию Сталина отравила возлюбленная писателя Мария Будберг.

Одним из первых написал об отравлении Горького революционер-эмигрант Б. И. Николаевский. Затем эта версия претерпевала различные изменения, но суть ее оставалась неизменной: Горький был опасен для Сталина, и тот поспешил его убрать. Загадочные смерти Фрунзе, Кирова, Орджоникидзе, жены Сталина Надежды Аллилуевой как будто говорят в пользу этой версии.

Но здесь следует быть предельно осторожным. Слухи о том, что Сталин убил Горького, по сей день остаются бездоказательными. Версия с конфетами не выдерживает никакой критики. Горький не любил сладости, зато обожал угощать ими гостей, санитаров и своих горячо любимых внучек. Таким образом, отравить конфетами можно было кого угодно вокруг Горького, кроме него самого. Только идиот мог задумать подобное убийство. Ни Сталин, ни Ягода не были идиотами.

В версии В. И. Баранова об отравлении Горького Марией Будберг есть что-то шекспировское. Если Горького действительно отравила женщина, которую он любил больше всех в своей

жизни, которой он посвятил свое закатное произведение “Жизнь Клина Самгина” – есть от чего вздрогнуть. Но в версии В. И. Баранова видны две существенные нестыковки. Да, Будберг была одной из немногих, кто оставался с Горьким наедине перед его смертью. Да, она была заинтересована в том, чтобы доходы от посмертных зарубежных изданий Горького поступали ей. Собственно, этого она и добилась, неотлучно дежуря возле Горького. Но о том, что Горький выплевывал какую-то таблетку, которую давала ему Будберг (что в качестве доказательства ее вины приводит В. И. Баранов), мы знаем из воспоминаний *самой же Будберг*, продиктованных через несколько дней после смерти Горького. Какой смысл убийце рассказывать о том, как она убивала Горького? И по письмам Будберг к Горькому, и по книге о ней Нины Берберовой “Железная женщина” можно судить о незаурядном уме этой удивительной спутницы Горького.

Не может служить в пользу версии В. И. Баранова и тот факт, что Будберг после смерти писателя отпустили в Лондон. И Ягода, и Сталин прекрасно знали, что Будберг связана с английской разведкой и что ее вторым возлюбленным является Герберт Уэллс, чья книга “Россия во мгле” не устраивала сталинский режим. Будберг была женщиной умной, но склонной к алкоголизму и непредсказуемой в своем поведении. Если она действительно устранила Горького, то выпускать ее из СССР было неразумно.

Доказательств убийства Горького, как и его сына Максима, не существует. Между тем тираны имеют право на презумпцию невиновности. Сталин совершил достаточно преступлений, чтобы вешать на него еще одно – недоказанное...

Реальность была такова: 18 июня 1936 года на казенной даче в Горках-10 скончался великий русский писатель Максим Горький. Тело его, вопреки завещанию похоронить рядом с сыном на кладбище Новодевичьего монастыря, было по постановлению Политбюро ЦК ВКП(б) кремировано, а урна с прахом замурована в Кремлевскую стену. В просьбе вдовы Е. П. Пешковой отдать ей хотя бы часть праха для захоронения в могиле сына коллективным решением Политбюро было отказано.

Горький глазами современников

Владислав Ходасевич Воспоминания о Горьком

<1>

Я помню отчетливо первые книги Горького, помню обывательские толки о новоявленном писателе-босяке. Я был на одном из первых представлений “На дне”, однажды написал напыщенное стихотворение в прозе, навеянное “Песнью о Соколе”. Но всё это относится к поре моей ранней юности. Весной 1908 года моя приятельница Нина Петровская была на Капри и видела на столе у Горького мою первую книгу стихов. Горький спрашивал обо мне, потому что читал всё и интересовался всеми. Однако долгие годы меж нами не было никакой связи. Моя литературная жизнь протекала среди людей, которые Горькому были чужды и которым Горький был так же чужд.

В 1916 году в Москву приехал Корней Чуковский. Он сказал мне, что возникшее в Петербурге издательство “Парус” собирается выпускать детские книги, и спросил, не знаю ли я молодых художников, которым можно заказать иллюстрации. Я назвал двух-трех москвичей и дал адрес моей племянницы, жившей в Петербурге. Ее пригласили в “Парус”, там она познакомилась с Горьким и вскоре сделалась своим человеком в его шумном, всегда многолюдном доме.

Осенью 1918 года, когда Горький организовал известное издательство “Всемирная литература”, меня вызвали в Петербург и предложили заведовать московским отделением этого предприятия. Приняв предложение, я счел нужным познакомиться с Горьким. Он вышел ко мне, похожий на ученого китайца: в шелковом красном халате, в пестрой шапочке, скуластый, с большими очками на конце носа, с книгой в руках. К моему удивлению, разговор об издательстве был ему явно неинтересен. Я понял, что в этом деле его имя служит лишь вывеской.

В Петербурге я задержался дней на десять. Город был мертв и жуток. По улицам, мимо заколоченных магазинов, лениво ползли немногочисленные трамваи. В нетопленных домах пахло воблой. Электричества не было. У Горького был керосин. В его столовой на Кронверкском проспекте горела большая лампа. Каждый вечер в ней собирались люди. Приходили А. Н. Тихонов и З. И. Гржебин, ворочавшие делами “Всемирной литературы”. Приезжал Шаляпин, шумно ругавший большевиков. Однажды явился Красин – во фраке, с какого-то “дипломатического” обеда, хотя не представляю себе, какая тогда могла быть дипломатия. Выходила к гостям Мария Федоровна Андреева со своим секретарем П. П. Крючковым. Появлялась жена одного из членов императорской фамилии – сам он лежал больной в глубине горьковской квартиры. Большой портрет Горького – работа моей племянницы – стоял в комнате больного. У него попросили разрешения меня ввести. Он протянул мне горячую руку. Возле постели рычал и бился бульдог, завернутый в одеяло, чтобы он на меня не бросился.

В столовой шли речи о голоде, о Гражданской войне. Барабания пальцами по столу и глядя поверх собеседника, Горький говорил: “Да, плохи, плохи дела”, – и не понять было, чьи дела плохи и кому он сочувствует. Впрочем, старался он обрывать эти разговоры. Тогда садились играть в лото и играли долго. Ненастною петербургскою ночью, под хлопанье дальних выстрелов, мы с племянницей возвращались к себе на Большую Монетную.

Вскоре после того Горький приехал в Москву. Правление Всероссийского союза писателей, недавно возникшего, поручило мне пригласить Горького в число членов. Он тотчас

согласился и подписал заявление, под которым, по уставу, должна была значиться рекомендация двух членов правления. Рекомендацию подписали Ю. К. Балтрушайтис и я. Эта забавная бумага, вероятно, найдется в архиве Союза, если он сохранился.

Летом 1920 года со мной случилась беда. Обнаружилось, что одна из врачебных комиссий, через которую проходили призываемые на войну, брала взятки. Нескольких врачей расстреляли, а все, кто был ими освобожден, подверглись переосвидетельствованию. Я очутился в числе этих несчастных, которых новая комиссия сплошь признавала годными в строй, от страха не глядя уже ни на что. Мне было дано два дня срока, после чего предстояло прямо из санатория отправляться во Псков, а оттуда на фронт. Случайно в Москве очутился Горький. Он мне велел написать Ленину письмо, которое сам отвез в Кремль. Меня еще раз освидетельствовали и, разумеется, отпустили.

Прощаясь со мной, Горький сказал:

– Перебирайтесь-ка в Петербург. Здесь надо служить, а у нас можно еще писать.

Я послушался его совета и в середине ноября переселился в Петербург. К этому времени горьковская квартира оказалась густо заселена. В ней жила новая секретарша Горького – Мария Игнатьевна Бенкендорф (впоследствии баронесса Будберг); жила маленькая студентка-медичка, по прозвищу Молекула, славная девушка, сирота, дочь давнишних знакомых Горького; жил художник Иван Николаевич Ракицкий; наконец, жила моя племянница с мужем. Вот это последнее обстоятельство и определило раз навсегда характер моих отношений с Горьким: не деловой, не литературный, а вполне частный, житейский. Разумеется, литературные дела возникали и тогда, и впоследствии, но как бы на втором плане. Иначе и быть не могло, если принять во внимание разницу наших литературных мнений и возрастов.

С раннего утра до позднего вечера в квартире шла толчея. К каждому ее обитателю приходили люди. Самого Горького осаждали посетители – по делам Дома Искусства, Дома Литераторов, Дома Ученых, Всемирной литературы; приходили литераторы и ученые, петербургские и приезжие; приходили рабочие и матросы – просить защиты от Зиновьева, всемогущего комиссара Северной области; приходили артисты, художники, спекулянты, бывшие сановники, великосветские дамы. У него просили заступничества за арестованных, через него добывали пайки, квартиры, одежду, лекарства, жиры, железнодорожные билеты, командировки, табак, писчую бумагу, чернила, вставные зубы для стариков и молоко для новорожденных, – словом, всё, чего нельзя было достать без протекции.

Горький выслушивал всех и писал бесчисленные рекомендательные письма. Только однажды я видел, как он отказал человеку в просьбе: это был клоун Дельвари, который непременно хотел, чтобы Горький был крестным отцом его будущего ребенка. Горький вышел к нему весь красный, долго тряс руку, откашливался и, наконец, сказал:

– Обдумал я вашу просьбу. Глубочайше польщен, понимаете, но, к глубочайшему сожалению, понимаете, никак не могу. Как-то оно, понимаете, не выходит, так что уж вы простите великодушно.

И вдруг, махнув рукой, убежал из комнаты, от смущения не простившись.

Я жил далеко от Горького. Ходить по ночным улицам было утомительно и небезопасно: грабили. Поэтому я нередко оставался ночевать – мне стелили в столовой на оттоманке. Поздним вечером суэта стихала. Наступал час семейного чаепития. Я становился для Горького слушателем тех его воспоминаний, которые он так любил и которые всегда пускал в ход, когда хотел “шармировать” нового человека.

Впоследствии я узнал, что число этих рассказов было довольно ограничено и что, имея всю видимость импровизации, повторялись они слово в слово из года в год. Мне не раз попадались на глаза очерки людей, случайно побывавших у Горького, и я всякий раз смеялся, когда доходил до стереотипной фразы: “Неожиданно мысль Алексея Максимовича обращается к прошлому, и он невольно отдается во власть воспоминаний”. Как бы то ни было, эти ложные

импровизации были сделаны превосходно. Я слушал их с наслаждением, не понимая, почему остальные слушатели друг другу подмигивают и один за другим исчезают по своим комнатам. Впоследствии – каюсь – я сам поступал точно так же, но в те времена мне были приятны ночные часы, когда мы оставались с Горьким вдвоем у остывшего самовара. В эти часы постепенно мы сблизились.

Отношения Горького с Зиновьевым были плохи и с каждым днем ухудшались. Доходило до того, что Зиновьев устраивал у Горького обыски и грозился арестовать некоторых людей, к нему близких. Зато и у Горького иногда собирались коммунисты, настроенные враждебно по отношению к Зиновьеву. Такие собрания камуфлировались под видом легких попоек с участием посторонних. Я случайно попал на одну из них весной 1921 года. Присутствовали Лашевич, Ионов, Зорин. В конце ужина с другого конца стола пересел ко мне довольно высокий, стройный, голубоглазый молодой человек в ловко сидевшей на нем гимнастерке. Он наговорил мне кучу лестных вещей и цитировал наизусть мои стихи. Мы расстались друзьями. На другой день я узнал, что это был Бакаев.

Вражда Горького с Зиновьевым (впоследствии сыгравшая важную роль в моей жизни) закончилась тем, что осенью 1921 года Горький был принужден покинуть не только Петербург, но и советскую Россию. Он уехал в Германию. В июле 1922 года обстоятельства личной жизни привели меня туда же. Некоторое время я прожил в Берлине, а в октябре Горький уговорил меня перебраться в маленький городок Saarow, близ Фюрстенвальде. Он там жил в санатории, а я в небольшом отеле возле вокзала. Мы виделись каждый день, иногда по два и по три раза. Весной 1923 года я и сам перебрался в тот же санаторий. Сааровская жизнь оборвалась летом, когда Горький с семьей переехал под Фрейбург. Я думаю, что тут были кое-какие политические причины, но официально всё объяснялось болезнью Горького.

Мы расстались. Осенью я ездил на несколько дней во Фрейбург, а затем, в ноябре, уехал в Прагу. Спустя несколько времени туда приехал Горький, поселившийся в отеле “Беранек”, где жил и я. Однако обоих нас влекло захолустье, и в начале декабря мы переселились в пустой, занесенный снегом Мариенбад. Оба мы в то время хлопотали о визах в Италию. Моя виза пришла в марте 1924 года, и так как деньги мои были на исходе, то я поспешил уехать, не дожидаясь Горького. Проведя неделю в Венеции и недели три в Риме, я уехал оттуда 13 апреля – в тот самый день, когда Горький вечером должен был приехать. Денежные дела заставили меня прожить до августа в Париже, а потом в Ирландии. Наконец, в начале октября, мы съехались с Горьким в Сорренто, где и прожили вместе до 18 апреля 1925 года. С того дня я Горького уже не видал.

Таким образом, мое с ним знакомство длилось семь лет. Если сложить те месяцы, которые я прожил с ним под одною кровлей, то получится года полтора, и потому я имею основания думать, что хорошо знал его и довольно много знаю о нем. Всего, что мне сохранила память, я не берусь изложить сейчас, потому что это заняло бы слишком много места, и потому что мне пришлось бы слишком близко коснуться некоторых лиц, ныне здравствующих. Последнее обстоятельство заставляет меня, между прочим, почти не касаться важной стороны в жизни Горького: я имею в виду всю область его политических взглядов, отношений и поступков. Говорить все, что знаю и думаю, я сейчас не могу, а говорить недомолвками не стоит.

Я предлагаю вниманию читателей беглый очерк, содержащий лишь несколько наблюдений и мыслей, которые кажутся мне небесполезными для понимания личности Горького. Я даже решаюсь полагать, что эти наблюдения пригодятся и для понимания той стороны его жизни и деятельности, которой в данную минуту я не намерен касаться.

* * *

Большая часть моего общения с Горьким протекла в обстановке почти деревенской, когда природный характер человека не заслонен обстоятельствами городской жизни. Поэтому я для начала коснусь самых внешних черт его жизни, повседневных его привычек.

День его начинался рано: вставал часов в восемь утра и, выпив кофе и проглотив два сырых яйца, работал без перерыва до часу дня. В час полагался обед, который с послеобеденными разговорами растягивался часа на полтора. После этого Горького начинали вытаскивать на прогулку, от которой он всячески уклонялся. После прогулки он снова кидался к письменному столу – часов до семи вечера. Стол всегда был большой, просторный, и на нем в идеальном порядке были разложены письменные принадлежности. Алексей Максимович был любитель хорошей бумаги, разноцветных карандашей, новых перьев и ручек – стило никогда не употреблял. Тут же находился запас папирос и пестрый набор мундштуков – красных, желтых, зеленых. Курил он много.

Часы от прогулки до ужина уходили по большей части на корреспонденцию и на чтение рукописей, которые присылались ему в несметном количестве. На все письма, кроме самых нелепых, он отвечал немедленно. Все присылаемые рукописи и книги, порой многотомные, он прочитывал с поразительным вниманием и свои мнения излагал в подробнейших письмах к авторам. На рукописях он не только делал пометки, но и тщательно исправлял красным карандашом описки и вставлял пропущенные знаки препинания. Так же поступал он и с книгами: с напрасным упорством усерднейшего корректора исправлял он в них все опечатки. Случалось – он то же самое делал с газетами, после чего их тотчас выбрасывал.

Часов в семь бывал ужин, а затем – чай и общий разговор, который по большей части кончался игрою в карты – либо в 501 (говоря словами Державина, “по грошу в долг и без отдачи”), либо в бридж. В последнем случае происходило, собственно, шлепанье картами, потому что об игре Горький не имел и не мог иметь никакого понятия: он был начисто лишен комбинаторских способностей и карточной памяти. Беря или чаще отдавая тринадцатую взятку, он иногда угрюмо и робко спрашивал:

– Позвольте, а что были козыри?

Раздавался смех, на который он обижался и сердился. Сердился он и на то, что всегда проигрывал, но, может быть, именно по этой причине бридж он любил всего больше. Другое дело – партнеры его: они выискивали всяческие отговорки, чтобы не играть. Пришлось, наконец, установить бриджевую повинность – играли по очереди.

Около полуночи он уходил к себе и либо писал, облачась в свой красный халат, либо читал в постели, которая всегда у него была проста и опрятна как-то по-больничному. Спал он мало и за работою проводил в сутки часов десять, а то и больше.

Ленивых он не любил и имел на то право.

На своем веку он прочел колоссальное количество книг и запомнил всё, что в них было написано. Память у него была изумительная. Иногда по какому-нибудь вопросу он начинал сыпать цитатами и статистическими данными. На вопрос, откуда он это знает, вскидывал плечами и удивлялся:

– Да как же не знать, помилуйте? Об этом была статья в “Вестнике Европы” за 1887 год, в октябрьской книжке.

Каждой научной статье он верил свято, зато к беллетристике относился с недоверием и всех беллетристов подозревал в искажении действительности. Смотри на литературу отчасти как на нечто вроде справочника по бытовым вопросам, приходил в настоящую ярость, когда усматривал погрешность против бытовых фактов. Получив трехтомный роман Наживина о Распутине, вооружился карандашом и засел за чтение. Я над ним подтрунивал, но он честно

трудился дня три. Наконец объявил, что книга мерзкая. В чем дело? Оказывается, у Наживина герои романа, живя в Нижнем Новгороде, отправляются обедать на пароход, пришедший из Астрахани. Я сначала не понял, что его возмутило, и сказал, что мне самому случалось обедать на волжских пароходах, стоящих у пристани.

– Да ведь это же перед рейсом, а не после рейса! – закричал он. – После рейса буфет не работает! Такие вещи знать надо!

Он умер от воспаления легких. Несомненно, была связь между его последней болезнью и туберкулезным процессом, который у него обнаружился в молодости. Но этот процесс был залечен лет сорок тому назад и если напоминал о себе кашлем, бронхитами и плевритами, то всё же не в такой степени, как об этом постоянно писали и как об этом думала публика. В общем, он был бодр, крепок – недаром и прожил до шестидесяти восьми лет.

Легендой о своей тяжелой болезни он давно привык пользоваться всякий раз, как не хотел куда-нибудь ехать или, наоборот, когда ему нужно было откуда-нибудь уехать. Под предлогом внезапной болезни он уклонялся от участия в разных собраниях и от приема неугодных посетителей. Но дома, перед своими, он не любил говорить о болезни даже тогда, когда она случалась действительно.

Физическую боль он переносил с замечательным мужеством. В Мариенбаде рвали ему зубы – он отказался от всякого наркоза и ни разу не пожаловался. Однажды, еще в Петербурге, ехал он в переполненном трамвае, стоя на нижней ступеньке. Вскочивший на полном ходу солдат со всего размаху угодил ему подкованным каблуком на ногу и раздробил мизинец. Горький даже не обратился к врачу, но после этого чуть ли не года три время от времени предавался странному вечернему занятию: собственноручно вытаскивал из раны осколки костей.

* * *

Больше тридцати лет в русском обществе ходили слухи о роскошной жизни Максима Горького. Не могу говорить о том времени, когда я его не знал, но решительно заявляю, что в годы моей с ним близости ни о какой роскоши не могло быть речи. Все рассказы о виллах, принадлежавших Горькому, и о чуть ли не оргиях, там происходивших, – ложь, для меня просто смешная, порожденная литературной завистью и подхваченная политической враждой. Обыватель не только охотно верил этой сплетне, но и ни за что не хотел с ней расстаться. Живучесть ее была поразительна. Ее, можно сказать, бредили в себе и лелеяли, как душевную рану, – ибо мысль о роскошном образе жизни Горького многих оскорбляла. Фельетонисты возвращались к этой теме всякий раз, как Горький заставлял о себе говорить.

В 1927–1928 годах я несколько раз указывал покойному А. А. Яблоновскому, что не надо писать о волшебной вилле на Капри, хотя бы потому, что Горький живет в Сорренто, что уже пятнадцать лет нога его не ступала на каприйскую почву, что даже виза в Италию дана ему под условием не жить на Капри. Яблоновский слушал, кивал головой и вскоре опять принимался за старое, потому что не любил разрушать обывательские иллюзии. В последние годы каприйская вилла иногда, впрочем, все-таки заменялась соррентинской, но воображаемая на ней жизнь принимала еще более роскошный характер и вызывала еще больше негодования. И вот – я должен покаяться перед человечеством: эта злосчастная вилла была снята не только при моем участии, но даже по моему настоянию.

Приехав в Сорренто весной 1924 года, Горький поселился в большой, неудобной, запущенной вилле, которая была ему сдана только до декабря: ее должны были перестраивать. В этой вилле я Горького и застал. Когда приблизился срок выезда, стали искать нового прибежища. Так как зимой в Сорренто довольно холодно, то задумали перебраться на южный склон полуострова, под Амальфи. Там нашли виллу, которую совсем уже было сняли. Максим, сын Горького от первого брака, поехал ее посмотреть еще раз. От нечего делать я отправился с ним.

Вилла оказалась стоящей на крошечном выступе скалы; под южным ее фасадом находился обрыв сажен в пятьдесят – прямо в море; северный фасад лишь узкою полосой дороги отделялся от огромной скалы, не просто отвесной, но еще нависающей над дорогой. Эта скала постоянно осыпается, как весь амальфитанский берег. Вилла, на которой предстояло нам поселиться, еще за семь месяцев до того стояла на западной окраине маленького поселка, который очередным обвалом был буквально раздавлен и снесен в море. Я это хорошо помнил, потому что как раз в это время был в Риме. При катастрофе погибло человек сто. Саперы откапывали заживо погребенных, приезжал король. Вилла каким-то чудом уцелела, повиснув над новообразовавшимся обрывом, так что теперь и восточный ее фасад тоже смотрел в пропасть, которой дно еще было усеяно обломками дерева, кирпича и железа. Я объявил Максиму, что жизнь мне дорога и что жить здесь я не стану. Максим насупился – других свободных вилл не было. Мы поехали в Амальфи, а когда возвращались назад часа через два, то в километре от “нашей” виллы принуждены были остановиться и ждать, когда расчистят дорогу: пока мы обедали, случился очередной обвал.

Выбора не оставалось – сняли ту самую виллу “Il Sorito”, которой суждено было стать последним прибежищем Горького в Италии. Находилась она не в самом Сорренто, а в полутора километрах от него, на Соррентинском мысу, Capo di Sorrento. Нарядная с виду и красиво расположенная, с чудесным видом на весь залив, на Неаполь, Везувий, Каstellла-маре, внутри она имела важные недостатки: в ней было очень мало мебели, и она была холодна. Мы переехали в нее 16 ноября и жестоко мерзли всю зиму, топя немногочисленные камины сырыми оливковыми ветвями. Ее достоинством была дешевизна: сняли ее за 6000 лир в год, что равнялось тогда пяти тысячам франков.

В верхнем этаже виллы была столовая, комната Горького (спальня и кабинет вместе), комната его секретарши бар. М. И. Будберг, комната Н. Н. Берберовой, моя комната, и еще одна, маленькая, для приезжих. Внизу, по бокам небольшого холла, были еще две комнаты: одну из них занимали Максим и его жена, а другую – И. Н. Ракицкий, художник, болезненный и необыкновенно милый человек; еще в Петербурге, в 1918 году, во время солдатчины, он зашел к Горькому обогреться, потому что был болен, – и как-то случайно остался в доме на долгие годы.

К этому основному населению надо добавить мою племянницу, прожившую на “Sorito” весь январь, а потом время от времени приезжавшую из Рима, а также Е. П. Пешкову, первую жену Горького, которая приезжала из Москвы недели на две. Иногда появлялись гости, жившие по соседству, в отеле “Минерва”: писатель Андрей Соболев, приехавший из Москвы на поправку после покушения на самоубийство, профессор Старков с семейством (из Праги) и П. П. Муратов. Иногда к вечернему чаю заходили две барышни, владелицы виллы, сохранившие за собой часть нижнего этажа.

Жизнь в двух этажах протекала неодинаково. В верхнем работали, в нижнем, который Алексей Максимович называл детской, играли. Максиму было тогда лет под тридцать, но по характеру трудно было дать ему больше тринадцати. С женой, очень красивой и доброй женщиной, по домашнему прозвищу Тимошей, порой возникали у него размолвки вполне невинного свойства. У Тимоши были способности к живописи. Максим тоже любил порисовать что-нибудь. Случалось, что один и тот же карандаш или резинка обоим были нужны одновременно.

– Это мой карандаш!

– Нет, мой!

– Нет, мой!

На шум появлялся Ракицкий. За ним из раскрытой двери вырывались клубы табачного дыма: его комната никогда не проветривалась, потому что от свежего воздуха у него болела голова. “Свежий воздух – яд для организма”, – говорил он. Стоя в дыму, он кричал:

– Максим, сейчас же отдай карандаш Тимоше!

– Да он же мне нужен!

– Сейчас же изволь отдать, ты старше, ты должен ей уступить!

Максим отдает карандаш и уходит, надув губы. Но глядишь – через пять минут он уже все забыл, насвистывает и приплясывает.

Он был славный парень, веселый, уживчивый. Он очень любил большевиков, но не по убеждению, а потому, что вырос среди них и они всегда его баловали. Он говорил: “Владимир Ильич”, “Феликс Эдмундович”, но ему больше шло бы звать их “дядя Володя”, “дядя Феликс”. Он мечтал поехать в СССР, потому что ему обещали подарить там автомобиль, предмет его страстных мечтаний, иногда ему даже сновившийся. Пока что он ухаживал за своей мотоциклеткой, собирал почтовые марки, читал детективные романы и ходил в синематограф, а придя, пересказывал фильмы, сцену за сценой, имитируя любимых актеров, особенно комиков. У него у самого был замечательный клоунский талант, и если бы ему нужно было работать, из него вышел бы первоклассный эксцентрик. Но он отродясь ничего не делал. Виктор Шкловский прозвал его советским принцем. Горький души в нем не чаял, но это была какая-то животная любовь, состоявшая из забот о том, чтобы Максим был жив, здоров, весел.

Иногда Максим сажал одного или двух пассажиров в коляску своей мотоциклетки, и мы ездили по окрестностям или просто в Сорренто – пить кофе. Однажды всею компанией были в синематографе. В сочельник на детской половине была елка с подарками; я получил пасьянсные карты, Алексей Максимович – теплые кальсоны.

Когда становилось уж очень скучно, примерно раз в месяц, Максим покупал две бутылки “Асти”, бутылку мандаринного ликера, конфет – и вечером звал всех к себе. Танцевали под граммофон, Максим паясничал, ставили шарады, потом пели хором. Если Алексей Максимович упирался и долго не хотел идти спать, затягивали “Солнце всходит и заходит”. Он сперва умолял: “Перестаньте вы, черти драповые”, – потом вставал и сгорбившись уходил наверх.

Впрочем, мирное течение жизни разнообразилось каждую субботу. С утра посылали в отель “Минерва” – заказать семь ванн, и часов с трех до ужина происходило поочередное хождение через дорогу – туда и обратно – с халатами, полотенцами и мочалками. За ужином все поздравляли друг друга с легким паром, ели суп с пельменями, изготовленный нашими дамами, и хвалили распорядительную хозяйку “Минервы” синьору Какаче, о фамилии которой Алексей Максимович утверждал, что это – сравнительная степень. Так, по поводу безнадежной любви одного знакомого однажды он выразился: “Положение, какаче которого быть не может”.

Приехав в Париж, я узнал, что Горький живет на Капри и проводит время чуть ли не в оргиях.

* * *

О степени его известности во всех частях света можно было составить истинное понятие, только живя с ним вместе. В известности не мог с ним сравниться ни один из русских писателей, которых мне приходилось встречать. Он получал огромное количество писем на всех языках. Где бы он ни появлялся, к нему обращались незнакомцы, выпрашивая автографы. Интервьюеры его осаждали. Газетные корреспонденты снимали комнаты в гостиницах, где он останавливался, и жили по два-три дня, чтобы только увидеть его в саду или за табльдóтом. Слава приносила ему много денег, он зарабатывал около десяти тысяч долларов в год, из которых на себя тратил ничтожную часть. В пище, в питье, в одежде был на редкость неприхотлив. Папиросы, рюмка вермута в угловом кафе на единственной соррентинской площади, извозчик домой из города – положительно, я не помню, чтобы у него были еще какие-нибудь расходы на личные надобности.

Но круг людей, бывших у него на постоянном иждивении, был очень велик, я думаю – не меньше человек пятнадцати – в России и за границей. Тут были люди различнейших слоев

общества, вплоть до титулованных эмигрантов, и люди, имевшие к нему самое разнообразное касательство: от родственников и свойственников – до таких, которых он никогда в глаза не видал. Целые семьи жили на его счет гораздо привольнее, чем жил он сам. Кроме постоянных пенсионеров, было много случайных; между прочим, время от времени к нему обращались за помощью некоторые эмигрантские писатели. Отказа не получал никто.

Горький раздавал деньги, не сообразуясь с действительной нуждой просителя и не заботясь о том, на что они пойдут. Случалось им застревать в передаточных инстанциях – Горький делал вид, что не замечает. Этого мало. Некоторые лица из его окружения, прикрываясь его именем и положением, занимались самыми предосудительными делами – вплоть до вымогательства. Те же лица, порою люто враждовавшие друг с другом из-за горьковских денег, зорко следили за тем, чтобы общественное поведение Горького было в достаточной степени прибыльно, и согласными усилиями, дружным напором, направляли его поступки. Горький изредка пробовал бунтовать, но в конце концов всегда подчинялся. На то были отчасти самые простые психологические причины: привычка, привязанность, желание, чтобы ему дали спокойно работать. Но главная причина, самая важная, им самим, вероятно, не сознаваемая, заключалась в особенном, очень важном обстоятельстве – в том крайне запутанном отношении к правде и лжи, которое обозначилось очень рано и оказало решительное влияние как на его творчество, так и на всю его жизнь.

Он вырос и долго жил среди всяческой житейской скверны. Люди, которых он видел, были то ее виновниками, то жертвами, а чаще – и жертвами, и виновниками одновременно. Естественно, что у него возникла (а отчасти была им вычитана) мечта об иных, лучших людях. Потом неразвитые зачатки иного, лучшего человека научился он различать кое в ком из окружающих. Мысленно очищая эти зачатки от налипшей дикости, грубости, злобы, грязи и творчески развивая их, он получил полуреальный, полувоображаемый тип благородного босняка, который, в сущности, приходился двоюродным братом тому благородному разбойнику, который был создан романтической литературой.

Первоначальное литературное воспитание он получил среди людей, для которых смысл литературы исчерпывался ее бытовым и социальным содержанием. В глазах самого Горького его герой мог получить социальное значение и, следовательно, литературное оправдание только на фоне действительности и как ее подлинная часть. Своих мало реальных героев Горький стал показывать на фоне сугубо реалистических декораций. Перед публикой и перед самим собой он был вынужден притворяться бытописателем. В эту полуправду он и сам полууверовал на всю жизнь.

Философствуя и резонируя за своих героев, Горький в сильнейшей степени наделял их мечтой о лучшей жизни, то есть об искомой нравственно-социальной правде, которая должна надо всем воссиять и все устроить ко благу человечества. В чем заключается эта правда, горьковские герои поначалу еще не знали, как не знал и он сам. Некогда он ее искал и не нашел в религии. В начале девятисотых годов он увидел (или его научили видеть) ее залог в социальном прогрессе, понимаемом по Марксу. Если ни тогда, ни впоследствии он не сумел себя сделать настоящим, дисциплинированным марксистом, то все же принял марксизм как свое официальное вероисповедание или как рабочую гипотезу, на которой старался базироваться в своей художественной работе.

Я пишу воспоминания о Горьком, а не статью о его творчестве. В дальнейшем я и вернусь к своей теме, но предварительно вынужден остановиться на одном его произведении, может быть – лучшем из всего, что им написано, и несомненно – центральном в его творчестве: я имею в виду пьесу «На дне».

Ее основная тема – правда и ложь. Ее главный герой – странник Лука, «старец лукавый». Он является, чтобы обольстить обитателей «дна» утешительной ложью о существующем где-то

царстве добра. При нем легче не только жить, но и умирать. После его таинственного исчезновения жизнь опять становится злой и страшной.

Лука наделал хлопот марксистской критике, которая изо всех сил старается разъяснить читателям, что Лука – личность вредная, расслабляющая обездоленных мечтаниями, отвлекающая их от действительности и от классовой борьбы, которая одна может им обеспечить лучшее будущее. Марксисты по-своему правы: Лука, с его верою в просветление общества через просветление личности, с их точки зрения, в самом деле вреден. Горький это предвидел и потому, в виде корректива, противопоставлял Луке некоего Сатина, олицетворяющего пробуждение пролетарского сознания. Сатин и есть, так сказать, официальный резонер пьесы. “Ложь – религия рабов и хозяев. Правда – бог свободного человека”, – провозглашает он. Но стоит вчитаться в пьесу, и мы тотчас заметим, что образ Сатина по сравнению с образом Луки написан бледно и – главное – нелюбовно. Положительный герой менее удался Горькому, нежели отрицательный, потому что положительного он наделил своей официальной идеологией, а отрицательного – своим живым чувством любви и жалости к людям. Замечательно, что, в предвидении будущих обвинений против Луки, Горький именно Сатина делает его защитником. Когда другие персонажи пьесы ругают Луку, Сатин кричит на них: “Молчать! Вы все – скоты! Дубьё... молчать о старике!.. Старик – не шарлатан... Я понимаю старика... да! Он врал... но – это из жалости к вам, черт вас возьми! Есть много людей, которые лгут из жалости к ближнему... Есть ложь утешительная, ложь примиряющая”. Еще более примечательно, что свое собственное пробуждение Сатин приписывает влиянию Луки: “Старик? Он – умница! Он подействовал на меня, как кислота на старую и грязную монету... Выпьем за его здоровье!” Знаменитая фраза: “Человек – это великолепно! Это звучит гордо!” – вложена также в уста Сатина.

Но автор про себя знал, что, кроме того, это звучит очень горько. Вся его жизнь пронизана острой жалостью к человеку, судьба которого казалась ему безвыходной. Единственное спасение человека он видел в творческой энергии, которая немыслима без непрестанного преодоления действительности – надеждой. Способность человека осуществить надежду ценил он невысоко, но самая эта способность к мечте, дар мечты – приводили его в восторг и трепет. Создание какой бы то ни было мечты, способной увлечь человечество, он считал истинным признаком гениальности, а поддержание этой мечты – делом великого человеколюбия.

Господа! Если к правде святой
Мир дорогу найти не умеет,
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой.

В этих довольно слабых, но весьма выразительных стихах, произносимых одним из персонажей “На дне”, заключен как бы девиз Горького, определяющий всю его жизнь, писательскую, общественную, личную. Горькому довелось жить в эпоху, когда “сон золотой” заключался в мечте о социальной революции как панацее от всех человеческих страданий. Он поддерживал эту мечту, он сделался ее глашатаем – не потому, что так уж глубоко верил в революцию, а потому, что верил в спасительность самой мечты. В другую эпоху с такою же страстностью он отстаивал бы иные верования, иные надежды. Сквозь русское освободительное движение, а потом сквозь революцию он прошел возбудителем и укрепителем мечты, Лукою, лукавым странником. От раннего, написанного в 1893 году рассказа о возвышенном чиже, “который лгал”, и о дятле, низменном “любителе истины”, вся его литературная, как и вся жизненная деятельность проникнута сентиментальной любовью ко всем видам лжи и упорной, последовательной нелюбовью к правде. “Я искреннейше и неколебимо ненавижу правду”, –

писал он Е. Д. Кусковой в 1929 году. Мне так и кажется, что я вижу, как он, со злым лицом, оцетинившись, со вздутой на шее жилой, выводит эти слова.

* * *

13 июля 1924 года он писал мне из Сорренто: “Тут, знаете, сезон праздников, – чуть ли не ежедневно фейерверки, процессии, музыка и «ликование народа». А у нас? – думаю я. И – извините! – до слез, до ярости завидно, и больно, и тошно и т. д.”

Итальянские празднества с музыкой, флагами и трескотней фейерверков он обожал. По вечерам выходил на балкон и созывал всех смотреть, как вокруг залива то там, то здесь взлетают ракеты и римские свечи. Волновался, потирал руки, покрикивал:

– Это в Торре Аннунциата! А это у Геркуланума! А это в Неаполе! Ух, ух, ух, как зажаривают!

Этому “великому реалисту” поистине нравилось только всё то, что украшает действительность, от нее уводит, или с ней не считается, или просто к ней прибавляет то, чего в ней нет. Я видел немало писателей, которые гордились тем, что Горький плакал, слушая их произведения. Гордиться особенно нечем, потому что я, кажется, не помню, над чем он не плакал, – разумеется, кроме совершенной какой-нибудь чепухи. Нередко случалось, что, разобравшись в оплаканном, он сам же его бранил, но первая реакция почти всегда была – слезы. Его потрясало и умиляло не качество читаемого, а самая наличность творчества, тот факт, что вот – написано, создано, вымыслено. Маяковский, однажды печатно заявивший, что готов дешево продать жилет, проплаканный Максимом Горьким, поступил низко, потому что позволил себе насмеяться над лучшим, чистейшим движением его души. Он не стыдился плакать и над своими собственными писаниями: вторая половина каждого рассказа, который он мне читал, непременно тонула в рыданиях, всхлипываниях и в протирании затуманившихся очков.

Он в особенности любил писателей молодых, начинающих: ему нравилась их надежда на будущее, их мечта о славе. Даже совсем плохих, заведомо безнадежных он не обескураживал: разрушать какие бы то ни было иллюзии он считал кошунством. Главное же – в начинающем писателе (опять-таки – в очень даже мало обещающем) он лелеял собственную мечту и рад был обманывать самого себя вместе с ним.

Замечательно, что к писателям уже установившимся он относился иначе. Действительно выдающихся он любил, как, например, Бунина (которого понимал), или заставлял себя любить (как, например, Блока, которого, в сущности, не понимал, но значительность которого не мог не чувствовать). Зато авторов, уже вышедших из пеленок, успевших приобрести известное положение, но не ставших вполне замечательными, он скорее недолюбливал. Казалось, он сердится на них за то, что уже нельзя мечтать, как они подымутся, станут замечательными, великими. В особенности в этих средних писателях его раздражала важность, олимпийство, то сознание своей значительности, которое, в самом деле, им более свойственно, чем писателям действительно выдающимся.

Он любил всех людей творческого склада, всех, кто вносит или только мечтает внести в мир нечто новое. Содержание и качество этой новизны имели в его глазах значение второстепенное. Его воображение равно волновали и поэты, и ученые, и всякие прожектеры, и изобретатели – вплоть до изобретателей перпетуум-мобиле. Сюда же примыкала его живая, как-то очень задорно и весело окрашенная любовь к людям, нарушающим или стремящимся нарушить заведенный в мире порядок. Диапазон этой любви, пожалуй, был еще шире: он простирался от мнимых нарушителей естественного хода вещей, то есть от фокусников и шулеров – до глубочайших социальных преобразователей. Я совсем не хочу сказать, что ярмарочный гаер и великий революционер имели в его глазах одну цену. Но для меня несомненно, что, различно относясь к ним умом, любил-то он и того, и другого одним и тем же участком своей души.

Недаром того же Сатина из “На дне”, положительного героя и глашатая новой общественной правды, он не задумался сделать по роду занятий именно шулером.

Ему нравились все, решительно все люди, вносящие в мир элемент бунта или хоть озорства, – вплоть до маниаков-поджигателей, о которых он много писал и о которых готов был рассказывать целыми часами. Он и сам был немножечко поджигатель. Ни разу я не видал, чтобы, закуривая, он потушил спичку: он непременно бросал ее непотушенной. Любимой и повседневной его привычкой было – после обеда или за вечерним чаем, когда наберется в пепельнице довольно окурков, спичек, бумажек, – незаметно подсунуть туда зажженную спичку. Сделав это, он старался отвлечь внимание окружающих – а сам лукаво поглядывал через плечо на разгорающийся костер. Казалось, что “семейные пожарчики”, как однажды я предложил их называть, имели для него какое-то злое и радостное символическое значение. Он относился с большим почтением к опытам по разложению атома; часто говорил о том, что если они удадутся, то, например, из камня, подобранного на дороге, можно будет извлекать количество энергии, достаточное для междупланетных сообщений. Но говорил он об этом как-то скучно, хрестоматийно и как будто только для того, чтобы в конце концов прибавить, уже задорно и весело, что “в один прекрасный день эти опыты, гм, да, понимаете, могут привести к уничтожению нашей вселенной. Вот это будет пожарчик!” И прищелкивал языком.

От поджигателей, через великолепных корсиканских бандитов, которых ему не довелось знать, его любовь спускалась к фальшивомонетчикам, которых так много в Италии. Горький подробно о них рассказывал и некогда посетил какого-то ихнего патриарха, жившего в Алессиио. За фальшивомонетчиками шли авантюристы, мошенники и воры всякого рода и калибра. Некоторые окружали его всю жизнь. Их проделки, бросавшие тень на него самого, он сносил с терпеливостью, которая граничила с поощрением. Ни разу на моей памяти он не уличил ни одного и не выразил ни малейшего неудовольствия. Некий Роде, бывший содержатель знаменитого кафешантана, изобрел себе целую революционную биографию. Однажды я сам слышал, как он с важностью говорил о своей “многолетней революционной работе”. Горький души в нем не чаял и назначил его заведовать Домом Ученых, через который шло продовольствие для петербургских ученых, писателей, художников и артистов. Когда я случайно позволил себе назвать Дом Ученых Роде – вспомогательным заведением, Горький дулся на меня несколько дней.

Мелкими жуликами и попрошайками он имел свойство обраться при каждом своем появлении на улице. В их ремесле ему нравилось сплетение правды и лжи, как в ремесле фокусников. Он поддавался их штукам с видимым удовольствием и весь сиял, когда гарсон или торговец какой-нибудь дрянью его обсчитывали. В особенности ценил он при этом наглость – должно быть, видел в ней отсвет бунтарства и озорства. Он и сам, в домашнем быту, не прочь был испробовать свои силы на том же поприще. От нечего делать мы вздумали издавать “Соррентинскую правду” – рукописный журнал, пародию на некоторые советские и эмигрантские журналы. (Вышло номера три или четыре.) Сотрудниками были Горький, Берберова и я. Ракицкий был иллюстратором, Максим переписчиком. Максима же мы избрали и редактором – ввиду его крайней литературной некомпетентности. И вот – Горький всеми способами старался его обмануть, подсовывая отрывки из старых своих вещей, выдавая их за неизданные. В этом и заключалось для него главное удовольствие, тогда как Максим увлекался изобличением его проделок. Ввиду его бессмысленных трат, домашние отнимали у него все деньги, оставляя на карманные расходы какие-то гроши.

Однажды он вбежал ко мне в комнату сияющий, с пританцовыванием, с потиранием рук, с видом загулявшего мастерового, и объявил:

– Во! Смотрите-ка! Я спер у Марьи Игнатьевны десять лир! Айда в Сорренто!

Мы пошли в Сорренто, пили там вермут и прикатали домой на знакомом извозчике, который, получив из рук Алексея Максимовича ту самую криминальную десятку, вместо того

чтобы дать семь лир сдачи, хлестнул лошадь и ускакал, шелкая бичом, оглядываясь на нас и хохоча во всю глотку. Горький вытаращил глаза от восторга, поставил брови торчком, смеялся, хлопал себя по бокам и был несказанно счастлив до самого вечера.

* * *

В помощи деньгами и хлопотами он не отказывал никогда. Но в его благотворительстве была особенность: чем горше проситель жаловался, чем более падал духом, тем Горький был к нему внутренне равнодушнее, – и это не потому, что хотел от людей стойкости или сдержанности. Его требования шли гораздо дальше: он не выносил уныния и требовал от человека надежды – во что бы то ни стало, и в этом сказывался его своеобразный, упорный эгоизм: в обмен на свое участие он требовал для себя права мечтать о лучшем будущем того, кому он помогает. Если же проситель своим отчаянием заранее пресекал такие мечты, Горький сердился и помогал уже нехотя, не скрывая досады.

Упорный поклонник и создатель возвышающих обманов, ко всякому разочарованию, ко всякой низкой истине он относился как к проявлению метафизически злого начала. Разрушенная мечта, словно труп, вызывала в нем брезгливость и страх, он в ней словно бы ощущал что-то нечистое. Этот страх, сопровождаемый озлоблением, вызывали у него и все люди, повинные в разрушении иллюзий, все колебатели душевного благодушия, основанного на мечте, все нарушители праздничного, приподнятого настроения.

Осенью 1920 года в Петербург приехал Уэллс. На обеде, устроенном в его честь, сам Горький и другие ораторы говорили о перспективах, которые молодая диктатура пролетариата открывает перед наукой и искусством. Внезапно А. В. Амфитеатров, к которому Горький относился очень хорошо, встал и сказал нечто противоположное предыдущим речам. С этого дня Горький его возненавидел – и вовсе не за то, что писатель выступил против советской власти, а за то, что он оказался разрушителем праздника, *trouble fête* (помеха радости, веселью (*фр.*) – П.В.).

В “На дне”, в самом конце последнего акта, все поют хором. Вдруг открывается дверь, и Барон, стоя на пороге, кричит: “Эй... вы! Иди... идите сюда! На пустыре... там... Актер... удавился!” В наступившей тишине Сатин негромко ему отвечает: “Эх... испортил песню... дур-рак!” На этом занавес падает. Неизвестно, кого бранит Сатин: Актера, который некстати повесился, или Барона, принесшего об этом известие. Всего вероятнее обоих, потому что оба виноваты в порче песни.

В этом – весь Горький. Он не стеснялся и в жизни откровенно сердиться на людей, приносящих дурные вести. Однажды я сказал ему:

– Вы, Алексей Максимович, вроде царя Салтана:

В гневе начал он чудесить
И гонца велел повесить.

Он ответил насупившись:

– Умный царь. Дурных вестников обязательно надо казнить.

Может быть, этот наш разговор припомнил он и тогда, когда, в ответ на “низкие истины” Кусковой, ответил ей яростным пожеланием как можно скорей умереть.

* * *

Самому себе он не позволял быть вестником неудачи или несчастья. Если нельзя было смолчать, он предпочитал ложь и был искренно уверен, что поступает человеколюбиво.

Баронесса Варвара Ивановна Иксуль принадлежала к числу тех обаятельных женщин, которые умеют очаровывать старых и молодых, богатых и бедных, знатных и простолюдинов. В числе ее поклонников значились иностранные венценосцы и русские революционеры. В своем салоне, известном некогда всему Петербургу, она соединяла людей самых разных партий и положений. Говорят, однажды в своей гостиной она принимала свирепого министра внутренних дел, а в это время в недрах ее квартиры скрывался человек, разыскиваемый департаментом полиции. С императрицей Александрой Феодоровной сохранила она добрые отношения до последних дней монархии. Поклонники и враги Распутина считали ее своей. Революция, разумеется, ее разорила. Ее удалось поселить в Доме Искусств, где я был ее частым гостем. В семьдесят лет она была по-прежнему обаятельна.

Горький, как многие, чем-то ей в прошлом обязанный, несколько раз меня о ней спрашивал. Я ей передавал об этом. Однажды она сказала: “Спросите Алексея Максимовича, не может ли он устроить, чтобы меня выпустили за границу”. Горький ответил, что это дело нетрудное. Он велел Варваре Ивановне заполнить анкету, написать прошение и приложить фотографические карточки. Вскоре он поехал в Москву. Это было весной 1921 года. Легко себе представить, с каким нетерпением Варвара Ивановна ждала его возвращения. Наконец, он вернулся, и я отправился к нему в тот же день. Он мне объявил, что разрешение получено, но паспорт будет готов только “сегодня к вечеру”, и его дня через два привезет А. Н. Тихонов. Варвара Ивановна благодарила меня со слезами, о которых мне стыдно вспомнить. Она принялась распродавать кое-какое имущество, остальное раздаривала. Я каждый день звонил к Тихонову по телефону. Не успел он приехать – я был уже у него и узнал с изумлением, что Алексей Максимович не поручал ему ничего и что обо всем этом деле он слышит впервые.

О том, как я пытался добиться от Горького объяснений, рассказывать неинтересно, да я и не помню подробностей. Суть в том, что он сперва говорил о “недоразумении” и обещал всё поправить, потом уклонялся от разговоров на эту тему, потом сам уехал за границу. Варвара Ивановна, не дождавшись паспорта, ухитрилась бежать – зимой, с мальчишкой-проводником, по льду Финского залива пробралась в Финляндию, а оттуда в Париж, где и умерла в феврале 1928 года. Через несколько месяцев после ее бегства я был в Москве и узнал в Наркоминделе, что Горький действительно представил ее прошение, но тогда же получил решительный отказ.

Объяснять этот случай нежеланием признаться в своем бессилии перед властями нельзя: Горький в ту пору даже любил рассказывать о таком бессилии. Насколько я знаю Горького, для меня несомненно, что он просто хотел как можно дольше поддерживать в просительнице надежду, и – кто знает? – может быть, вместе с нею тешил иллюзией самого себя. Такой “театр для себя” был вполне в его духе, я знаю несколько пьес, которые он на этом театре разыграл. Из них расскажу одну – зато самую разительную, в которой создание счастливой иллюзии доведено до полной жестокости.

В первые годы советской власти, живя в Петербурге, Горький поддерживал сношения с многими членами императорской фамилии. И вот, однажды он вызвал к себе кн. Палей, вдову великого князя Павла Александровича, и объявил ей, что ее сын, молодой стихотворец кн. Палей, не расстрелян, а жив и находится в Екатеринославе, откуда только что прислал письмо и стихи. Нетрудно себе представить изумление и радость матери. На свою беду, она тем легче поверила Горькому, что вышло тут совпадение, не предвиденное самим Горьким: у Палеев были в Екатеринославе какие-то близкие друзья, и спасшемуся от расстрела юноше вполне естественно было бы найти у них убежище. Через несколько времени кн. Палей, конечно, узнала, что все-таки он убит, и таким образом утешительный обман Горького стал для нее источником возобновившегося страдания: известие о смерти сына Горький заставил ее пережить вторично.

Не помню, по какому случаю, в 1923 году он мне сам рассказал все это – не без сокрушения, которое мне, однако же, показалось недостаточным. Я спросил его:

– Но ведь были же в самом деле письмо и стихи?

– Были.

– Почему же она не попросила их показать?

– То-то и есть, что она просила, да я их куда-то засунул и не мог найти.

Я не скрыл от Горького, что история мне крепко не нравится, но никак не мог от него добиться, что же все-таки произошло. Он только разводил руками и, видимо, был не рад, что завел этот разговор.

Спустя несколько месяцев он сам себя выдал. Уехав во Фрейбург, он написал мне в одном из писем: “Оказывается, поэт Палей жив, и я имел некоторое право вводить в заблуждение граф. (sic!) Палей (sic!). Посылаю вам только что полученные стихи одного поэта, кажется, они плохи”.

Прочитав стихи, совершенно корявые, и наведя некоторые справки, я понял все: и тогда, в Петербурге, и теперь, за границей, Горький получил письмо и стихи от пролетарского поэта Палея, по происхождению рабочего. Лично его Горький мог не знать или не помнить. Но ни по содержанию, ни по форме, ни по орфографии, ни даже по почерку стихи этого Палея ни в коем случае нельзя было принять за стихи великокняжеского сына. Писем я не видел, но несомненно, что они еще менее могли дать повод к добросовестному заблуждению. Горький нарочно ввел себя в заблуждение, а затерял письмо и стихи не только от княгини Палей, но прежде всего и главным образом от себя, потому что ему пришлось в голову разыграть дьявольскую трагикомедию с утешением несчастной матери.

Помимо того, что иное объяснение этой истории вообще дать трудно, я еще потому могу настаивать на своем объяснении, что был свидетелем и других случаев совершенно того же характера.

* * *

Отношение ко лжи и лжецам было у него, можно сказать, заботливое, бережное. Никогда я не замечал, чтобы он кого-нибудь вывел на чистую воду или чтобы обличил ложь – даже самую наглую или беспомощную. Он был на самом деле доверчив, но сверх того еще и притворялся доверчивым. Отчасти ему было жалко лжецов конфузить, но главное – он считал своим долгом уважать творческий порыв, или мечту, или иллюзию даже в тех случаях, когда все это проявлялось самым жалким или противным образом. Не раз мне случалось видеть, что он рад быть обманутым. Поэтому обмануть его или даже сделать соучастником обмана ничего не стоило.

Нередко случалось ему и самому говорить неправду. Он это делал с удивительной беззаботностью, точно уверен был, что и его никто не сможет или не захочет уличить во лжи. Вот один случай, характерный и в этом отношении, и в том, что ложь была вызвана желанием порисоваться – даже не передо мной, а перед самим собой. Я вообще думаю, что главным объектом его обманов в большинстве случаев был именно он сам.

8 ноября 1923 года он мне писал:

“Из новостей, ошеломляющих разум, могу сообщить, что в «Накануне» напечатано: «Джиоконда, картина Микель-Анджело», а в России Надеждою Крупской и каким-то М. Сперанским запрещены для чтения: Платон, Кант, Шопенгауэр, Вл. Соловьев, Тэн, Рескин, Нитче, Л. Толстой, Лесков, Ясинский (!) и еще многие подобные еретики. И сказано: «Отдел религии должен содержать только антирелигиозные книги». Все сие будто бы отнюдь не анекдот, а напечатано в книге, именуемой: «Указатель об изъятии антихудожественной и контрреволюционной литературы из библиотек, обслуживающих массового читателя».

Сверх строки мною вписано «будто бы» – тому верить, ибо я еще не могу заставить себя поверить в этот духовный вампиризм и не поверю, пока не увижу «Указатель».

Первое же впечатление, мною испытанное, было таково, что я начал писать заявление в Москву о выходе моем из русского подданства. Что еще могу сделать я в том случае, если это зверство окажется правдой?

Знали бы Вы, дорогой В.Ф., как мне отчаянно трудно и тяжело!”

В этом письме правда – только то, что ему было “трудно и тяжело”. Узнав об изъятии книг, он почувствовал свою обязанность резко протестовать против этого “духовного вампиризма”. Он даже тешил себя мечтою о том, как осуществит протест, подав заявление о выходе из советского подданства. Может быть, он даже и начал писать такое заявление, но, конечно, знал, что никогда его не пошлет, что все это – опять только “театр для себя”. И вот, он прибег к самой наивной лжи, какую можно себе представить: сперва написал мне о выходе “Указателя” как о совершившемся факте, а потом вставил “будто бы” и притворился, что дело нуждается в проверке и что он даже “не может заставить себя поверить” в существование “Указателя”. Между тем никаких сомнений у него быть не могло, потому что “Указатель”, белая книжечка небольшого формата, давным-давно у него имелся. За два месяца до этого письма 14 сентября 1923 года, в Берлине, я зашел в книгоиздательство “Эпоха” и встретил там бар. М. И. Будберг. Заведующий издательством С. Г. Сумский при мне вручил ей этот “Указатель” для передачи Алексею Максимовичу. В тот же день мы с Марией Игнатьевной вместе выехали во Фрейбург. Тотчас по приезде “Указатель” был отдан Горькому, и во время моего трехдневного пребывания во Фрейбурге о нем было немало говорено. Но Горький забыл об этих разговорах и о том, что я видел “Указатель” у него в руках, – и вот беззаботнейшим образом уверяет меня, будто книжки еще не видел и даже сомневается в ее существовании. Во всем этом замечательно еще то, что всю эту историю с намерением писать в Москву заявление он мне сообщил без всякого повода, кроме желанья что-то разыграть передо мной, а в особенности – повторяю – перед самим собой.

Если его уличали в уклонении от истины, он оправдывался беспомощно и смущенно, примерно так, как Барон в “На дне”, когда Татарин кричит ему: “А! Карта рукав совал!” – а он отвечает, конфузясь: “Что же мне, в нос твой сунуть?” Иногда у него в этих случаях был вид человека, нестерпимо скучающего среди тех, кто не умеет его оценить. Обличение мелкой лжи вызывало у него ту же досадливую скуку, как и разрушение мечты возвышенной. Восстановление правды казалось ему серым и пошлым торжеством прозы над поэзией. Недаром в том же “На дне” поборником правды выведен Бубнов, бездарный, грубый и нудный персонаж, которого и фамилия, кажется, происходит от глагола “бубнить”.

* * *

“То – люди, а то – человеки”, – говорит старец Лука, в этой не совсем ясной формуле, несомненно, выражая отчетливую мысль самого автора. Дело в том, что этих “человеков” надо бы печатать с заглавной буквы. “Человеков”, то есть героев, творцов, двигателей обожаемого прогресса, Горький глубоко чтит. Людей же, просто людей с неяркими лицами и скромными биографиями, – презирал, обзывал “мещанами”. Однако ж он признавал, что и у этих людей бывает стремление если не быть, то хотя бы казаться лучше, чем они суть на самом деле: “У всех людей души серенькие, все подрумяниться желают”.

К такому подрумяниванию он относился с сердечным, деятельным сочувствием и считал своим долгом не только поддерживать в людях возвышенное представление о них самих, но и внушать им, по мере возможности, такое представление. По-видимому, он думал, что такой самообман может служить отправным пунктом или первым толчком к внутреннему преодолению мещанства. Поэтому он любил служить как бы зеркалом, в котором каждый мог видеть себя возвышенней, благородней, умней, талантливей, чем на самом деле. Разумеется, чем больше получалась разница между отражением и действительностью, тем люди были ему

признательней, и в этом заключался один из приемов его несомненного, многими замеченного “шармерства”.

Он и сам не был изъятием из закона, им установленного. Была некоторая разница между его действительным образом и воображаемым, так сказать, идеальным. Однако весьма любопытно и существенно, что в этом случае он следовал не столько своему собственному, сколько некоему чужому, притом – коллективному воображению. Он не раз вспоминал, как уже в начале девятисотых годов, в эпоху первоначальной, неожиданной славы, какой-то мелкий нижегородский издатель так называемых “книг для народа”, то есть сказок, сонников, песенников, уговаривал его написать свою лубочную биографию, для которой предвидел громадный сбыт, а для автора – крупный доход. “Жизнь ваша, Алексей Максимович, – чистые денежки”, – говорил он. Горький рассказывал это со смехом.

Между тем если не тогда, то позже, и если не совсем такая лубочная, то все-таки близкая к лубочной биография Горького-самородка, Горького-буревестника, Горького-страдальца и передового бойца за пролетариат постепенно сама собою сложилась и окрепла в сознании известных слоев общества. Нельзя отрицать, что все эти героические черты имелись в подлинной его жизни, во всяком случае необычайной, – но они были проведены судьбою совсем не так сильно, законченно и эффектно, как в его биографии идеальной или официальной. И вот – я бы отнюдь не сказал, что Горький в нее поверил или непременно хотел поверить, но, влекомый обстоятельствами, славой, давлением окружающих, он ее принял, усвоил себе раз навсегда вместе со своим официальным воззрением, а приняв – в значительной степени сделался ее рабом. Он считал своим долгом стоять перед человечеством, перед “массами” в том образе и в той позе, которых от него эти массы ждали и требовали в обмен на свою любовь.

Часто, слишком часто приходилось ему самого себя ощущать некоей массовой иллюзией, частью того “золотого сна”, который однажды навеян и который разрушить он, Горький, уже не вправе. Вероятно, огромная тень, им отбрасываемая, нравилась ему своим размером и своими резкими очертаниями. Но я не уверен, что он любил ее. Во всяком случае, могу ручаться, что он часто томился ею. Великое множество раз, совершая какой-нибудь поступок, который был ему не по душе или шел вразрез с его совестью, или наоборот – воздерживаясь от того, что ему хотелось сделать или что совесть ему подсказывала, – он говорил с тоской, с гримасой, с досадливым пожиманием плеч: “Нельзя, биографию испортишь”. Или: “Что поделаешь, надо, а то биографию испортишь”.

* * *

От нижегородского цехового Алексея Пешкова, учившегося на медные деньги, до Максима Горького, писателя с мировой известностью, – огромное расстояние, которое говорит само за себя, как бы ни расценивать талант Горького. Казалось бы, сознание достигнутого, да еще в соединении с постоянной памятью о “биографии”, должны были дурно повлиять на него. Этого не случилось.

В отличие от очень многих он не гонялся за славой и не томился заботой о ее поддержании; он не пугался критики, так же как не испытывал радости от похвалы любого глупца или невежды; он не искал поводов удостовериться в своей известности, – может быть, потому, что она была настоящая, а не дутая; он не страдал чванством и не разыгрывал, как многие знаменитости, избалованного ребенка.

Я не видал человека, который носил бы свою славу с большим умением и благородством, чем Горький.

Он был исключительно скромнен – даже в тех случаях, когда был доволен самим собой. Эта скромность была неподдельная. Происходила она главным образом от благоговейного преклонения перед литературой, а кроме того – от неуверенности в себе. Раз навсегда

усвоив довольно элементарные эстетические понятия (примерно – семидесятых, восьмидесятых годов), в своих писаниях он резко отличал содержание от формы. Содержание казалось ему хорошо защищенным, потому что опиралось на твердо усвоенные социальные воззрения. Зато в области формы он себя чувствовал вооруженным слабо.

Сравнивая себя с излюбленными и даже с нелюбимыми мастерами (например – с Достоевским, с Гоголем), он находил у них гибкость, сложность, изящество, утонченность, которыми сам не располагал, – и не раз в этом признавался. Я уже говорил, что свои рассказы случилось ему читать вслух сквозь слезы. Но когда спадало это умиленное волнение, он требовал критики, выслушивал ее с благодарностью и обращал внимание только на упреки, пропуская похвалы мимо ушей. Нередко он защищался, спорил, но столь же часто уступал в споре, а уступив – непременно садился за переделки и исправления. Так, я его убедил кое-что переделать в “Рассказе о тараканах” и заново написать последнюю часть “Дела Артамоновых”. Была, наконец, одна область, в которой он себя признавал беспомощным – и страдал от этого самым настоящим образом.

– А скажите, пожалуйста, что мои стихи, очень плохи?

– Плохи, Алексей Максимович.

– Жалко. Ужасно жалко. Всю жизнь я мечтал написать одно хорошее стихотворение.

Он смотрит вверх грустными, выцветшими глазами, потом вынужден достать платок и утереть их.

Меня всегда удивляла и почти волновала та необыкновенно человеческая непоследовательность, с которой этот последовательный ненавистник правды вдруг становился правдолюбив, лишь только дело касалось его писаний. Тут он не только не хотел обольщений, но напротив – мужественно искал истины. Однажды он объявил, что Ю. И. Айхенвальд, который был еще жив, несправедливо бранит его новые рассказы, сводя политические и личные счеты. Я ответил, что этого быть не может, потому что, во многом не сходясь с Айхенвальдом, знаю его как критика в высшей степени беспристрастного. Это происходило в конце 1923 года, в Мариенбаде. В ту пору мы с Горьким сообща редактировали журнал “Беседа”. Спор наш дошел до того, что я, чуть ли не на пари, предложил в ближайшей книжке напечатать два рассказа Горького – один под настоящим именем, другой под псевдонимом – и посмотреть, что будет. Так и сделали. В 4-й книжке “Беседы” мы напечатали “Рассказ о герое” за подписью Горького и рядом другой рассказ, который назывался “Об одном романе”, – под псевдонимом Василий Сизов. Через несколько дней пришел номер берлинского “Руля”, в котором Сизову досталось едва ли не больше, чем Горькому, – и Горький мне сказал с настоящею, с неподдельной радостью:

– Вы, очевидно, правы. Это, понимаете, очень приятно. То есть не то приятно, что он меня изругал, а то, что я, очевидно, в нем ошибался.

Почти год спустя, уже в Сорренто, с тем же рассказом вышел курьез. Приехавший из Москвы Андрей Соболев попросил дать ему для ознакомления все номера “Беседы” (в советскую Россию они не допускались). Дня через три он принес книги обратно. Кончался ужин, все были еще за столом. Соболев стал излагать свои мнения. С похвалой говорил о разных вещах, напечатанных в “Беседе”, в том числе о рассказах Горького, – и вдруг выпалил:

– А вот какого-то этого Сизова напрасно вы напечатали. Дрянь ужасная.

Не знаю, что Горький ответил, и ответил ли что-нибудь, и не знаю, какое было у него лицо, потому что я стал смотреть в сторону. Перед сном я зачем-то зашел в комнату Горького. Он уже был в постели и сказал мне из-за ширмы:

– Вы не вздумайте Соболю объяснить, в чем дело, а то мы будем стыдиться друг друга, как две голых монахини.

* * *

Перед тем как послать в редакцию “Современных записок” свои воспоминания о Валерии Брюсове, я прочел их Горькому. Когда я кончил читать, он сказал, помолчав немного:

– Жестоко вы написали, но – превосходно. Когда я помру, напишите, пожалуйста, обо мне.

– Хорошо, Алексей Максимович.

– Не забудете?

– Не забуду.

1936

<2>

Год тому назад мною были публично прочитаны, а затем напечатаны в “Современных записках” воспоминания о Максиме Горьком. В этих воспоминаниях я старался представить лишь общий психологический облик писателя, как я его видел и понимал, не касаясь и не намереваясь касаться всей политической стороны его жизни. Однако, просматривая разные советские издания, в которых не прекращается очень детальное изучение не только творчества, но и биографии Горького, я убедился, что вся эпоха его пребывания за границей, начиная с 1921 года, либо обходится молчанием, либо, что еще хуже, дается в неверном освещении. Читателю советских изданий неизменно внушается мысль, что Горький покинул советскую Россию единственно по причине расстроенного здоровья, во все время пребывания за границей не терял самой тесной связи с правительством и вернулся тотчас, как только выздоровел. В действительности все это было совсем не так.

Я, однако же, не решился бы обвинять авторов в сознательной лжи. Весьма вероятно, что документы, могущие осветить истинное положение дел, в СССР отчасти уничтожены, отчасти скрыты от тех, кто там пишет о Горьком. Свидетели, от которых можно бы узнать правду, сравнительно весьма немногочисленны, но и они молчат и будут молчать: одни – потому что заинтересованы в сокрытии истины, другие – потому что боятся ее хотя бы приоткрыть.

Ввиду того, что именно эта потаенная эпоха горьковской жизни в значительной степени прошла у меня на глазах, мне показалось, что мой долг – сохранить для будущего хотя бы те сведения, которыми я располагаю.

Мой рассказ имеет мемуарный, а не исследовательский характер. Вследствие этого он, во-первых, не простирается за хронологические пределы моего личного общения с Горьким.

Во-вторых, и я это в особенности подчеркиваю, он отнюдь не претендует на то, чтобы даже за этот период охватить всю тему, представить отношения Горького с властью во всей полноте. Для такого охвата я даже и не располагаю надлежащими сведениями, потому что знаю, что многое, происходившее в ту пору, остается мне неизвестно. В-третьих, именно в силу того, что я оперирую не со всей суммой данных, а лишь с теми, которые входят в состав моих личных воспоминаний, я воздерживаюсь от широких обобщений и выводов.

Наконец, я считаю долгом сделать еще одно замечание. Весьма многое из того, о чем я рассказываю, фактически происходило вне моего присутствия и непосредственного созерцания. Однако то, чему я сам не был и не мог быть свидетелем, сообщается не иначе, как со слов самого Горького, либо со слов других действующих лиц, либо на основании имеющихся у меня документов, в том числе – писем Горького. Никакими печатными материалами и сведениями из вторых рук я не пользуюсь.

* * *

Осенью 1918 года меня вызвали в Петербург и предложили заведовать московским отделением издательства “Всемирная литература”, только что возникшего под эгидой Максима Горького. Приняв предложение, я вернулся в Москву. Работа моя протекала в постоянном и тесном общении с петербургским правлением. Я каждый день сносился с ним по прямому поводу, установленному в моем кабинете.

Постепенно мне стало ясно, что Горький, хотя ему принадлежала идея издательства, мало интересуется его текущими делами, которые находились в руках близких к нему людей: А. Н. Тихонова и З. И. Гржебина.

“Всемирная литература” числилась состоящей при “народном комиссариате по просвещению”, но фактически была автономна. Вся связь между нею и Наркомпросом выражалась в том, что правительство оплачивало ее расходы, а ее сотрудники числились на советской службе. С того момента, как было учреждено Государственное издательство, то есть с весны 1919 года, ассигновки на “Всемирную литературу” шли через Госиздат, и я туда обращался всякий раз, как мне нужны были деньги. Осенью того же года Н... однажды позвонил мне по телефону и сказал следующее: “На Петербург наступают войска ген. Юденича. Петербург, вероятно, будет ими временно занят, благодаря чему откроется финляндская граница. Необходимо воспользоваться этим случаем, чтобы закупить в Финляндии партию бумаги для «Всемирной литературы». Однако на советские деньги там ничего не продают. Поэтому отправляйтесь немедленно в Госиздат и потребуйте, чтобы вам выдали необходимую сумму денежными знаками Временного правительства. Получив деньги, известите меня, а я вам тогда скажу, как их сюда переслать”.

Не помню, какую сумму назвал Н... Во всяком случае, она была очень велика и в несколько раз превышала те суммы, которые мне обычно приходилось брать в Государственном издательстве. Кроме того, деньги Временного правительства в ту пору еще имели мистическую, но почти валютную ценность и расходовались только на самые важные государственные и партийные надобности. Всякие частные операции с ними сурово преследовались, и даже самое хранение их считалось чуть ли не преступлением. Кроме этого, мне показалось рискованно идти в советское учреждение и там развивать планы, основанные на предстоящих неудачах Красной армии. Поэтому я ответил Н..., что прошу его требование изложить на бумаге и прислать мне не иначе, как за подписью самого Горького. После некоторых препирательств Н... повесил трубку. Однако на другой день бумага пришла, и мне ничего не оставалось, как отправиться с ней в Госиздат.

Заведовал им В. В. Воровский, тот самый, который впоследствии был убит в Лозанне. Это был сухощавый, сутуловатый человек приметно слабого здоровья. Он элегантно одевался и тщательно ухаживал за своей седеющей бородой – может быть, даже слегка подвивал ее – и за своими красивыми, породистыми руками. Он был образован и хорошо воспитан. У нас сложились добрые отношения. Раз или два случалось мне встретить его на Пречистенском бульваре и сидеть с ним на скамейке у памятника Гоголю. Когда я представил ему горьковскую бумагу, он прочел ее, пощелкал по ней пальцем, покачал головой и сказал, улыбаясь (помню его слова с абсолютной точностью):

– Ай, ай, ай! Ай да Алексей Максимович! Так сам и просится в Чрезвычайку!

Потом, обратясь ко мне, он прибавил заботливо и серьезно:

– Денег, конечно, им не дадут, и бумажку эту я уничтожу. А если они будут настаивать на дальнейших хлопотах, то скажите им, что лично вы не хотите путаться в это дело.

Горьковская бумага, однако, не была уничтожена, а попала в руки секретарю Воровского, и несколько времени спустя, когда уже и Юденич откатился от Петербурга, в “Правде” (а может

быть – в “Известиях”) появилась статья на тему о том, что до сих пор существует в РСФСР частное издательство Гржебина, набивающее себе карманы на заказах советского правительства – в частности, комиссариата по военным делам; что тот же Гржебин ворочает делами “Всемирной литературы”, с деньгами которой недавно собирался перебежать к Юденичу, – и что всем этим махинациям покровительствует Максим Горький.

Горький тотчас примчался в Москву с Гржебиным и, кажется, Десницким. Историю ему удалось замять, но с большим трудом и только благодаря вмешательству Ленина. Вообще в Кремле к нему относились подозрительно, а порой и враждебно. Главные интриги шли, видимо, со стороны Каменевых.

Наркомпрос разделялся на несколько отделов, в числе которых был театральный, так называемый Тео. В нем номинально сосредоточивалось управление всеми театрами республики. На деле Тео ничем не управлял, отчасти по общим тогдашним условиям, отчасти же потому, что во главе его стояла Ольга Давыдовна Каменева, жена председателя московского Совета и сестра Троцкого, не имевшая о театре ни малейшего понятия, занявшая свой высокий пост благодаря влиянию брата и мужа.

Назначение Каменевой причиняло страшные душевные муки жене Горького, Марии Федоровне Андреевой, считавшей, что возглавление Тео по праву должно принадлежать ей (что отчасти было справедливо, потому что она, как-никак, бывшая артистка, а Каменева – не то акушерка, не то зубной врач). Вражда между высокопоставленными дамами не затихала. Мария Федоровна вела под Каменеву подкопы, но та стойко оборонялась, в чем ей помогал В. Э. Мейерхольд. Однажды в Петербурге, в квартире Горького, симпровизировал я на эту тему целую былинку, из которой помню лишь несколько строк:

Как восплачется свет-княгинюшка,
Свет-княгинюшка Ольга Давыдовна:
“Уж ты гой еси, Марахол Марахолович,
Славный богатырь наш скоморошина!
Ты седлай свово коня борзого,
Ты скачи ко мне на Москва-реку!
Как Андреева, ведьма лютая,
Извести меня обещалася,
Из Тео меня хочет выместить,
Из Кремля меня хочет вытрясти,
Малых детушек в полон забрать!”
Седлал Марахол коня борзого,
Прискакал тогда на Москва-реку.
А и брал он тую Андрееву
За белы груди да за косыньки,
Подымал выше лесу синего,
Ударял ее об сыру землю – и т. д.

Больше всего, конечно, помогало Каменевой то, что Луначарский, тогдашний комиссар народного просвещения, хорошо относился к Горькому, но был в дурных отношениях с его женой. Причина этих неладов была вполне анекдотическая. В эпоху первой эмиграции существовала, как известно, большевицкая колония на Капри. Жил там и Луначарский с семьей. Однажды у него умер ребенок. Похоронить его по христианскому обряду Луначарский, как атеист, не мог, а просто зарыть трупик в землю все же оказалось ему нехорошо. Чудак додумался до того, что стал над мертвым младенцем читать стихи Бальмонта. Мария Федоровна Андреева подняла его на смех при всей честной компании. Произошла ссора, кончившаяся по

тогдашнему обычаю третейским судом. Противников помирили, но сам Горький мне говорил, что Луначарский навсегда возненавидел Марию Федоровну и именно по этой причине обошел ее при назначении заведующей Тео.

В феврале 1920 года, когда уже Каменеву перевели из Тео в отдел социального обеспечения, я однажды имел с нею длинную и в некоторых отношениях любопытную беседу, во время которой она, между прочим, спросила, продолжаю ли я заведовать “Всемирной литературой”. На мой утвердительный ответ она сказала:

– Удивляюсь, как вы можете знаться с Горьким. Он только и делает, что покрывает мошенников – и сам такой же мошенник. Если бы не Владимир Ильич, он давно бы сидел в тюрьме!

* * *

Помимо личного раздражения, в словах Каменевой, может быть, следует расслышать отголосок другой, более упорной и деятельной вражды, несомненно сыгравшей важнейшую роль в жизни Горького и в истории его отношений с советским правительством. Я имею в виду его нелады с Григорием Зиновьевым, всесильным в ту пору комиссаром Северной области, смотревшим на Петербург как на свою вотчину.

Когда, почему и как начали враждовать Горький с Зиновьевым, я не знаю. Возможно, что это были тоже давние счеты, восходящие к дореволюционной поре; возможно, что они возникли в 1917–1918 годах, когда Горький стоял во главе газеты “Новая жизнь”, отчасти оппозиционной по отношению к ленинской партии и закрытой советским правительством одновременно с другими оппозиционными органами печати. Во всяком случае, к осени 1920 года, когда я переселился из Москвы в Петербург, до открытой войны дело еще не доходило, но Зиновьев старался вредить Горькому, где мог и как мог. Арестованным, за которых хлопотал Горький, нередко грозила худшая участь, чем если бы он за них не хлопотал. Продовольствие, топливо и одежда, которые Горький с величайшим трудом добывал для ученых, писателей и художников, перехватывались по распоряжению Зиновьева и распределялись неизвестно по каким учреждениям.

Ища защиты у Ленина, Горький то и дело звонил к нему по телефону, писал письма и лично ездил в Москву. Нельзя отрицать, что Ленин старался прийти ему на помощь, но до того, чтобы по-настоящему обуздать Зиновьева, не доходил никогда, потому что, конечно, ценил Горького как писателя, а Зиновьева – как испытанного большевика, который был ему нужнее.

Недавно в журнале “Звезда” один ученый с наивным умилением вспоминал, как он с Горьким был на приеме у Ленина и как Ленин участливо советовал Горькому поехать за границу – отдыхать и лечиться. Я очень хорошо помню, как эти советы огорчали и раздражали Горького, который в них видел желание избавиться от назойливого ходатая за “врагов” и жалобщика на Зиновьева. Зиновьев со своей стороны не унимался. Возможно, что легкие поражения, которые порой наносил ему Горький, даже еще увеличивали его энергию. Дерзость его доходила до того, что его агенты перлюстрировали горьковскую переписку – в том числе письма самого Ленина. Эти письма Ленин иногда посылал в конвертах, по всем направлениям прошитых ниткою, концы которой припечатывались сургучными печатями. И все-таки Зиновьев каким-то образом ухитрялся их прочитывать – об этом впоследствии рассказывал мне сам Горький.

Незадолго до моего приезда Зиновьев устроил в густо и пестро населенной квартире Горького повальный обыск. В ту же пору до Горького дошли сведения, что Зиновьев грозит арестовать “некоторых людей, близких к Горькому”. Кто здесь имелся в виду? Несомненно – Гржебин и Тихонов, но весьма вероятно, и то, что замышлялся еще один удар – можно сказать, прямо в сердце Алексея Максимовича.

Несколько лет тому назад вышла книга английского дипломата Локкарта – воспоминания о пребывании в советской России. В этой книге фигурирует, между прочим, одна русская дама – под условным именем *Маря*. Оставим ей это имя, уже в некотором роде освященное традицией...

Личной особенностью Мары надо признать исключительный дар достигать поставленных целей. При этом она всегда умела казаться почти беззаботной, что надо приписать незаурядному умению притворяться и замечательной выдержке. Образование она получила “домашнее”, но благодаря большому такту ей удавалось казаться осведомленной в любом предмете, о котором идет речь. Она свободно говорила по-английски, по-немецки, по-французски и на моих глазах в два-три месяца заговорила по-итальянски. Хуже всего она говорила по-русски – с резким иностранным акцентом и явными переводами с английского: “вы это вынули из моего рта”, “он сел на свои большие лошади” и т. п.

Она рано вышла замуж, после чего жила в Берлине, где ее муж был одним из секретарей русского посольства. Тесные связи с высшим берлинским обществом сохранила она до сих пор. В начале войны она приехала в Петербург, выказала себя горячею патриоткой, была сестрой милосердия в великосветском госпитале, которым заведовала бар. В. И. Икскуль, вступила в только что возникшее общество англо-русского сближения и завязала дружеские связи в английском посольстве. В 1917 году ее муж был убит крестьянами у себя в имении – под Ревелем. Ей было тогда лет двадцать семь.

В момент Октябрьской революции она сблизилась с упомянутым Локкартом, который в качестве поверенного в делах заменил уехавшего английского посла Бьюкенена. Вместе с Локкартом она переехала в Москву и вместе с ним была арестована большевиками, а затем отпущена на свободу. Покидая Россию, Локкерт не мог взять ее с собой.

Выйдя из Чека, она поехала в Петербург, где писатель Корней Чуковский, знавший ее по англо-русскому обществу, достал ей работу во “Всемирной литературе” и познакомил с Горьким. Вскоре она пыталась бежать за границу, но была схвачена и очутилась в Чека на Гороховой. Благодаря хлопотам Горького ее выпустили. Она поселилась в его квартире на положении секретарши. Вот ее-то Зиновьев и мечтал посадить еще раз.

Время от времени у Горького собирались петербургские большевики, состоявшие в оппозиции к Зиновьеву, большею частью лично им обиженные: Лашевич, Бакаев, Зорин, Гессен и другие. Однако им приходилось ограничиваться злословием по адресу Зиновьева, чтением стихов, в которых он высмеивался, и тому подобными невинными вещами.

У меня создалось впечатление, что они вели на заводах некоторую осторожную агитацию против Зиновьева. Но дальше этого дело не шло, для настоящей борьбы сил не было.

Вскоре, однако, на горизонте оппозиции блеснул луч света. Общеизвестна расправа, учиненная Зиновьевым над матросами, захваченными в плен во время кронштадтского восстания. Я сам видел, как одну партию пленников вели под конвоем, и они, грозя кулаками встреченным рабочим, кричали:

– Предатели! Сволочи!

Уцелевшие матросы в переодетом виде ходили к Горькому, и, наконец, в руках у него очутились документы и показания, уличавшие Зиновьева не только в безжалостных и бессудных расстрелах, но и в том, что самое восстание было отчасти им спровоцировано. Каковы были при этом цели Зиновьева – не знаю, но о самом факте провокации Горький мне говорил много раз. С добытыми документами Горький решил ехать в Москву. По-видимому, надеялся, что на этот раз Зиновьеву несдобровать.

В Москве, как всегда, он остановился у Екатерины Павловны Пешковой, своей первой жены. У нее же на квартире состоялось совещание, на котором присутствовали: Ленин, приехавший без всякой охраны, Дзержинский, рядом с шофером которого сидел вооруженный

чекист, и Троцкий, за несколько минут до приезда которого целый отряд красноармейцев оцепил весь дом.

Выслушали доклад Горького и решили, что надо выслушать Зиновьева. Его вызвали в Москву. В первом же заседании он разразился сердечным припадком – по мнению Горького, симулированным (хотя он и в самом деле страдал сердечной болезнью). Кончилось дело тем, что Зиновьева пожарили и отпустили с миром.

Нельзя было сомневаться, что теперь Зиновьев сумеет Алексею Максимовичу отплатить. Боясь за Мару, Горький потребовал для нее заграничный паспорт, который ему тотчас выдали в компенсацию за понесенное поражение. Горький привез паспорт в Петербург, и Мара была эвакуирована в Эстонию. Мы еще к ней вернемся.

* * *

Весной того же года Луначарский подал в Политбюро заявление, поддержанное Горьким, – о необходимости выпустить за границу больных писателей: Сологуба и Блока. Политбюро почему-то решило Сологуба выпустить, а Блока задержать. Узнав об этом, Луначарский отправил в Политбюро чуть ли не истерическое письмо, в котором, вновь хлопоча за Блока, ни с того ни с сего потопил Сологуба. Аргументация его была приблизительно такова: товарищи, что ж вы делаете? Я просил за Блока и Сологуба, а вы выпускаете Сологуба, меж тем как Блок – поэт революции, наша гордость, о нем была даже статья в Times, а Сологуб – наш враг, ненавистник пролетариата, автор контрреволюционных памфлетов – и т. д.

В один из самых последних дней июня я зашел к Горькому. После ужина он повел меня в свой маленький тесный кабинет, говоря: “Пойдемте, я вам покажу штуковину”, – и показал мне копию письма Луначарского, датированного 22 числом. Пока я читал, он несколько раз спрашивал: “Каково? Хорошо?” Прочитав, я сказал: “Осел”. – “Не осел, а сукин сын”, – возразил он, покраснев, и тотчас прибавил: “Извините, пожалуйста”. (Он не любил бранных слов и почти никогда их не употреблял.)

Мы вернулись в столовую. За чаем он хмурился, не принимал участия в разговоре, иногда вставал и, ходя по комнате, бормотал уже во множественном числе: “Ослы! Ослы!” Все это лето он был в подавленном настроении.

Сологубовская история была, однако ж, ничто по сравнению с неприятностями, которые еще предстояло ему пережить. Только что описанный мой визит был прощальным: я собирался в деревню. Дней через пять, в самую ночь перед моим отъездом из Петербурга, были произведены многочисленные аресты по знаменитому таганцевскому делу. Был схвачен целый ряд представителей интеллигенции, в том числе Гумилев и старый приятель Горького – Тихвинский. Впоследствии обвиняли Горького в том, что по этому делу он не проявил достаточно энергии. Повторяю – меня не было в Петербурге, я вернулся туда только после того, как осужденные были уже расстреляны.

Однако на основании самых достоверных источников я утверждаю, что Горький делал неслыханные усилия, чтобы спасти привлеченных по делу, но его авторитет в Москве был уже равен почти нулю. Не могу этого утверждать положительно, но вполне допускаю, что, в связи с Зиновьевым, заступничество Горького даже еще ухудшило положение осужденных.

Слухи о том, что его обвиняют в бездействии, доходили до Горького. Обычно он мало, даже слишком мало считался с общественным мнением, даже любил его раздражать, но на этот раз переживал напраслину очень тяжело, хотя, по обыкновению своему, не оправдывался. Может быть, собственное непреодолимое упрямство его мучило.

Между тем на него надвигалась еще беда, еще одно поражение – может быть, самое тяжелое из всех, понесенных им в Кремле. Уже с весны сделалось невозможно скрывать, что в России, в особенности на Волге, на Украине, в Крыму, свирепствует голод. В Кремле наконец пере-

положились и решили, что без содействия остатков общественности обойтись невозможно. Привлечение общественных сил было необходимо еще для того, чтобы заручиться доверием иностранцев и получить помощь из-за границы. Каменев, не без ловкости притворившийся другом и заступником интеллигенции, стал нащупывать почву среди ее представителей, более или менее загнанных в подполье.

Привлекли к делу Горького. Его призыв, обращенный к интеллигенции, еще раз возымел действие. Образовался Всероссийский комитет помощи голодающим, виднейшими деятелями которого были Прокопович, Кускова и Кишкин. По начальным слогам этих фамилий Комитет тотчас получил дружески-комическую, но провиденциальную кличку: Про-кукиш. С готовностью, даже с рвением шли в Комитет писатели, публицисты, врачи, адвокаты, учителя и т. д. Одних привлекала гуманная цель. Мечты других, может быть, простирались далее. Казалось – лиха беда начат, а уж там, однажды вступив в контакт с “живыми силами страны”, советская власть будет в этом направлении эволюционировать, – замерзший мотор общественности заработает, если всю машину немножечко потолкать плечом. Нэп, незадолго перед тем объявленный, еще более окрылял мечты. В воздухе пахло “весной”, точь-в-точь как в 1904 году. Скептиков не слушали.

Председателем Комитета избрали Каменева и заседали с упоением. Говорили красиво, много, с многозначительными намеками. Когда за границей узнали о возрождении общественности, а болтуны высказались, Чека, разумеется, всех арестовала гуртом, во время заседания, не тронув лишь “председателя”. При этой оказии кто-то что-то еще сказал, кто-то посмел отпустить “смелую” шуточку, а затем отправились в тюрьму.

Горький был в это время в Москве – а может быть, поехал туда, узнав о происшествии. Его стыду и досаде не было границ. Встретив Каменева в кремлевской столовой, он сказал ему со слезами:

– Вы сделали меня провокатором. Этого со мной еще не случилось.

Вернувшись в Петербург в конце сентября или в начале октября, Горький наконец понял, что пора воспользоваться советами Ленина, и через несколько дней покинул советскую Россию. Он поехал в Германию.

* * *

Я собрался за границу летом 1922 года. Кое-кто из общих друзей просили меня отвезти Алексею Максимовичу письма, которых нельзя было доверить почте. Принять подобное поручение теперь было бы сумасшествием. Но те времена были еще идиллические. Я преспокойно довез письма до Берлина. В день приезда я написал Горькому в приморское местечко Герингсдорф, спрашивая, когда можно его застать. Он ответил: “Если это удобно для Вас, приезжайте в четверг... Очень рад буду увидеть Вас и рад, что Вы наконец отдохнете”. Затем шла удивившая меня фраза: *“До свидания со мной – подождите принимать предложения «Накануне»”*.

Как все помнят, “Накануне” была сменовеховская газета, выходившая в Берлине под редакцией Алексея Толстого. Я еще не видал Толстого и никаких предложений от него не получал. Мне показалось странно, что Горький так забегает вперед. Приехав к нему, я всё понял: по отношению к советскому правительству он оказался настроен еще менее сочувственно, чем я. Подробно расспрашивая о петербургских писателях, преимущественно о молодежи, чуть ли не по поводу каждого прибавлял: “Эх, хорошо бы его сюда вызволить!”

В сентябре месяце, когда Каменев и Зиновьев разгромили литературные организации Москвы и Петербурга и устроили знаменитую высылку писателей за границу, он сказал, что, конечно, высланным здесь будет лучше, но Каменева и Зиновьева ругал последними словами. И вдруг прибавил, что было бы хорошо, если бы я написал об этом, попутно упомянув о провокации Зиновьева в кронштадтской истории. На мой удивленный вопрос – где же написать? –

он ответил: “Да хотя бы в «Голосе России». Бездарная газета, но порядочная”. После некоторых колебаний я статью написал и напечатал.

Так, под прямым воздействием Горького, началось мое, сперва тайное, под псевдонимом, участие в эмигрантской печати.

Позднью осенью Горький меня убедил переселиться в городок Saagow, в двух часах езды от Берлина. Мы виделись ежедневно. Вскоре возникла мысль об издании журнала. Принадлежала она не Горькому, а Виктору Шкловскому, бежавшему из России примерно за год до этого (он был привлечен по делу эсеров).

Надо принять во внимание, что до 1922 года в России существовала только военная цензура. В 1922-м была введена общая, весьма придирчивая и совершенно идиотская, как все ей подобные. Сверх того, частные издательства и журналы прекратили существование, а казенные всё откровеннее требовали агиток. Вот и придумал Шкловский издавать такой журнал, в котором писатели, живущие в советской России, могли бы через голову цензуры и казенных редакций печатать вещи, не содержащие, разумеется, выпадов против власти, но все же написанные не по ее указке. Теперь такая затея показалась бы дикостью. Тогда она была вполне осуществима.

Издательство “Слово” выпустило книгу Ахматовой и переслало ей гонорар. Петербургские поэты открыто посылали стихи в берлинский журнал “Сполохи”. Гершензон, приехавший в Германию на несколько месяцев для лечения, дал статью даже в “Современные записки”. Достать необходимые средства также не представляло труда, потому что советское правительство усердно распускало слухи, что оно намерено допускать в Россию зарубежные издания, не содержащие агитации против власти и отпечатанные по новой орфографии.

Разумеется, эти слухи не вязались с введением внутренней цензуры, но к неувязкам в распоряжениях Москвы привыкли. Впоследствии стало ясно, что тут действовала чистейшая провокация: в Москве хотели заставить зарубежных издателей произвести крупные затраты в расчете на огромный внутрироссийский рынок, а затем границу закрыть и тем самым издателей разорить. Так и вышло: целый ряд берлинских издательств взорвался на этой mine. С издателем Гржебиным поступили еще коварнее: ему надавали твердых заказов на определенные книги, в том числе на учебники, на классиков и т. д. Он вложил в это дело все свои средства, но книг у него не взяли, и он был разорен вдребезги. Но, повторяю, провокация обнаружилась лишь впоследствии.

Шкловский увлек своей затеей Горького и меня. Мы выработали план журнала. Редакция литературного отдела составила из Горького, Андрея Белого и меня. Научный отдел, введенный по настоянию Горького, был поручен профессорам Брауну и Адлеру. По моему предложению будущий журнал назвали “Беседой”, в память Державина. До сих пор ходят слухи, что он издавался на московские деньги. В действительности его выпускало издательство “Эпоха”, основанное на средства меньшевика Д.

“Эпоха” тем охотнее пошла нам навстречу, что участие Горького, казалось, гарантировало допущение журнала в советскую Россию. Так же точно смотрел на дело и сам Горький, все еще веривший, что его авторитет у большевиков не окончательно утрачен. На деле вышло другое.

Весной 1923 года появилась первая книжка “Беседы”. За ней последовала вторая. “Международная книга”, – берлинское советское учреждение, ведавшее книготорговлей, – приобрела наш журнал в количестве не то десяти, не то двадцати экземпляров, уверяя, однако, что, как только будет получено разрешение на ввоз “Беседы” в РСФСР, она будет покупать не менее тысячи. Горький писал в Москву письма – не знаю кому, – при мне говорил о “Беседе” с приезжавшим в Saagow Рыковым, который в то время был заместителем Ленина. В ответ получались ссылки на канцелярскую волокиту и обещания уладить дело. Тогда он решился на

репрессию: написал в Москву, что не будет сотрудничать в советских изданиях, пока “Беседу” не пропустят в Россию. Этого решения он придерживался даже ригористически.

Некто Лежнев еще ухитрялся издавать в Москве собственный журнал под смелым названием “Россия”. Осенью 1923 года он был в Берлине и мечтал познакомиться с Горьким, но тот был во Фрейбурге. Я согласился написать Горькому и попросить у него рассказ, подчеркнув, что дело идет о частном, а не о казенном издании. Горький ответил: “Рассказ Лежневу я не могу дать до поры, пока не разрешится вопрос о допущении «Беседы» в Россию. Имею сведения, что вопрос этот «рассматривают». О, Господи...”

Характерно, что несколько месяцев тому назад существовали как будто только технические, канцелярские препятствия, а теперь оказывалось, что весь вопрос еще должен быть обсужден принципиально, то есть в высших инстанциях. В то же время стало обнаруживаться, что в России косо смотрят на писателей, посылающих материал в “Беседу”. Рукописи оттуда почти не приходили, и таким образом отпадал смысл всего предприятия.

Но Горький уже сжился с мыслью о свободном журнале. Кроме того, ему было необходимо настоять на своем, чтобы поддержать в Москве свой падающий авторитет, которым он весьма дорожил, несмотря на то что, кроме умирающего Ленина, ненавидел весь Кремль. Утратить этот авторитет – значило “испортить биографию”, потерять ореол любимца “революционных масс” и титул “буревестника”. Недаром Троцкий уже осмеливался открыто, в печати, называть его контрреволюционером.

Во Фрейбурге за ним по пятам ходили шпики: немецкие, – боявшиеся, что он сделает революцию, и советские, – следившие, как бы он не сделал контрреволюцию. Меж тем Германии в самом деле грозила опасность превратиться в советскую республику. Надо было оттуда уезжать.

Я двинулся в Прагу, намереваясь затем пробраться в Италию. 26 ноября Горький тоже приехал в Прагу, где нам, однако, не нравился климат и жить было беспокойно. В ожидании итальянских виз мы через две недели уехали в Мариенбад.

Слухи об охлаждении между Горьким и советским правительством ходили давно. Он сам не скрывал своих настроений. Через несколько дней по приезде в Мариенбад я получил письмо из одного эмигрантского журнала – просили узнать, не согласится ли Алексей Максимович в нем участвовать. Я передал вопрос Горькому и с его слов ответил, что в принципе это возможно, но эмигрантская печать должна первая сделать некоторые шаги к сближению.

Это незначительное событие имело, однако ж, последствия.

Сердце Алексея Максимовича было чувствительно, но изменчиво. Покидая Петербург, он отнюдь не намеревался встретиться за границей с Марой. Со своей стороны, по приезде в Эстонию, она тотчас вышла замуж... Но лишь только Алексей Максимович очутился в Германии, она явилась туда же и энергичнейшим образом добилась того, что к моему приезду из России уже занимала прочное положение при нем, а затем, вместе с его сыном и снохой, сопровождала его во всех скитаниях по Европе.

Не знаю, в какой степени серьезно отнесся Горький к возможности своего участия в эмигрантском журнале. Думаю даже, что он только представлял себе это как соблазнительный, но несбыточный поступок – вроде выхода из советского подданства, о чем он порой даже принимался писать заявление во ВЦИК, быть может – до слез умиляясь над этим трагическим посланием, о котором знал наперед, что никогда его не отправит по адресу. Как бы то ни было, он, по-видимому, рассказал Маре о полученном мною письме. Выждав дня два, она как-то вечером, когда все уже улеглись, позвала меня к себе в комнату – “поболтать”. Должен отдать справедливость ее уму. Без единого намека, без малейшего подчеркивания, не выпадая из тона дружеской беседы в ночных туфлях, она сумела мне сделать ясное дипломатическое представление о том, что ее монархические чувства мне ведомы, что свою ненависть к большевикам она вполне доказала, но – Максим (сын Горького), вы сами знаете, что такое, он только умеет

тратить деньги на глупости, кроме него, у Алексея Максимовича много еще людей на плечах, *нам* нужно не меньше десяти тысяч долларов в год, одни иностранные издательства столько дать не могут, если же Алексей Максимович утратит положение первого писателя советской республики, то они и совсем ничего не дадут, да и сам Алексей Максимович будет несчастен, если каким-нибудь неосторожным поступком испортит свою биографию. “Поймите меня, я же монархистка до мозга костей, я же их ненавижу, – несколько раз напоминала она, – но что поделаешь? Для блага Алексея Максимовича и всей семьи надо не ссорить его с большевиками, а, наоборот, – всячески смягчать отношения. Всё это необходимо и для общего нашего мира”, – прибавила она очень многозначительно. После этого разговора я стал замечать, что настроения Алексея Максимовича внушают окружающим беспокойство и что меня подозревают в дурном влиянии.

Жизнь в опустелом зимнем Мариенбаде была до крайности однообразна: днем работа, прогулка, вечером долгое чаепитие, раза два – общий выезд в синематограф, вот и все. Однажды за ужином подали телеграмму от Екатерины Павловны Пешковой. Максим распечатал ее и прочел вслух: “Владимир Ильич скончался, телеграфируй текст надписи на венке”. Мне показалась забавной такая забота о том, чтобы Алексей Максимович не забыл принять участие в официальной скорби. Я взглянул на него. Он с минуту сидел молча, с очень серьезным, даже вроде как злым лицом, потом встал и вышел из комнаты.

Чуть ли не на другой день Мара его засадила писать воспоминания о Ленине – были все основания рассчитывать, что их переведут на многие языки. Едва он их кончил, из Берлина, как будто случайно, приехал заведующий “Международной книгой” Крючков. Алексею Максимовичу доказали, как дважды два, что буревестник революции обязан высказаться о великом вожде революции, т. е. ради такого случая он должен нарушить зарок и разрешить печатание воспоминаний в России. Крючков увез с собой рукопись, которую в СССР подвергли жесточайшим цензурным урезкам и изменениям.

Как раз в это время Н. К. Крупская прислала письмо с описанием последних дней Ленина. Горький ответил ей резким письмом, в котором категорически требовал допустить в Россию “Беседу”.

* * *

Вскоре я уехал в Италию, прожил там месяц и покинул Рим утром 13 апреля. Горький с семьей приехал туда несколько часов спустя (таким странным образом мы с ним разъезжались три раза в жизни). Я поселился в Париже. Тем временем письмо к вдове Ленина, казалось, возымело действие. В конце мая месяца Мара прислала мне радостное известие: “Беседа” допущена в Россию. Весьма любопытно, что это сообщение было сделано ею в виде приписки на письме Горького, который сам мне об этом не обмолвился ни единым словом: не потому ли, что сомневался? Как бы то ни было, я был обрадован, потому что дела “Беседы”, издание которой за несколько месяцев до того стало единоличным делом С. Г. Сумского, находились в катастрофическом состоянии. Радость, однако, была преждевременна. 26 июня С. Г. Сумский сообщил мне, что “Международная книга” обещает купить для советской России до тысячи экземпляров каждого номера. 25 августа он уже мне писал, что, “по-видимому, разрешение дано А.М. для утешения, а «Беседу» приказано душиť”. Наконец, во второй половине сентября, через четыре месяца после “разрешения”, “Международная книга” купила по десяти экземпляров 1, 2 и 3 номеров “Беседы” и по двадцати пяти экземпляров 4-го и 5-го номеров; итого – восемьдесят экземпляров вместо обещанных пяти тысяч. Тогда же обнаружилось, что даже те экземпляры, которые были посланы в Публичную библиотеку и Румянцевский музей, имевшие право получать книги из-за границы без цензуры, – вернулись в Берлин с надписью: “Запрещено к ввозу”. Стало ясно, что Сумский прав: Горького просто водили за нос.

Прожив несколько месяцев в Париже и в Ирландии, в начале октября я приехал в Сорренто и застал Горького на положении человека опального. Полпредство, недавно учрежденное в Риме, игнорировало его пребывание в Италии. Его переписка с петербургскими писателями откровенно перлюстрировалась, некоторые письма в ту и в другую сторону вовсе пропадали. Из большевиков писал только Рыков. В советских журналах о Горьком отзывались весьма скептически, в газетах появлялись заметки и вовсе оскорбительные. Так, в «Известиях» было напечатано, что проворовался управляющий магазином ЦУМ (бывший «Мюр и Мерилиз»); тут же сообщалось, что он был принят на службу по рекомендательному письму Горького (что было весьма вероятно, ибо Горький давал такие письма кому попало по первой просьбе); далее шли намеки на то, что и сам Горький причастен к хищениям своего ставленника. (Любопытно бы знать, фигурирует ли этот номер газеты в числе документов новооткрытого Горьковского музея.)

Сам Алексей Максимович говорил о большевиках с раздражением или с иронией: либо «наши умники», либо «наши олухи». Чтение советских газет портило ему кровь, и Мара иногда их прятала от него. Однако, когда в Сорренто приехал лечиться московский писатель Андрей Соболев, Алексей Максимович при нем считал нужным носить официальную советскую маску: о советских делах отзывался с официальным оптимизмом; восторженно, с классическими слезами на глазах говорил о «замечательных ребятах» – советских писателях, ученых, изобретателях, давая понять, что только теперь «замечательные ребята» получили возможность развернуть непочатый запас творческих сил. Стоило Соболеву уйти – маска снималась. Соответствующую личину надевал и Соболев при Горьком: ложь порождает ложь.

Однажды Соболев не выдержал: стал жаловаться, что советская критика все более замечается политическим сыском и доносами. Как на одного из самых рьяных доносчиков он указывал на некоего Семена Родова, которого Горький не знал, но которого хорошо знал я. Я сказал, что напишу о Родове статью в газете «Дни», выходящей в Берлине под редакцией А. Ф. Керенского. Перед отсылкой статьи я прочел ее Горькому: в статье заключались весьма неблагоприятные сведения о Родове. Велико было мое удивление, когда Алексей Максимович, прослушав, сказал: «Разрешите мне приписать, что я присоединяюсь к вашим словам и ручаюсь за достоверность того, что вы пишете». «Позвольте, – возразил я, – ведь вы же не знаете Родова? Ведь это же будет неправда?» – «Но я же *вас* знаю», – ответил Горький. – «Нет, Алексей Максимович, это не дело».

Сказав так, я тотчас пожалел об этом, потому что представил себе, каков был бы эффект, если бы горьковская «виза» появилась под статьей в газете Керенского. Неприятно было и то, что он заметно огорчился и каким-то виноватым тоном попросил: «Тогда, по крайней мере, пометьте под статьей: Сорренто». Я с радостью согласился, и статья «Господин Родов» появилась в «Днях» с этой пометкой. Некоторый эффект, мне кажется, произвела и она. Дело в том, что через несколько времени Соболев собрался в Рим, намереваясь, между прочим, посетить своего приятеля, секретаря полпредства. Желая измерить температуру моих отношений с начальством, я дал Соболеву свой советский паспорт, по которому я уже не жил и срок которого кончился. Этот паспорт я просил пролонгировать. Вернувшись, Соболев отдал мне паспорт без пролонгации и сообщил, что секретарь постпредства ему сказал: «Верните паспорт Ходасевичу, и забудем обо всем этом, потому что я обязан не пролонгировать его паспорт, а поставить визу для немедленного возвращения в Россию». На вопрос, за что такая немилость, секретарь ответил, что я оказываю дурное влияние на Горького. Курьезная и жалостная подробность: бедный Соболев был совершенно уверен, что если бы секретарь прилепнул к моему паспорту обратную визу, я бы так сразу в Москву и кинулся.

В феврале 1925 года приехала Екатерина Павловна Пешкова. Сразу бросился в глаза новый тон, которого раньше я в ней не замечал: покровительственный, снисходительный. Она ходила по дому с таким видом, словно хотела сказать: «Ну, ну, покажите, как вы ютитесь тут». Я

показал ей вид с моего балкона – она и к морю отнеслась свысока и как-то дала почувствовать, что мысли ее заняты более серьезными, может быть – государственными проблемами. Высказывалась лаконически и безапелляционно. С неожиданным восторгом она то и дело принималась говорить о предначертаниях советской власти, стараясь показать, что в Кремле от нее нет тайн. Чувствовалось, что и себя самое причисляет она к высшим сферам. Словом, держалась самую настоящую кремлевскую дамой.

С первого же дня ее пребывания начались в кабинете Алексея Максимовича какие-то долгие беседы, после которых он ходил словно на цыпочках и старался поменьше раскрывать рот, а у Екатерины Павловны был вид матери, которая вернулась домой, увидела, что без нее сынишка набедокурил, научился курить, связался с негодными мальчиками – и волей-неволей пришлось его высечь. Порою беседы принимали оттенок семейных советов – на них приглашался Максим.

Вкратце повторю то, что я уже писал о сыне Алексея Максимовича и Екатерины Павловны. Было ему в ту пору лет тридцать, он был лысоват, женат уже года четыре, но по развитию трудно было дать ему больше тринадцати. Он считал себя чуть ли не коммунистом, но в действительности просто вырос среди большевиков, они его в свое время баловали, и он навсегда сохранил уверенность, что нужно быть таким же, как эти добрые дяди. Он, впрочем, политикой не занимался. По-настоящему увлекали его лишь такие вещи, как теннис, мотоциклетка, коллекция марок, чтение уголовных романов, а в особенности цирк и синемаграф, в котором старался он не пропустить ни одного бандитского фильма. Иногда в сердцах Алексей Максимович звал его ослом, иногда же, напротив, с улыбкою умиления смотрел на его паясничанье. В общем, он очень его любил. Характер у Максима был хороший, легкий, на редкость уживчивый. Максим любил транжирить, но не любил, чтоб отец тратил деньги на других, что, впрочем, тоже выходило у него как-то по-детски: зачем давать шоколад другим детям, когда можно отдать весь мне? На этой почве он зорко следил за Марой и иногда обвинял ее в самых некрасивых поступках.

Вскоре по приезде Екатерины Павловны Максим предложил мне пройтись в Сорренто, это была обычная утренняя прогулка (до Сорренто от нас было километра полтора). Отойдя от дома шагов на пятьсот, он вдруг объявил как-то конфузливо, что хочет со мной посоветоваться. Это меня удивило; ничего подобного прежде не случалось: Максим относился ко мне с некоторой настороженностью и никогда в откровенности не пускался. Признаюсь, я до сих пор не понимаю, почему ему вздумалось со мною советоваться. Всего вероятнее, он просто слишком был озадачен и озабочен. Далее произошел у нас следующий диалог, за полную *словесную* точность которого я, разумеется, не ручаюсь (с тех пор прошло больше двенадцати лет), но которого ход, содержание и смысл мне совершенно памятны.

Максим. Вот такая история: мать меня зовет в Россию, а Алексей не пускает (он всегда звал отца по имени).

Я. А самому-то вам хочется ехать?

Максим. Не знаю. Это верно, что я ничего тут не делаю.

Я. А там что вы будете делать?

Максим. Мать говорит, что Феликс Эдмундович (Дзержинский) мне предлагает место.

Я (не смея еще догадаться). Где? Какое место?

Максим. У себя, конечно, – в Чека.

Многого я мог ожидать, но не этого! Я, однако, сумел сдержаться и продолжал разговор, не ахнув.

Я. В Чека? Да что ж, у него своих людей мало?

Максим. Он меня знает, я у него работал.

Я. Как? Когда?

Максим. А еще в восемнадцатом году, в девятнадцатом, – когда был инструктором Всебуча. Тогда в Чека людей не хватало. Посылали нас: меня, Левку Малиновского (это – приятель Максима, сын коммунистки Малиновской, которая одно время заведовала московскими театрами). Интересно, знаете ли, до чертиков. Ночью, бывало, нагрянем – здрасьте пожалуйста! Вот мы раз выловили этих эсеров ваших (намек на мое сотрудничество в “Днях” и в “Современных записках”). Мне тогда Феликс Эдмундович подарил коллекцию марок – у какого-то буржуя ее забрали при обыске. А теперь мать говорит, что он обещает мне автомобиль в полное распоряжение. Вот тогда покатаюсь!

По привычке все изображать в лицах и карикатурно, Максим поджимает коленки, откидывает корпус назад, кладет руки на воображаемый руль и бежит рысцой. Потом его левая рука выбрасывается вбок – Максим делает вираж, бежит мне навстречу, прямо на меня и, изо всех сил нажимая правой рукой незримую грушу, трубит: “Ту! Ту! Ту!”

Не знаю, что со мной было бы, если бы не старинная привычка ничему не удивляться. Новооткрывшаяся страница Максимовой биографии меня, впрочем, не тронула. Существа более безответственного я в жизни своей не видел. Он был несмышленьш в истинном смысле слова. Я тогда же почувствовал и теперь не сомневаюсь, что с его стороны все это было игрою в Шерлока Холмса. Наконец, до него самого мне дела не было. Я как-то даже не задал себе вопроса о том, как смотрит на его чекистские подвиги Горький. Меня тут занимала и изумляла Екатерина Павловна.

На другой день или вроде того Максим зашел вечером в мою комнату, как нередко делал, когда хотелось ему сыграть в шахматы. Я снова навел его на разговор о Чека. Он болтал охотно. Рассказывал о докладе, который делал в Москве Белобородов, убийца царской семьи; назвал мне двух поэтов, сексотов Чека, и т. д.

Екатерина Павловна прожила в Сорренто недели две, собираясь ехать в Прагу. Тут же кстати расскажу маленький анекдот о том, как я сам смешно оскоромился. Накануне отъезда Екатерины Павловны я зачем-то пошел в Сорренто. Иду назад и на главной улице встречаю Екатерину Павловну. “Вот кстати! – говорит она. – Зайдемте со мной в магазин, мне нужно купить черепаховый мундштук для подарка, а сама не курю и ничего в этом деле не понимаю”. Зашли. Я выбрал отличный мундштук, вставил в него папиросу, испробовал, хорошо ли тянет, – а вечером Екатерина Павловна за столом сказала, вынув мундштук из сумочки: “Вот какой славный мундштучок мы с Владиславом Фелициановичем выбрали для Феликса Эдмундовича”.

Во все время ее пребывания мне было тяжело на душе. Да и вообще атмосфера в доме была тяжелая, натянутая. После ее отъезда Алексей Максимович словно помолодел и стал разговорчив по-прежнему.

Однажды он мне сказал:

– Екатерина Павловна тут кружила голову Максиму, звала в Москву. (Про службу в Чека – ни звука.)

– Что ж, пускай едет, коли ему хочется, – сказал я.

Горький слегка рассердился:

– А когда их там всех перебыют, что будет? – спросил он. – Мне все-таки этого дурака жалко. Да и не в нем же дело. Я же вижу, что не в нем дело. Думают – за ним и я поеду. А я не поеду, дудки.

И всё же вечная, неизбывная двойственность его отношений ко всему, что связано было с советской властью, сказывалась и тут. Несколько раз принимался он с нескрываемой гордой радостью за Екатерину Павловну говорить о том, что теперь она – важное лицо. “Молодец баба,

ей-Богу!” – и собрав ладонью пальцы в кулак, он их сразу выбрасывал, держа руку ладонью вверх: характерный жест, который он всегда делал, говоря о чем-нибудь очень красивом, удачном, ловком.

– Вот и сейчас ей, понимаете, поручили большое дело, нужное. Поехала в Прагу мирить эмиграцию с советской властью. Хотят создать атмосферу понимания и доверия. Хотят начать кампанию за возвращение в Россию.

– Да зачем же это им нужно? Что ж, у них своих людей нет?

– Не в людях дело, а в том, что эмиграция вредит в сношениях с Европой. Необходимо это дело ликвидировать, но так, чтобы почин исходил от самой эмиграции. Очень нужное дело, хорошее. И привлечь хотят людей самых лучших...

Все эти тягостные открытия действовали на меня угнетающе. Я всё более понимал, что наши пути расходятся. Возникла душевная потребность покинуть Сорренто. Но поступить резко мне не хотелось: я должен сказать, что ко мне лично Горький всегда относился очень хорошо, и за его бескорыстную, порой очень теплую дружбу я чувствовал признательность, о которой забыть не могу и теперь. Поэтому я уехал только в апреле месяце, ссылаясь на личные обстоятельства, что, впрочем, было и правдой.

Но, покидая Сорренто, я уже как-то не видел будущей своей встречи с Горьким. Так и случилось.

Я приехал в Париж, а месяца через два появилась прославленная статья Пешехонова, положившая начало “засыпанию рвов” и всему так называемому “движению возвращения”.

* * *

Мой приезд в Париж по времени совпал с выходом последнего, шестого номера “Беседы”. По этому поводу Горький писал мне: “«Беседа» – кончилась. Очень жалко... По вопросу – огромнейшей важности вопросу! – о том, пущать или не пущать «Беседу» на Русь, было созвано многочисленное и чрезвычайное совещание сугубо мудрых. За то, чтобы пущать, высказались трое: Ионов, Каменев и Белицкий, а все остальные: «не пущать, тогда Горький воротится домой». А он и не воротился! Он тоже упрямый”.

Я хорошо знал Горького и его обстоятельства. Для меня было несомненно, что он действительно не поедет в Россию – по крайней мере вплоть до того дня, пока не уедет от него Мара. Но не менее было ясно и то, что после властного и твердого запрещения “Беседы” Горький начнет размякать и, под давлением Мары и Екатерины Павловны, пойдет на сближение с начальством. Поэтому я не без горечи указал ему в ответном письме, что меня удивляет, каким образом год тому назад его известили о допущении “Беседы”, а теперь оказывается, что тогда вопрос еще и не обсуждался. На это Горький мне возразил: “Разрешение на «Беседу» было дано, и книги в Россию допускались, – писал он. – Затем разрешение было опротестовано и аннулировано”. Это была ложь, на которую Алексей Максимович отважился, полагая, будто мне неизвестно, что книги в Россию не допускались никогда.

Между тем мои предположения оказались верны. Запретив “Беседу”, в Москве решили, что нужно чем-нибудь Горького и приманить, а он на эту приманку тотчас пошел. После почти двухмесячного молчания он писал мне 20 июля: “Ионов ведет со мною переговоры об издании журнала типа «Беседы» или о возобновлении «Беседы». Весь материал заготавливается здесь, печатается – в Петербурге, там теперь работа значительно дешевле, чем в Германии. Никаких ограничительных условий Ионов пока не ставит”. Это было уже чистейшее лицемерие. Я ответил Горькому, что журнал *типа “Беседы”* в России нельзя издавать, потому что “типическая” черта “Беседы” в том и заключалась, что журнал издавался за границей, и что “ограничительные условия” теперь налицо, ибо наша “Беседа” издавалась вне советской цензуры, а петербургская автоматически подпадет под цензуру. Всё это Горький, конечно, знал и без меня, но,

по обыкновению, ему хотелось дать себя обмануть, потому что хотелось пойти на сближение с советской властью.

Помимо соображений о цензуре, я напомнил Горькому еще об одном весьма важном обстоятельстве. Надо знать, что весной 1924 года нескольким писателям удалось получить разрешение на издание журнала “Русский современник” – последнего независимого, то есть не возглавляемого коммунистами журнала в России. Дух журнала был вольный: довольно сказать, что первый номер открывался стихами Сологуба и Ахматовой и рассказом Замятина. Сотрудничали и мы с Алексеем Максимовичем, причем было указано, что журнал выходит при ближайшем участии Горького, Евг. Замятина, А. Н. Тихонова и К. Чуковского. В конце 1924 года, по выходе четвертой книжки, “Русский современник” был закрыт, а Тихонов, главный редактор и личный друг Горького, арестован. Когда я уезжал из Сорренто, Тихонов, несмотря на все интервенции Горького, всё еще не был освобожден, причем Горький мне говорил, что “Русский современник” – только придирка, на самом же деле Зиновьев держит Тихонова в тюрьме по другой причине: предполагает, что у Тихонова где-то спрятаны письма Ленина к Горькому, и хочет эти письма из Тихонова “выжать”.

Учитывая все это, я написал Горькому, что, как ближайший сотрудник “Русского современника”, он не имеет права вступать с советской властью ни в какие переговоры о журнале, пока не будет вновь разрешен “Русский современник” и не будет выпущен из тюрьмы Тихонов. Велико было мое изумление, когда, недели через две, пришел от Горького такой ответ: “«Беседа», кажется, будет журналом, посвященным вопросам современной науки, современного искусства, без стихов, без беллетристики. Печататься в России будет потому, что это значительно дешевле. Еще дешевле было бы печатать в Италии, но здесь нет русских типографий. Беллетристика, стихи найдут себе место в «Русском современном», который возобновляется при старой редакции. В этом году выйдут лишь две книжки, увеличенного размера, как я понял, а с начала 26-го будет выходить 12 книг. Тихонов «восстановлен во всех правах», приговор отменен... Сейчас поехал в Крым отдыхать”.

Я до сих пор не знаю, был ли к этому времени Тихонов освобожден и ездил ли в Крым. Возможно, что так и было. Но я ни секунды не сомневался, что все, написанное в будущем времени, – ложь, придуманная для того, чтобы парировать мои возражения, а главное – чтобы самого себя тешить жалкой иллюзией, будто моральных препятствий к переговорам о новом журнале не имеется. Я тогда же угадал, что “Русский современник” не разрешен и никогда разрешен не будет и что Горькому это известно не хуже, чем мне. Мало того: я не сомневался, что и никакой новой “Беседы” не будет: не будут ее печатать даже и в Петербурге, где так “дешева работа”, – а просто заставят Горького печататься в “Красной нови” и в других казенных журналах, – и что он сам уже к этому готов. Он явно шел с властью на похабный мир, заключаемый по программе Мары: пока можно тянуть – жить за границей, а средства для жизни получать из России. Я понял и то, что дальнейшая полемика сведется к тому, что Алексей Максимович будет мне лгать, а я его буду уличать во лжи. Но эта работа мне давно уже была тяжела. Пора было ее бросить. Прострадав несколько дней, я решил не отвечать Горькому вовсе, никогда. На том кончились наши отношения. Замечательно, что, не получая от меня ответа, Горький тоже мне больше уже не писал: он понял, что я всё понял. Возможно и то, что моя близость в новых обстоятельствах становилась для него неудобна.

На этом мои воспоминания кончаются. О дальнейшем я знаю лишь то, что известно всем. Дипломатические сношения Горького с советским правительством восстановились в то же лето: Горького посетил советский полпред в Италии Керженцев, затем Горький принял у себя экскурсантов-ударников – и возобновил сотрудничество в советских изданиях. В 1926 году он написал знаменитое письмо о смерти Дзержинского, особенно подчеркнув, что вместе с ним скорбит и Екатерина Павловна. В 1928 году, когда совершилось окончательное падение Зиновьева, оказалась возможна поездка в Москву, куда через год пришлось и вовсе переселиться.

Переселение сопровождалось сближением с Ягодой, поездкой на Соловки и на Беломорский канал – и т. д. Всё это уже выходит за пределы моей задачи. Но, не вдаваясь в область исследования и оставаясь мемуаристом, я всё же считаю себя вправе прибавить несколько слов, выражающих мое личное мнение о внутренних причинах горьковских колебаний в отношении к советскому правительству.

Каковы бы ни были поводы горьковского отъезда из России в 1921 году, основная причина была всё-таки та же, что и у многих из нас. Он себе представлял революцию свободонесущей и гуманной. Большевики придали ей вовсе иные черты. Сознав свое бессилие что-либо изменить в этом, он уехал и был близок к тому, чтобы порвать с советским правительством вообще, – но лишь так близок, как бывает близок к самоубийству человек, который держит револьвер у виска, зная все-таки, что никогда не выстрелит.

Несомненно, что Мара, Е. П. Пешкова и другие лица, о которых я здесь для краткости не упоминал, немало содействовали примирению. Но оно совершилось бы и без того. Причины лежали в самом Горьком. Он был одним из самых упрямых людей, которых я знал, но и одним из наименее стойких. Великий поклонник мечты и возвышающего обмана, которых по примитивности своего мышления он никогда не умел отличить от обыкновенной, часто вульгарной лжи, он некогда усвоил себе свой собственный “идеальный”, отчасти подлинный, отчасти воображаемый образ певца революции и пролетариата. И хотя сама революция оказалась не такой, какую он ее создал своим воображением, – мысль о возможной утрате этого образа, о “порче биографии”, была ему нестерпима. Деньги, автомобили, дома – всё это было нужно его окружающим. Ему самому было нужно другое. Он в конце концов продался – но не за деньги, а за то, чтобы для себя и для других сохранить главную иллюзию своей жизни.

Упрямясь и бунтуя, он знал, что не выдержит и бросится в СССР, потому что, какова бы ни была тамошняя революция – она одна могла ему обеспечить славу великого пролетарского писателя и вождя при жизни, а после смерти – нишу в Кремлевской стене для урны с его прахом. В обмен на всё это революция потребовала от него, как требует от всех, не честной службы, а рабства и лести. Он стал рабом и льстецом. Его поставили в такое положение, что из писателя и друга писателей он превратился в надсмотрщика за ними. Он и на это пошел. Можно бы долго перечислять, на что он еще пошел.

Коротко сказать – он превратился в полную противоположность того возвышенного образа, ради сохранения которого помирился с советской властью. Сознавал ли он весь трагизм этого – не решаюсь сказать. Вероятно – и да, и нет, и вероятно – поскольку сознавал, старался скрыть это от себя и от других при помощи новых иллюзий, новых возвышающих обманов, которые он так любил и которые в конце концов его погубили.

<1938?>

Корней Чуковский Две души М. Горького

Первая

I

Неужели молодость Горького и вправду была так мучительна? Когда читаешь его книгу “Детство”, кажется, что читаешь о каторге: столько там драк, зуботычин, убийств. Воры и убийцы окружали его колыбель, и, право, не их вина, если он не пошел их путем. Они усердно посвящали ребенка во все тайны своего ремесла – хулиганства, озорства, членовредительства. Упрекнуть их в нерадении нельзя: курс был систематический и полный, метод обучения – наглядный. Мальчику показывали изо дня в день развороченные черепа и раздробленные скулы. Ему показывали, как в голову женщины вбивать острые железные шпильки, как напяливать на палец слепому докрасна накалиенный наперсток; как калечить дубиной родную мать; как швырять в родного отца кирпичами, изрыгая на него идиотски-гнусную ругань. Его рачительно готовили в каторгу, как других готовят в университет, и то, что он туда не попал, есть величайший парадокс педагогики.

Старинные семейные традиции требовали от него этой карьеры. Среди самых близких своих родных он мог бы с гордостью назвать нескольких профессоров поножовщины, поджигателей, громил и убийц. Оба его дяди по матери, – дядя Яша и дядя Миша, – оба до смерти заколотили своих жен, один одну, а другой двух, столкнули жену в прорубь, убили его друга Цыганка – и убили не топором, а крестом!

Крест как орудие убийства, – с этой Голгофой познакомился Горький, когда ему еще не было восьми лет. В десять он и сам уже знал, что такое схватить в ярости нож и кинуться с ножом на человека. Он видел, как его родную мать била в грудь сапогом подлая, длинная мужская нога. Свою бабушку он видел окровавленной, ее били от обедни до вечера, сломали ей руку, проломили ей голову, а оба его деда так свирепо истязали людей, что одного из них сослали в Сибирь.

Кто из русских знаменитых писателей мог бы сказать о себе: “Я был вором”? А Горький еще в детстве снискивал себе воровством пропитание. “Мы выработали себе ряд приемов, успешно облегчавших нам это дело”, – вспоминает он о себе и товарищах.

Из его товарищей только один чуждался этой профессии, а дядя Петр обкрадывал церкви, Цыганок похищал на базаре провизию, Вязь, Кострома и Вяхирь воровали жерди и тёс. Горький сделал своей специальностью похищение церковных просфор.

Позже, когда подростком он служил в башмачном магазине, ему внушали елейно и вкрадчиво:

– Ты бы, человек божий, украл мне калошки, а? Украдь, а?

А когда он поступил в иконописную мастерскую, он украл икону и псалтырь.

До сих пор мы думали, что мещанская жизнь – это беспросветная скука и только: блохи, пироги с морковью, икота, угар; но оказывается, эта жизнь (по Горькому) есть кипение лютых страстей, кровавые трагедии, сплошная война. Как о самом обычном, он мимоходом повествует о том, что один из его соседей каждый день садился у окна и палил из ружья в прохожих. А когда Горький вырос, какой-то охотник всадил ему в правую сторону тела двадцать семь

штук бекасиной дробин – здорово живешь, ни с того ни с сего! Вся его книга полна дикими воплями: “Расшибу об печку!”, “Убью-у!”, “Еще бы камнем по гнилой-то башке!”

Нет, не похоже “Детство” Горького на “Детство” Толстого! Когда-нибудь для школьных сочинений будет предлагаться в школах тема: сравнительный разбор обоих “Детств”, и гимназисты победоносно докажут, что усадебное детство было лучше чумазого. Ведь мимо малолетнего Толстого не возили людей в цепях казнить на ближайшей площади, ведь Толстого не засекали до потери сознания, ведь дом, где жил восьмилетний Толстой, не соседствовал с домом терпимости. Потому Толстой и воскликнул:

“– Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней!”

А мученик чумазой педагогики уже не повторит этих слов. “Точно кожу содрали мне с сердца” – таково было его детское чувство. Ошпаривали сердце кипятком.

Эта злая война всех со всеми не погубила Горького, но закалила его. Благодаря ей он сделался бойцом. И, когда я читаю в его автобиографической книжке, как он намазал своему ненавистному отчиму сиденье стула клеем; как в шапку ненавистному дяде Петру он насыпал едкого перцу, чтобы тот чихал целый час; как, мстя за оскорбление бабушки, он выкрал у деда святцы и, разрезав их на мелкие клочки, остриг у святителей головы, хоть и знал, что за это будет жестокая казнь, – когда я читаю о таких маленьких бунтиках маленького Горького, я чувствую, что это – пророчество о будущем неукротимом забияке:

Ты, жизнь, назначенная к бою!

Ты, сердце, жаждущее бурь!

Попробуйте четырехлетнего Горького запереть в каюте на ключ. Он схватит бутылку с молоком и ударит бутылкой по двери! Стеклом по железу! Ничего, что бутылка вдребезги, а молоко натечет в сапоги.

Строптивость была его главной чертой. Какая-то старуха сказала ему за обедом: “Ах, Алешенька, зачем ты так торопишься кушать, – и такие большие куски!” Он вынул кусок изо рта, снова надел его на вилку и протянул ей: “Возьмите, коли жалко!”

А учителю в школе сказал: “Ты, брат, не кричи, я тебя не боюсь!”

В “Детстве” о таких подвигах повествуется часто: чуть, например, маленький Горький увидел, что пятеро здоровенных мещан навалились на одного мужика и рвут его, как собаки собаку, он тотчас же с целой тучей булыжников бросился выручать избиваемого. А когда за какие-то провинности мать отхлестала его, он предупредил ее спокойно и твердо, что, если это повторится, он укусит ей руку, убежит в оледенелое поле и там замерзнет, – умрет, а не сдастся.

Вот еще когда проявилась в ребенке та романтика бури и бунта, та горьковщина, которая впоследствии, в предреволюционную пору, создала в нашей литературе эпоху.

Горький – чуть не с колыбели буйан, и в “Детстве” приводится обширный каталог его буйств: то он ломает дедову деревянную ложку, то запрет в погребе бабу-обидчицу, то швырнет в огромного мужика кирпичом:

О, счастье битвы!

Безумство храбрых —

Вот мудрость жизни!

Еще бегая босиком по Канатной, Горький понял, что в битве – счастье. Недаром его мальчиком так тянуло в солдаты. Ему и теперь, на старости, весело вспоминать свои детские битвы:

“Мальчишки из оврага начинали метать в меня камнями. Я с удовольствием отвечал им тем же...”

“Было приятно отбиваться одному против многих...”

“Драка была любимым и единственным наслаждением моим...”

Так маленькими уличными драками подготавливался этот великий драчун. Розгами, кулаками и камнями создавали из него буревестника.

И замечательно, что большинство его драк были рыцарские. Почти все – в защиту человека. Редко-редко – ни с того, ни с сего – мальчик плюнет человеку на лысину, а чаще – он защитник обиженных. Его девиз – противление злу. За всякую обиду – себе ли, другим ли – он в “Детстве” отвечает обидой, не желая ни прощать, ни примириться.

II

Хотя в “Детстве” изображается столько убийств и мерзостей, это, в сущности, веселая книга. Меньше всего Горький хнычет и жалуется. Несмотря на всю свою скучножестокую жизнь, люди для него забавны, заняты, живописны, любопытны, причудливы, и на каждой странице “Детства” слышатся веселые слова:

– Прощается вам, людишки, земная тварь, всё прощается, живите бойко! Превосходная должность быть на земле человеком! Милые вы, черти лиловые!

И написано “Детство” весело, веселыми красками. Всё в этой книге ладно, складно, удачно, ловко, звонко. Каждая буква – нарядная, каждая страница – с изюминкой. Ни одного вялого или мертвого слова. Никогда еще Горький не писал так легко и свободно. Наконец-то он создал нечто, достойное его огромных поэтических сил. И хотя в собрании его сочинений “Детство” уже двадцатая книга, но для любящих искусство она – первая. Предыдущие девятнадцать томов – лишь ступени сюда, в эту книгу. В России еще не было воспоминаний, которые были бы написаны так виртуозно; каждая глава есть отдельный рассказ, совершенно законченный, каждый эпизод драматизирован, доведен до высшей эффектности, – хоть сейчас в кинематограф, на экран! Весело бегут друг за дружкой шустрые, хорошенькие главки, кувыркаясь и играя в чехарду. И какая энергическая живопись: целую кучу людишек Горький лепит, точно забавляясь; четыре мазка – и готово, кисть так сама и гуляет по пестрому его полотну, а он еле поспекает за нею и с веселым удивлением следит, какая забавная выходит у него панорама. Вот настоящее слово: панорама. Горький с недавнего времени стал панорамистом-декоратором – с той поры, как написал он “Исповедь”. И в “Исповеди”, и в “Городке Окурове”, и в “Кожемякине” – всюду пестрота и широта панорамы, множество весело написанных лиц, темпераментный размах композиции, самые яркие краски; но нигде не чувствовалось такой уверенной, непринужденной и веселящейся кисти, как в “Детстве”. В “Детстве” на каждой странице заметно, что радуется мастер его мастерство. Эта радость мастера передается и нам.

Замечательно, как на старости лет Горького потянуло к краскам. В первых своих книгах он – певец и (чаще всего!) оратор, а в своих последних – живописец. Глаз его стал ненасытнее, зорче и увидел в мире столько изумительных красок, какие и не снились тому, кто декламировал “Песню о Соколе”.

Но откуда эта радостная живопись? Можно ли радоваться, рассказывая, как обижают и калечат людей? Сам Горький объясняет свою радость надеждами на лучшее будущее. В повести “Детство” он пишет:

“Не только тем изумительна жизнь наша, что в ней так плодovit и жирен пласт всякой скотской дряни, но тем, что сквозь этот пласт все-таки победно прорастает яркое, здоровое и творческое, возбуждая несокрушимую надежду на возрождение наше к жизни светлой, человеческой”.

В последнее время эта надежда на “возрождение наше к жизни светлой и человеческой” все чаще сказывается в произведениях Горького. Пусть пылинки к пылинке, но строится волшебное царство счастливых. А это для Горького главное: чтобы люди стали счастливы, чтобы женщин не били ногами в живот, чтобы не швыряли в отцов кирпичами, чтобы не истязали детей. В “Детстве” он спросил у своей бабушки:

– Маленьких всегда бьют?

И бабушка спокойно ответила:

– Всегда.

Она даже и представить себе не могла, что есть такие маленькие, которых не бьют. А Горький только о том и мечтает, чтобы поскорее кончилась эта звериная жизнь и началась человеческая. И звериная непременно кончится, кончатся все эти “свинцовые мерзости”, потому что, как пишет он в “Детстве”, “русский человек настолько еще здоров и молод душою, что преодолевает и преодолевает их”.

Прежде, мечтая о счастье людей, Горький славил анархический бунт, но теперь, после того как он развенчал Челкаша, он верит уже не в бунтаря, но в работника. Доработается человечество – до счастья. В человечестве он видит артель строителей счастливого планетарного будущего². И так как всякую свою веру он любит выражать афоризмами, то теперь его книга полна афоризмов, которые славят работу:

– Всякая работа – молитва Будущему.

– Рабочий народ земли – единственный источник боготворчества.

– Люди умирают, а дела их остаются.

– Деяние – начало всех начал.

– Работа всегда дороже денег.

– Человек – работник всему миру.

Работой спасется мир. Что бы ты ни создавал для себя, ты создаешь для меня и для всех. Здесь круговая порука всемирного, хорошего труда. Работая, ты обогащаешь вселенную.

В своей знаменитой статье “Две Души” Горький клеймит восточную, азиатскую душу за то, что восточной душе не ведом пафос деяния, чуждо счастье строительства и творчества, и какие он расточает хвалы западной европейской душе за то, что она – душа-хлопотунья, душа-созидательница! И всюду, даже в “Итальянские сказки”, вкраплены у него гимны труду:

“Была работа, моя работа, святая работа, синьор, говорю я вам, да!” – похваляется итальянский рабочий в его сказке “Тоннель”. Этому рабочему выпало на долю великое счастье: он рыл вместе с другими Симплонский тоннель, он победил своей работой непобедимую гору, и воспоминание об этой работе наполняет его радостью и гордостью:

“Когда, наконец, рушился пласт породы и в отверстии засверкал красный огонь факела и чье-то черное, облитое слезами радости и потом лицо, и еще факелы и лица, и загремели крики победы, крики радости – ой, это лучший день моей жизни, и, вспоминая его, я чувствую: нет, я не даром жил!.. И когда мы вышли из-под земли на солнце, то многие, ложась на землю грудью, целовали ее, плакали – и это было так хорошо, как хороша сказка! Да, целовали побежденную гору, целовали землю – в тот день особенно близка и понятна стала она мне, синьор, и полюбил я ее, как женщину... Конечно, я пошел к отцу, о, да! Я пошел к нему на могилу, постучал о землю ногой и сказал, как он желал этого:

– Отец, – сделано! – сказал я. – Люди – победили. Сделано, отец!”

² В статье “Две души”, в “Письмах к читателю”, в статье о В. И. Семеvском Горький говорит о “планетарной культуре”, о “планетарной истории”, “планетарном смысле труда” и т. д. Теперь это его любимое слово. – Здесь и далее в статье примеч. К. И. Чуковского.

Самому участвовать в этой работе – для Горького незабываемая радость. Как о светлом празднике духа вспоминает он о той трудной и мучительной ночи, когда волжские грузчики, и он в том числе, разгружали под Казанью затонувшую баржу.

“Работали так, как будто изголодались о труде, как будто давно ожидали удовольствия швырять с рук на руки четырехпудовые мешки, носиться с тюками на спине. Работали, играя, с весенним увлечением детей, с той пьяной радостью делать, слаще которой только объятия женщины... Я жил в эту ночь в радости, не испытанной мною. Душу озаряло желание прожить всю жизнь в этом полубезумном восторге делания... Обнимать и целовать хотелось этих двуногих зверей, столь умных и ловких в работе, так самозабвенно увлеченных ею”.

Горький первый из русских писателей так религиозно уверовал в труд. Только поэт-цеховой, сын мастерового и внук бурлака мог внести в наши русские книги такую небывалую тему. До него лишь поэзия неделания была в наших книгах и Душах. Он, единственный художник в России, раньше всех обрадовался при мысли о том, что человечество многомиллионной артелью устраивает для себя свою планету, перестраивает свое пекло в рай.

Работая, мы строим хрустальный дворец для потомства, где не будет ни воздыханий, ни слез, —

Ни бескrestных могил, ни рабов.

Весь пафос поэзии Горького – в заботе о таком счастливом будущем. Горький не богоискатель, не правдоискатель, он только искатель счастья: счастье для него дороже правды, святее Бога, – и если Бог не даст человечеству счастья, Горький забракуют такого никчемного Бога. И если правда не даст человечеству счастья, то да здравствует ложь! Когда лукавый Лука в его пьесе “На дне” самым беспардонным враньем осчастливил на минуту людей, Горький дал ему свое благословение: чем хочешь, только осчастливь и обрадуй! Недавно этот лукавый Лука снова появился у него на страницах в рассказе “Утешеньишко людишкам” и снова, из жалости к людям, мошеннически обморочил их, чтобы дать им если не счастье, то хоть передышку в несчастьях: выдал им какого-то дурачка за праведника и богоносного пророка, потому что, – как поясняет он сам, – “это все-таки утешеньишко людишкам, иной раз жалко их; очень маятно живут, очень горько. А то жили-были стервы-подлецы, а нажили праведника”.

III

Когда Горькому было лет двадцать, он сочинил поэму в прозе и стихах “Песнь старого дуба”.

Эта “Песнь”, по нынешнему ощущению Горького, была в достаточной мере плохая, но тогда он был убежден, что, стоит людям прочитать ее, и они тотчас же построят свою жизнь по-новому:

“Я был убежден, – пишет он, – что грамотное человечество, прочитав мою поэму, благотворно изумится пред новизною всего, что я поведал ему, правда повести моей сотрясет сердца всех живущих на земле, и тотчас же после этого разыграет честная, чистая, веселая жизнь, – кроме и больше этого я ничего не желал”.

С той поры прошло лет тридцать или больше, но Горький и теперь не изменился. Каждое его произведение только затем и написано, чтобы преобразовать человечество. Горький, когда пишет, твердо верит, что, стоит людям прочитать “Кожемякина” или “Супругов Орловых”, – и разыграет честная, чистая, веселая жизнь. Кроме и больше этого он ничего не желает.

Жалко людей; люди живут плохо; надо, чтобы они жили лучше, – таков единственный незамысловатый мотив всех рассказов, романов, стихотворений и пьес Горького, повторяющийся чем дальше, тем чаще.

Прежде Горький был писатель безжалостный. Но перед революцией он стал проповедовать жалость. В его последних книгах слово *жалко* на каждом шагу, так что даже странно читать. Вопреки правдоподобию, словно сговорившись заранее, все новые персонажи Горького один за другим упорно повторяют слово *жалко*, и Горький не дает им уйти со страницы, покуда они этого слова не скажут. В конце концов эти однообразные демонстрации жалости кажутся весьма нарочитыми; но замечательна та упрямая настойчивость, с которой Горький демонстрирует жалость. Во время войны он напечатал продолжение “Детства”, автобиографическую повесть “В людях”, и там чуть не в каждой главе говорится об этой жалости.

Вот Пашка Одинцов, богомаз, круглоголовый подросток, лежит на полу и плачет:

– Ты что?

– Жалко мне всех до смерти... До чего же мне жалко всех, господи! (“В людях”).

Вот бабушка Горького – бродит с ним по лесу и говорит слово в слово:

– Как подумаешь про людей-то, так станет жалко всех. Вот Смурый, повар, сидит на корме парохода и говорит слово в слово:

– Жалко мне тебя... и всех жалко...

И Татьяна в рассказе “Женщина” тоже говорит слово в слово:

– Господи, жалко всех, всю-то жизнь наскрозь, всех людей!

И горбатый Юдин в очерке Горького “Книга”:

– Как жалко всех!.. Как жалко людей!

И Павел в романе “Мать”:

– Жалко всех.

И в романе “Исповедь” – Матвей:

– Жалко мне стало всех.

– Мне народ жалко, бесчисленно много пропадает его зря! – говорит Силантьев в рассказе “В ущелье”.

И прекрасная Леска в очерке “Сторож” твердит:

– Жалко мне тебя... Ой, всех жалко мне.

Девять человек слово в слово: жалко всех. Не то чтобы им было жалко одного или двух, – нет, им жалко всех, они жалеют весь мир. В простонародьи это очень редкое чувство – сострадание к миру, ко всему человечеству; жалость простолюдина конкретна: к тому или к этому страдающему – страдающему сейчас, у него перед глазами. Но герои Горького повторяют один за другим, что им жалко всех, всю вселенную. В особые мгновения их жизни их охватывает восторг человеколюбия, когда они словно сораспинаются миру.

Горькому так дороги эти слова: жалко всех, – что он не во всякие уста их влагает, а только в избранные, в самые лучшие, в уста своих любимых героев. В этом он видит высшую их красоту, – в том, что они сидят, разговаривают, да вдруг и просияют чрезмерной, невыносимой любовью ко всем. Горький в своей повести “В людях” приписывает и себе такие же внезапные вдохновения жалости ко всему человечеству.

“Я испытывал мучительные приливы жалости к себе и ко всем людям”, – говорит он в десятой главе и с большим однообразием многократно указывает, что в юности, бывало, кого ни встретит, того и жалеет, до краев наполняется жалостью. И когда в первой главе этой повести он встретил какого-то Сашу, он написал про него:

“Сашины вещи вызвали во мне чувство томительной жалости”.

Когда во второй главе появился его уличный друг Кострома, он и про того написал:

“Мне стало... жалко Кострому”.

Вспомнил мать:

“Мне было жалко ее...”

В пятой главе вывел пароходного повара Смурого, и, конечно, не преминул пожалеть и того:

“Все боялись его, а я жалел”.

В шестой то же самое снова:

“Мне было жалко и его и себя”.

В седьмой появился какой-то солдат:

“Мне стало жалко солдата”...

В восьмой снова появился какой-то солдат:

“Почти до слез жалко солдата и его сестру”.

В девятой появился какой-то чертежник.

“Мне было жаль его”.

В десятой – офицер:

“Мне стало жалко офицера”.

В двенадцатой – мужики:

“Эти угрюмые мужики... – вызвали у меня жалость к ним”...

В пятнадцатой – какой-то приказчик:

“Мне стало жаль его”.

В восемнадцатой – какая-то гулящая женщина:

“У меня от... жалости к ней навернулись слезы”.

Горький точно вменяет себе в обязанность возможно чаще произносить слово *жалко*. В одной из своих предреволюционных статей он сочувственно цитировал письмо какой-то курсистки, которая требовала, чтобы все писатели говорили одно слово “жалко”.

Заметьте, это не ровная жалость, а какой-то внезапный прилив и отлив. Она накатывает на него и отхлынывает. Как и всякое вдохновение, она неожиданна. Еще за минуту до этого был он равнодушен и недобр. Но вдруг (именно вдруг!) пожалел. Все творчество Горького питается этим вдруг, этой внезапной экстаической жалостью. Можно легко доказать, что даже безжалостное свое нищешанство он взлелеял в себе из жалости. Теперь в его повести “В людях” многие назойливо-часто твердят:

– Людей нужно жалеть!

– Ты и камень сумей пожалеть.

– Людей везде теснота, а пожалеть нет ни одного сукина сына.

Не беда, если это выходит назойливо: Горький не боится надоесть. В каждый данный период его творчества у него имеется одно какое-нибудь любимое слово, которое с большим однообразием он повторяет, как заклинание, множество раз: при всяком случае, из страницы в страницу, из повести в повесть, без конца он вдалбливает в нас одно и то же, то, что считает полезным для нас, а придется ли нам это по вкусу, он заботится меньше всего.

Придирчивым читателям, пожалуй, покажется, что он мог бы и не повторять по инерции столько раз, в одних и тех же выражениях, словно заученный урок, одну и ту же привычную формулу. Но мы чувствуем, что здесь проявилось его драгоценное качество – его упорная воля: подобно другим улучшателям мира, желающим во что бы то ни стало осчастливить людей, подобно Фурье или Роберту Оуэну, он, как мы ниже увидим, гениально упрям в пропаганде тех своих чувств и мыслей, которые кажутся ему единоразрешительными, и никогда не упустит возможности продемонстрировать их снова и снова...

IV

Горький требует, чтобы мы были жалостливы, так как ему кажется, что в жестоких условиях мучительной русской жизни жалость необходима, как воздух.

Ни один из русских писателей не чувствовал с такой остротой, что русская жизнь мучительна. Может быть, побуждаемый своей порывистой жалостью, Горький только и твердит в своих книгах, что наша жизнь устроена плохо, что нужно ломать эту дурацки-жестокую жизнь

и устроить себе новую, помягче. Это чувство и сделало Горького – задолго до революции – революционным писателем, потому что всякая революция есть воплощение этого чувства.

Горького оно не покидало никогда. “Смотрите, как по-дурачки и жестоко устроена ваша жизнь” – таково содержание всех его книг.

По своей публицистической привычке Горький повторяет эту фразу почти без изменений во всех своих книгах.

– Отчего люди так нехорошо живут? – спрашивает кто-то в его повести “Мать”.

И в другой повести, “Жизнь ненужного человека”, даже полицейский сыщик спрашивает:

– Отчего люди так нехорошо живут?

И в третьей его повести “По Руси” читаем:

– Как же люди-то живут?

– Плохо, недостойно себя живут, в безгласии и невежестве, в неисчислимых обидах нищеты и глупости.

Для Горького это единственный факт, заслоняющий все остальные.

– Уж я бы поискал, как жить лучше! – восклицает юноша Горький, мечтая дойти до самой Богородицы и рассказать ей о наших скорбях. В этом его помешательство. “Если Богородица поверит мне, пусть даст такой ум, чтобы я мог все устроить иначе, получше как-нибудь”.

“Для лучшего живет человек”, – повторяет он со старцем Лукой. Человеческое счастье – для него мерило всех вещей, центр его мироздания. Ему дорого не какое-нибудь запрительно-мистическое, сверхэмпирическое счастье не от мира сего, а житейское, земное и насущное. Он утилитарист-гедонист. Его философия практическая. Ему не до метафизики, когда кричат караул, ему некогда думать о потустороннем и вечном, когда женщин все еще бьют сапогами в живот, а детей калечат поленьями. Он не спрашивает у полуночных волн:

“Скажите мне, что значит человек?”

Он знает: человек – это боль, которую нужно утишить. Остальное его не занимает нисколько. Здесь вся его воля, все его мысли. Даже бог необходим ему постольку, поскольку он – исцелитель страданий.

– Где наш справедливый и мудрый бог? Видит ли он изначальную, бесконечную муку людей своих? – спрашивает в повести “Исповедь” богоискатель Матвей, шарящий по всем закоулкам земли, где же скрывается жалеющий бог. С детства его так оглушили человеческие боли и раны, что он чувствует их, как свои: пусть бы бог глядел на несчастных людишек с низенького близенького неба и говорил им, как Горький:

– Люди вы мои, люди! Милые мои люди! Ох, как мне вас жалко!

Кроме жалости к людишкам, Горький ничего и не требует от своего божества: пусть оно жалеет нас, как Горький. А если оно не жалеет, оно ему не нужно совсем. Бог ему интересен не сам по себе, а только по отношению к людишкам.

– Плохо ты, Господи, о бедных заботишься! – упрекают его в повести “В людях”.

– Нет его, Бога, для бедных, нет... Когда мы молебны служили, помог он нам? – упрекают его в повести “Исповедь”.

“Бог для бедных” – точно врач для бедных. Бог обязан улаживать нас и холить, в этом как бы его должность, а если он ею манкирует, на что же он тогда человечкам? Что это за доктор – не лечащий!

– Вот у меня, – читаем в рассказе “Калинин”, – жена и сынишко сожглись живьем в керосине... Это как? Молчать об этом? Ежели бог... то отвечает за все...

В рассказе “Тюрьма” повторяется та же претензия. Горький написал специальный богословский трактат – в форме интереснейшей повести “Исповедь”, – где, перебрав, как по пальцам, всевозможные российские религии и отвергнув их одну за другой, объявил в конце концов свою – религию человечества: людишки – вот истинный Бог. Бог – как бы эманация людишек,

людишкиных вожелений и мук. Главное – люди, а Бог – производное. Люди – субстанция, а Бог – атрибут.

Религия Горького – земная, безнебесная. Он весь в людском муравейнике, конечном, здешнем, временном. Он ни за что не написал бы, как Фет:

“Прямо смотрю я из времени в вечность”, – он весь в практике, в физике, он не Мария, но Марфа, и слава богу, что Марфа: довольно уже с России Марий!

“Душа готова, как Мария, К ногам Христа опять прильнуть”, – такова была у русской поэзии единственная донья забота: как маги, мы смотрели из времени в вечность, а кругом в коросте, лишаях и чирьях копошились очумелые людишки.

Окрылены неведомым стремленьем, —
Над всем земным,
В каком огне, с каким самозабвеньем
Мы полетим! —

радовался замороженный поэт и, как о высшем блаженстве, как о празднике духа, мечтал об этом полете в нездешнее, а то, что здесь у кого-то жена и сынишка сгорели живьем в керосине, это никак не вмещалось в круг его поэтических тем, это было даже враждебно его волхвованию. “...В беспредельное влекома, Душа незримый чует мир”, – этим только и жива была русская лирика – только беспредельным и незримым, – пустынною, чуждая дольнему миру, созерцательница горних святынь, воплотившая в высших своих достижениях стихийную волю древнерусской восточной души к отрешению ото всякой земной суеты, от пыли вседневных явлений, скучавшая ими, не верившая в их бытие:

Милый друг, иль ты не видишь,
Что все видимое нами —
Только отблеск, только тени
От незримого очами?

Людскими бедами эта литература всегда занималась *sub specie aeter nitatis* (с точки зрения вечности. – П.В.), ради разрешения глубочайших этических и философских проблем, не столько жажда изменения нашего внешнего быта, сколько – внутреннего перерождения наших душ. Она всегда лишь о душе и хлопотала, а телу – чем хуже, тем лучше. Исключение составляли только шестидесятые годы, но это именно исключение, изъятие из правил. И замечательно, что шестидесятые годы хотя и дали нам огромных писателей, но не дали ни одного великого, который мог бы по мощности своих вдохновений сравниться с теми “прозревшими вечность”.

Горький резко отгородил себя от всех тайновидцев и заявил вызывающе, что ему до царства божия нет дела, а есть дело лишь до царства человеческого; что за чечевичную похлебку материальных, физических благ он с радостью отдаст все бездны и прорывы в нездешнее, которыми так счастливы другие; что накопление физических удобств и приятностей жизни есть венец и предел его грез. И пусть тайновидцам эти грезы не нравятся, пусть они зовут их беспросветно-мещанскими, куцыми, плоскими, недостойными души человеческой, Горькому это не страшно – было бы людишкам облегчение: “Жалко их, очень маятно живут, очень горько, в безгласии, в неисчислимых обидах”.

И не смейте служить ничему абсолютному, самоцельному и самоценному, – только человечеству, только его удобствам и пользам! Недаром в своей пьесе “Дети солнца” Горький так наказывает мудрого героя за то, что тот думал о химии, а не о человеческих нуждах:

– Милая твоя голова много думает о великом, но мало о лучшем из великого – о людях.

Для Горького это непрощаемый грех.

Нужно думать о людях, о переустройстве их жизни, а всё остальное вздор. Оттого-то Горькому так чужды книги Достоевского и Толстого, что там нет этой нетерпеливой жажды построить мир на других основаниях, дабы люди стали веселее, сытее, добрее. В Достоевском, который так ненавидел прогресс, ненавидел всякие мечты о фаланстерах, книги Горького вызвали бы яростный гнев. Горький – в непримиримой вражде со всеми душевными навыками классических русских писателей.

Замечательно, что во всех своих книгах он ни разу не задумался о смерти, о которой так любили размышлять писатели предыдущей эпохи. Смерть не пугает его, потому что он и от нее забронирован своей религией всемирного прогресса.

Наша смерть унавозит людям более счастливую жизнь – этого для Горького достаточно.

И ляжем мы в веках, как перегной, – это радует его больше всего.

– Все мы неизбежно исчезнем, чтобы дать на земле место людям сильнее, красивее, честнее! – повторяет он не раз в своих книгах. – Благодарение мудрой природе, личного бессмертия нет.

Порою кажется, что, если бы он мог, он запретил бы людям даже самые разговоры о смерти. Когда он был подростком, даже “Мертвые души” показались ему неприятными, единственно из-за своего заглавия – “мертвые”. Это слово было невыносимо ему:

“«Мертвые души» я прочитал неохотно, – сообщает он в повести «В людях». – «Записки из мертвого дома» – тоже; «Мертвые души», «Мертвый дом», «Смерть», «Три смерти», «Живые мощи» – это однообразие названий книг невольно останавливало внимание, возбуждая смутную неприязнь к таким книгам”.

Эта неприязнь едва ли законна: ведь и в “Мертвых душах”, и в “Мертвом доме” смерть упоминается только в заглавии. Но Горькому и заглавия достаточно, чтобы почувствовать вражду ко всей книге. Он требует, чтобы из нашего словаря слово “смерть” было изъято совершенно: русские люди не смеют произносить это слово, так как их жизнь свирепее смерти. Не о смерти нужно думать, а о жизни, – о том, как бы переделать ее.

“Я... хорошо знаю, – говорит он в одной статье, – что, когда истрочу все силы на утверждение жизни, то непременно умру. Но я глубоко уверен, что после моей смерти мир станет не менее, а более интересным, еще богаче красотой, разумом и силою творчества, чем был при моей жизни”.

Трагедии бытия, мучившие прежних великих писателей, Горький заменил трагедиями быта. Кроме публицистических, социальных вопросов, он не знает никаких других.

Как могла возникнуть такая философия?

V

Об этом Горький подробно рассказывает в той же автобиографической повести “В людях”.

Повесть очень значительна (хотя она чуть-чуть тусклее “Детства”), в ней попадаются чудесные страницы, и как материал для биографии Горького она чрезвычайно ценна.

Оказывается, что еще мальчиком Горький во всех областях обнаруживал много талантов. Его так и тянуло к художествам. Возьмет, например, ножницы и вырезывает из разноцветной бумаги кружевные орнаменты, которыми украшает стропила своего чердака. При этом напевает стишки собственного сочинения, такие:

Сижу я на чердаке
С ножницами в руке.
Режу бумагу, режу,

Скушно мне, невеже.

К стихам у него такое пристрастие, что он списывает из “Московского листка” вирши трактирных поэтов и заучивает их наизусть. Когда ему удастся прочитать Беранже, он декламирует его на кухне денщикам. Стихи, танцы, песни, книги, прибаутки и сказки с детства доводили его до восторга. И всегда была у него жажда делиться этими восторгами с другими. Одной пятилетней девочке он каждый вечер, как нянька, рассказывал сказки, в школе рассказывал сказки товарищам, а поступив к иконописцу, сделался сказочником для всей мастерской. И не только рассказывал, но и по-актерски играл свои сказки, представлял их в лицах; порою сам сочинял комедии и, размалевав физиономию, лицедействовал перед богомазами. Те, как умели, хвалили его: – “Ну, и забавник ты! – говорили они. – Ты, Максимыч, направляй себя в цирк али в театр, из тебя должен выйти хороший паяц!”

Его возлюбленная говорила ему:

– Каким удивительным комиком мог бы ты быть! Иди на сцену, иди.

Подобно Диккенсу, он еще мальчиком любил передразнивать всевозможных людей, с которыми ему приходилось встречаться, – баб, мужиков, приказчиков, – бессознательно развивая и упражняя в себе беллетристический дар.

Нельзя было не заметить в нем этой многообразной талантливости. Но Россия жестока к талантам: нет, кажется, таких диких преград, которые не ставились бы юноше Горькому на его пути к культурной, человеческой жизни. Таких не знали, кажется, ни Ломоносов, ни Шевченко, ни Репин, ни другие наши самородные гении. Похоже, что между Горьким и всеми культурными ценностями, к которым он так жадно стремился, были устроены волчьи ямы, провололочные заграждения – прыгай, если хочешь, продирайся! И то, что Горький продрался, дополз, есть, оказывается, великий героический подвиг.

“Если я, – пишет он, – лягу в землю изуродованным, то не без гордости скажу в свой последний час, что добрые люди серьезно заботились исказить душу мою”.

Книги ему были нужнее, чем воздух, а какой-то Колтунов говорил:

– Встань на колени, дам!

А когда какому-то своднику, торговавшему своей женой и сестрой и снабжавшему Горького идиотскими книжками, Горький задолжал за чтение сорок копеек, тот протянул ему масляную пухлую руку:

– Поцелуй, подожду!

Мальчик замахнулся на него в ярости гирей, а потом решил эти деньги украсть. Какой-то сумасшедший гротеск: в огромном городе будущий всесветный писатель только и может достать себе книги, что в полупубличном доме у сводника, и ради чтения должен заниматься воровством.

Но вот книга добыта. Как же ее ночью читать? За каждую свечку – побори. Мальчик с отчаяния хватает медную блестящую кастрюлю, отражает ею лунный свет и тщится прочитать хоть строку. Но выходит еще хуже – темнее.

– погоди, книгожора, лопнут зенки-то, ослепнешь, – пророчат ему окружающие и, конечно, рвут эти книги в клочки.

– Это очень вредно – книжки читать, – слышит он на каждом шагу. – У нас на Гребешке одна девица хорошего семейства читала-читала, да в дьякона и влюбилась. Так дьяконова жена так страмила ее – ужас даже! На улице, при людях...

– Вот они, читатели... Железную дорогу взорвали, хотели царя убить...

– Книжки сочиняют дураки и еретики...

– А Псалтырь? А царь Давид?

– Псалтырь – священное писание, да и то царь Давид прощения просил у бога за Псалтырь.

– Где это сказано?

– На ладони у меня – я те вот хвачу по затылку, и узнаешь где.

Ни учителей, ни друзей. Мальчик в каких-то стишках увидел слово “гунны” и мечется по всему городу, чтобы спросить, что это такое гунны?

Спросил у хозяина.

– Гунны? Черт его знает, что это такое! Ерунда, наверное. Чепуха кипит в голове у тебя.

Он – к полковому священнику. Тот сердито ткнул в землю черным посохом.

– А тебе какое дело до этого? а?

Он – к какому-то поручику.

– Что-о?

И лишь провизор Гольдберг, большеносый еврей, объяснил ему непонятное слово...

И не только к книгам, но и ко всему человеческому приходилось продирается подростку сквозь дурацки-жестокое.

Горький, например, до страсти любит музыку и пение: это мы знаем по множеству мест в его книгах, где с особенной яркостью изображается очарование песни; но и к этому счастью у него не было в юности доступа. Только через форточку у чужого окна он с умилением слушает виолончельные звуки, и ему больно и сладко; но подкрадывается сторож и спрашивает:

– Ты чего тут торчишь?

– Музыка.

– Мало ли что! Пошел.

“Почти каждую субботу я стал бегать к этому дому, но только однажды весной снова услышал там виолончель. Она играла почти непрерывно до полуночи; когда я воротился домой, меня отколотили”.

И так на всех его путях к цивилизации. Он хочет, например, научиться черчению, но хозяйка то обольет его чертежи квасом, то испачкает их лампадным маслом, то схватит его за волосы и тычет лицом в чертеж, разбивает ему губу и нос, рвет его работу в клочки.

Что же, спрашивается, было ему думать о людях?

– Я видел, что люди, окружавшие меня, не способны на подвиги и преступления... и трудно понять, – что интересного в их жизни? Я не хочу жить такой жизнью... Это мне ясно, – не хочу.

То жалея, то ненавидя их, смутно ощущая в себе какие-то растущие, необыкновенные силы, зовущие к необыкновенным деяниям, он, мальчик, в мессианском порыве, уже нередко мечтает каким-нибудь фантастическим подвигом спасти и себя и их, вырвать всех из этого звериного быта, или – как пишет он в повести – “дать хороший пинок всей земле и себе самому, чтобы всё и сам я – завертелось радостным вихрем, праздничной пляской людей, влюбленных друг в друга, в эту жизнь, начатую ради другой жизни – красивой, бодрой, честной”. Так зародилась горьковщина.

VI

Род человеческий болен, весь в язвах и струпьях, нужно вылечить людей. Все люди – красавцы, таланты, святые, и, если бы уничтожить нарывы и прыщи, покрывающие атлетическое тело народа, вы увидели бы, как оно дивно прекрасно.

Всё мировоззрение Горького зиждется на этом единственном догмате.

Многokrатно изображая Россию как некую огромную больницу, где в незаслуженно-лютых муках корчатся раздавленные жизнью, Горький чувствует себя в этой больнице врачом или, скажем скромнее, фельдшером, и прописывает больным разные лекарства. Лечить – его призвание. Он всегда только и делал, что лечил. Недаром бог ему мерещится лекарем. Каждая его книга – рецепт: как вылечить русских людей от русских болячек. Лечебник русских

социальных болезней. Ни одной своей книги он не написал просто так, безо всяких медицинских целей. Сначала он лечил нас анархизмом, потом социализмом, потом коммунизмом, – но, чем бы ни лечил, всегда верил, что стоит нам принять его лекарство, и все наши болячки исчезнут. И всегда был убежден, что его последний рецепт самый лучший, что он знает ту единospасительную истину, которая приведет человечество к счастью. Для него нет неизлечимых болезней, он доктор-оптимист: все отлично, вы выздоровеете, только глотайте пилюли, которые он вам прописал. Отсюда всегдашний мажорный, утешительный тон его книг: какие бы ужасы он ни описывал, он видит, что они преходящи, и – главное – знает отчетливо, как от этих ужасов избавиться.

И самые термины его статей – медицинские. В “Двух душах” и “Письмах к читателю” он говорит о какой-то “эпидемии”, о какой-то “заразе”, о “самозащите от ядов”, “о болезненно-развитой чувственности”. Эпитет “болезненный” в применении к социальным явлениям встречается у него на каждом шагу. То он пишет о “болезненном стремлении к развлечениям”, то о “болезненной склонности к пессимизму”, то о “болезненности романтизма”, то о “болезненном мистическом анархизме”, и в своей статье “О карамазовщине” беспрестанно употребляет слова: – “болезни национальной психики”... “общественная гигиена”... “духовное оздоровление общества”... “нездоровые нервы общества”... “здоровые силы страны”... “здоровая атмосфера страны”... В повести “В людях” – снова:

– Заразная грязь <общества>.

– Ядовитая отравка жизни.

Иначе он и не умеет мыслить. Даже прежний его романтизм был ему нужен не столько для себя, сколько для нас, пациентов. Он был романтиком, ибо думал, что романтизм – лекарство. А чуть обнаружилось, что романтизм – отравка, он тотчас же перестал быть романтиком. Также и индивидуалистом он был лишь дотолде, доколе верил, что индивидуализм целебен. А чуть разуверился в этом, выбросил его вон из души. Тут беспримерная дисциплина воли: человек по внушению долга перекраивает всё свое естество, приказывает себе, что любить и чего не любить.

Но неужели эти воспоминания о детстве и отрочестве суть тоже медицинские книги, а не архив, не история? Ведь все болезни, изображенные там, относятся к прошедшей эпохе и, кажется, давно уже излечены. Раны зажили, боль отболела. Неужели Горького не могло потянуть просто сентиментально порыться в сувенирах минувшего и воскресить в душе невозвратно угасшие образы? Мало ли таких мемуаров печаталось в “Русской старине” и в “Историческом вестнике”? Повести Горького относятся к семидесятым и восьмидесятым годам, к царствованию Александра II, многое в них успело покрыться 40-летней пылью, – причем же здесь современная Русь?

Все эти соображения могли бы быть правильными, но только не в отношении Горького. У Горького не такой темперамент, чтобы он мог предаваться лирической грусти, сладостно-томному тургеневскому размягчению души; истоки его творчества другие, и он энергично подчеркивает в обеих своих повестях, что это вовсе не мемуары о былом, а насущнейшие книги о нынешнем.

“Вспоминая эти свинцовые мерзости дикой русской жизни, – пишет он в повести «Детство», – я минутами спрашиваю себя: да стоит ли говорить об этом? И с обновленной уверенностью отвечаю себе: стоит. Ибо это – живучая, подлая правда, она не издохла и по сей день”.

И о повести “В людях” буквально повторяет то же самое:

“Зачем я рассказываю эти мерзости? А чтобы вы знали, милостивые государи, – это ведь не прошло, не прошло... Дабы вы вспомнили, как живете и чем живете. Подлой и грязной жизнью живем все мы, вот в чем дело!..”

Вот зачем он написал эти книги: для излечения нынешней (а не для обличения прежней) России, – чтобы искоренить нынешние свинцовые мерзости, вырваться из нынешней грязи!

Чем же Россия больна? Как он хочет вылечить Россию? Какие он рекомендует лекарства? Для ответа на эти вопросы, нам, кроме повести “В людях”, будет чрезвычайно полезна маленькая статья Горького “Две души”, появившаяся почти одновременно с повестью. Все, о чем трактует повесть, сказано очень четко в статье, повесть есть как бы некий альбом иллюстраций к тезисам этой статьи. Когда “Две души” появились в печати, их встретили возмущенными возгласами:

“Это лживое и несправедливое обвинение нашего народа Максимом Горьким мы должны отвергнуть с глубочайшим негодованием”, – писал один из бывших соратников Горького, Евгений Чириков, и сравнивал его статью с плевром в лицо народа.

“Горький унижает весь русский народ, отнимает у него всякую искру, не дает ему надежд на возрождение”, – негодовал Леонид Андреев.

И как бы для того, чтобы ответить на эти негодующие возгласы, чтобы подтвердить свою краткую и поневоле голословную статью неопровержимыми данными, заимствованными из действительной жизни, Горький и написал эту повесть. “Вы мне не верите, вы полагаете, что я клеветнически порочу Россию фантазиями; но вот фотографии с натуры”, – таково значение этой повести. Похоже, будто путешественник, рассказы которого о виденных им краях кажутся всем небылицами, вдруг достал из кармана подлинные, сделанные кодаком снимки, чтобы пристыдить малOVEROV.

Как, например, возмущались кругом, когда Горький в своей статье заявил, что русская душа больна жестокостью, что наш быт палачески-свиреп! Эти заявления казались бредовой клеветой, но повесть Горького подкрепляет их фактами. Где я ни раскрывал эту повесть, на каждой странице читал:

– Поленом по голове... по глазам... в морду башмаком, каблуком... гирей по лбу.

Самого Горького, 13-летнего мальчика, оказывается, то высекут так, что потом везут в больницу, то натыкают ему иголок в сапоги, чтобы он до крови исколот себе пальцы, то сунут ему в рот папиросу, набитую порохом, чтобы он, закурив, обжег себе лицо, – словом, все то же, о чем мы читали в “Городке Окурове”, в “Детстве”, – однообразное разнообразие пыток.

– Люди, брат, могут с ума свести, могут! – читаю я на каждой странице. – Мучители!.. Они злее клопов.

По-азиатски, по-татарски свирепы эти лютые русские люди, о которых принято стихами и прозой твердить как о кротчайших смиренниках, жалостливая нежность которых умиляет их самих до восторга.

Вот один из них, задушевный певец (поют-то они задушевно!), набрасывается на доверчиво-влюбленную в него женщину, бьет ее с размаху по лицу, раздевает ее догола и, крикнув ей вдогонку позорное женщине слово, гонит голую по улице к мужу, который искалечит ее, – и все это ни с того ни с сего, просто так, безо всякой причины. Она ползет на четвереньках, как овца, висят ее тяжелые голые груди, она плачет, а про нее говорят “сука” и радуются, что муж искалечит ее.

Одурев от безвыходной скуки, эти несчастные заставляют другого несчастного съесть в один присест, для потехи, десять фунтов ветчины: изошрены, азиаты, в мучительстве! Несчастный жует и жует, на него страшно смотреть, кажется, что он сейчас заглочет ветчиной по горло, задохнется – или заплачет, а его упрекают: опоздал, подлец, на четыре минуты!

И самое страшное – то, что эти люди действительно добры, действительно жалостливы и любвеобильны. Но в чем же, кроме песен, сказалась их жалостливость?

Какие, например, были добрые славянские лица у тех солдат, с которыми в юности познакомился Горький, какую они внушали ему доверчивую, братскую приязнь! И, когда самый добрый из них с такой добродушной славянской улыбкой предложил ему свою папиросу, как же было от нее отказаться?

“Я закурил – и вдруг красное пламя ослепило меня, обожгло мне пальцы, нос, брови; слепой, испуганный, я топтался на месте”, – а добряки хохотали ангельски незлобивым хохотом.

Таких эпизодов у Горького в его последних произведениях множество. Синеглазая, милая, ласковая, благодушная славянская женщина нежно просит кого-то убить ее постылого свекра:

– Пришиби моего-то свинью.

А потом обращается к юноше-Горькому с такой же очаровательной просьбой:

– А, может, ты возьмешься, пристукнешь его? А я бы тебя уж так-то ли поблагодарила.

Певучая, поэтичная, милая, но отравленная нашей азиатской жестокостью! Вот главная болезнь России, открытая Горьким: жестокость. Никто из русских писателей до сих пор этой болезни не замечал. Россию лечили от всяких болезней, только не от этой. Диагноз Горького изумил и обидел всех, даже иностранцев. Когда в Лондоне появилось “Детство”, англичанин Стивен Грэхем стал защищать Россию от Горького и доказывал в “Таймсе”, что, если бы Горький знал и любил Россию, как знает и любит ее он, Стивен Грэхем, он не стал бы так постыдно клеветать на свой святой, патриархальный, благодушный, боголюбивый народ.

Жестокость – вот главный недуг, отмеченный Горьким у русских. Кроме жестокости, Горький открыл в наших душах другую азиатскую болезнь – рабью покорность судьбе, дряблкое непротивление року. В статье “Две души” эта русская хворь яростно обличается Горьким, и, конечно, в его повести “В людях” только и слышишь, как все наперебой повторяют:

– Ничего не поделаешь, такая судьба.

– Судьба – всем делам судья.

– Ты на земле, а судьба на тебе.

– Судьба, братаня, всем нам якорь.

И хвалятся своим рабым терпением:

– Положено господом богом терпеть – и терпи! – говорят со всех сторон мужики с восточным, азиатским фатализмом, и, конечно, Горький не был бы Горьким, если бы не твердил в своей книге:

– Ничто не уродует человека так страшно, как тер пение.

– Терпение – это добродетель скота, дерева, камня. В предисловии к своим “Статьям”

Горький пишет:

“Я слишком много вытерпел и принужден терпеть для того, чтобы равнодушно слушать проповедь о необходимости терпения. Я не могу позволить себе учить других сомнительным добродетелям – покорности и терпению. Подобные проповеди органически враждебны мне, и я считаю их безусловно вредными для моей страны”.

Даже когда его любимая бабушка, которую он так прославил в своем “Детстве”, сказала ему: “Терпи, Олѣша; ты бы потерпел; терпи”, – он и в ней почувствовал врага. И замечательно: все русские болезни, о которых он говорит в своей повести, именуются теперь у него азиатскими, восточными, монгольскими. Не просто фатализм, а фатализм восточный. Не просто изуверство, а изуверство азиатское. Азия в нашей крови, Азия в нашем быту – вот единственная наша болезнь, породившая все остальные.

Когда повар Смурый хочет кого-то выругать, он говорит: “Аз-зиаты! Мор-рдва! Азиаты!”

“Наши национальные недуги фатализм и мистицизм – зараза, введенная в кровь нам вместе с кровью монгольской”, – повторяет Горький на множестве страниц. Все, что ему в теперешней России отвратительно, оказывается у него азиатское.

“Нам нужно бороться с азиатскими наслоениями в нашей психике, нам нужно лечиться”, – пишет он в статье “Две души”, и, конечно, напишет не раз.

Да, мы лирики, таланты, артисты, песни поем удивительные, о боге говорим виртуозно, но в нашем житейском быту почему же все так сумасшедше бессмысленно? Почему, например, в той квартире, где Горький был помощником кухарки, ход из кухни в столовую лежал через

маленький узкий клозет, через который вносили в столовую кушанья, – символ русской чепухи и неустроенности? И все приемлют эту чепуху, как судьбу, и, копошась в невероятном, воистину азиатском зловонии, с факирским азиатским равнодушием к условиям внешнего быта спорят о своем азиатском: о боге, о судьбе, о душе.

Вот эта нехозяйственность, дурацкая неприспособленность к жизни, всё это в нас – азиатское. Горькому не надоело доказывать в десятках рассказов, статей, повестей, из году и год, много лет, что если мы пьяницы, то в этом виновата Азия, если мы лентяи, виновата она же; если мы странники, лишние люди, Обломовы, Онегины, Рудины, опять-таки виновата она; если мы скопцы, изуверы – за все отвечает Азия!

Нет таких мерзостей в русской душе, которых Горький не объяснял бы теперь этой нашей универсальной болезнью, первопричиною всех остальных. И конечно, если наша болезнь – Азия, то наше универсальное лекарство, наша панацея – Европа. “Утешеньишко людишкам” – только там.

Горький вообще мыслит без оттенков и тонкостей. В его художественных образах бездна нюансов, а мысли элементарны, топорны, как бревна, и так же, как бревна, массивны – этикие дубовые, тысячепудовые тумбы; их не прошибешь никакой диалектикой, так они монументальны и фундаментальны; о них хоть голову себе разбей, а их не сдвинешь. Если наша гибель – Восток, то наше спасение – Запад, а если наше спасение Запад, то – к черту всё, что не Запад!

О, Русь, в предведеньи высоком
Ты мыслью гордой занята.
Каким ты хочешь быть Востоком —
Востоком Ксеркса иль Христа? —

спрашивал наш азиатский мудрец.

– Ни Востоком Ксеркса, ни Востоком Христа, – запальчиво отвечает Горький. – Христов Восток еще опаснее Ксерксова; наша азиатская кротость гибельнее нашей азиатской жестокости: каждая глава его повести только о том и твердит.

И стоит Горькому хоть на мгновение от Востока, от городка Окурова оглянуться на Запад, на то Сан-Суси, которое суждено нам всем, где так вкусна и сытна чечевичная похлебка всяких физических благ, он становится преувеличенно весел. В посрамление Востока, в поучение Востоку он пишет, например, “Итальянские сказки”, где каждая буква просто танцует от радости. Эта книга, посвященная Западу, вся о праздничных лицах, о музыке, о веселых огнях, о веселом колокольном перезвоне. В ней – в пику Востоку – рассказывается, как на Западе тысяча генуэзских рабочих, чтобы помочь своим пармским обнищавшим друзьям, приютили у себя их детей, кормили их, одевали, ласкали; как в Неаполе, когда забастовали трамваи, вся толпа, чтобы помочь забастовщикам, весело ложилась на рельсы, с хохотом, с забавными гримасами. Стыдись же, Восток! учись же, Восток! подражай же, Восток! Вот какая на Западе уютная, нешершавая жизнь! Вот какова будет Русь, когда излечится от Востока, от Азии! Пляшущие, поющие дети, веселые Друзья всему миру! Черная немочь пройдет —

И лазурней станет небо,
И просторнее сердца!

К черту все, что не Запад! Недаром в этих сказках все люди – смеющиеся. Где ни раскроешь, читаешь:

- Весело хохочут мальчишки...
- Девушки улыбаются парням...
- Дети поют, смеются...

- Солнце смеется...
- Они все трое смеются...
- Иоанн смеется...

Но вот на минуту все гаснет на этом позолоченном Западе, это значит: появился Восток. В Италию приехали русские. “Они, – говорит Горький, – проходят некрасивые, печальные, смешные и чужие всему. Все меркнет и тускнеет при виде их”.

Они нюхают свой кофе и говорят: “Отвратительно”.

Они смотрят на веселых дельфинов и говорят: “Похожи на свиней”.

Они смотрят на веселых итальянцев и говорят: “Похожи на жидов”...

Они – несчастные, слепые и глухие. И все потому, что азиаты. Обьевропеились бы – и стали бы счастливы. Вот простой и чудодейственный рецепт. Обшарьте все нынешние романы, рассказы и повести Горького, соберите, сгоните оттуда всю огромную толпу страждущих, стонущих, плачущих, и Горький мгновенно утолит их страдания своей универсальной панацеей.

Мысли Горького всегда так лубочны, знают только черную и белую краски, разделяют весь мир пополам³. В этом их главная сила. Когда-то он разделил всю Россию на Соколов и Ужей: Ужи пресмыкались в грязи, а Соколы парили в небесах. Соколы воплощали всё белое, а Ужи воплощали всё черное, что только было в России, и Россия приняла эту нехитрую схему, ибо жизнь насытила ее насущнейшим, богатым содержанием.

Теперь то же самое: велика ли мудрость разделить всю Россию на Восток и Запад? Но эта схема для той эпохи была насущнейшая: тут были все ее тревоги и боли, тут широчайше обобщенная (и потому обедненная) программа ее будущей всероссийской работы. В 1912–1913 годах Горький вторично, как и 20 лет тому назад, услышал в себе и сказал вещее, исторически нужное слово, – и в этом его новая заслуга, ибо что такое Запад сейчас для России? Это наука, это лучшие завоевания культуры, это преодоление азиатского быта, это оборудование новой гражданственности, – весь наш завтрашний неминуемый день.

Горький снова дал целому поколению широкую алгебраическую формулу для разнообразнейших стремлений эпохи.

И пусть Восток – это Платон Каратаев, и Достоевский, и Глинка, и Розанов, и все наши песни, вся эстетика наша, все самое щемяще-родное, всё, что есть в нашей душе гениального, всё, чем мы прелестны, обаятельны, – пусть вокруг этого Востока намотано столько наших жил, что – дернуть, и, кажется, сердце порвется, Горький, верный велению истории, глухой и слепой ко всему остальному, рушит все эти роковые сокровища, хоть и любит их так же, как мы.

“Бесы” Достоевского служат восточным идеям, и вот Горький остался без “Бесов”. “Война и мир” прославляет восточную мудрость неделания, невмешательства во внешнюю сутолоку человеческих дел, – Горький отказался от “Войны и мира”. Тютчев – поэт азиатской нирваны, покорности, изнеможения, тления, – Горький отрекся от Тютчева.

Он хорошо понимает, на что поднимает руку. Ведь он, как и мы, спаян кровью с этим проклинаемым, но милым Востоком. Ведь даже его боготворимая бабушка, и все самое поэтическое в ней, есть в сущности тот же Восток. Запада в ней нет ни кровинки: все ее молитвы, ее песни, ее милостыни, созерцания, скитания, ее светлое страдальчество, ее покорливость – все это воплощение Востока, и не без боли же Горький, прославивший ее, как святыню, отталкивает и ее ради новой святыни, святейшей, – ради не-кроткой, не-смирненной, не-поэтической, позитивной, деловитой России.

Хозяйственная, деловитая Русь, – у нее еще не было поэта, и знаменателен и исторически-огромен тот факт, что вот поэт наконец появился, и там, где доселе была пустота, стали-

³ Как мы увидим ниже, у него теперь намечается новое разделение мира – на деревню и город, причем деревне он приписывает все наши пороки и болезни, те самые, которые приписывал Востоку, а городу – все совершенства. Этой боевой натуре всегда необходим какой-нибудь – хотя бы фантастический – объект для протестов и ненавистей.

таки сбегаться, скопляться какие-то крупницы поэзии. Это показательно, ибо в каждую эпоху жизнеспособна лишь та идеология, которая вовлекает в свой круг искусство своей эпохи. Дело Востока проиграно: у Востока уже нет Достоевского, а только эпигоны Достоевского. Нет Толстого, а только эпигоны Толстого. Не наследники, а последыши. Горький же – ничей не эпигон. Он не потомок, а предок. Начинается элементарная эпоха элементарных идей и людей, которым никаких достоевских не нужно, эпоха практики, индустрии, техники, внешней цивилизации, всякой неметафизической житейщины, всяческого накопления чисто физических благ, – Горький есть ее пророк и предтеча. Должно быть, Вячеславу Иванову как-то даже конфузно следить за его простенькими религиознофилософскими мыслями; должно быть, они кажутся ему пресными, плоскими, куцыми. Но Горький пишет не для Вячеслава Иванова, а для тех примитивных, широковыпуклых, по-молодому наивных людей, которые – дайте срок – так и попрут отовсюду, с Волги, из Сибири, с Кавказа ремонтировать, перестраивать Русь. Вчерашние варвары, они впервые в истории вливаются в цивилизацию мира...

Да и как Горькому не быть псалмопевцем цивилизации, если она далась ему ценою забываемых мук и трудов! Русская “душа” все еще не умеет поверить в цивилизацию, и когда, например, появились в России первые аэропланы, самые вещице из наших поэтов всячески отчуровывались от них:

Как ты можешь летать и кружиться
Без любви, без души, без лица?
О, стальная, бесстрастная птица.
Чем ты можешь прославить Творца? —

обращался к аэроплану один из вдохновеннейших наших поэтов (Александр Блок), и воистину это был голос брамина.

И другой русский поэт (К. Фофанов) тоже, вместо восторженных од, встретил авиаторов такими словами:

О, мне затеи эти жалки,
Смешон восторг людских сердец:
На их летающие палки
Глядит с улыбкою Творец.

Оба стихотворения не случайно говорят о Творце (с большой буквы). В технике они видят раньше всего проблему религиозную. И точно так же воспринимал авиацию властитель тогдашних дум Леонид Андреев. Один из его героев говорил:

“Воздушный полет в пределах нашей земной атмосферы ничего не изменит в нашем стремлении к безграничному полету, и бесплодность его сделает его еще более мучительным”.

Полет авиатора постоянно был сравниваем с иным полетом, полетом души в бесконечность, и, естественно, оказывался, в глазах русских людей, жалкой затеей “смерда”, обреченной на позор и осмеяние.

Тогдашний модный романист Арцыбашев тоже посрамлял авиацию метафизическим полетом в нездешнее; по крайней мере в одном из его романов читаем:

– Вон там летают... знаете?

– Летают?

– Да.

– Ну и пусть себе летают, все равно далеко не улетят”. Таково традиционное неприятие цивилизации русской литературой. У русских писателей с идеей полета связывалось представление о запредельных мирах, и потому полет авиаторов, в тесных пределах земной атмосферы,

казался им полетом мухи в банке. У Алексея Толстого, в одной из его повестей, так и говорят об авиаторе:

“Человек один пузырь построил и полетел... Что за дурак человек! В самом деле полетишь и поверишь, что всё-то тебе известно и со всем ты совладал. Как муха в стеклянной банке!”

То, что другим показалось бы демонстрацией чудодейственной человеческой силы, им кажется новым свидетельством нашей духовной бескрылости. “Ах, если бы живые крылья души, парящей над толпой!” Им дают новую радость, новую фантастическую силу, а они, как толстовский Аким, лопочут: “Таё, таё. А Бог? А душа?” Американец Уитмэн пятьдесят лет назад возгласил, что “в работе машин и в работе ремесленников он видит символы и знамения вечности”, и с набожным благоговением воспел:

Доменную печь и плавильную печь,
И сахарный завод, и железопрокатный завод,
и шелкоткацкую фабрику,
И шлак, и чугунные болванки,
И гладкие крепкие рельсовые скрепы в форме буквы Т,
И паровую лесопилку, и маслобойню,
и фабрику свинцовых белил.

Но все это слишком мизерно для поэтов страны Неделания. Поставьте рядом с ними хотя бы Уэллса, который весь окружен рычагами, шестернями, жироскопами, колбами, или Киплинга, в котором созерцание многосильной турбины вызывает те же эмоции, какие в Фете вызывало созерцание звезды. Как надменно этот Киплинг смеется над нами, славянами, за то, что мы на всем протяжении истории еще не создали ни одного гвоздя, ни одной – самой ничтожной – машины! “Семьдесят миллионов человек, – пишет он в рассказе “The Man Who Was”, – семьдесят миллионов человек, которые не сделали еще ничего, ни одной вещи!” Сделать вещь – в этом, по Киплингу, высшее призвание человека. Всех людей он рассматривает главным образом со стороны их профессии: маячные сторожа, лесоводы, рудокопы, кочегары, моряки, миссионеры, солдаты – любопытны ему лишь постольку, поскольку они совершают свою кочегарскую, рудокопную, миссионерскую и всякую другую работу.

И вспомните старо-английские мистерии о том, как Ной сколачивал, смолил и оснащал свой ковчег, или Шиллерову “Песню о колоколе”, или Лонгфеллову “Песню о постройке корабля”, или знаменитую поэму Оливера Голмса о том, как дьякон построил себе вечную бричку, или рассказ Генри Торо, как у себя в лесу он построил печь, – всюду тот же ненасытный аппетит к деланию новых предметов, вкус к архитектуре и инженерству (который дошел до своего апогея еще в “Робинзоне Крузо”, в начале XVIII века) – и как смеялся над этим величайшим человеческим свойством наш гениальный человек из подполья.

“Я согласен, – говорит Достоевский, – человек есть существо по преимуществу созидательное, присужденное заниматься инженерным искусством, то есть вечно и непрерывно дорогу себе прокладывать хотя куда бы то ни было”.

Дорога прогресса, по ощущению всех дореволюционных русских писателей, великих и малых, есть дорога в пустоту, дорога – куда бы то ни было. Здесь Достоевский сходится с Толстым и Блок с Баратынским. Русская литература предпочитала оставаться с толстовским Акимом (таё, таё) в дураковом царстве с тремя чертенятами, лишь бы не прославить это строительство “куда бы то ни было”.

Куда бы то ни было! Но вот человек строит и строит – и наконец выстраивает себе хрустальный дворец, где ни прежних язв, ни судорог, одно благоденствие, сытость, комфорт. А дальше что? А дальше ничего. Неужели в этом вся цель, венец и предел всех желаний, чтобы

выстроить себе хрустальный дворец, этакий “капитальный дом с квартирами для бедных жильцов по контракту на тысячу лет и на всякий случай с зубным врачом Вагенгеймом на вывеске”. “Да отсохни у меня рука, коль я хоть один кирпичик на такой капитальный дом принесу”, – как бы дразнит Горького человек из подполья, требуя, чтобы тот, во имя уважения к душе человеческой, отказался от оскорбительной мысли вылечить, осчастливить людей. “Человек только и хорош страданием, – повторяет человек из подполья, – человек от настоящего страдания никогда не откажется... Может быть, страдание ему настолько же и выгодно, как благоденствие, а человек иногда ужасно любит страдание, до страсти, и это факт... Любить только одно благоденствие даже как-то и неприлично, – внушает самый русский и самый великий из русских великих писателей. – Ну вот, выстроено хрустальное здание, все благополучны и сыты – и, конечно, нельзя гарантировать, что тогда не будет, например, ужасно скучно (потому что что ж и делать-то, когда все будет расчислено по табличке?), зато все будет чрезвычайно благоразумно. Конечно, чего от скуки не выдумаешь... Я, например, нисколько не удивлюсь, если вдруг, ни с того ни с сего, среди всеобщего будущего благоразумия возникнет какой-нибудь джентльмен, с неблагодарной или, лучше сказать, ретроградной и насмешливой физиономией, упрет руки в боки и скажет нам всем: а что, господа, не столкнётся ли нам всё это благоразумие с одного разу, ногой, прахом, единственно с тою целью, чтобы все эти логарифмы отправить к черту и чтобы нам опять по своей глупой воле пожить?”

Всё это Азия, вдохновенно отстаивающая свои права на болячки, на вонь, на помои, во имя широкости русской души, которой будто бы мало хрустальных дворцов, которая жаждет чего-то зазвездного и сытостью насытиться не может. Ради зазвездного нас поэтически тычут в блевотину. Это все тот же толстовский Аким, та же толстовская сказка о дураковом царстве и трех чертенятах, тот же высокомерный отказ от Европы, от хрустального дворца, от прогресса, от цивилизации, от всех тех лекарств, которыми, по убеждению Горького, излечится русский народ. И замечательно, что не только былые титаны, но и современные наши писатели все (разве за исключением Бунина) инстинктивно тянутся к болячкам и гноищу нашего факирского быта, утверждают этот быт и, как святотатство, отвергают всякое на него покушение. Упомяну хотя бы такого замечательного писателя, как Алексей Ремизов, автор “Крестовых сестер”: с каким поистине садическим восторгом этот сектантски-упрямый проповедник страдальчества приветствует те пинки, тумачи, оплеухи, которыми осыпает нас жизнь! Убегание от этих оплеух кажется ему кощунственной изменой душе. “Не смейте быть счастливыми! – вопль его страдальческой повести. – Счастливец всегда и непременно есть вошь, и да будет благословен тот всемирный подлец, который кувыркает нас в горе, кручине, нужде и суёт нам в глотку железные гвозди, чтобы мы визжали и корчились!” У Ремизова в его повестях именно эта воистину азиатская тема: развенчать благополучие и увенчать беду. Нужно терзать и пугать человека, иначе он вошь непробудная. Убийства! Пожары! Катастрофы! Наводнения! Ливни! Землетрясения! – всё страшное, что может оглушить и замучить, да низринется людям на голову, дабы они стали людьми.

Такова философия талантливейших наших писателей, созданных только что отошедшей эпохой. Всё главное ядро нашей словесности было охвачено в последние годы чувством обреченности, волей к нирване, поэзией увядания и ущерба. (Я не привожу других имен, они и без того незабвенны.)

Против этого буддийского соблазна и была направлена в последние предреволюционные годы беллетристическая публицистика Горького.

Вторая

I

Но излагая философию Горького, мы не должны забывать, что это философия художника.

В своей новой книге “Мои университеты”, которая является продолжением повести “В людях”, Горький указывает в особой главе, что ни к какой философии он не способен.

Когда ему было лет двадцать, какой-то медик так и сказал ему: “Фантазия преобладает у вас над логическим мышлением”. Медик был прав: фантазия Горького сильнее его самого, а отвлеченное мышление ему не под силу. Вздумал он однажды послушать ряд лекций по истории философии, но едва дошел до Эмпедокла, дальше слушать не мог, после первых же слов устал, столько фантастических картин и видений вызвала у него эта лекция.

Философские идеи тотчас же превращаются у него в тысячи образов, которые яростным вихрем налетают на него и вертят до потери сознания. Он еще не вник в систему Эмпедокла до конца, а уже перед ним закружились оторванные головы, отрезанные ноги, уши, глаза, носы, ключья человеческого мяса. Замученный этой бешеной пляской, он понял, что философия не для его темперамента.

– У тебя, брат, слишком разнузданное воображение, – укоризненно сказал ему юный философ, пытавшийся познакомить его с Эмпедоклом.

Укорять было не за что, – без этого воображения он не был бы Горьким; по, конечно, при таком воображении невозможно воспринять, скажем, Гегеля. Мысли заменяются галлюцинациями, теории – телами и вещами. После краткого урока философии с Горьким случилось такое:

“Ко мне, – сообщает он, – подходила голая женщина на птичьих лапах вместо ступней ног, из ее груди исходили золотые лучи; вот она вылила на голову мне пригоршни жгучего масла, и, вспыхнув, точно клочок ваты, я исчезал”.

Немудрено, что всю главу об этих ужасных видениях Горький назвал “О вреде философии”.

Неспособный к отвлеченному мышлению, к каким бы то ни было категориям, формулам, схемам, он естественно оказался непригоден к наукам, имеющим дело с абстракциями. Можно ли сомневаться, что, например, к математике у него не нашлось никаких дарований? Когда он учился азбуке, он картинно представлял себе каждую букву в виде какой-нибудь твари: буква З – червяк, буква Г – рабочий его деда, и проч. Замечательный мастер живой, живокровной речи, он все же с величайшим трудом – даже в зрелых годах – усваивал себе ее грамматику, так как грамматика стремилась свести эту речь к отвлеченным категориям и формулам, а он был весь в конкретном ощущении словесных образов, красок и звуков.

Поэтому ничего не знают о Горьком те, кто ощущает его как мыслителя.

Его творчество инстинктивно. Его сила – в богатом неукротимом цветении образов. Он, как и всякий художник, не всегда понимает те образы, которые в таком изобилии рождает его буйный декоративный талант. Распределять их по рубрикам, подчинять их системе – ему не под силу.

Тем поразительнее проявляемая им в течение всей его жизни упрямая воля к подчинению своих поэтических сил чисто логическим формулам. Иначе он и не желал творить. Ему всегда было нужно, чтобы образы явились иллюстрациями тех или иных его формул. Главное – формула, а образам – чисто служебная роль. Но художественные образы на служебную роль были согласны далеко не всегда. Порою они птицами вырывались из всяких насильственных

формул, и часто случалось с Горьким, что как мыслитель говорил он одно, а как художник – другое. Нет, кажется, второго такого писателя, у которого творчество было бы в таком разладе с сознанием. В каждой его книге – две души, одна подлинная, другая придуманная. До сих пор мы изучали его как публициста, но стоит только вдуматься в него как в художника, и мы увидим, что перед нами другой человек, несколько не похожий на того, которого мы знали до сих пор. Художникам нередко случается прославлять в своем творчестве то, что они сознанием отвергают. Некогда Роберт Стивенсон написал статью о разбойнике-поэте Виллоне, где жестоко расправился с этим вдохновенным злодеем. А потом написал о том же Виллоне рассказ, где окружил Виллона ореолом. Неужели Горький и сам не видит, что, поскольку его искусство ускользает от его публицистики, оно склонно на каждом шагу разрушать эту публицистику и блистательно опровергать все те навязчивые мысли о Востоке и Западе, о деревне и городе, о труде и неделании, которые Горький высказывает с таким постоянством?

Сам Горький приводит нам прекрасный пример такого раздвоения личности в своей книге о Льве Толстом.

Книга эта вышла в 1919 году, в издательстве З. Гржебина. Называется – “Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом”. Эти воспоминания – самое смелое, правдивое, поэтичное, нежное, что сказано до сих пор о Толстом. Горький всегда жаждал “радоваться о человеке”, умиляться красотой души человеческой, но это редко удавалось ему, так как эта радость тонула в вычурных, никого не заражающих фразах. А “Воспоминания о Толстом” заразительны. Горький не только демонстрирует радость, но и нас зажигает ею, – мы по-новому начинаем восхищаться Толстым, “человеком всего человечества”. Он говорит о Толстом много злого и жестокого, но всё это тает в молитвенной, благодарной любви. Эта книга научает любить человека, но не подобоострастной, не рабьей любовью; Горький судит Толстого сурово и требовательно, он ненавидит в нем то, что самому Толстому было дороже всего, – и, несмотря на это, благоговееет до слез.

Все жесткие и злые слова, которые есть в этой книге, относятся к толстовству Льва Толстого. Боготворя Толстого, Горький ненавидит толстовство. Оно кажется ему фальшивым, надуманным, враждебным тому жизнелюбцу-язычнику, каким на самом деле был Толстой. В русской литературе эта мысль о том, что Толстой жил во вражде с собою, – мысль не новая, но Горький выразил ее по-новому, в образах, ярко и громко. Не потому ли он ощутил ее с такой чрезвычайной силою, что и сам он тоже человек двойной, что рядом с его живописью вся его проповедь тоже кажется надуманной фальшью, что в нем, как и в Толстом, две души, одна – тайная, другая – для всех, и одна отрицает другую? Первая глубоко запрятана, а вторая на виду у всех, сам Горький охотно демонстрирует ее на каждом шагу.

С этой-то тайной душой нам теперь и надлежит познакомиться.

Для этого мы должны взять любую книгу Горького и, отревши ее от тех нарочитых тенденций, которыми ее окрашивает автор, вникнуть в ее подлинные краски и образы.

II

Всмотримся, например, в сборник рассказов, который носит имя “Ералаш”. Сборник вышел в 1908 году, и рассказы, помещенные там, относятся к той поре, когда Горький работал в пекарне, торговал баварским квасом, бродяжил, влюблялся, стрелялся, служил на железной дороге.

Первое, что бросается в этой книге в глаза, – необычайная ее пестрота. Она такая пестрая, что больно смотреть. Множество красок, и все ослепительные.

Про какую-то девушку в ней говорится:

– Дуня пестрая, как маляр...

И про каких-то баб:

– Молодухи пестрые, точно пряники...

И про какую-то женщину:

– Пестро одетая женщина... одетая пестрыми тряпками... У этой женщины даже физиономия пестрая – “сборная, из нескольких кусков”. А у какой-то другой – “лицо размалевано самыми яркими красками”. И третья:

– На ней красная кофточка, зеленый галстук с рыжими подковами, юбка цвета бордо... бантики оранжевого цвета.

Такова вся книга, таковы в ней люди и вещи. Даже мысли у этих людей разноцветные: “Разноцветно, разнозвучно играют умы”.

В этой пестроте все очарование книги. Недаром ее имя – “Ералаш”. В ней и в самом деле ералашная путаница ослепительных пятен, доведенных до предельной яркости. У героев не розовые, а кумачные лица; о небе говорится: очень синее.

И какое множество в этой маленькой книжке людей! – они-то ее и пестрят. Что ни страница, то новые. Горький не любит (или не умеет) слишком долго останавливаться на каком-нибудь одном человеке. Ему нужна пестрая вереница людей; ему нужно, чтобы эта вереница быстро текла по книге красно-сине-зеленой рекой, и, когда прочтешь его последние повести (“Исповедь”, “Кожемякин”, “Детство”, “По Руси”, “В людях”, “Ералаш”, “Мои университеты”), – покажется, что ты долго смотрел на какую-то неистощимую процессию людей, яркую до рези в глазах. Горькому словно надоедает писать об одном человеке, он жаждет пестроты, толчеи, ералаша. Он моменталист-портретист: изобразить во мгновение ока чье-нибудь мелькнувшее лицо удастся ему превосходно. Это его специальность. Но изобразит – и готово. Через несколько строк – долой. Проходи, не задерживай! В одной “Исповеди” столько намалевано лиц, что другому романисту, например Гончарову, хватило бы на двенадцать томов. Интересно бы сделать перепись в этой густонаселенной стране – в книгах Горького, – сколько людей там приходится на каждый квадратный вершок? Горький с каким-то все возрастающим сладострастием тянется к этой ярмарочной, буйной, азиатской, ералашной пестроте. Смотрит на нее ненасытно, и, сколько малявинских красок ни брызгает к себе на страницы, все кажется ему мало. Я вчитываюсь хотя бы в первый рассказ этой книжки, который так и называется “Ералаш”. Ослепительно сверкают там апрельские лужи, празднично горит церковный крест. Вот рыжебородый татарин, вот пестрая, очень пестрая женщина: в синем жакете, в желто-зеленой юбке, в пунцовом платке. Но для Горького эти краски – не краски. Ему хочется бешеной яркости, и вот перед нами под огненным солнцем, по черному бархату степи, тянется крестный ход, золотой, малиновый, оранжевый, сверкают хоругви и ризы священников, и над мохнатыми головами людей, “сверкает, ослепляя, квадратный кусок золота, весь облеплен солнцем”. Яркий ситец, золото, кумач – татарская, византийская Русь!

И какие пестрые ералашные звуки: хохот, песни, звоны, прибаутки, зазывания и божба торгашей.

И какие ералашные события: тут мертвец, а там целуются, тут торгуют, а там замышляют убийство.

Хмельно, горласто, празднично,
Пестро, красно кругом!

И все это в чаду сладострастия, ибо рядом со зрителем (а, значит, и рядом с читателем) сидит румяная, сытая, полнокровная, полногрудая женщина, которую томит весенний хмель, которая млеет на солнце, как полено на костре. Она источает какой-то пьяный угар, от которого этот кавардак головокружительных образов становится еще ералашнее.

Вообще в каждой новой книге Горького столько хмеля и мартовской яри, как ни в одной предыдущей, и замечательно, что чем ералашнее этот ералаш, чем он пестрее, тем он милее и

понятнее Горькому. Закружившись в этой ярмарочной сутолоке, Горький чувствует себя как дома, тут ему легко и уютно, он забывает все свои угрюмые мысли об азиатской дрянности русских людей и говорит свое благодушное широкое слово:

– Прощается вам, людишки, земная тварь, всё прощается, живите бойко.

III

Это в Горьком важнее всего, это пробивается в нем сквозь все его теории и догматы. Оттого-то, когда он пишет об этом, он становится отличным художником. Оттого-то ему так удался “Ералаш”. Умиленная, хмельная любовь к русской – пусть и безобразной – Азии живет в нем вопреки его теориям, и часто, когда он хочет осудить азиатчину, он против воли благословляет ее. Его живопись бунтует против его публицистики. Его краски изменяют его мыслям. У Горького есть целый ряд повестей – “Исповедь”, “Лето”, “Мать”, – где он хочет прославлять одно, а его образы – наперекор его воле – прославляют совсем другое. Его повесть “Городок Окуров” есть, по его замыслу, анафема азиатскому быту, но можно ли удивляться тому, что, когда “Окуров” появился в печати, многие наивные читатели сочли эту анафему – осанной, и даже в “Новом времени” какой-то патриот восхитился:

– Наконец-то Горький полюбил нашу Русь!

Патриот был глупый, он не понял идеологии Горького, но в том-то и дело, что образы Горького часто живут помимо его идеологии и даже наперекор его идеологии!

Не замечательно ли, что Горький, такой яркий поклонник Европы, проповедник западной культуры, не умеет написать ни строки из быта образованных, культурных людей! Единственно доступный ему мир – мелкое мещанство, голытьба. Чуть только дело коснется Европы, европеизованных нравов европеизованной интеллигентской среды, Горький, как художник, становится бледен и немощен. Его рассказы об Италии напыщенны и вялы. Его рассказы и пьесы из жизни русских интеллигентов (“Инженеры”, “Дачники”, “Дети солнца” и т. д.) недостойны автора “На дне”. Стоит в его произведениях – хотя бы случайно – появиться образованным людям и заговорить культурным языком, – его творческая, поэтическая энергия падает. Интеллигентский язык его собственных журнальных и газетных статей до странности сух и банален.

Ибо вся его сила – в простонародном (азиатском!) языке, пестром, раззолоченном, цветистом, обильно украшенном архаическими и церковными речениями. Здесь его богатства беспредельны – прочтите, например, “Исповедь” или “Матвея Кожемякина”. Но чуть только, отказавшись от этих богатств, он потщится проявить в своем искусстве европейскую свою ипостась – ту самую, которую он так любит в себе и лелеет, – он становится косноязычен и почти не талантлив. Все истоки его творчества – Азия; всё, что в нем прекрасно, – от Азии. Ералашная, ярмарочная пестрота его образов – пестрота византийских мозаик и бухарских ковров; его темперамент ушкуйника, его мечтательная, скитальческая молодость, его склонность к унылой тоске, внезапно переходящей в лихое веселье, его экстазы жалости, его песни, его прибауточный, волжский, нарядный язык, всё самое пленительное в нем – чуждо той буднично-трезвой Европе, к которой он так ревностно стремится приобщить и нас, и себя. И сказать ли? – даже его любовь к Европе есть несомненно любовь азиата. Он любит ее религиозной, сектантской любовью, как не любит ни один европеец. Волга издавна колыбель и питомник сектантов, и чем больше Горький говорит о Европе, тем явственнее чувствуется в нем волжский сектант.

Когда Горький пишет о русской Татарии (которую он, против воли, украдкой любит), он нередко создает превосходные вещи, как, например, “Сторож”, “Рождение человека”, “Ералаш”; но чуть он начинает писать о культуре, о культурном строительстве, он становится неузнаваемо слаб. Самое худшее из всего, что написано им, есть его “Несвоевременные мысли” – книжка, вышедшая в годы войны и составленная из газетных фельетонов. Там Горь-

кий снова восхваляет промышленность, европейскую технику, снова обличает нашу азиатскую жестокость и косность и на каждой странице твердит:

- Нам следует...
- Мы должны...
- Необходимо...
- Нужно...

Но всё это так уныло, монотонно и скучно, что, при самой нежной любви к его творчеству, нет сил дочитать до конца. Кажется, что это не Горький, а какой-то нудный Апломбов нарочно канителит и бубнит, чтобы надоест окружающим. Где ни откроешь, серо. Ни одной горячей, или нежной, или вдохновенной страницы. Когда же, забыв обо всяких “мы должны” и “нам следует”, Горький любяще взглянет на свой родной “Ералаш”, он тотчас же обретает и краски, и кисти и становится заразительно-сильным художником.

Его идеологии отмирают одна за другой, а образы остаются незыблемы.

В этом, по-моему, самое главное.

Не беда, что Горький – публицист, что каждая его повесть – полемика. Это вовсе не так плохо, как думают: ведь и “Дон Кихот” – полемика; и “Робинзон” и “Гулливер” – публицистика.

Публицистика не вредит его творчеству. Напротив, именно она побуждает его к созданию поэтических образов. Но поэтические образы чересчур своенравны: он стремится сделать из них иллюстрации к своим излюбленным публицистическим идеям, а они капризно и коварно изменяют ему на каждом шагу. Вся беда его в том, что он слишком художник, что, едва только эти образы закружатся у него перед глазами, потекут перед ним звучной и разноцветной рекой, как он, зачарованный ими, забывает обо всякой публицистике и покорно отдается им.

Вглядитесь, например, в его “Детство”. Публицистическая цель этой книги – обличить “свинцовые мерзости” нашего жестокого, азиатского быта. “Свинцовых мерзостей” нагромождено в ней необъятное множество, но, невзирая на них, общий ее тон до странности светел и радостен. – “Хорошо всё у Бога и на небе и на земле, так хорошо!.. Слава Пресвятой Богородице – всё хорошо”, – твердит в этой повести, наперекор всем несчастьям, бабушка Горького, смиренная и мудрая Акулина Ивановна, и это восклицание вполне выражает те чувства, которые, против воли писателя, навеивает эта повесть на нас. Вместо яростных проклятий смердячей мещанской дыре, где человек человеку убийца, мы, поддаваясь лирическому внушению повести, повторяем вслед за милой старухой:

– Слава тебе, Царица Небесная! Господи, как хорошо всё! Нет, вы глядите, как хорошо-то всё!

В этом внутреннее содержание повести. Такое толстовское непротивление злу, благостное приятие сущего Горькому как публицисту омерзительно; но как художнику оно близко и мило ему, недаром бабушка Акулина Ивановна есть самый пленительный из всех его образов. В ней – поэтическое оправдание тех чувств, которым так враждебен Горький-публицист.

Впоследствии, словно спохватившись, он сделал попытку отречься от бабушки, осудить ее азиатскую душу, но попытка ни к чему не привела. Слишком уж обаятельна эта медведеобразная, толстая, нетрезвая, старая женщина, у которой нос ноздреватый, как пемза, а волосы – лошадиная грива. Она сказочница, плясунья, у нее каждое слово талантливое и каждое движение талантливое. Не от нее ли у Горького дар к шегольскому, цветисто-нарядному слогу, к ладным и складным словам, к кудрявому словесному орнаменту? – “Я был наполнен словами бабушки, как улей медом”, – говорит он в “Детстве” о себе, и этот мед остался в нем поныне, а его публицистические лозунги умирают один за другим, и что за беда, если он сам сегодня не помнит вчерашних, а завтра, быть может, забудет сегодняшние!

IV

Потому-то, изучая писателя, я всегда ставил себе задачей подметить те стороны его дарования, которых он сам не замечает в себе, ибо только инстинктивное и подсознательное является подлинной основой таланта. Критик лишь тогда имеет право верить девизам, которые провозглашает художник, когда девизы эти гармонируют с бессознательными методами его творчества, с его стилем, его ритмами и проч.

Если бы этой мерой мы попытались измерить писания Горького, мы увидели бы, до какой степени подлинный Горький не похож на того трафаретного “борца за культуру”, который канонизирован нашей обывательской критикой.

Всмотримся пристальнее хотя бы в эту “борьбу за культуру”, ибо в последнее время Горький с особой энергией стал славить интеллигенцию русскую и восхищаться ее великолепными качествами.

Еще в “Детстве” он изобразил, как трагично положение культурных людей в нашей темной звериножестокоей стране. Первый интеллигент, с которым познакомился Горький, был тощий, сутулый, близорукий, рассеянный. Звали его Хорошее Дело. Он был химик, и все в мещанстве ненавидели его:

– Меловой нос! Аптекарь! Фальшивомонетчик! Богу враг и людям опасный!

У маленького Горького уже тогда ныло сердце от этой неприязни дикарей к непонятному для них интеллигенту. Он спрашивал у химика:

– Отчего они не любят тебя никто?

Химик отвечал с сокрушением:

– Чужой, понимаешь? Вот за это самое. Не такой...

Эти чужие люди, по убеждению Горького, суть лучшие люди в России.

Года полтора тому назад в датской газете “Политикен” Горький прославил этих “лучших людей” как великих героев и мучеников:

“Русская интеллигенция, – читаем мы в этой статье, – в течение почти ста лет мужественно стремилась поднять на ноги русский народ, тот народ, который до сих пор жил у себя на земле тупой, бессмысленной, несчастной жизнью. Русская интеллигенция на всем протяжении нашей истории является жертвой косности и неподвижной тупости народных масс”.

Народные массы, по Горькому, тупы. Только интеллигенция, слепо любя эти массы, может дать им свет и свободу.

“Революция без культуры – дикий бунт, – писал в начале революции Горький. – Революция только тогда плодотворна и способна обновить жизнь, когда она сначала совершается духовно – в разуме людей, а потом уже физически – на улицах, на баррикадах”.

Чем дальше, тем громче Горький исповедует свою любовь к интеллигенции. Его последние рассказы, напечатанные в 1923 году, продиктованы именно этой любовью. Народников, изображаемых там, он именуется “почти святыми”, хотя и видит, что они слепы и глухи к подлинному народному быту. Но даже эта слепота кажется ему теперь умилительной. “Великомученики разума ради”, именуется он теперь интеллигентов.

“Эти люди, – говорит он о них, – воплощают в себе красоту и силу мысли, в них сосредоточена и горит добрая человеколюбивая воля к жизни, к свободе строительства по каким-то новым канонам человеколюбия”.

Сочувственно цитирует он слова Короленко, что интеллигенция – это “дрожжи всякого народного брожения и первый камень в фундаменте каждого нового строительства... Человечество начало творить свою историю с того дня, как появился первый интеллигент”.

Даже в доме терпимости считал он долгом защищать интеллигенцию от непонимающей черни и объяснял “девицам”, что студенты любят народ и желают ему добра. (“Мои университеты”).

И несмотря на все это, несмотря на то, что сам Горький уже больше тридцати пяти лет живет интеллигентскою жизнью – среди книг, журналов, музеев, картин, образованнейших русских людей – и за границей, и дома, – он все же, повторяю, внутренне, всем творчеством, всем своим подлинным “я” так и не умеет прилепиться к обожаемой им интеллигенции. Когда он пишет об интеллигенте или о чем-нибудь интеллигентском, он, как мы уже видели, теряет все свои краски, становится тусклым, неумелым и скучным. Помню, как удивила меня его статья о покойном Семеновском, напечатанная некогда в “Летописи”: ничего не уловил он своим хватким и цепким глазом в облике этого типического интеллигентского деятеля. Написал о нем нечто до конфуза беспомощное – и снова привычной рукой стал малевать свою Растеряеву улицу, которая так хорошо удается ему. Весь художественный аппарат Горького приспособлен исключительно для изображения дикой, некультурной России. В этой области он – уверенный мастер. Но для того, чтобы изобразить интеллигента, в его аппарате не хватает каких-то зубцов. Когда я прочитал его книгу “Мои университеты”, куда, наряду с другими автобиографическими очерками, входит очерк о Владимире Короленко, мне бросилось в глаза, до какой степени этот очерк ниже всего остального, что помещено в этой книге. В этой книге отлично нарисована женщина, которая, выставляя напоказ свои груди, кричит:

– Глядит-ко, как пушки... Али вы найдете где этакую сласть?

В ней отлично нарисован уныло-похотливый пекарь, щупающий ноги своей сонной любовницы; хорош в ней Баринов, бродяга и лгун, хороши всяческие павшие, веселые, полудикие русские люди. Рядом с ними образ Короленко робок, жидковат, розоват. Нет той уверенной кисти, которою Горький изображает обычных своих персонажей. Тут же рядом, на соседних страницах, – как энергически описана оргия пьяных, распоясанных диких людей с неистовыми плясками, песнями, голыми женщинами! В изображении песни и пляски, – а также русского звериного пьянства, – Горький не знает соперников. Но, когда дошло до Короленко, он сразу размяк и зачах; слова у него стали сбивчивы, худосочны, расплывчаты, кое-где появилась риторика, которую в последнее время он так тщательно вытраивал в своих книгах. Не его это человек – Короленко, не его романа герой. Он ему чужой, как Хорошее Дело был чужой для его родных. Всё буйное и дикое – пожары, драки, катастрофы, всяческие разгулы страстей – так и сверкает у него под пером. Чем дальше, тем жарче изображает он женщину, женское тело, опьянение женщиной...

Вывести тысячу всяких лохматых, чрезвычайно живописных Обьедков, со всеми их словами и лицами, для него привычное дело. Но, когда, например, умер Блок, Горький, многократно встречавшийся с покойным поэтом, только и мог записать о нем то, что говорила ему о Блоке одна проститутка, которую поэт пригласил в номера. Блок как поэт, Блок как подлинный представитель культуры – находится вне постижения Горького. У Горького и органов нет, чтобы ощутить именно культурное значение Блока. Даже и представить себе нельзя, чтобы Горький мог изобразить в какой-нибудь повести такого человека, как Блок. Кувалду или Зазубрину изобразит превосходно, а Блока – никак, никогда. Речи Кувалды или Зазубрины передаст виртуозно – пестрые, цветистые, нарядные, звонкие, но пусть попробует хоть на одной странице воспроизвести речь Блока – ее словарь, ее синтаксис, ее интонации. Все это ему чуждо на веки веков, ибо вся та культура, представителем коей был Блок, для Горького еще не существует. Горький – человек с большими сведениями, но культурность заключается вовсе не в том, чтобы не смешивать Ларошфуко с Фуко и Лавуазье с Демурье, а единственно – в тонкости, сложности чувств, в изощренной восприимчивости, в богатой оттенками идеологии. Идеология же у Горького, как мы видели, всегда элементарна, сводится к двум-трем параграфам; в ней нет той затейливой прелести и пышной многогранности, которыми отличается духовная жизнь

подлинно культурных людей, – хотя бы Анатоля Франса, Герцена, Гейне, Томаса Гарди, – я беру первые попавшиеся мне имена. Всё это были люди культуры – пусть и отжитой, несовершенной, но рядом с ними Горький при всех своих разнообразнейших сведениях кажется почти дикарем.

Поскольку он интеллигент, он – бездарен, поскольку он неинтеллигент, он – огромный талант. Тем патетичнее его любовь к интеллигенции.

V

Но ни в чем так не вскрывается “двоедушие” Горького, как в его нынешних нападках на деревню.

Горький в последние годы люто возненавидел деревню. В его “Университетах” десятки страниц посвящены порицанию крестьянства.

“Деревня не нравится мне, мужики непонятны, – пишет он в этом рассказе. – Все они страшно легко раздражаются, неистово ругая друг друга. Из-за разбитой глиняной корчаги три семьи дрались кольями, переломили руку старухе и разбили череп парню... В церкви за все-нощной парни щиплют девицам ягодицы, – кажется, только для этого они и ходят в церковь”... “И не сердечна эта бедная разумом жизнь; заметно, что все люди села живут ошупью, как слепые, все чего-то боятся, не верят друг другу, что-то волчье есть в них”...

И в газете “Политикен” Горький в то же самое время писал:

“Все, что я думаю о моей родине или, правильнее, о русском народе, о главной массе его – о крестьянской массе, – причиняет мне боль и скорбь... Повсюду – беспредельная серая равнина, и среди нее жалкий человек, как потерянный на своем унылом, корявом клочке земли, вынужденный добывать самым тяжким рабским трудом каждую крупицу своего пропитания. И этот человек преисполняется равнодушия, убивающего способность мыслить, запоминать переживаемое, накапливать идеи своего опыта”...

Рядом с деревней – город кажется Горькому средоточием красоты и силы.

“Из бесформенных мертвых глыб руды творит он (горожанин) машины и аппараты, изумительно остроумные, напоенные его духом – живые существа. Он подчинил своим высоким целям силы природы... Все вокруг него носит отпечаток страстной борьбы его духа, могущества его мечтаний и надежд, его любви и ненависти, его сомнений и веры, его трепетной души, пылающей неугасимой жадью новых форм, идей и действий, мучительным стремлением вырвать у природы все новые тайны, найти смысл существования”.

Теперь во всех своих книгах Горький непрерывно твердит:

“Я отчетливо вижу преимущества города, его жажду счастья, дерзкую пытливость разума, разнообразие его целей и задач” (“Мои университеты”).

Но как художник Горький говорит иное. Он, поэт моря и степи, поэт большой дороги, всю жизнь изображал город как гроб. Очувшись, например, в 1906 году в Нью-Йорке, он проклял его небоскребы, его трамваи, мосты, его биржу, его рынки и лавки – и гул железа, и вой электричества, и шум работ – то есть именно всё то, что делает город – городом. Нью-Йорк ненавистен ему не потому, что это Нью-Йорк, а потому, что это наивысшее воплощение города. Город казался ему “жадным и грязным желудком обжоры, который впал от жадности в идиотизм и с диким ревом скота пожирает мозги и нервы”.

Горькому казалось тогда, что все Линкольны и Вашингтоны должны вырваться из этого города, как из тюрьмы, – “куда-нибудь вон, прочь из этого города, в поле, где блестит луна, есть воздух и тихий покой”.

Горький всегда прославлял свободолюбивых людей, которые покинули “неволю душных городов” – и вышли в поле, “где блестит луна”. Как истый романтик, он всегда сочетал идею безграничной Свободы с идеей непорабощенной Природы. Даже электрическое освещение в

городе казалось ему оскорблением солнца и звезд: этот “огонь, заключенный в прозрачные темницы (!) из стекла”, был в его глазах воплощением рабства.

И никакого энтузиазма не вызывала в Горьком творческая работа строителей города – ни “зловещий крик ржавого металла”, ни “угрюмый вой поработанных молний”.

“Я впервые вижу такой чудовищный город, и никогда еще люди не казались мне так ничтожны, так поработаны жизнью”, – писал он о Городе Желтого Дьявола. А между тем Город Желтого Дьявола есть типичнейший капиталистический город с наиболее выраженными городскими чертами. Очутившись среди небоскребов, Горький по-деревенски, по-русски затосковал о поле, о луне, о тихом воздухе. Это было в нем подлинное. Не только Нью-Йорк, но всякий город органически враждебен ему. С какой радостью уходил он из Нижнего в лес, и никогда никакому городу не посвящал он таких ласковых и поэтических слов, какие посвятил описанию леса.

“Темною ратью двигается лес навстречу нам. Крылатые ели, как большие птицы, березы, точно девушки”... “Мне кажется, что это очень хорошо – навсегда уйти в лес... В лесу нет болтливых людей, драк, пьянства”... “Скрипят клесты, звенят синицы, смеется кукушка, свистит иволга, немолчно звучит ревнивая песня зяблика, задумчиво поет странная птица-щур. Изумрудные лягушата прыгают под ногами; между корней, подняв золотую головку, лежит уж и стережет их. Щелкает белка, в лапах сосен мелькает ее пушистый хвост; видишь невероятно много, хочется видеть все больше, идти все дальше”...

Мудрено ли, что, вернувшись в город, он чувствует себя несчастным и потерянным! Дом, где ему пришлось поселиться, показался ему могилой: “После привычки к чистоте поля, леса, этот угол города возбуждает у меня тоску”.

Теперь же, подчиняясь новым своим публицистическим лозунгам, он заставляет себя во что бы то ни стало любить город и восхищаться его великой энергией. Но эта любовь выражается только в риторике. Переберите все книги Горького, вы не найдете в них ни единого образа, подкрепляющего эту любовь.

К деревне и к крестьянам он враждебен еще со времен “Челкаша”. Но отнимите от его творчества то, что дано ему русской деревней, и у него почти ничего не останется. Как мы указывали на предыдущих страницах, ни у одного из современных писателей язык их писаний не связан так прочно с деревней, как именно у Максима Горького. Стоит только его героям заговорить “правильным”, культурным, городским языком, язык этот становится мертв. Городской язык не дается ни Горькому, ни его персонажам. Он сам это чувствует – и всегда заставляет своих персонажей пользоваться тем или другим диалектом, вся сила которого в отклонениях от культурной, созданной городом речи. Постоянно прибегает он к чисто народным суффиксам и окончаниям слов, необычным в речах горожанина. Оттого так трудно переводить его книги на иностранный язык, в них столько волжского, деревенского, даже церковнославянского: недаром Горький учился читать по Псалтирю. Запрети его героям пользоваться такими словами, как попище, райшко, дурачишко, уморушка, схохнуть, кочевряжиться, бабахнуть, инде, жалючи, эвона, невдале, спервоначалу, тутошный, растаковский, свычный, человече, друже, отче, делов, намерениев, – и его произведения сильно поблекнут.

Я не говорю, что его язык чисто крестьянский; нет, почти всегда это помесь крестьянского языка и мещанского. Это язык вчерашнего мужика, который завтра станет горожанином. Но сегодня он не горожанин, не мужик, а середина. Почти все персонажи Горького – наследники богатой крестьянской речи, еще не успевшие истратить наследства. В их синтаксисе и словаре есть уже немало городского, но все же главная основа – деревня.

Сам Горький во всем своем творчестве – между деревней и городом. От деревни отстал, к городу не пристал, – ни к какому месту неприкаянный, не мещанин, не мужик. Оттого-то он так любит бродяг и шатунов, оторванных от определенного быта, чуждых и деревне, и городу. В этих оторванных, не нашедших себе места на земле Горький до старости лет чувствует род-

ное. Он и сам такой, как они. Он не барин, не интеллигент, не рабочий, не буржуй, не крестьянин – он не имеет пристанища ни в одной из сложившихся общественных групп. Он человек без адреса. Он на грани двух миров, из которых один уже начал разваливаться, а другой еще не успел сложиться. Оттого-то у него две души, оттого-то между его инстинктами и его сознанием такой вопиющий разлад. Все его инстинкты, бессознательные тяготения, симпатии, вкусы принадлежат одному миру, все его сознание – другому. Оттого-то Горький-публицист так не похож на Горького-художника. В России нет такой социальной среды, в которую он врос бы корнями. Никакая среда не может назвать его своим. Всех своих героев, оторванных от корня, от почвы, он создает по образу и подобию своему. Только такие ему и удаются, – неприкаянные. Когда же он пробует изображать ту или другую среду, которая уже успела сложиться, создала прочный быт, его талант изменяет ему. Когда он попробовал в повести “Лето” изобразить мужиков, прилепленных к земле, или в повести “Мать” рабочих, прилепленных к фабрике, результаты оказались плачевные: публицистика осталась публицистикой и не превратилась в поэзию. Сам он ни к чему не прилеплен. Оттолкнулся от Азии, но европейцем не сделался. Проклял деревню, но в городе не нашел себе места. Прильнул к интеллигенции, но внутренне остался ей чужд. Всю жизнь он на перекрестке дорог.

VI

Лучшей иллюстрацией этого являются его “Воспоминания о Толстом”. Конечно, как публицист, как проповедник активности, как ревнитель западноевропейской культуры, как обличитель русской азиатчины, он всячески противится обаянию Толстого и говорит о нем жестокие слова. Но как поэт, как один из окуроченцев, как внук Акулины Ивановны, он любит его нежно и набожно и по-детски льнет к нему всей своей очень русской, очень азиатской душой. Отсюда та очаровательная двойственность, которой проникнуты его записки: и осуждая Толстого, он восхищается им, и отталкивая – тянется к нему. Чует в нем врага и – полубога.

Конечно, он осуждает Толстого, как уже осуждал его неоднократно и прежде; но теперь (впервые!) к этому осуждению примешалось столько благодарных, сыновних, поэтических чувств, что все хулы ступшевались и стерлись, и похоже, будто он высказывает их лишь по долгу службы, по какой-то официальной обязанности, а на деле благоговеет (до слез) перед каждым самым незначительным словом Толстого, даже перед его капризами и слабостями.

Конечно, и в этой статье, как в прочих своих статьях о Толстом, Горький не может не поставить Толстому в вину его “монгольского фатализма”, его “азиатской апологии неделанья”. Конечно, он повторяет и здесь:

– Толстой “воплотил в огромной душе своей все недостатки нации, все увечья, нанесенные нам пытками истории нашей; его туманная проповедь «неделания», непротивления злу, проповедь пассивизма – это все нездоровое брожение старой русской крови, отравленной монгольским фатализмом и, так сказать, химически враждебной Западу с его неустанной творческой работой, неуклонным, действенным сопротивлением злу жизни... Он... желает лечь высокой горой на пути нашем к Европе, к жизни активной, строго требующей от человека напряжения всех духовных сил”, и проч., и проч., и проч.

Но все эти слова потонули в той нерассуждающей, стихийной любви, которая нечаянно, как будто против воли писателя, прорывается в каждой строке. Он уверяет себя, что Толстой ему чужд, а пишет о нем, как о самом родном, и чувствует себя без него сиротой.

И здесь, как везде, его лирика в разладе с его философией – и здесь, как везде, именно этот разлад и придает очарование его творчеству...

VII

Как художник, Горький не только не падает, но с каждым новым произведением – растет. В первом периоде своего творчества – от “Макара Чудры” до “Лета” – он часто бывал слишком криклив, риторичен, фальшивил на каждом шагу и рядом с отличными образами нередко создавал маргариновые. Перечитывая его прежние книги, мы вполне понимали, почему его собственная жена задремала, когда он читал ей один из своих первых рассказов. Также был понятен нам тот ноль, который поставил Горькому Лев Толстой за “Супругов Орловых”. Толстой, читая ранние произведения, отметил карандашом на полях:

- Отвратительно.
- Фальшиво ужасно.
- Какая фальшь.
- Гадко.
- Очень гадко.

И лишь однажды написал: “Хорошо”.

Но, если бы дожил Толстой до таких произведений Горького, как “Городок Окуров”, “Детство”, “Ералаш”, “Мои университеты” и проч., он поставил бы ему не ноль, а, пожалуй, четверку. Замечательно, что на старости лет Горький сызнова начал учиться писать. Напечатав около десятка томов, доставивших ему всемирную славу, он не только не почил на лаврах, но самым беспощадным судом осудил свои прославленные книги и, с необыкновенною скромностью, на пятом десятке, стал пробовать другие приемы искусства, которых дотоле чуждался. В ту пору, когда другие писатели застывают в определенной манере, он, как юноша, поступил в подмастерья к Лескову и Бунину – и многому у них научился. Бунин научил его суровой экономии поэтических средств, а Лесков внушил ему пристрастие к нарядному русскому слову. Горький впервые стал относиться к своему творчеству, как к мастерству. Прежний Горький никогда не мог бы написать таких превосходных страниц, как первая глава “Городка Окурова” – спокойная, эпически-ясная, с таким четким рисунком, с такими чистыми красками.

Но единственное, что смущает меня в его последних произведениях, это – огромное число персонажей. В повести “В людях” действуют 87 человек, или даже, кажется, больше, я не досчитал до конца. В прочих книгах, начиная с “Исповеди”, такие же многочисленные толпы людей. То есть не толпы, а просто – количества. Толпа, как нечто единое, спаянное однородной волей, почти никогда не выступает у Горького, хотя не было бы ничего удивительного, если бы современный писатель, в эпоху революций и войн, изобразил в качестве героя – толпу. Горький изображает не толпу, а длинную шеренгу, вереницу одиночек, которые ничем между собою не связаны и проходят, проходят, проходят один за другим. Вначале такое многолюдство возбуждает и радует, но вскоре начинает раздражать. Только что появился один человек, сказал меткое, звонкое, цветистое слово, показал свое курьезное лицо – и провалился сквозь землю: больше мы его никогда не увидим. Они прохожие, и Горький прохожий: он проходит мимо целой вереницы затейливых, забавных, любопытных людей, – посмотрит на каждого торопящимся взором и шагает дальше к другому. Так и построены все его книги, начиная с “Исповеди”: герой ходит по жизни туда и сюда, а перед ним на ходу мелькают всевозможные людишки. Каждого из этих людишек Горький изображает по-гоголевски: две-три черты, и готово! Лица и фигуры людей удаются ему замечательно, но долго всматриваться в них он не умеет, долго жить их скорбями и радостями ему не дано; к долгой дружбе со своими героями он не способен, – его тянет к новым и новым. Оттого-то и происходит, что в его повестях каждое лицо – эпизодическое; живет минуту и заслоняется следующим. Прочтите три последние книги Горького: “Детство”, “В людях” и “Мои университеты” – и спросите себя через несколько дней, кого из персонажей вы запомнили, кто из них живет перед вами? Три-четыре человека,

не больше, – остальные перепутались, исчезли бесследно. А между тем каждый был изображен мастерски – и, если бы его не заслонили другие, если бы Горький не пренебрег им так скоро, мы запомнили бы его раз навсегда. И дело не в том, что людей этих слишком много, а в том, что они ничем не связаны между собою – движутся “в порядке живой очереди”, почти не соприкасаясь друг с другом. Судьбы их не сплетены в один узел, как в романах Бальзака, Достоевского, Диккенса. В повестях и романах Горького – и в “Фоме Гордееве”, и в “Троих”, и в “Исповеди”, и в “В людях”, и в “Детстве” – нет никакой центральной главной фабулы, которая подчинила бы себе всех этих людей и людишек. Это целая серия маленьких фабул, кое-как перетасованных на скорую руку. Эти маленькие фабулы – тоже прохожие. Одно событие не растет из другого, а просто событие идет за событием и каждое проходит бесследно: вы можете читать книгу с начала, с середины, с конца, это все равно, в ее фабуле нет ни развития, ни роста. В этом величайшая слабость Горького. Оттого-то его романы и повести – за исключением “Детства” – при всех своих великих достоинствах, скоро утомляют читателя и, несмотря на свои яркие краски, производят впечатление тусклое. Горький думает, что достаточно поставить в центре повести “человека, ищущего правды”, чтобы эта бессвязная цепь эпизодов и лиц, которыми загромождены его повести, приобрела и порядок, и смысл. Нет, этого мало. Нужно всматриваться в людей не только с беглым любопытством прохожего, но с любовью, долго и взволнованно, не перепрыгивая глазами с одного на другого. Влюбленно, сосредоточенно, изо дня в день, из года в год. Толстой следит за Наташей, за Китти. Каждое, самое малое событие их жизни – для него так же торжественно и значительно, как и для них самих. Он переживает их жизнь как свою. А для Горького все – посторонние, все как в кунсткамере: полюбуется, посмотрит – и дальше!

Он проповедует жалость – “потому что в России без жалости нельзя”, – но сам жалеет тоже мимоходом: пожалеет, приласкает – и дальше! На длительную любовь неспособен. Вследствие этого неумения всмотреться в человека до конца он, при всех своих художественных силах, так и не создал ни одного характера, типа. У него нет ни Хлестакова, ни Обломова, ни Мити Карамазова, ни даже Расплюева. Фома Гордеев – не живой человек, а ходячий вопросительный знак. Ходит по жизни и спрашивает: что есть жизнь? чего мне надо? как жить? зачем люди живут? Весь он исчерпан на первых же двух страницах, – и все дальнейшие его появления перед нами не прибавляют к его образу ни единой черты. После “Фомы Гордеева” Горький сам увидел, что длительное проникновение в человеческую душу ему не дается, и стал живописать на ходу тысячи всевозможных людишек, с разнообразными носами, глазами, усами; но после того, как эти усы и носы промелькнули перед вами, вы остаетесь к ним так же равнодушны, как к тем, которых вчера наблюдали на Невском.

Странно, что Горький, певец Человека, автор стольких афоризмов о дивной красоте человеческих душ, только и умеет создать, что забываемые тени прохожих, которые исчезают, как сон. Очень хорош в его книге Яков Шумов, отлично изображен Капендюхин, превосходно сделаны и Папашкин, и Сухомяткин, и Устин Сутырин, но кто они такие, кто их помнит? Изобразить человека Горький может отлично, а чтобы человек жил перед нами, чтобы мы ощущали его жизнь своею – для этого ему не хватает души. Нарисованы люди отлично, но только нарисованы, а душевная их жизнь лишь бегло намечена, выражена в двух-трех афоризмах, в двух-трех мимолетных событиях, которые так же легко забываются, как и самые лица этих людей. Оттого я и назвал Горького панорамистом. Не картины он создает, а только панорамы. Панорамы пестрые и затейливые, но созданные, в сущности, равнодушной рукой. Душевного внимания к тому или иному человеку у Горького хватает лишь на короткий рассказ. Оттого его короткие рассказы лучше его повестей и романов. Невозможно себе представить, чтобы Горький написал, например, любовный роман – о том, как постепенно возникает любовь, как она растет и т. д., ибо для изображения процессов душевной жизни у него нет никаких дарований. То, чем был силен Лев Толстой, – ощущение текучести человеческих чувств, их вечного роста, движения, развития, – у Горького совершенно отсутствует. Мне уже случалось указывать, что

Горький, чуть дело дойдет до изображения души, начинает прибегать к метафорам, то есть говорит о душе как о вещи. Он пишет, например: “черви горя и страха”, “ржавчина желаний”, “огонь дум”, “облако мысли” и проч. В его “Исповеди” мы постоянно читаем:

- Наблюдил в душе, как козел. . .
- Как плугом вспахал душу мне. . .
- Словно больной зуб в душе моей пошатывается.
- Я в душе моей всякий древний бурьян без успеха полोल.

В душе – бурьян, в душе – зубы, в душе – козлы: до чего такое овеществление души человеческой отчуждает ее от читателя! Представьте себе, что Толстой сказал бы про Анну Каренину: “мысли ее были как тараканы за печкой”, или “в душе у нее молотили овес”, – и представить себе не можете, именно потому, что вы непосредственно ощущаете эту душу, как вашу собственную, – какие же здесь тараканы и козлы? Она для вас – не посторонний предмет, который со стороны может показаться то щепкой, то тряпкой, а часть вашего “я”, то есть нечто динамическое, вечно меняющееся, и ни в какую формулу ее не уложишь. Все попытки Горького изобразить динамику души неизбежно кончаются крахом. (Читая, например, о Кожемякине, который, по замыслу автора, должен был постепенно дождаться до некоей спасительной истины, читатель в этом деле не участвует.) Горький изображает лишь статику душ человеческих: показывает их при бенгальском огне, в самом ярком и эффектном освещении, но показал – и довольно! Душа блеснула на минуту – и погасла. Мы полюбили ее – и забыли, потому что она не жила, а только красовалась перед нами. Горькому вечно нужен какой-нибудь новый объект для любви, со старыми ему нечего делать. Это видно из его автобиографических книг: ходит по Украине, ходит по Кубани, ходит по Крыму, все ищет, кого бы ему полюбить, но полюбит на минуту, – и дальше. Вечный прохожий, без долгих привязанностей.

VIII

Любить для него значит любоваться. Смотреть на забавных и пестрых людишек ему так же утешно, как на зябликов, синиц и чижей, которых он когда-то с таким любопытством рассматривал по целым неделям из-за куста в нижегородском лесу. Любоваться он умеет, как никто. Его прелестная “Ярмарка в Голтве” именно тем и прелестна, что в ней нет ни поучений, ни декретов, а просто бездумное любование жизнью. В ярмарочной пестроте и суете Горький на время забыл, что он должен во что бы то ни стало перестраивать мир, и он без злобы, без жалости отдался благодушному созерцанию людей и вещей, ничего ни от кого не требуя, никого ничему не уча, любуясь вечно милым ералашем. В такие мгновения Горький – великий художник. Стоит ему только забыть, что он доктор, судья, моралист, призванный горькими снадобьями исцелить Россию от скорбей и пороков, он обретает неотразимую власть над сердцами, ибо под всеми личинами в нем таится ненасытный жизнелюбец, который по секрету от себя самого любит жизнь раньше смысла ее, любит даже ее злое и темное. Все равно какая жизнь, лишь бы жизнь! Пусть она струится перед ним разноцветными волнами, он, как зачарованный, будет смотреть на нее и твердить:

- Господи, господи! Хорошо-то всё как! Жить я согласен веки вечные!

Для него, как для художника – именно всё хорошо, лишь бы играло, пело, цвело, золотилось. В такие минуты он забывает, что, по его же словам, он пришел в мир, чтобы не соглашаться, в такие минуты он согласен со всем и со всеми.

В рассказе “Ералаш” он сидит и глядит, как кувырятся вокруг него людишки, и каждому из них говорит: хорошо.

- Забавно жить! – восклицает он в этом рассказе.

– Забавно жить, и отличное удовольствие жизнь, когда тебя извне никто не держит за горло, а изнутри ты дружески связан со всем вокруг тебя.

С чем же в этом “Ералаше” он дружески связан? С крестным ходом? С богомольцами? С мертвецом, который смердит под рогожей? С Марьей, которая замышляет убийство? С жуликом Сутыриным, который насилует Марью?

Да, и с богомольцами, и с мертвецом, и с убийцей, и с жуликом. Горький в этом рассказе любит всеми. В другое время он считал бы необходимым осудить эту “Азию”, но почему-то здесь, в “Ералаше”, признался, что он в полной гармонии с этим родным ему хаосом. “Задорен смех, бойки прибаутки, благозвонно поют колокола, и надо всем радостно царит пресветлое солнце, родонадальниче модем и богов. Сияет солнце, как бы внушая ласково:

– Прощается вам, людишки, земная тварь, всё прощается, живите бойко”.

В “Ералаше” Горький отпускает все грехи своей милой и грешной Азии и уже не афоризмами, но всей совокупностью образов внушает нам, что Азия – прекрасна. Здесь он лакомится жизнью, как некоею сладостью, и, подобно другому великому лакомке, отказывается от всяких моральных оценок и не говорит о жизни хорошо или скверно, но – забавно, любопытно, утешно.

Этот великий лакомка был Яков Шумов, один из героев его повести “В людях”. Он ни на что не жаловался, ничему не учил, но просто любовался панорамой жизни.

– Али скажешь, не забавно жить-то? Жить, Иван Иваныч, утешно очень.

Шумов не стыдится быть лакомкой, а Горький стыдится. Не хуже Толстого он скрывает в себе это гурманское отношение к жизни, как к чему-то вкусному, забавному, и пробует заглушить свой аппетит к бытию. Это не всегда удается ему. Так, в рассказе “Сторож”, где изображаются голые женщины, пьянство, пляска, пение, дикий разгул, – Горький против воли любит этим бешенством плоти и лишь в последнюю минуту, спохватившись, говорит несколько осудительных слов. Но слова эти немощны. Мы ведь читали его “Ералаш”, мы знаем, что жизнь забавна, утешна, прекрасна всегда и везде – просто потому, что она жизнь.

Счастливы мы, что живем, что родились, друзья человеки!

Горе отжившим и горе нежившим!

Жизнь может быть хаосом, вздором, жестокостью, но и тогда да будет она благословенна во веки веков!

Такова была бы проповедь Горького, если бы ее не заглушала проповедь его двойника.

1924

Евгений Замятин М. Горький

Они жили вместе – Горький и Пешков. Судьба кровно, неразрывно связала их. Они были очень похожи друг на друга и все-таки не совсем одинаковы. Иногда случалось, что они спорили и ссорились друг с другом, потом снова мирились и шли в жизни рядом. Их пути разошлись только недавно: в июне 1936 года Алексей Пешков умер, Максим Горький остался жить. Человек с самым обычным лицом русского мастерового и со скромным именем “Пешков” был тот самый, кто выбрал для себя псевдоним “Горький”.

Я знал обоих. Но я не вижу надобности говорить о писателе Горьком, о котором лучше всего говорят его книги. Мне хочется вспомнить здесь о человеке с большим сердцем и с большой биографией.

Есть много замечательных писателей без биографии, которые проходят через жизнь только в качестве гениальных наблюдателей. Таков был, например, современник Горького и один из тончайших мастеров русского слова Антон Чехов. Горький никогда не мог оставаться только зрителем, он всегда вмешивался в самую гущу событий, он хотел действовать. Он был заряжен такой энергией, которой было тесно на страницах книг: она выливалась в жизнь. Сама его жизнь – это книга, это увлекательный роман.

Необычайно живописны и, я бы сказал, символичны декорации, в которых разворачивается начало этого романа.

На высоком берегу реки – зубчатые стены древнего кремля, золотые кресты и купола многочисленных церквей. Ниже, у воды – бесконечные склады, амбары, пристани, магазины: здесь каждое лето шумела знаменитая русская ярмарка, где происходили гомерические кутежи и делались миллионы, где с длиннополыми сюртуками русских купцов смешивались азиатские халаты. И наконец, на другом берегу – кусок Европы – лес фабричных труб, огненные жерла дозн, железные корпуса кораблей.

Этот город, где жили рядом Россия XVI и XX века, – Нижний Новгород, родина Горького. Река, на берегу которой он вырос, – это Волга, родившая легендарных русских бунтарей Разина и Пугачева, Волга, о которой сложено столько песен русскими бурлаками. Горький прежде всего связан с Волгой: его дед был здесь бурлаком.

Это был тип русского американца, self-made man (человек, выбившейся из низов): начавши жизнь бурлаком, он закончил ее владельцем трех кирпичных фабрик и нескольких домов. В доме этого скупого и сурового старика проходит детство Горького. Оно было очень коротким: в 8 лет мальчик был уже отдан в подмастерья к сапожнику, он был брошен в мутную реку жизни, из которой ему предоставлялось выплывать как ему угодно. Такова была система воспитания, выбранная его дедом.

Дальше идет головокружительная смена мест действия, приключений, профессий, роднящая Горького с Джеком Лондоном и, если угодно, даже с Франсуа Вийоном, перенесенным в XX век и в русскую обстановку. Горький – помощник повара на корабле, Горький – продавец икон (какая ирония!), Горький – тряпичник, Горький – булочник, Горький – грузчик, Горький – рыбак. Волга, Каспийское море, Астрахань, Жигулевские горы, Моздокская степь, Казань. И позже: Дон, Украина, Бессарабия, Дунай, Черное море, Крым, Кубань, горы Кавказа. Все это – пешком, в компании бездомных живописных бродяг, с ночевками в степи у костров, в заброшенных домах, под опрокинутыми лодками. Сколько происшествий, встреч, дружб, драк, ночных исповедей! Какой материал для будущего писателя и какая школа для будущего революционера!

Посвящение в орден революционеров он получил от русских студентов, для которых бунт в ту пору был такой же священной традицией и неременной принадлежностью, как их голубая

студенческая фуражка. Это “посвящение” произошло в Казани. Там же Горький встретился с одним профессиональным революционером. Затем следует глава классического “хождения в народ”: Горький уезжает в деревню и работает там в качестве продавца в бакалейной лавке. Но, разумеется, и “продавец”, и “хозяин” – это были только конспиративные маски для того, чтобы вести пропаганду среди крестьян. Объект для пропаганды, очевидно, был выбран неудачно: в одну темную ночь крестьяне подожгли избу наших конспираторов, которые еле успели выскочить из огня. И может быть, эта ночь положила начало антипатии Горького к русской деревне, к мужику и определила путь Горького к городу, к городскому пролетарию.

Через несколько лет этот романтический бродяга выпустил книгу рассказов. Пред изумленным читателем предстал не только до тех пор неведомый мир “босяков”, но и целая система анархической философии этих пасынков общества. “Цеховой малярного цеха Алексей Пешков”, как было записано в его паспорте, превратился в Максима Горького. Он сразу стал одним из самых популярных писателей в России, особенно в левых кругах молодежи и интеллигенции.

Теперь, казалось бы, можно было забыть о рискованных авантюрах и спокойно пожинать лавры. Но беспокойная бурлацкая кровь была слишком горяча для этого: в год выхода книги писателя Горького революционер Пешков был арестован жандармами и отправлен “на место преступления”, в Тифлис, где был заключен в Метехском замке. Заключение было непродолжительным, Горький был освобожден... для того, чтобы вскоре оказаться в Нижегородской тюрьме и оттуда быть высланным в глухую деревню.

При тогдашнем оппозиционном настроении русской интеллигенции эти злключения Пешкова только помогли необычайно быстрому росту славы Горького. В 30 с небольшим лет он был уже избран членом Императорской Академии наук. Революционер, бывший босяк, – член Императорской Академии? Это был неслыханный скандал. Выборы были аннулированы по приказу императора Николая II, положившего на докладе Академии свою резолюцию: “Более чем оригинально!”

Его Величеству нельзя отказать в известной предусмотрительности: через несколько лет, во время первой русской революции 1905 года, Горький оказался запертым в каземат знаменитой Петропавловской крепости. Запереть в каземат академика – это было бы, конечно, несколько неудобно.

Следующие главы жизненного романа Горького происходят уже за границей. Он стал политическим эмигрантом, он был отрезан от России, от своей Волги, которую так любил. Он получил возможность вернуться на родину только незадолго до революции 1917 года.

* * *

Во время войны почти два года мне пришлось провести в Англии, куда я был командирован в качестве инженера, для постройки заказанных русским правительством ледоколов. В Петербург я вернулся только осенью 1917 года и тогда в первый раз встретился с Горьким. Так случилось, что с революцией и с Горьким я встретился одновременно. Поэтому в моей памяти образ Горького встает неизменно связанным с новой, послереволюционной Россией.

Маленькая белая комната – кабинет редактора журнала “Летопись”. Осенний петербургский вечер. Где-то на улице постреливают. Аккомпанемент этот для редактора – видно, дело привычное и нисколько не мешает оживленному разговору.

Этот редактор – Горький, но тема разговора – отнюдь не литературная; вопрос о моем рассказе – это уже дело решенное, Горькому он нравится и уже сдан в набор. Но вот построенные мною ледоколы, и техника, и мои лекции по корабельной архитектуре... “Чорт возьми! Ей-Богу, завидую вам. А я так и помру – по математике неграмотным. Обидно, очень обидно!”

Самоучка, за всю свою жизнь только полгода пробывший в начальной школе, Горький не переставал учиться всю жизнь и знал очень много. И к тому, что он не знал, у него было трогательное, какое-то детски-почтительное отношение. Эту черту мне приходилось наблюдать в нем много раз.

За окном выстрелы слышались ближе. Я невольно вспомнил вслух о налетах немецких цеппелинов и аэропланов на Англию, о способах, которые там применялись для борьбы с налетами. Опять что-то новое для Горького, то, чего он не знал – и что, конечно, должен был знать. Но в дверь уже не один раз заглядывала секретарша с письмами и гранками. “Слушайте, если вы можете подождать меня немного, мы пойдем ко мне обедать, а?” – предложил мне Горький.

Он жил в верхнем этаже огромного петербургского дома. Совсем недалеко, вправо, из окон видны серые стены и золотой шпиг Петропавловской крепости...

Хозяев было двое: Горький и его вторая жена, М. Ф. Андреева, бывшая актриса Московского Художественного театра. Но за столом сидело не менее десяти – двенадцати гостей. Иные, как я не без удивления узнал потом, жили “гостями” в доме Горького уже несколько лет – так, как это водилось в русских помещичьих домах.

Когда Горький имел дело с новым, чем-нибудь заинтересовавшим его человеком, он умел быть обворожительным, как женщина. Для этого ему нужно было немного: только начать рассказывать о каких-нибудь своих приключениях и встречах с людьми. Рассказчик он был превосходный, люди, о которых он говорил, оживали и садились с нами за стол, их можно было видеть и слышать. Некоторых из этих людей я встретил позже в книге Горького – и мне показалось, что Пешков в тот вечер рассказал о них еще лучше, чем Горький в своей книге.

Недели через три или через месяц одиночные ружейные выстрелы, которые были аккомпанементом к моей первой встрече с Горьким, превратились в трескотню пулеметов и в глухие удары пушек: на улицах Петербурга шли бои, это была Октябрьская революция. Огромный корабль России оторвало бурей от берега и понесло в неизвестность. Никто, вплоть до новых капитанов, не знал: разобьется ли корабль вдребезги или пристанет к какому-нибудь неведомому материка.

Однажды утром, сидя в заставленном книжными полками кабинете Горького, я рассказал ему о возникшей у меня в те дни идее фантастического романа. Место действия – стратоплан, совершающий междупланетное путешествие. Недалеко от цели путешествия – катастрофа, междупланетный корабль начинает стремительно падать. Но падать предстоит полтора года! Сначала мои герои, – разумеется, в панике, но как они будут вести себя потом? “А хотите, я вам скажу, как? – Горький хитро пошевелил усами. – Через неделю они начнут очень спокойно бриться, сочинять книги и вообще действовать так, как будто им жить по крайней мере еще лет 20. И, ей-богу, так и надо. Надо поверить, что мы не разобьемся, иначе – наше дело пропащее”.

И он поверил.

* * *

Писатель Горький был принесен в жертву: на несколько лет он превратился в какого-то неофициального министра культуры, организатора общественных работ для выбитой из колеи, голодающей интеллигенции. Эти работы походили на сооружение Вавилонской башни, они были рассчитаны на десятки лет: издательство “Всемирная литература” – для издания в русском переводе классиков всех времен и всех народов; “Комитет исторических пьес” – для театрализации не больше не меньше как всех главнейших событий мировой истории; “Дом Искусств” – для объединения деятелей всех искусств; “Дом Ученых” – для объединения всех ученых...

В столице, где тогда уже не было хлеба, света, трамваев, в атмосфере разрушения и катастрофы – эти затеи показались в лучшем смысле утопическими. Но Горький в них верил (“надо верить”) – и своей верой сумел заразить скептических петербуржцев: ученые академики, поэты, профессора, переводчики, драматурги – начали работать в созданных Горьким учреждениях, увлекаясь все больше.

Я оказался в руководящих центрах трех или четырех из этих учреждений, где Горький всюду был неизменным президентом. Мне тогда приходилось встречаться с ним очень часто, и помню – я не раз с изумлением задавал себе вопрос: сколько часов в сутках у этого человека? Как у него, вечно покашливающего в прокуренные рыжие усы, наполовину съеденного туберкулезом, хватает сил на все? Однажды я спросил его об этом. Он с таинственным видом подвел меня к буфету, вынул темный флакончик и объяснил, что это – настой из чудодейственного китайского корня женьшень, привезенный ему одним поклонником из Маньчжурии. Но не правильнее ли, что этим женьшенем была его вера?

И другое, что у меня осталось в памяти: это спокойствие, уверенность, с каким он председательствовал на собраниях профессоров и академиков. Постороннему никогда бы не пришло в голову, что этот человек, с такой легкостью цитирующий имена и хронологические даты (память у него была исключительная), – бывший босяк, самоучка.

Единственное, что его отличало от остальных, – это, мягко говоря, своеобразное произношение иностранных имен и слов: ни одного иностранного языка он не знал.

* * *

Одною из тогдашних затей Горького было издать 100 томов лучших, избранных произведений русских авторов, начиная от Чехова. Об этом, сравнительно скромном по масштабу предприятии я упоминаю потому, что оно дало мне случай быть свидетелем очень любопытной ситуации: Горький в качестве критика... Горького.

Льстецов около Горького в ту пору было достаточно. Один из них, на заседании редакции “100 томов”, начал восторженно перечислять произведения Горького, обильно поливая каждое соусом комплиментов. Горький смотрел вниз и сердито дергал усы. Когда оратор назвал его известное стихотворение в прозе “Песнь о буревестнике” – одну из его ранних вещей, – Горький перебил говорившего: “Вы, вероятно, шутить изволите. Мне об этой вещи даже вспомнить неловко. Это – вещь очень слабая”. Когда названо было несколько пьес Горького, и опять – с комплиментами, он снова вмешался: “Извините, господа, но этот автор, о котором вы говорите, – драматург плохой: кроме одной пьесы «На дне» – всё остальное, по-моему, никуда не годится”...

Гораздо позже мне пришлось быть свидетелем другого случая – в этом же роде, но уже совершенно юмористического. В гостях у Горького был довольно развязный молодой автор из группы “пролетарских”. Горький спросил его, что он сейчас пишет. Гость ответил, что начал было писать трехтомный роман, но теперь бросил: “В нашу динамическую эпоху трехтомные романы пишут только идиоты”. Горький – совершенно хладнокровно: “Да, знаете... Вот, говорят, Горький тоже пишет третий том своего «Клима Самгина»...”

Молодой автор готов был провалиться сквозь землю. Но за шуточным тоном у Горького слышалось болезненное сознание своей неудачи, какую был этот его последний огромный роман.

* * *

Едва ли не лучшей вещью из всего, написанного Горьким после революции, были его замечательные воспоминания о Льве Толстом. Для меня эта вещь особенно памятна потому,

что она открыла мне какую-то дверь внутрь Горького, в те душевные апартаменты, в которые мы стыдимся пускать посторонних.

В Петербурге был устроен литературный вечер; “гвоздем” было выступление Горького, читавшего тогда еще не опубликованные воспоминания о Толстом. Высокий, худой, сутулый, он стоял на эстраде; надетые для чтения очки сразу состарили его на десять лет. С моего места в первом ряду мне было видно каждое его движение. Когда, читая, он стал подходить к концу своих воспоминаний, началось что-то очень странное: казалось, он перестал видеть через свои очки. Он стал запинаться, останавливаться. Потом сдернул очки. И тогда стало видно: у него лились слезы. Он всхлипнул вслух, пробормотал: “Простите...” и вышел из зала в соседнюю комнату. Это был не писатель и не старый революционер Горький, а просто человек, не способный спокойно говорить о смерти другого человека.

Я знаю: человека-Горького с благодарностью вспоминают многие в России, и особенно в Петербурге. Не один десяток людей обязан ему жизнью и свободой.

Всем было хорошо известно, что Горький – в близкой дружбе с Лениным, что он хорошо знаком с другими главарями революции. И когда революция перешла к террору, последней апелляционной инстанцией, последней надеждой был Горький, жены и матери арестованных шли к нему. Он писал письма, ругался по телефону, в наиболее серьезных случаях сам ездил в Москву, к Ленину. Не раз случалось, что его заступничество кончалось неудачей. Как-то мне пришлось просить Горького за одного моего знакомого, попавшего в ЧК. По возвращении из Москвы, сердито пыхтя папиросой, Горький рассказал, что за свое вмешательство получил от Ленина реприманд: “Пора бы, говорит, вам знать, что политика – вообще дело грязное, и лучше вам в эти истории не путаться”.

Но Горький продолжал “путаться”.

По моим впечатлениям, тогдашняя политика террора была одной из главных причин временной размолвки Горького с большевиками и его отъезда за границу.

Случилось так, что незадолго до его отъезда я, возвращаясь из Москвы в Петербург, оказался в одном вагоне с Горьким. Была ночь, весь вагон уже спал. Вдвоем мы долго стояли в коридоре, смотрели на летевшие за черным окном искры и говорили. Шла речь о большом русском поэте Гумилеве, расстрелянном за несколько месяцев перед тем. Это был человек и политически, и литературно чужой Горькому, но тем не менее Горький сделал всё, чтобы спасти его. По словам Горького, ему уже удалось добиться в Москве обещания сохранить жизнь Гумилева, но петербургские власти как-то узнали об этом и поспешили немедленно привести приговор в исполнение. Я никогда не видел Горького в таком раздражении, как в эту ночь.

Года через полтора, в глухой русской деревне, где я проводил лето, мне попался номер провинциальной коммунистической газеты с жирным заголовком: “Горький умер!” Заголовок оказался трюком остряка-журналиста: в статье шла речь о “политической смерти” Горького, опубликовавшего тогда за границей какой-то протест по поводу происшедшего в Москве суда над социалистами-революционерами (русская партия, примыкающая к 2 Интернационалу).

Это был кульминационный пункт разлада Горького с большевиками. Но не только с ними, а и с самим собой, потому что, несомненно, кроме “Пешкова”, человека с почти по-женски мягким сердцем, в нем жил большевик.

Когда от жестокого разрушения революция перешла к постройке нового, Горький вернулся в Россию. То, что вызвало его отъезд, – видимо было забыто. Когда я попытался заглянуть внутрь его и узнать, что теперь думает (вернее чувствует) “Пешков”, я услышал ответ: “У них – очень большие цели. И это оправдывает для меня всё”.

* * *

Недавно в статье о новых русских романах (в “Marianne”), упоминая о Горьком, я назвал его “Le rare de la Littérature soviétique” (Папа (т. е. Римский папа) советской литературы (*фр.*)). Курьезная опечатка типографии сделала из “rare” – “pore”. По странной случайности эта опечатка почти повторила то, что Горький в шутку говорил о себе: он называл себя “литературным протопопом”.

Я думаю, этой шуткой Горький правильнее всего определил свое положение в советской литературе. Было, конечно, немало и таких авторов, которые являлись к Горькому, чтобы “поцеловать папскую туфлю”. С такими благочестивыми паломниками Горький скучал и торопился их выпроводить. “Смотрит на меня, будто я – дурак в мундире с орденами”, – сердито сказал он мне об одном таком посетителе. Но большинство писателей приходило к нему не как к человеку с литературными орденами, не как к литературному авторитету, а просто – как к человеку: не к “Горькому”, а к “Пешкову”.

На моих глазах возникла и выросла дружба Горького с группой молодых петербургских писателей, носившей название “Серапионовых братьев”, с которой был очень близко связан и я. Группа эта родилась в петербургском Доме Искусств, где еще в периоды революции Горькому удалось организовать род литературного университета (я там был одним из лекторов). Когда из слушателей этого университета вышло несколько талантливых писателей, Горький чувствовал себя, как счастливый отец, он возился с ними, как насадка с цыплятами. Очень трогательные отношения с ними сохранились у Горького и позже, когда “цыплята” выросли и стали чуть что не классиками новой советской прозы.

Чрезвычайно любопытно, что вся эта группа писателей в литературном отношении была “левее” Горького, она искала новой формы – и искала ее никак не в реализме Горького. Тем показательнее их отношение к Горькому: это была любовь именно к человеку.

Для этой группы, как и для всех советских писателей – не коммунистов, а только “попутчиков”, – самым тяжелым периодом были годы 1927–1932. Советская литература попала под команду – иного выражения нельзя подобрать – организации “пролетарских писателей” (на языке советского кода – РАПП). Их главным талантом был партийный билет и чисто военная решительность. Эти энергичные молодые люди взяли на себя задачу немедленного “перевоспитания” всех прочих писателей. Ничего хорошего из этого, разумеется, не получилось. Одни из “воспитываемых” замолчали, в произведениях других стала слышна явная фальшь, резавшая даже невзыскательное ухо. Плодились цензурные анекдоты; среди “попутчиков” росло недовольство.

При встречах мне не раз приходилось говорить об этом с Горьким. Он молча курил, грыз усы. Потом останавливал меня: “Подождите. Эту историю я должен для себя записать”.

Смысл этих “записей” стал мне ясен только гораздо позже, в 32-м году. В апреле этого года, неожиданно для всех, произошел подлинный литературный переворот: правительственным декретом деятельность РАППа была признана “препятствующей развитию советской литературы”, организация эта была объявлена распущенной. Это не было неожиданностью только для Горького: я совершенно уверен, что этот акт был подготовлен именно им, и он действовал, как очень искусный дипломат.

Жил он в это время уже не в Петербурге, а в Москве. В городе в его распоряжение был предоставлен многим знакомый дом миллионера Рябушинского. Горький бывал здесь только наездами и большую часть времени проводил на даче, километров в 100 от Москвы. Там же поблизости жил на даче и Сталин, который все чаще стал заезжать к “соседу” Горькому. “Соседи”, один – с неизменной трубкой, другой – с папиросой, уединялись и, за бутылкой вина, говорили о чем-то часами...

Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что исправление многих “перегибов” в политике советского правительства и постепенное смягчение режима диктатуры – было результатом этих дружеских бесед. Эта роль Горького будет оценена только когда-нибудь впоследствии.

* * *

Не буду здесь рассказывать, как и почему, но я увидел, что мне лучше на время уехать за границу. В те годы получить заграничный паспорт писателю с моей репутацией “еретика” было делом нелегким. Я обратился к посредничеству Горького. Он стал меня убеждать, чтобы я подождал до весны (1931 года). “Увидите – все изменится”. Весною ничего не изменилось. Тогда Горький, не очень охотно, согласился добыть для меня разрешение выехать за границу.

Однажды секретарь Горького позвонил мне, что Горький просит меня быть у него вечером, к обеду, на даче. Я очень отчетливо помню этот необычайно жаркий день, грозу, тропический ливень в Москве. Сквозь водяную стену автомобиль Горького мчал нас, нескольких человек, приглашенных в этот вечер к нему.

Обед был – “литературный”, за столом сидело человек двадцать. Горький сначала сидел усталый, молчал. Все пили вино, а перед ним стоял бокал с водой, вино ему нельзя было пить. Потом он взбунтовался, налил себе бокал вина, еще и еще, стал похож на прежнего Горького.

Гроза кончилась, я вышел на огромную каменную террасу дачи. Тотчас же вышел туда Горький и сказал мне: “Ваше дело с паспортом устроено. Но вы можете, если хотите, вернуть паспорт и не ехать”. Я сказал, что поеду. Горький нахмурился и ушел в столовую, к гостям.

Было уже поздно. Часть гостей осталась ночевать на даче, часть уезжала в Москву, в числе их – я. Прощаясь, Горький сказал: “Когда же увидимся? Если не в Москве, так, может быть, в Италии? Если я там буду, вы ко мне туда приезжайте, непременно! Во всяком случае – до свидания, а?”

Это был последний раз, что я видел Горького.

Впрочем, еще одна, заочная, чисто литературная встреча моя с Горьким произошла совсем недавно. За месяц-полтора до его смерти одна кинематографическая фирма в Париже решила сделать по моему сценарию фильм из известной пьесы Горького “На дне”. Горький был извещен об этом, от него был получен ответ, что он удовлетворен моим участием в работе, что он хотел бы ознакомиться с адаптацией его пьесы, что он ждет манускрипта.

Манускрипт для отсылки был уже приготовлен, но отправить его не пришлось: адресат выбыл – с земли.

1936

Виктор Шкловский Горький – как он есть⁴

Стара в нем только его похудевшая шея. А стоит он на своих высоких ногах и носит круглую шляпу с прямыми полями со своею особой элегантностью сильного мужчины.

Он много рассказывает и всё помнит: книги, которых прочел так много, как только может прочесть самоучка, читающий всё подряд, сёла, которые проходил, знакомых своих, знакомых – с отчествами и женщин, которых целовал.

Помнит так много, что кажется, что он смотрел на жизнь восьмью или больше глазами, равномерно расположенными вокруг головы.

Он видел всё, как будто даже не поворачивая шеи. Это придает знанию его, особенно книжному, монотонность.

В мире, который знает Горький, не хватает поэтому координат, в нем нет верха и низа, левого и правого, он слишком мало расчленен и слишком густо застроен.

Горького много и плохо учили. Учили восьмидесятники, социалисты просто, большевики, русские писатели, академики из Дома Ученых и переводчики из “Всемирной литературы”.

Из всех вещей в мире Горькому больше всего нужны органы или приборы, которые закрывали бы отверстие ушей так, как закрывается глаз.

Горький обременен количеством так, как старая Россия во время войны была обременена двенадцатимиллионной армией.

У него развит больше всего пафос сохранения, количественного сохранения культуры, – всей.

Лозунг у него – по траве не ходить.

Он сам писал об этом, говоря о садовнике, который во время революции сгонял солдат с клумб.

Горький как ангар, предназначенный для мирового полета и обращенный в склад Центросоюза.

Я нежно и верно люблю Горького.

Он писатель до конца.

Еще больше, чем мыслью о том, что вода состоит из кислорода и водорода, потрясен он делом писания. Из-под учительских задач, через громадный песенный лиризм тянется он к единственно нужному – к мастерству и нарядности.

Горький любит Дюма и радуется миру, в котором живут королева Марго и люди, тычущие друг друга шпагами. Он любит красивые вещи и свою неосознанную поступь.

Горькому сейчас за пятьдесят лет, он болен привычным туберкулезом, который не может его дососать.

Я желаю Горькому, вот сегодня: хорошей любви, быстрой лошади или автомобиля, хорошего солнца и забвения кислорода и водорода.

Есть у Льва Толстого в “Книге для чтения” рассказ про черемуху. Эту черемуху рубили и топтали, а она всё выкидывала в стороны побеги и цветла.

Срубленный, обрывающийся в неудачах, не умеющий заканчивать свои вещи, несущий на себе дактилоскопические следы пальцев своих учителей, больной всеми недугами русской литературы: бессюжетностью, невнимательностью, учительством, – черемухой цветет Горький.

⁴ Из книги «Удачи и поражения Максима Горького»

Я нежно и верно люблю Горького. За его преклонение перед мастерством, за то, как он встречал нас, молодых писателей, за то, как он над могилой Толстого сумел дать бой за Льва Николаевича против “Жития боярина Льва”.

За то, что он сумел деканонизировать классика.

А это очень трудно: не есть во второй половине жизни супа из своих лавров.

Горький сумел и для себя понять то, что он понял для Толстого.

Во второй половине своей жизни он стал гениальным.

О Пешкове-Горьком

I

Максим Горький равен Алексею Максимовичу Пешкову, человеку, много рассказывавшему свою биографию. Горький – материал своих книг.

Книги Горького – один сплошной роман без сюжета о путешественнике, который имел много встреч.

К Горькому больше приложимы слова Лессинга о писателе, чем к самому Лессингу:

“Поистине я являюсь только мельницей, а не великаном. И вот я стою один на песчаном бугре совершенно вне деревни. Если у меня есть материал, я мелю его, какой бы ветер ни дул в это время. Все 32 ветра – мои друзья. Из всей громадной атмосферы мне нужно только такое пространство, какое необходимо для движения моих крыльев”.

Горький – писатель, плотно связанный со своим временем.

Но времени он противопоставлял бег своих крыльев.

Работая, он убегает.

В Ленинграде, в те годы, когда он кончал быть Питером, Горький сидел в своей квартире одетым в синий китайский халат и туфли на бумажной толстой многослойной подошве.

Сидел на неудобном китайском стуле.

Квартира была большая, на шестом этаже и неудобная.

Из окна сверху должна была быть видна Петропавловская крепость и Нева.

Но закрывали всё деревья парка.

Дул ветер революции.

II

Вещи мира были показаны Горькому одна за другой.

Поэтому он очень дорожил ими, как путешественник своими коллекциями.

В мире для Горького мало пустых мест. Везде вещи, и все нужны.

Революция била вещи. Ломала людей.

Людей Горький тоже открывал одного за другим. Ему их было жалко по-хозяйски.

Неприятно было видеть, как разразнивают сервис или Академию.

Дул ветер, – Горький боялся, что ветер дует из деревни. Деревню он знал, не новую, а ту, которую видел.

Она прошла.

Пришлось мне недавно быть под Лихославлем.

“Это картофельное поле уже город”, – сказали мне.

Лихославль был город уже 10 дней.

Многое в современной деревне очень пестро, многое в этой пестроте уже городского цвета.

В Тверской губернии в компании кооператоров, бритых и молодых, я увидел одного. У него была замечательная плотная, льняная и курчавая борода. Звание его – товарищ председатель.

“Какая борода”, – сказал я. Мне ответили: “За бороду и держим: в город посылать”.

Во времена Горького борода в деревне еще не обросла иронией.

Но и иронии над городом он боялся.

Боялся пугачевщины и того, что многие любят называть стихийностью.

В то же время Горький очень хорошо знает свою страну. Она полна для него деревнями с названиями, людьми с фамилиями и именами с отчествами.

“Нужно разбить пространство на квадраты в шахматном порядке, квадраты А отдать под концессии, квадраты Б...” и т. д. – так говорил, кажется, Троцкий.

Для Горького же в этих квадратах жили люди, которыми он интересовался.

На квартире Горького у Каменноостровского собирались люди из пространства.

Это был Ноев ковчег.

Дом сперва стоял вторым от угла, потом стал угловым: сломали на дрова угловой.

Его ломал какой-то спекулянт. У него была на это своеобразная концессия.

Доламывали мелкобуржуазные мальчишки, особого рода дубинками. Работали опытно.

А Горький вертел крыльями.

Пространством, находящимся вокруг крыльев, была квартира.

Сам Алексей Максимович жил в небольшой и почти нетопленной комнате.

Зубы полоскал дубовой корой от цинги.

Это я к тому, что жил довольно плохо.

В квартире дальше жил Ракитский, по прозвищу Соловей. Художник и антиквар.

Была у него комната в восемь окон. Зима лезла через них с улицы.

Два слона величиной с собаку (пуделя или небольшую овчарку) стояли по бокам арки. У стены был шкаф времен Петра Первого, с нечистыми пузырчатыми стеклами. Кожаная мебель. Ковры с крупным рисунком. Холод под коврами. Картины и железный кораблик с оттененными парусами на шкафу.

Иван Николаевич Ракитский – человек, умеющий ставить вещи по местам. Он не антиквар, но знает употребление вещей. Уважающий быт Горький любил Ракитского как представителя своеобразного цеха.

Не нужно думать, что Горький просто любил людей.

Он вообще не человек, а город, в котором живут разные люди, в разных домах.

Добротой он населен не густо.

Людей он любит по-своему, за что-нибудь. Не даром.

Академик для него фарфор с редкой маркой. И он согласен разбиться за этот фарфор.

Так крутила революция Алексея Максимовича в его собственной квартире.

Нужно еще сказать, что Горький пишет стихи. Много стихов. Вероятно, каждую ночь. Я не знаю этих стихов, но думаю, что в них говорится о поразительных и нарядных вещах.

Все стихи, которые пишут, говорят и поют люди в вещах Горького, – это стихи самого Горького.

Они даже настоящие – “Солнце всходит и заходит” пела вся Россия.

Но эти вещи цитатны, их образы песенны, поэтичны.

“Сюжеты, заимствованные из прежних художественных произведений, называются обыкновенно поэтичными сюжетами. Предметы же и лица, заимствованные из прежних художественных произведений, называются поэтичными предметами. Так, считаются в нашем кругу всякого рода легенды, саги, старинные предания поэтичными сюжетами. Поэтичными же лицами и предметами считаются девы, воины, пастухи, пустынные, ангелы, дьяволы во всех видах, лунный свет, грозы, горы, море, пропасти, цветы, длинные волосы, львы, ягненок, голубь, соловей; поэтичными вообще считаются все те предметы, которые чаще других употреблялись прежними художниками для своих произведений” (Л. Н. Толстой “Что такое искусство?”).

Этот список верен. Для Толстого он список запрещенного. Но Л. Н. Толстой в своей книге рассуждает верно, но не диалектично.

“Что такое искусство?” и статья о Шекспире на самом деле очень толковая поэтика, но взятая с осуждением.

Между тем это просто определение факта; из того, что поэтика Шекспира не совпадает с поэтикой Толстого, не вытекает ничего, кроме того, что у разных эпох разные представления о художественном.

Горький очень любит поэтику Толстого, но еще больше любит вещи.

Для него поэтические места, красавицы, моря, соколы, ужи, остранные отшельники, богатыри – живой поэтический материал.

Тематика первоначального Горького песенная. Стихи выгибают стенки его прозы. Его проза плавают в стихах.

Из всех 32 ветров ветер Ленинграда был самым попутным для Горького.

В книге о Толстом, в своих “Заметках <из дневника>” Горький тематически отошел от нарядного к любопытному.

Правда, Лев Толстой у Горького слегка всхлипывает и даже пантеистичен, но он в то же время барин и ругатель.

Любопытно отметить, что Горький не всё записал о Толстом. Много из своих рассказов он или не записал, или не захотел записать. Передаю один из рассказов (конечно, не дословно).

– Дочери Льва Николаевича принесли к балкону зайца со сломанной ногой. “Ах, зайчик, зайчик!”

Лев Николаевич сходил со ступеней. Почти не останавливаясь, он взял своей большой рукой зайчика за голову и задушил двумя пальцами, профессиональным охотничьим движением.

Жалко, что это не записано.

Рассказ о Блоке и проститутке – настоящий рассказ. В передаче Алексея Максимовича я слышал его несколько раз.

Рассказ изменялся: Блок становился сентиментальным. Он уже закачивал женщину.

Это не хорошо и не плохо – вероятно, это тоже из песни.

Для Алексея Максимовича многие вещи, привычные Толстому, новы, и он сумел показать, что в них для мира остался еще высокий коэффициент полезного действия.

Несмотря на нелюбовь к деревне, отношение к миру у Горького товарное, а не производственное; он больше любит вещи, чем их делание, чем производство.

Революция была ему тяжела.

Убытки революции его приводили в ужас.

Но в своем ремесле, в писательстве Горький производственник.

Как производственник, он оптимистичен иногда в смете, увлекаясь новым писателем, но зато умеет и браковать.

При мне Алексей Максимович растил Всеволода Иванова, Федина, Слонимского и нашего дорогого Леву Лунца. Ныне покойного.

Революция распеснила Горького. Не было ли у него времени, или переменялся он, но в результате, не работая в литературе в те годы, он создал мастодонта антикварства: “Всемирную литературу” – и свои настоящие книги.

Боккаччио не считал “Декамерон” в числе своих основных книг.

Гордостью его были книги, написанные по-латыни.

Горький, вероятно, тоже не знал цены своим вещам.

Ему очень хочется написать стихи и настоящий роман.

Написанные прежде вещи сделаны им до опытности.

Алексей Максимович сам говорит про себя, что он прожил жизнь в дурном литературном обществе (подразумеваемая “Знание”).

И вот Горькому захотелось уехать, чтобы написать длинные вещи.

Как будто снова начать прежний круг.
Мне кажется, что “Дело Артамоновых” – это вновь написанные “Трое”.
“Мои университеты” – это вещь, построенная на материале рассказов.
Тяжущиеся купцы с неудержимой удалью, голые женщины на роялях, мудрые старики, горбуны, уходящие в монастырь, – всё это предметы ныне поэтические.
Горький напрасно, может быть, поехал к ним.
А мелкие вещи, основанные на материале, они выходят у него сейчас гениально.

III

Время перед отъездом было хорошее.
Незадолго до отъезда приехал к Горькому в Ленинград Уэллс.
Уэллс рыж, сыт, спокоен, в кармане его сына звенят ключи, в чемодане отца сардины и шоколад.
Он приехал в революцию, как на чуму.
Как был прекрасен Ленинград.
Около Госиздата, против Казанского собора, у блестящей стены дома Зингера играл на кларнете старик.
Город был пуст и состоял из одних промерзших до ребер домов.
Дома стояли худые, как застигнутое вьюгой стадо, шедшее по железной от мерзости степи к водопою.
И звуки кларнета переходили с хребта дома на хребет.
Уэллс осматривал Россию и удивлялся, что в ней так дешевы вещи.
Удивлялся на дом Горького, на слонов, на Ракитского, на Натана Альтмана, с плоским лицом кушита. Альтман его уверял, что он, Альтман, – марсианин.
А Горькому было печально, что Уэллс не видел в России людей отдельных. Не знал, сколько стоит ложка супа. Не видел скрытой теплоты великой культуры и великого явления культуры – революции.
Перед отъездом за границу на Кронверкском было шумно.
Народу как на вокзале.

IV

Алексей Максимович за границей живет странно.
Правда, у него туберкулез. Но уже двадцатипятилетний. Он привык к нему. Это – злая домашняя собака.
Живет он за городом, выезжает мало.
В Германии видел пески курорта Сааров, сосны, правильные, как щетины в платяной щетке, и потом видел еще город Фрейбург.
Алексей Максимович путешествует в мире, как тюлень на льдине.
Живет за городом, с собственным воздухом вокруг крыльев.
Со многими, издалека приехавшими гостями. Англичанами, приехавшими на него посмотреть.
Приезжают какие-то французские поэты с собственными лакеями, которые моют им их собственные слабые руки.
Приезжают англичанки спросить, не выписать ли им из Индии своих детей, чтобы воспитывать их в советской деревне, которая должна быть очень любопытна.
Но 32 ветра отражены углами льдины, льдина оторвалась от Нижнего Новгорода.

Горький сидит на ней в Неаполе – и пишет полууставом, четко и чисто, о русских, о Волге, о чудаках и лгунах, которые на родине у нас так гениальны.

Сидит перед столом часами, каждый день в одно и то же время.

Гениальный цеховой. Гениальный мастеровой.

Произошедший от собирателей провинциальных анекдотов и от провинциальных гитаристов, так, как паровая машина произошла от чайника.

Сейчас льдина Горького в Неаполе.

На льдине люди.

Из уважения льдина не тает.

По праздникам Горький сам делает на ней, вероятно, пельмени.

Он долго был булочником, и труд сохранил ему на всю жизнь тонкую талию.

1926

Лев Троцкий О Горьком

Горький умер, когда ему ничего уж больше не оставалось сказать. Это примиряет со смертью замечательного писателя, оставившего крупный след в развитии русской интеллигенции и рабочего класса на протяжении 40 лет.

Горький начал, как поэт босяка. Этот первый период был его лучшим периодом, как художника. Снизу, из трущоб, Горький принес русской интеллигенции романтический дух дерзания, – отвагу людей, которым нечего терять. Интеллигенция собиралась как раз разбивать цепи царизма. Дерзость нужна была ей самой, и эту дерзость она несла в массы.

Но в событиях революции не нашлось, конечно, места живому босяку, разве что в грабежах и погромах. Пролетариат столкнулся в декабре 1905 года с той радикальной интеллигенцией, которая носила Горького на плечах, как с противником. Горький сделал честное и, в своем роде, героическое усилие – повернуться лицом к пролетариату. “Мать” остается наиболее выдающимся плодом этого поворота. Писатель теперь захватывал неизмеримо шире и копал глубже, чем в первые годы. Однако литературная школа и политическая учеба не заменили великолепной непосредственности начального периода. В босяке, крепко взявшем себя в руки, обнаружилась холодноватая рассудочность. Художник стал сбиваться на дидактизм. В годы реакции Горький раздваивался между рабочим классом, покинувшим открытую арену, и своим старым другом-врагом, интеллигенцией, с ее новыми религиозными исканиями. Вместе с покойным Луначарским он отдал дань волне мистики. Памятником этой духовной капитуляции осталась слабая повесть “Исповедь”.

Глубже всего в этом необыкновенном самоучке сидело преклонение пред культурой: первое, запоздалое приобщение к ней как бы обожгло его на всю жизнь. Горькому не хватало ни подлинной школы мысли, ни исторической интуиции, чтоб установить между собой и культурой должную дистанцию и тем завоевать для себя необходимую свободу критической оценки. В его отношении к культуре всегда оставалось немало фетишизма и идолопоклонства.

К войне Горький подошел прежде всего с чувством страха за культурные ценности человечества. Он был не столько интернационалистом, сколько культурным космополитом, правда, русским до мозга костей. До революционного взгляда на войну он не поднялся, как и до диалектического взгляда на культуру. Но все же он был многими головами выше патриотической интеллигентской братии.

Революцию 1917 года Горький встретил с тревогой, почти как директор музея культуры: “разнузданные” солдаты и “неработающие” рабочие внушали ему прямой ужас. Бурное и хаотическое восстание в июльские дни вызвало в нем только отвращение. Он снова сошелся с левым крылом интеллигенции, которое соглашалось на революцию, но без беспорядка. Октябрьский переворот он встретил в качестве прямого врага, правда, страдательного, а не активного.

Горькому очень трудно было примириться с фактом победоносного переворота: в стране царил разруха, интеллигенция голодала и подвергалась гонениям, культура была или казалась в опасности. В те первые годы он выступал преимущественно как посредник между советской властью и старой интеллигенцией, как ходатай за нее перед революцией. Ленин, ценивший и любивший Горького, очень опасался, что тот станет жертвой своих связей и своих слабостей, и добился в конце концов его добровольного выезда за границу.

С советским режимом Горький примирился лишь после того, как прекратился “беспорядок” и началось экономическое и культурное восхождение. Он горячо оценил гигантское движение народных масс к просвещению и в благодарность за это задним числом благословил Октябрьский переворот.

Последний период его жизни был несомненным периодом заката. Но и этот закат входит закономерной частью в его жизненную орбиту. Дидактизм его натуры получил теперь широкий простор. Горький неумоимо учил молодых писателей, даже школьников, учил не всегда тому, чему следует, но с искренней настойчивостью и душевной щедростью, которые с избытком искупали его слишком вместилительную дружбу с бюрократией. И в этой дружбе, наряду с человеческими, слишком человеческими чертами, жила и преобладала все та же забота о технике, науке, искусстве: “просвещенный абсолютизм” хорошо уживается со служением “культуре”. Горький верил, что без бюрократии не было бы ни тракторов, ни пятилетних планов, ни, главное, типографских машин и запасов бумаги. Заодно он уж прощал бюрократии плохое качество бумаги и даже нестерпимо византийский характер той литературы, которая именовалась “пролетарской”.

Белая эмиграция, в большинстве своем, относится к Горькому с ненавистью и третирует его не иначе как “изменника”. Чему собственно изменил Горький, остается неясным; надо все же думать, идеалам частной собственности. Ненависть к Горькому “бывших людей” бельэтажа – законная и вместе почетная дань этому большому человеку.

В советской печати едва остывшую фигуру Горького стремятся завалить горами неумеренных и фальшивых восхвалений. Его иначе не именуют, как “гением” и даже “величайшим гением”. Горький наверняка поморщился бы от такого рода преувеличений. Но печать бюрократической посредственности имеет свои критерии: если Сталин с Кагановичем и Микояном возведены заживо в гении, то, разумеется, Максиму Горькому никак нельзя отказать в этом эпитете после смерти. На самом деле Горький войдет в книгу русской литературы как непрекаемо ясный и убедительный пример огромного литературного таланта, которого не коснулось, однако, дуновение гениальности.

Незачем говорить, что покойного писателя изображают сейчас в Москве непреклонным революционером и твердокаменным большевиком. Все это бюрократические враки! К большевизму Горький близко подошел около 1905 года, вместе с целым слоем демократических попутчиков. Вместе с ними он отошел от большевиков, не теряя, однако, личных и дружественных связей с ними. Он вступил в партию, видимо, лишь в период советского Термидора. Его вражда к большевикам в период Октябрьской революции и Гражданской войны, как и его сближение с термидорианской бюрократией, слишком ясно показывают, что Горький никогда не был революционером. Но он был сателлитом революции, связанным с нею непреодолимым законом тяготения и всю свою жизнь вокруг нее вращавшимся. Как все сателлиты, он проходил разные “фазы”: солнце революции освещало иногда его лицо, иногда спину. Но во всех своих фазах Горький оставался верен себе, своей собственной, очень богатой, простой и вместе сложной натуре. Мы провожаем его без нот интимности и без преувеличенных похвал, но с уважением и благодарностью: этот большой писатель и большой человек навсегда вошел в историю народа, прокладывая новые исторические пути.

1936

Основные даты жизни и творчества М. Горького

1868, 16 (28) марта⁵ – в Нижнем Новгороде в семье столяра-краснодеревщика Максима Савватиевича Пешкова и Варвары Васильевны из мещанского рода Кашириных родился сын Алексей.

1871, весна – Пешковы переезжают в Астрахань.

29 июля – в Астрахани от холеры умер отец М. С. Пешков.

1873–1878 – Алексей Пешков живет в Нижнем Новгороде в семье деда Василия Васильевича Каширина, владельца красильного заведения. Каширины разоряются. Алексей учится в слободском училище.

1879, 5 августа – умерла мать, В. В. Пешкова.

1879–1884 – дед отправляет Алексея “в люди”. Работает слугой в доме родственников Сергеевых, посудником на пароходе, помощником в иконописной мастерской.

1884 – уезжает из Нижнего Новгорода в Казань. Безуспешно пытается поступить в университет. Работает на пристанях.

1885–1886 – работает в булочной В. С. Семенова.

1887 – работает в пекарне А. С. Деренкова.

16 февраля – умерла бабушка Акулина Ивановна Каширина.

1 мая – умер дед Василий Васильевич Каширин.

12 декабря – Алексей Пешков попытался покончить с собой.

1888 – с революционером-народником М. А. Ромасем уезжает в село Красновидово под Казанью с целью революционной пропаганды. После поджога богатыми крестьянами мелочной лавки Ромася работает батраком, затем уезжает на Каспий, работает в рыболовецкой артели.

1889 – служит весовщиком на станции Крутая. Решает организовать земледельческую колонию толстовского типа, привозит коллективное письмо Л. Н. Толстому, подписанное “от лица всех” нижегородским мещанином А. М. Пековым. Неудачные попытки встретиться с Толстым в Ясной Поляне и Москве. Возвращается в Нижний Новгород. 1889–1890 – в Нижнем Новгороде знакомится с В. Г. Короленко.

1890 – работает письмоводителем у адвоката А. И. Ланина. Студент-химик Н. З. Васильев знакомит Пешкова с мировой философией.

1891, 29 апреля – уходит из Нижнего Новгорода путешествовать по Руси. Обошел Поволжье, Дон, Украину, Крым, Кавказ.

Ноябрь – пришел в Тифлис. Служит в железнодорожной мастерской. Знакомится с народолюбом А. М. Калужным. По его совету начинает писать.

1892, 12 сентября – в тифлисской газете “Кавказ” выходит рассказ “Макар Чудра” за подписью “М. Горький”. Октябрь – возвращается в Нижний Новгород.

1893 – публикует рассказы в газетах “Волгарь” и “Волжский вестник”.

1894, август – по совету Короленко пишет рассказ “Челкаш” для журнала “Русское богатство”. 1895 – переезжает в Самару, работает журналистом, печатает статьи и очерки под псевдонимом “Иегудиил Хламида”.

Июнь – в журнале “Русское богатство” выходит рассказ “Челкаш”. Начало известности М. Горького.

1896, 30 августа – женится на Екатерине Павловне Волжиной.

Октябрь – подозрение на заболевание туберкулезом.

⁵ До 1918 г. все даты даются по старому стилю.

1897 – сотрудничает в журналах “Русская мысль”, “Новое слово” и “Северный вестник”. Выходят рассказы “Коновалов”, “Зазубрина”, “Ярмарка в Голтве”, “Супруги Орловы”, “Мальва”, “Бывшие люди” и др. 27 июля – родился сын Максим.

Октябрь – начинает работу над повестью “Фома Гордеев”.

1898, март – апрель – выходят “Очерк и рассказы” М. Горького в двух выпусках в издательстве С. Дороватовского и А. Чарушникова. Книги имеют исключительный успех. Лето – завязывается переписка с А. П. Чеховым.

1899 – в журнале “Жизнь” выходит “Фома Гордеев”.

Март – апрель – живет в Крыму, встречается с Чеховым.

Октябрь – знакомится с И. Е. Репиным, Н. К. Михайловским и В. В. Вересаевым. Присутствует на банкете в редакции журнала “Жизнь”. Выступает на литературно-музыкальном вечере, читает “Песню о Соколе”. Исключительный успех.

Декабрь – становится членом писательского содружества “Среда”.

1900 – в издательстве “Знание” начинается публикация сочинений М. Горького.

11 марта – встречается с Л. Н. Толстым в Москве.

12 марта – знакомится с Леонидом Андреевым.

1901 – вместе с К. П. Пятницким становится во главе издательства “Знание”.

4 марта – участвует в Петербурге в демонстрации возле Казанского собора. В числе других литераторов и общественных деятелей подписывает петицию против насилия во время разгона демонстрации.

17 апреля – арестован и привлечен к ответственности за революционную деятельность. Л. Н. Толстой хлопочет об освобождении Горького по состоянию здоровья.

17 мая – освобожден из тюрьмы под домашний арест.

26 мая – родилась дочь Катя.

25 сентября – закончил работу над пьесой “Мещане”. Для ознакомления с ней в Нижний Новгород приезжает В. И. Немирович-Данченко.

12 ноября – приезжает в Ялту. Живет у Чехова.

Ноябрь – декабрь – встречается с Толстым в Гаспре.

1902, 25 февраля – Академия наук избирает Горького почетным академиком по разряду русского языка и словесности.

5 марта – Николай II на докладе о выборах Горького академиком пишет “Более чем оригинально!”

10 марта – в “Правительственном вестнике” объявлено об отмене избрания Горького в академики.

26 марта – в Московском художественном театре во время гастролей в Петербурге – первое представление “Мещан”.

6 октября – встречается с Л. Н. Толстым в Ясной Поляне.

18 декабря – в МХТ первое представление “На дне”. Огромный успех.

1903, 10 января – в берлинском Kleines Theater – первое представление “На дне”. Большой успех.

1904 – работает над пьесой “Дачники”. Живет в Нижнем Новгороде.

10 ноября – в театре В. Ф. Комиссаржевской – премьера “Дачников”.

1905 – активное участие в революционном движении. Финансирует большевистские газеты. Вступает в РСДРП. 9 января – в Петербурге присутствует при расстреле мирной рабочей демонстрации (Кровавое воскресенье). Пишет воззвание “Всем русским гражданам и общественному мнению европейских государств” с призывом бороться с самодержавием.

11 января – арестован в Риге в связи с обвинением в “государственном преступлении”.

12 января – доставлен в Петербург и заключен в Петропавловскую крепость. Общественные круги в России и Германии организуют протесты в защиту Горького. Присоединяется общественность Австрии, Италии, Англии, Дании и других стран.

14 февраля – освобожден под залог 10 тысяч рублей.

12 октября – в театре В. Ф. Комиссаржевской – премьера “Детей солнца”.

24 октября – премьера “Детей солнца” в МХТ.

1906 – уезжает за границу. Из Европы с М. Ф. Андреевой едет в Америку. Начинает работу над повестью “Мать”.

16 августа – умирает дочь Катя.

20 октября – прибывает на Капри (Италия) и остается там до конца 1913 года.

1907, 1 апреля – в Современном театре (Петербург) – премьера пьесы “Враги”.

Апрель – на съезде РСДРП в Лондоне знакомится с В. И. Лениным. В журнале “Русская мысль” выходит статья Д. В. Философова “Конец Горького”.

Июнь – в издательстве И. П. Ладыхникова (Берлин) выходит повесть “Мать”.

1908, апрель – приезд Ленина на Капри.

1909 – выходят повести “Лето” и “Городок Окуров”, статья “Разрушение личности”.

Август – ноябрь – в партийной рабочей школе на Капри читает лекции по русской литературе.

1910 – выходят пьесы “Чудаки” и “Васса Железнова” (первая редакция).

Апрель – премьера пьесы “Варвары” в театре Незлобина в Москве.

25 августа – премьера пьесы “Последние” в театре Макса Рейнгарта в Берлине.

7 ноября – приходит известие о смерти Толстого.

1911, 8 февраля – премьера “Вассы Железновой” в театре Незлобина.

1912 – выходят циклы “Сказки об Италии”, “Русские сказки” и “По Руси”.

1913 – выходит повесть “Хозяин”. Работает над пьесой “Фальшивая монета” и повестью “Детство”.

1914 – возвращается в Россию.

Март – снимает в Петербурге квартиру на Кронверкском проспекте, где живет до отъезда за границу в 1921 году.

19 июля (1 августа) – Германия объявляет войну России.

28 сентября – подписывает написанное И. А. Бунинным воззвание “От писателей, художников и артистов” против немецких зверств. Потом сожалеет о своей подписи, занимает пацифистскую позицию, осуждая насилие вообще.

1915 – создает издательство “Парус”. Редактирует журнал “Летопись”, в котором печатает статью “Две души” о русском национальном характере, за что Леонид Андреев обвиняет его в ненависти к России.

1916 – работает в издательстве “Парус” и журнале “Летопись”.

1917, 27 февраля – свергнуто самодержавие.

15 марта – восстановлен в звании почетного академика.

21 апреля – в газете “Новая жизнь” начинают выходить статьи Горького из цикла “Несвоевременные мысли”.

25 октября (7 ноября) – побеждает Октябрьская революция. В газете “Новая жизнь” Горький отрицательно оценивает ее.

1918 – ведет большую культурную и общественную работу. Печатает “Несвоевременные мысли”.

4 сентября – создает издательство “Всемирная литература”.

1919 – активная работа в издательстве “Всемирная литература”.

1 февраля – в Малом театре в Москве – премьера пьесы “Старик”.

Март – широко отмечается 50-летие Горького (до некоторого времени Горький считал, что родился в 1869 году.)

19 июля – публичное чтение воспоминаний о Л. Н. Толстом. Аудитория не могла вместить всех желающих.

31 июля – в письме к Горькому Ленин настаивает на его отъезде из Петрограда.

1920 – переписка с Лениным. Попытка спасти от арестов и казней интеллигенцию.

Доклады и лекции о культуре.

13 января – создание по инициативе Горького “Комиссии по улучшению быта ученых”.

1921, 9 августа – в письме к Горькому Ленин настаивает на его отъезде за границу.

16 октября – выезжает в Гельсингфорс.

1921–1924 – живет в Европе. Сложные отношения с эмиграцией. Поселяется в Сорренто (Италия).

1924, 21 января – умирает Ленин.

23 января – Горький посылает венок на гроб Ленина с надписью: “Прощай, друг!”.

1925 – завершает “Дело Артамоновых”. Начало работы над “Жизнью Клина Самгина”.

1928 – первый раз едет в СССР на празднование своего 60-летия. Грандиозная встреча на Белорусском вокзале.

1933, 9 мая – возвращается в СССР.

6 и 25 ноября – премьеры спектаклей “Достигаев и другие” в Большом драматическом театре (Ленинград) и театре Вахтангова (Москва).

1934 – работает над “Жизнью Клина Самгина”. Руководит подготовкой I Съезда советских писателей.

11 мая – умирает сын Максим.

17 августа – открывается I Всесоюзный съезд советских писателей. Горький в качестве председателя произносит речь.

1935, июнь – июль – у Горького гостит Ромен Роллан.

Август – совершает поездку по Волге.

10 октября – премьеры пьесы “Враги” во МХАТе.

1936, 27 мая – вернувшись из Крыма в Москву, заболевает гриппом, перешедшим в воспаление легких. 8 июня – близок к смерти. Его посещают Сталин, Молотов и Ворошилов.

18 июня, 11 часов 10 минут – смерть в Горках близ Москвы.

20 июня – траурный митинг в Москве. Урна с прахом писателя замурована в Кремлевской стене.

Именной указатель

- Адамович Георгий Викторович (1892–1972), поэт, литературный критик.
- Айзман Давид Яковлевич (1869–1922), прозаик, драматург.
- Айхенвальд Юлий Исаевич (1872–1928), литературный критик.
- Александра Федоровна (1872–1918), императрица, супруга Николая II.
- Алексинский Григорий Алексеевич (1879–1967), революционер, большевик (1905–1908), с 1919-го политэмигрант.
- Аллилуева Надежда Сергеевна (1901–1932), вторая жена И. В. Сталина.
- Амфитеатров Александр Валентинович (1862–1938), прозаик, публицист, драматург, литературный и театральный критик.
- Андерсон Шервуд (1876–1941), американский писатель.
- Андреев Вадим Леонидович (1902–1976), поэт, прозаик, сын Л. Н. Андреева.
- Андреев Валентин Леонидович (1912–1988), художник, литератор, переводчик, сын Л. Н. Андреева.
- Андреев Даниил Леонидович (1906–1959), писатель, философ, сын Л. Н. Андреева.
- Андреев Леонид Николаевич (1871–1919), прозаик, драматург, публицист.
- Андреева (урожд. Велигорская) Александра Михайловна (1881–1906), первая жена Л. Н. Андреева.
- Андреева (урожд. Пацковская) Анастасия Николаевна (1850–1920), мать Л. Н. Андреева.
- Андреева (урожд. Денисевич) Анна Ильинична (1885–1948), вторая жена Л. Н. Андреева.
- Андреева (урожд. Юрковская) Мария Федоровна, актриса, общественный и политический деятель, гражданская жена М. Горького с 1904 по 1921 гг.
- Андриканис Николай Адамович (1876–1947), адвокат, участник революции 1905 г.
- Анненский Иннокентий Федорович (1855–1909), поэт, драматург, переводчик, литературный критик.
- Анненский Николай Федорович (1843–1912), экономист, статистик, публицист, общественный деятель, брат И. Ф. Анненского.
- Арагон Луи (1897–1982), поэт, прозаик, член Гонкуровской академии, деятель Французской коммунистической партии.
- Арцыбашев Михаил Петрович (1878–1927), прозаик, драматург, публицист.
- Асеев Николай Николаевич (1889–1963), поэт, переводчик, сценарист.
- Астафьев Петр Евгеньевич (1846–1893), философ, психолог, публицист.
- Ауслендер Сергей Абрамович (1886–1937), прозаик, драматург, литературный и театральный критик.
- Афиногенов Александр Николаевич (1904–1941), драматург.
- Ахматова (урожд. Горенко) Анна Андреевна (1889–1966), поэт, переводчик, литературовед.
- Базаров (наст. фам. Руднев) Владимир Александрович (1874–1939), философ, экономист, публицист, переводчик.
- Бакаев Иван Петрович (1887–1936), советский партийный деятель, участник левой оппозиции. – 347, 387 Балтрушайтис Юргис Казимирович (1873–1944), русский поэт, переводчик литовского происхождения, первый посол Литвы в СССР – 345 Баранов Вадим Ильич (1930–2014), писатель, критик, литературовед.
- Барбюс Анри (1873–1935), французский писатель.
- Баринов, крестьянин.

Басаргин Захар Ефимович, начальник станции Крутая Грязе-Царицынской ж.д., где работал молодой Алексей Пешков.

Басаргина Мария Захаровна, дочь З. Е. Басаргина.

Батюшков Федор Дмитриевич (1857–1920), филолог, педагог.

Бебель Фердинанд Август (1840–1913), деятель немецкого и международного рабочего движения.

Бедный Демьян (наст. имя Ефим Алексеевич Придворов) (1883–1945), поэт, публицист, общественный и политический деятель.

Безыменский Александр Ильич (1908–1973), поэт, публицист.

Белицкий Георгий Еремеевич (1905–1938), драматург, публицист, литературовед.

Белобородов Александр Георгиевич (1891–1938), советский политический и партийный деятель, с 1918 г. председатель Уральского областного совета, подписал решение о расстреле Николая II и его семьи.

Белый Андрей (наст. имя Борис Николаевич Бугаев) (1880–1934), поэт, критик, мемуарист.

Бенкендорф-Будберг (урожд. Закревская) Мария Игнатьевна (1892–1974), дипломат, предположительно двойной агент ОГПУ и английской разведки, близкая подруга М. Горького.

Бенуа Александр Николаевич (1870–1960), художник, критик, историк искусства.

Берберова Нина Николаевна (1901–1993), писатель, мемуарист.

Бердяев Николай Александрович (1874–1948), философ.

Бердяева (урожд. Трушева) Лидия Юдифовна (1871–1945), поэт, жена Н. А. Бердяева.

Берман Яков Александрович (1868–1933), юрист, философ, деятель социал-демократического и коммунистического движения.

Благонравов Георгий Иванович (1896–1938), революционер, советский государственный деятель.

Блок Александр Александрович (1880–1921), поэт, прозаик, драматург, переводчик, литературный критик.

Бобкова Наталья Ивановна, нижегородская мещанка, крестная Алексея Пешкова.

Боборыкин Петр Дмитриевич (1836–1921), прозаик, драматург, публицист.

Богданов (наст. фам. Малиновский) Александр Александрович, революционный деятель, врач, философ, писатель-фантаст.

Брандес Георг Моррис Кохен (1842–1927), датский критик, публицист, литературовед.

Братолюбов Василий Степанович, казанский протоиерей.

Бродский Исаак Израилевич (1883–1939), художник.

Брюсов Валерий Яковлевич (1873–1924), поэт, прозаик, драматург, переводчик, литературный критик.

Будберг Мария *см. Бенкендорф-Будберг М. И.*

Буланов Павел Петрович (1895–1938), деятель ВЧК – ОГПУ – НКВД.

Булгаков Михаил Афанасьевич (1891–1940), прозаик, драматург.

Бунин Иван Алексеевич (1870–1953), прозаик, поэт, лауреат Нобелевской премии.

Буренин Виктор Петрович (1841–1926), литературный и театральный критик, публицист, драматург, поэт-сатирик.

Бухарин Николай Иванович (1888–1938), революционер, советский государственный и партийный деятель.

Быковцева Лидия Петровна, историк литературы.

Валентинов Н. (наст. имя Николай Владиславович Вольский) (1879–1964), философ, экономист, публицист.

Валентин Рихард (1874–1908), немецкий театральный режиссер.

Вандервельде Эмиль (1866–1938), бельгийский государственный деятель.

Ванновский Петр Семенович (1822–1904), российский государственный деятель, занимал посты военного министра и министра народного просвещения.

Вартаньянец Сергей (Саркис) Аркадьевич (1870–1942), педагог.

Варушкин Николай, казанский священник.

Васильев Николай Захарович, химик, философ, знакомый М. Горького.

Васильев Павел Николаевич (1910–1937), крестьянский поэт.

Васильев Ф., казанский протоиерей.

Вентуро Томмазо, корреспондент неаполитанской газеты.

Вересаев (наст. фам. Смидович) Викентий Викентьевич (1867–1945), писатель, переводчик, литературовед.

Верещагин Василий Васильевич (1842–1904), художник, литератор.

Веселовский Алексей Николаевич (1843–1918), литературовед, почетный академик Санкт-Петербургской АН по разряду изящной словесности.

Веселый Артем (наст. имя Николай Иванович Кочкуров) (1899–1938), писатель.

Виноградов А. И. (ум. 1938), врач.

Виноградов Владимир Никитич (1882–1964), врач-терапевт, кардиолог.

Вознесенский Михаил, нижегородский пономарь, принимавший участие в крещении Алексея Пешкова.

Волынский Аким Львович (наст. имя Хаим Лейбович Флексер) (1861–1926), литературный критик, искусствовед.

Воровский Вацлав Вацлович (1871–1923), революционер, публицист, литературный критик.

Ворошилов Климент Ефремович (1881–1969), революционер, советский военачальник, государственный и партийный деятель.

Вышинский Андрей Януарьевич (1883–1954), советский государственный деятель, юрист, дипломат.

Ганди Махатма (наст. имя Мохандас Карамчанд) (1869–1948), индийский политический, общественный и религиозный деятель.

Гапон Георгий Аполлонович (1870–1906), священник, политический деятель и профсоюзный лидер.

Гершензон Михаил Осипович (1869–1925), философ, публицист, переводчик, литературовед.

Гильдебранд Вальтер, немецкий поэт.

Гиляровский Владимир Алексеевич (1855–1935), писатель, журналист, бытописатель Москвы.

Гиппиус Зинаида (1869–1945), поэт, драматург, литературный критик (псевдоним – Антон Крайний).

Гитлер Адольф (1889–1945), основоположник национал-социализма, вождь Третьего рейха.

Гладков Федор Васильевич (1883–1958), писатель.

Голсуорси Джон (1867–1933), английский прозаик и драматург.

Гольденвейзер Александр Борисович (1875–1961), музыкант, композитор, педагог, музыкальный критик.

Гржебин Зиновий Исаевич (1877–1929), художник-карикатурист, график, издатель.

Григорович Дмитрий Васильевич (1822–1899), писатель.

Гронский (наст. фам. Федулов) Иван Михайлович (1894–1985), общественный деятель, журналист, литературовед.

Грот Николай Яковлевич (1852–1899), философ, психолог.

Груздев Илья Александрович (1892–1960), писатель, литературовед, биограф М. Горького.

Гумилев Николай Степанович (1886–1921), поэт, прозаик, переводчик, литературный критик.

Гусев Александр Федорович (1845–1904), богослов, духовный писатель.

Гусев-Оренбургский Сергей Иванович (1867–1963), писатель.

Давидовский (Давыдовский) Ипполит Васильевич (1887–1968), патологоанатом.

Дельвари Жорж (наст. имя Георгий Ильич Кручинский) (1888–1942), артист цирка.

Демель Рихард (1863–1920), немецкий поэт и писатель.

Деренков Андрей Степанович (1855–1953), революционер-народник, товарищ молодого Алексея Пешкова.

Деренкова Мария Степановна (1866–1930), революционер-народник, затем сельский фельдшер, сестра А. С. Деренкова.

Дзержинский Феликс Эдмундович (1877–1926), революционер, политический деятель, основатель и глава ВЧК.

Дмитриев Максим Петрович (1858–1948), нижегородский фотограф.

Дороватовский Сергей Павлович (1854–1921), издатель.

Достоевский Федор Михайлович (1821–1881), писатель, мыслитель, публицист.

Дубровинский Иосиф Федорович (1877–1913), революционер.

Евреинов Николай Владимирович (1864–1934), студент Казанского университета, участник студенческих политических выступлений в Казани в конце 80-х годов, знакомый молодого Алексея Пешкова.

Есенин Сергей Александрович (1895–1925), поэт, эссеист.

Жаров Александр Алексеевич (1904–1984), поэт.

Жюжан Маргарита, француженка-гувернантка, обвиняемая по громкому делу в связи с гибелью Николая Познанского, сына начальника Санкт-Петербургского жандармского управления железных дорог.

Зайцев Борис Константинович (1881–1972), писатель, переводчик.

Заломов Петр Андреевич (1877–1955), революционер, прототип Павла Власова, героя повести “Мать”.

Замятин Евгений Иванович (1884–1937), писатель, публицист, литературный критик, киносценарист.

Зверев А., исполняющий должность секретаря Казанской духовной консистории.

Зелинский Николай Дмитриевич (1861–1953), химик.

Зильберштейн Илья Самойлович (1902–1988), литературный критик, литературовед, искусствовед, коллекционер.

Зиновьев (наст. фам. Радомысльский) Григорий Евсеевич (1883–1936), революционер, партийный и государственный деятель.

Зорин Сергей Семенович (наст. имя Александр Гомбарг) (1890–1937), партийный и государственный деятель.

Зоценко Михаил Михайлович (1894–1958), прозаик, драматург.

Зубатов Сергей Васильевич (1864–1917), крупнейший деятель и организатор политического сыска в России.

Иванов Всеволод Вячеславович (1895–1963), прозаик, драматург, журналист.

Иванов Вячеслав Всеволодович (1929–2017), лингвист, переводчик, антрополог, сын В. В. Иванова.

Иванов Вячеслав Иванович (1866–1949), поэт-символист, философ.

Иванов Михаил Григорьевич, крестный Алексея Пешкова.

Игнатъев А. М., фиктивный жених Елизаветы Шмит.

Иксуль (урожд. Лутковская) Варвара Ивановна (1850–1928), общественный деятель, литератор, сестра милосердия – 368–369, 387 Иоанн Кронштадтский (наст. имя Иван Ильич Сергиев) (1829–1908, 1909 по нов. ст.), знаменитый священник, настоятель Андреевского собора в Кронштадте, причислен к лику святых.

Ионов Алексей Максимович (1895–1962), партийный и государственный деятель, историк.

Каверин (наст. фам. Зильбер) Вениамин Александрович (1902–1989), прозаик, драматург, сценарист.

Казаков Игнатий Николаевич (1891–1938), врач.

Калинин Николай Филиппович (1888–1959), историк, краевед, археолог.

Калмыкова (урожд. Чернова) Александра Михайловна (1849, 1850 по нов. стилю – 1926), общественный деятель, издатель.

Каменев (наст. фам. Розенфельд) Лев Борисович (1883–1936), революционер, партийный и государственный деятель.

Каменева (урожд. Бронштейн) Ольга Давидовна (1883–1941), деятель революционного движения, сестра Л. Д. Троцкого и первая жена Л. Б. Каменева.

Каменская (урожд. Гюнтер) Ольга Юльевна (1859–1939), акушерка, художница, мемуаристка, знакомая М. Горького, прототип рассказа “О первой любви”.

Каминский Григорий Наумович (1895–1938), революционер, партийный и государственный деятель один из организаторов советского здравоохранения.

Камю Альбер (1913–1960), французский писатель и мыслитель.

Караваева Анна Александровна (1893–1979), писатель.

Картиковский Иван Андреевич (1869–1931), товарищ молодого М. Горького.

Карцев, диакон, студент Казанской духовной академии.

Катаев Валентин Петрович (1897–1986), поэт, прозаик, драматург, журналист, киносценарист.

Каширин Александр Михайлович, двоюродный брат Алексея Пешкова.

Каширин Александр Яковлевич, двоюродный брат Алексея Пешкова.

Каширин Василий Васильевич (1807–1887), дед Алексея Пешкова.

Каширин Василий Данилович, прадед Алексея Пешкова.

Каширин Михаил Васильевич, дядя Алексея Пешкова.

Каширин Яков Васильевич, дядя Алексея Пешкова.

Каширина (урожд. Муратова) Акулина Ивановна (1816–1887), бабушка Алексея Пешкова.

Каширина Надежда, жена дяди Алексея Пешкова М. В. Каширина.

Керженцев (наст. фам. Лебедев) Платон Михайлович (1881–1940), революционер, государственный и общественный деятель, экономист, журналист, переводчик.

Керенский Александр Федорович (1881–1970), политический и государственный деятель, министр-председатель Временного правительства.

Кин (наст. фам. Сузовикин) Виктор Павлович (1903–1938?), писатель.

Киров (наст. фам. Костриков) Сергей Миронович (1886–1934), революционер, партийный и государственный деятель.

Клюев Николай Алексеевич (1884–1937), крестьянский поэт.

Клычков Сергей Антонович (1889–1937), поэт, прозаик, переводчик.

Книппер Ольга Леонардовна (1868–1959), актриса, жена А. П. Чехова.

Кони Анатолий Федорович (1844–1927), юрист, общественный деятель, литератор.

Кончаловский Максим Петрович (1875–1942), врач, профессор МГУ.

Корин Павел Дмитриевич (1892–1967), художник, педагог.

Короленко Владимир Галактионович (1853–1921), писатель, публицист, общественный деятель.

Кошенков Иван Макарьевич (ум. 1960), комендант дома М. Горького на Мал. Никитской.

Коцюбинский Михаил Михайлович (1864–1913), украинский писатель, общественный деятель.

Красин Леонид Борисович (1870–1926), революционер, государственный и партийный деятель.

Крестинский Николай Николаевич (1883–1938), юрист, революционер, государственный и партийный деятель.

Крупская Надежда Константиновна (1869–1939), революционер, жена В. И. Ленина.

Крючков Петр Петрович (1889–1938), юрист, издательский работник, личный секретарь М. Горького, первый директор музея А. М. Горького в Москве.

Крючкова Елизавета Захаровна (ум. 1938), жена П. П. Крючкова.

Крючкова Маргарита Петровна, сестра П. П. Крючкова.

Куприн Александр Иванович (1870–1938), прозаик, переводчик.

Куприна Ксения Александровна (Киса) (1908–1981), актриса, модель, писатель, дочь А. И. Куприна.

Кускова Екатерина Дмитриевна (1869–1958), политический и общественный деятель.

Кусургашева Алма (наст. имя Полина Тимофеевна), журналист, знакомая М. Горького.

Лаврский, самарский протоиерей.

Лагерлёф Сельма Оттилия Ловиза (1858–1940), шведский писатель, первая женщина, получившая Нобелевскую премию по литературе.

Ланг Георгий Федорович (1875–1948), врач-терапевт, академик АМН СССР, ректор 1-го Ленинградского медицинского института.

Ланин Александр Иванович (1845–1906, 1907 по нов. стилю), нижегородский присяжный поверенный.

Латышева Д. А., дочь богатого купца, покончившая с собой в Казани в 1885 г.

Лашевич Михаил Михайлович (1884–1928), революционер, советский военный деятель, участник левой оппозиции.

Левин Исаак Дон (1892–1981), американский журналист, автор разоблачительной биографии И. В. Сталина.

Левин Лев Григорьевич (наст. имя Ушер-Лейб Гершевич) (1870–1938), врач-терапевт, консультант лечебно-санитарного управления Кремля.

Ленин (наст. фам. Ульянов) Владимир Ильич (1870–1924), революционер, теоретик марксизма, создатель РСДРП (б), организатор Октябрьской революции 1917 года, первый руководитель советского государства.

Леонов Леонид Максимович (1899–1994), прозаик, драматург, сценарист.

Леонтьев Константин Николаевич (1831–1891), врач, дипломат, писатель, мыслитель, литературный критик.

Лесков Николай Семенович (1831–1895), писатель, публицист.

Лидин (наст. фам. Гомберг) Владимир Германович (1894–1979), писатель, библиофил.

Локкарт (Локхарт) Брюс (1887–1970), британский дипломат, тайный агент, писатель, журналист.

Лопатин Лев Михайлович (1855–1920), философ, психолог.

Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933), революционер, партийный и государственный деятель, писатель, переводчик, литературный критик, искусствовед, первый нарком просвещения РСФСР.

Лунц Лев Натанович (1901–1924), прозаик, драматург, публицист.

Львов, изобретатель.

Ляхович Константин Иванович (1885–1921), революционер, лидер полтавских меньшевиков, зять В. Г. Короленко.

Максимов Евгений Васильевич, второй муж матери Алексея Пешкова.

Малов Петр, казанский протоиерей.

Мандельштам Осип Эмильевич (1891–1938), поэт, прозаик, эссеист, переводчик, литературный критик.

Манн Генрих (1871–1950), немецкий писатель и общественный деятель, старший брат Томаса Манна.

Манн Томас (1875–1955), немецкий писатель.

Мартин Джон, американский поклонник М. Горького, приютивший его с М. Ф. Андреевой на своей вилле “Саммер Брукс”.

Мартин Престони, жена Джона Мартина.

Маршак Самуил Яковлевич (1887–1964), поэт, переводчик, драматург, сценарист, литературный критик, детский писатель.

Маяковский Владимир Владимирович (1893–1930), поэт, художник, киносценарист, актер.

Мейерхольд Всеволод Эмильевич (наст. имя Карл Казимир Теодор Мейергольд) (1874–1940), театральный режиссер, актер, педагог, теоретик театрального искусства.

Мельников Михаил Михайлович (1877 —?), революционер, террорист.

Менделеева Любовь Дмитриевна (1881–1939), актриса, мемуаристка, дочь Д. И. Менделеева, жена А. А. Блока.

Меньшиков Михаил Осипович (1859–1918), мыслитель, публицист, общественный деятель.

Мережковский Дмитрий Сергеевич (1865–1941), поэт, прозаик, переводчик, литературный критик, религиозный мыслитель.

Миролюбов Виктор Сергеевич (1860–1939), литератор, издатель.

Мирский (Святополк-Мирский) Дмитрий Петрович (1890–1939), литературный критик, литературовед.

Михайловский Николай Константинович (1842–1904), публицист, социолог, переводчик, литературный критик, теоретик народничества.

Молотов (наст. фам. Скрябин) Вячеслав Михайлович (1890–1986), революционер, партийный и государственный деятель.

Морозов Савва Тимофеевич (1862–1905), предприниматель, меценат.

Москвин Иван Михайлович (1874–1946), актер, режиссер.

Муратов Иван Яковлевич, мещанин, отец А. И. Кашириной, бабушки Алексея Пешкова.

Муратов Павел Павлович (1881–1950), писатель, переводчик, искусствовед.

Муромцева-Булнина Вера Николаевна (1881–1961), переводчик, мемуарист, жена И. А. Бунина.

Муссолини Бенито (1883–1945), итальянский политический и государственный деятель, лидер Национальной фашистской партии.

Мухина Вера Игнатьевна (1889–1953), скульптор-монументалист, автор двух памятников М. Горькому в Москве.

Наживин Иван Федорович (1874–1940), писатель.

Немирович-Данченко Владимир Иванович (1858–1943), театральный деятель, критик, драматург, режиссер, педагог.

Нестеров Михаил Васильевич (1862–1942), художник.

Никитин Николай Николаевич (1895–1963), прозаик, драматург, сценарист.

Николай II Александрович (1868–1918), последний император России.

Николаевский Борис Иванович (1887–1966), историк и политический деятель.

Никулин (наст. фам. Олькеницкий) Лев Вениаминович (1891–1967), прозаик, поэт, драматург, журналист.

Ницше Фридрих Вильгельм (1844–1900), немецкий философ.

Оксман Юлиан Григорьевич (1895–1970), историк, литературовед.

Ольденбург Сергей Федорович (1863–1934), востоковед.

Орешин Петр Васильевич (1887–1938), поэт, прозаик.

Орджоникидзе Серго (наст. имя Григорий Константинович) (1886–1937), революционер, партийный и государственный деятель.

Осоргин (наст. фам. Ильин) Михаил Андреевич (1878–1942), писатель, журналист.

Павлов Иван Петрович (1849–1936), ученый-физиолог, первый русский лауреат Нобелевской премии.

Палей (урожд. Карнович) Ольга Валериановна (1865–1929), княгиня, мемуаристка, морганатическая супруга великого князя Павла Александровича.

Палей Владимир Павлович (1897–1918), князь, сын великого князя Павла Александровича и княгини О. В. Палей.

Парвус Александр Львович (1867–1924), деятель российского и германского социал-демократического движения, теоретик марксизма, публицист.

Пастернак Борис Леонидович (1890–1960), поэт, прозаик, переводчик.

Пацковская Зоя Николаевна, двоюродная сестра Л. Н. Андреева.

Петровская Нина Ивановна (1879–1928), писатель, мемуарист.

Пеширов Григорий (Георгий) Антонович (1905–1973), личный шофер М. Горького.

Пешков Максим Алексеевич (1897–1934), сын М. Горького и Е. П. Пешковой.

Пешков Максим Савватиевич (1839–1871), отец Алексея Пешкова.

Пешков Савватий, отец М. С. Пешкова, дед Алексея Пешкова.

Пешкова (урожд. Каширина) Варвара Васильевна (1842–1879), мать Алексея Пешкова.

Пешкова Дарья Максимовна (р. 1927), внучка М. Горького.

Пешкова (урожд. Волжина) Екатерина Павловна (1876–1965), общественный деятель, правозащитник, жена М. Горького.

Пешкова Катя (Екатерина Алексеевна) (1901–1906), дочь М. Горького и Е. П. Пешковой.

Пешкова Марфа Максимовна (р. 1925), внучка М. Горького.

Пешкова (урожд. Введенская) Надежда Алексеевна (Тимоша) (1901–1971), невестка М. Горького, жена его сына М. А. Пешкова.

Пильняк Борис Андреевич (1894–1938), писатель.

Пинегин Михаил Николаевич (1865–1935), историк, этнограф, общественный деятель.

Платонов (наст. фам. Климентов) Андрей Платонович (1899–1951), писатель, литературный критик, журналист.

Плеве Вячеслав Константинович (1846–1904), государственный деятель.

Плетнев Гурий, типографский служащий, знакомый молодого Алексея Пешкова.

Плетнев Дмитрий Дмитриевич (1871 или 1872–1941), врач-терапевт.

Плеханов Георгий Валентинович (1856–1918), революционер, теоретик марксизма, деятель российского и международного социалистического движения, один из основателей РСДРП.

Плюшков И. П., врач, лечивший Алексея Пешкова в Казани.

Погожева Айна Петровна, востоковед, археолог, дочь П. П. Крючкова.

Познанский И. Н., начальник нижегородского жандармского управления.

Поленц Вильгельм Фон (1861–1903), немецкий поэт, прозаик, драматург, эссеист.

Полонская (урожд. Мовшенсон) Елизавета Григорьевна (1890–1969), поэт, прозаик, переводчик, журналист.

Помяловский Николай Герасимович (1835–1863), писатель.

Попова Ольга Николаевна (1848–1907), писатель, переводчик, журналист, издатель.
Поспелов, изобретатель.

Поссе Владимир Александрович (1864–1940), революционер, журналист.

Потресов Александр Николаевич (1869–1934), революционер, один из основателей РСДРП.

Преображенский Василий Петрович (1864–1900), философ, литературный критик.

Примочкина Наталья Николаевна, доктор филологических наук, научный сотрудник ИМЛИ РАН.

Пришвин Михаил Михайлович (1873–1954), писатель, публицист.

Прокопович Сергей Николаевич (1871–1955), экономист, политический деятель.

Пятницкий Константин Петрович (1864–1939), директор издательства “Знание”.

Радек Карл Бернгардович (наст. имя Кароль Собельсон) (1885–1939), революционер, политический деятель, деятель международного социалдемократического и коммунистического движения.

Раев Александр, нижегородский священник, крестивший Алексея Пешкова.

Ракицкий Иван Николаевич (1892–1942), художник, живший в семье М. Горького.

Рейнгарт Макс (наст. имя Максимилиан Гольдман) (1873–1943), австрийский режиссер, актер и театральный деятель.

Ремезов Дмитрий, нижегородский дьякон, принимавший участие в крещении Алексея Пешкова.

Ремизов Алексей Михайлович (1877–1957), писатель, художник.

Ретивцев Владимир Николаевич (отец Хрисанф) (1832–1883), священник, епископ Нижегородский и Арзамасский.

Рильке Райнер Мария (1875–1926), австрийский поэт, прозаик, эссеист.

Розанов Василий Васильевич (1856–1919), религиозный мыслитель, писатель, литературный критик, публицист.

Роллан Ромен (1866–1944), французский писатель, музыковед, общественный деятель.

Романов Александр Михайлович (1866–1933), великий князь, государственный и военный деятель, внук Николая I.

Романов Георгий Михайлович (1863–1919), великий князь.

Романов Константин Константинович (1858–1915), великий князь, поэт (псевдоним К.Р.), драматург, переводчик, президент Императорской Санкт-Петербургской академии наук.

Романов Павел Александрович (1860–1919), великий князь.

Романов Петр Николаевич (1864–1931), великий князь, военный деятель, внук Николая I.

Ромась Михаил Антонович (1858–1920), революционер-народник.

Рутенберг Петр (наст. имя Пинхас) Моисеевич (1878–1942), революционер, деятель сионистского движения, один из участников убийства Г. А. Гапона.

Рыков Алексей Иванович (1881–1938), революционер, партийный и государственный деятель.

Рябушинская Александра Павловна (1887–1937), представитель старообрядческой семьи Рябушинских, сестра С. П. Рябушинского.

Рябушинская Надежда Павловна (1886–1937), представитель старообрядческой семьи Рябушинских, сестра С. П. Рябушинского.

Рябушинский Степан Павлович (1874–1942), предприниматель, старообрядец, коллекционер, искусствовед.

Саяпин Иван Антонович, сектант.

Саяпин М. С., внук И. А. Саяпина.

Селицкий Феодор, дьячок, принимавший участие в крещении Алексея Пешкова.

- Семенов Михаил Николаевич (1873–1952), литератор, издатель.
- Серафимович (наст. фам. Попов) Александр Серафимович (1863–1949), писатель.
- Сергеев В. С., хозяин казанской булочной, в которой работал Алексей Пешков.
- Синклер Эптон Билл (1878–1968), американский писатель.
- Скабичевский Александр Михайлович (1838–1911), литературный критик, историк русской литературы.
- Скворцов А., казанский протоиерей.
- Скиталец (наст. имя Степан Гаврилович Петров) (1869–1941), прозаик, поэт.
- Слонимский Михаил Леонидович (1897–1972), писатель.
- Смирнова Людмила Никитична, литературовед.
- Соболь Андрей (наст. имя Юлий Михайлович) (1888–1926), писатель.
- Солженицын Александр Исаевич (1918–2008), прозаик, поэт, драматург, публицист, общественный и политический деятель.
- Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900), философ, поэт, публицист, литературный критик.
- Сологуб Федор (наст. имя Федор Кузьмич Тетерников) (1863–1927), поэт, прозаик, драматург, публицист, литературный критик.
- Сомов Сергей Григорьевич, революционер, знакомый Алексея Пешкова.
- Сперанский Алексей Дмитриевич (1888–1951), ученый-медик.
- Спиридонова Лидия Алексеевна, литературовед.
- Сталин (наст. фам. Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1878 (по официальной версии 1879) – 1953), революционер, партийный и государственный деятель, руководитель советского государства.
- Станюкович Константин Михайлович (1843–1903), писатель-маринист.
- Старков Арсен Викторович (1874–1927), биолог, педагог.
- Стасов Владимир Васильевич (1824–1906), музыкальный и художественный критик, историк искусства, архивист, общественный деятель.
- Степун Федор Августович (1884–1965), философ, литературный критик, общественно-политический деятель.
- Стомоняков Борис Спиридонович (1882–1940), революционер, дипломат.
- Струве Глеб Петрович (1898–1985), поэт, переводчик.
- Студентский Николай Иванович (1845–1891), казанский врач, лечивший Алексея Пешкова.
- Суворов (Борисов) Сергей Александрович (1869–1918), революционер, философ, статистик, общественный деятель – 289 Сулержицкий Леопольд Антонович (1872–1916), театральный режиссер, художник, революционер.
- Сумский (наст. фам. Каплан) Соломон Гитманович (1883–1940), издатель.
- Сурганов Всеволод Алексеевич (1927–1999), литературовед, писатель.
- Сургучев Илья Дмитриевич (1881–1956), прозаик, драматург.
- Талант И. Б., врач-психиатр, пытавшийся выявить психопатологическую подоплеку горьковских произведений.
- Таратута А. Р., жених Елизаветы Шмит.
- Твардовский Александр Трифонович (1910–1971), поэт, журналист, главный редактор журнала «Новый мир» (1950–1954; 1958–1970).
- Твен Марк (наст. имя. Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс) (1835–1910), американский писатель, журналист, общественный деятель.
- Телешов Николай Дмитриевич (1867–1957), писатель, организатор московского кружка писателей «Среда».

Тихон, патриарх (в миру Василий Иванович Беллавин (1865–1925)), с 1917 года первый Патриарх Московский и всея Руси после восстановления патриаршества.

Тихонов Александр Николаевич (1880–1856), писатель, издатель.

Толстая Александра Львовна (1884–1979), младшая дочь и секретарь Л. Н. Толстого, мемуарист, общественный деятель.

Толстая Софья Андреевна (1844–1919), жена Л. Н. Толстого, мемуарист, писатель.

Толстой Алексей Николаевич (1882–1945), писатель, журналист, общественный деятель.

Толстой Лев Николаевич (1828–1910), писатель, религиозный мыслитель.

Тренев Константин Андреевич (1876–1945), прозаик, драматург.

Троцкий (наст. фам. Бронштейн) Лев Давидович (1879–1940), революционер, теоретик марксизма, партийный и государственный деятель.

Трубачов, цензор.

Турыгин Александр Андреевич (1860–1934), художник-любитель, сотрудник Русского музея, друг М. В. Нестерова.

Тэн Ипполит Адольф (1828–1893), французский философ, психолог, писатель, историк.

Ульянов Александр Ильич (1866–1887), революционер-народоволец, старший брат В. И. Ленина.

Урусов Сергей Семенович (1827–1897), князь, шахматист, близкий знакомый Л. Н. Толстого.

Успенский Глеб Иванович (1843–1902), писатель, публицист народнического направления.

Уткин Иосиф Павлович (1903–1944), поэт, журналист.

Уэллс Герберт Джордж (1866–1946), английский писатель-фантаст, публицист.

Фадеев Александр Александрович (1901–1956), писатель, партийный и государственный деятель.

Федин Константин Александрович (1892–1977), прозаик, мемуарист, журналист.

Федоров Николай Федорович (1829–1903), философ, библиотековед.

Фейгин А. Я., редактор газеты “Курьер”.

Фейхтвангер Лион (1884–1958), немецкий писатель.

о. Феодор Владимирский (в миру Федор Иванович) (1843–1932), священник, депутат Государственной Думы.

Фёрстер Бернард, идеолог антисемитизма, муж сестры Фридриха Ницше Элизабет.

Фёрстер-Ницше Тереза Элизабет Александра (1846–1935), сестра Фридриха Ницше, его литературная душеприказчица, основатель Архива Ницше.

Фигнер Вера Николаевна (1852–1942), революционер-народоволец, затем член партии эсеров.

Фидели Николай Игнатьевич (псевдоним Кок), карикатурист.

Философов Дмитрий Владимирович (1872–1940), философ, публицист, литературный критик, общественный и политический деятель.

Форш Ольга Дмитриевна (1873–1961), писатель.

Фофанов Константин Михайлович (1862–1911), поэт.

Фрунзе Михаил Васильевич (1885–1925), революционер, государственный и военный деятель.

Хармс (наст. фам. Ювачев) Даниил Иванович (1905–1942), прозаик, поэт.

Ходасевич Валентина Михайловна (1894–1970), художник, фотограф.

Ходасевич Владислав Фелицианович (1886–1939), поэт, литературный критик, историк литературы, мемуарист.

Ходоровский Иосиф Иосифович (1885–1938), начальник Лечсануправления Кремля.

Цвейг Стефан (1881–1942), австрийский прозаик, драматург, журналист.

- Цветаева Анастасия Ивановна (1894–1993), писатель, младшая сестра М. И. Цветаевой.
Цветаева Марина Ивановна (1892–1941), поэт, прозаик, переводчик.
Чазов Евгений Иванович (р. 1929), кардиолог, академик АН СССР.
Чарушников Александр Петрович (1852–1913), издатель.
Чекин А. В., революционер-народник.
Черемнов Александр Сергеевич (1881–1919), писатель.
Чертков Владимир Григорьевич (1854–1936), лидер “толстовства”, близкий друг и соратник Л. Н. Толстого.
Черткова Олимпиада Дмитриевна (Липа) (1878–1951), медсестра, друг М. Горького.
Чехов Антон Павлович (1860–1904), прозаик, драматург, врач.
Чириков Евгений Николаевич (1864–1932), прозаик, драматург, публицист.
Чуковский Корней Иванович (наст. имя Николай Васильевич Корнейчуков) (1882–1969), детский писатель, литературный критик, литературовед.
Шалапин Федор Иванович (1873–1938), оперный и камерный певец.
Шенталинский Виталий Александрович (р. 1939), историк, писатель.
Шкапа Илья Самсонович (1898–1993), писатель, журналист, мемуарист.
Шкловский Виктор Борисович (1893–1984), писатель, критик, литературовед, киновед, сценарист.
Шмелев Иван Сергеевич (1873–1950), прозаик, публицист.
Шмит Екатерина Павловна (1884–1941), сестра Н. П. Шмита.
Шмит Елизавета Павловна (1887 —?), сестра Н. П. Шмита.
Шмит Николай Павлович (1883–1907), фабрикант, революционер.
Шолохов Михаил Александрович (1905–1984), писатель.
Шторм Георгий Петрович (1898–1978), исторический писатель.
Эйхе Роберт Индрикович (1890–1940), партийный и государственный деятель.
Энгельс Фридрих (1820–1895), немецкий философ, деятель коммунистического движения.
Эфрон Сергей Яковлевич (1893–1941), литератор, офицер Белой армии, агент НКВД, муж М. И. Цветаевой.
Юдин Павел Федорович (1899–1968), философ, дипломат.
Юдина Любовь Федоровна, сестра П. Ф. Юдина.
Юрин Д. С., телеграфист на станции Крутая Грязе-Царицынской ж.д., где работал Алексей Пешков.
Юшкевич Семен Соломонович (1868–1927), прозаик, драматург.
Яблоновский (наст. фам. Снадзский) Александр Александрович (1870–1934), писатель, журналист.
Ягода Генрих Григорьевич (наст. имя Енох Гершонович Иегуда) (1891–1938), революционер, партийный и государственный деятель.
Ярославцев И. В., телеграфист на станции Крутая Грязе-Царицынской ж.д., где работал Алексей Пешков.
Ясинский Иероним Иеронимович (1850–1931), поэт, прозаик, журналист, литературный критик.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

- *Горький М.* Собрание сочинений в 30 томах. М., 1949–1955.
- *Горький М.* Полное собрание сочинений. Художественные произведения в 25 томах. М., 1968–1976.
- *Горький М.* Полное собрание сочинений и писем. Письма в 24 томах. М.: Наука, 1997–2017.
- Архив А. М. Горького. Т. 1–16. М., 1939–2001.
- М. Горький и А. Чехов. Переписка. Статьи. Высказывания. М., 1951.
- А. М. Горький и В. Г. Короленко. Переписка. Статьи. Высказывания. М., 1957.
- Литературное наследство. Т. 70. Горький и советские писатели. Неизданная переписка. М., 1963.
- Литературное наследство. Т. 72. Горький и Леонид Андреев. Неизданная переписка. М., 1965.
- Литературное наследство. Т. 95. Горький и русская журналистика начала XX века. Неизданная переписка. М., 1988.
- Письма Ф. И. Шаляпину. 1901–1933 // Горьковские чтения. 1949–1952. М., 1954.
- Письма И. А. Бунину. 1899–1917 // Горьковские чтения. 1958–1959. М., 1961.
- В. И. Ленин и А. М. Горький. Письма, статьи, воспоминания. М., 1969.
- Переписка М. Горького. В 2 томах. М., 1986.
- *Шкловский В.* Удачи и поражения Максима Горького. Тифлис, 1926.
- *Чуковский К.* Две души Максима Горького. М., 1928.
- Горький: воспоминания о Горьком. Л., 1928.
- *Балухатый С.* Критика о Горьком. Библиография статей и книг 1893–1932 гг. Л., 1934.
- *Балухатый С.* Литературная работа М. Горького. М., 1936.
- Летопись жизни и творчества А. М. Горького. Вып. 1–4. М., 1958–1960.
- *Груздев И.* Горький. М., 1958. (Серия “Жизнь замечательных людей”).
- *Груздев И.* Горький и его время. М., 1962.
- Горький и его современники. Л., 1968.
- *Федин К.* Горький среди нас. М., 1968.
- *Бабаян Э.* Ранний Горький. М., 1973.
- *Вайнберг И.* За горьковской строкой. М., 1976.
- *Бялик Б. М.* Горький – драматург. М., 1977.
- *Леонов Л.* Слово о Горьком. М., 1979.
- *Муратова К. М.* Горький. Семинарий. М., 1981.
- *Овчаренко А. М.* Горький и литературные искания XX столетия. М., 1982.
- *Нинов А. М.* Горький и Ив. Бунин. Л., 1985.
- Максим Горький. Из литературного наследия: Горький и еврейский вопрос. Иерусалим, 1986.
- М. Горький в воспоминаниях современников. М., 1986.
- Горький и его эпоха. Вып. 1–2. М., 1989.
- *Ходасевич В.* Воспоминания о Горьком. М., 1989.
- *Баранов В.* Огонь и пепел костра. Горький, 1990.
- *Шкапа И.* Семь лет с Горьким. М., 1990.
- *Сухих С.* Заблуждения и прозрения Максима Горького. Нижний Новгород, 1992.
- *Спиридонова Л. М.* Горький: диалог с историей. М., 1994.
- *Примочкина Н.* Писатель и власть. М., 1996.
- *Хьетсо Г.* Максим Горький: Судьба писателя / пер. с норв. М., 1997.

- Максим Горький: pro et contra. Личность и творчество Максима Горького в оценке русских мыслителей и исследователей. 1890–1910 гг. СПб., 1997.
- *Ваксберг А.* Гибель Буревестника. М., 1999.
- Вокруг смерти Горького. Документы. Факты. Версии. М., 2001.
- *Примочкина Н.* Горький и писатели русского зарубежья. М., 2003.
- М. Горький. Материалы и исследования. Вып. 1–12. М., 1989–2004.
- *Спиридонова Л.* М. Горький. Новый взгляд. М., 2004.
- *Барахов В.* Драма Максима Горького. Истоки, коллизии, метаморфозы. М., 2004.
- *Басинский П.* Горький. М., 2005. (Серия “Жизнь замечательных людей”).
- *Быков Д.* Горький. М., 2016. (Серия “Жизнь замечательных людей”).

Вкладка



Молодой Горький. Начало 1890-х гг.



Старый Нижний Новгород.



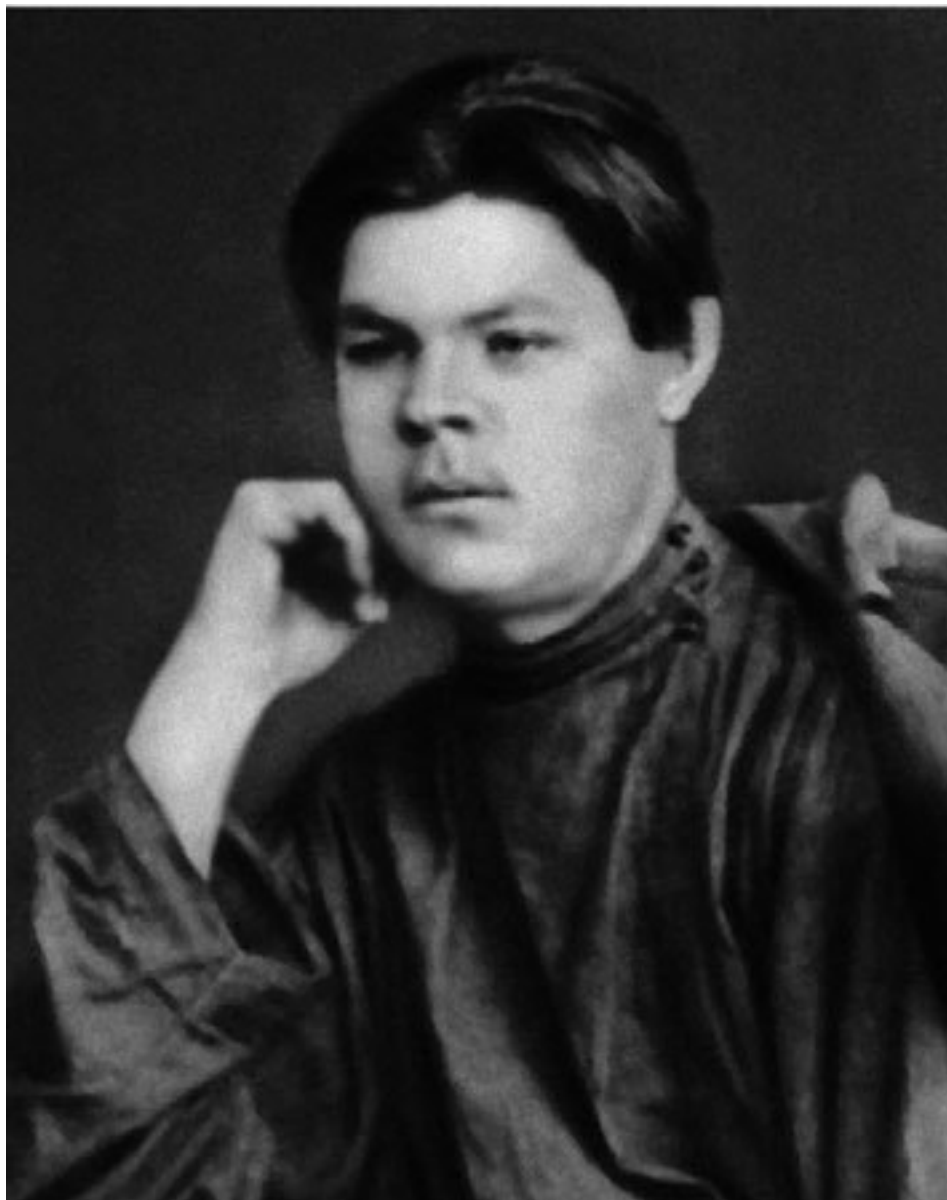
Домик Кашириных, где провел часть своего детства Алеша Пешков.



Дядя Алексея Пешкова Михаил Васильевич Каширин (в центре) с сыновьями и племянником. 1900-е гг.



Семья Сергеевых, у которых Алеша Пешков жил “в людях”.



Алексей Пешков в Казани. Около 1886–1888 гг.



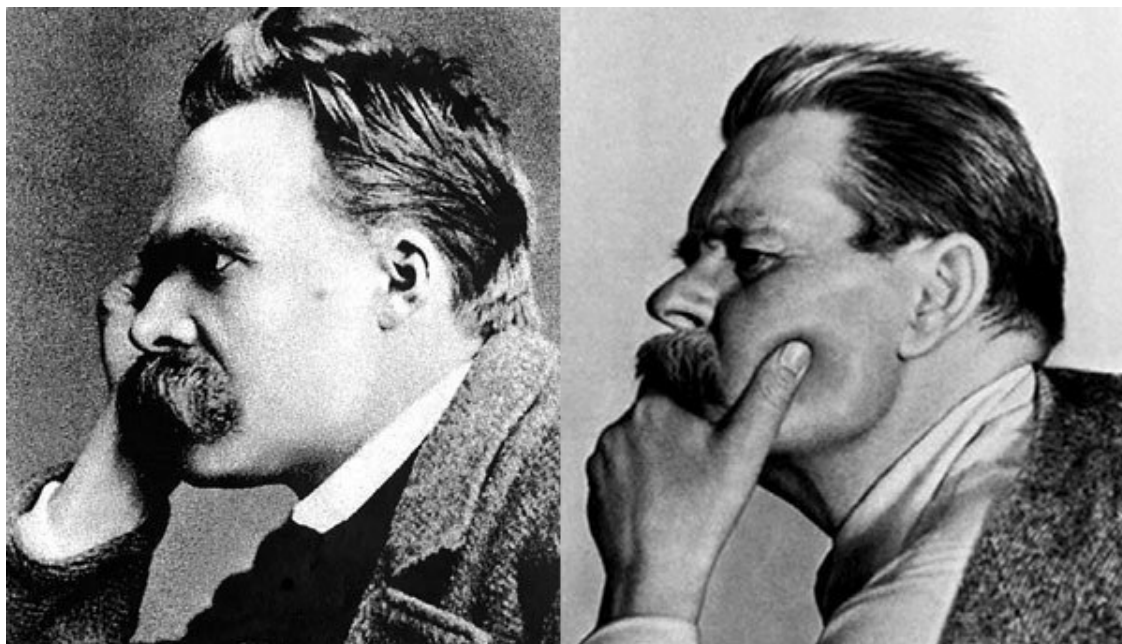
Николай Евреинов, пригласивший Пешкова поехать в Казань. 1885 г.



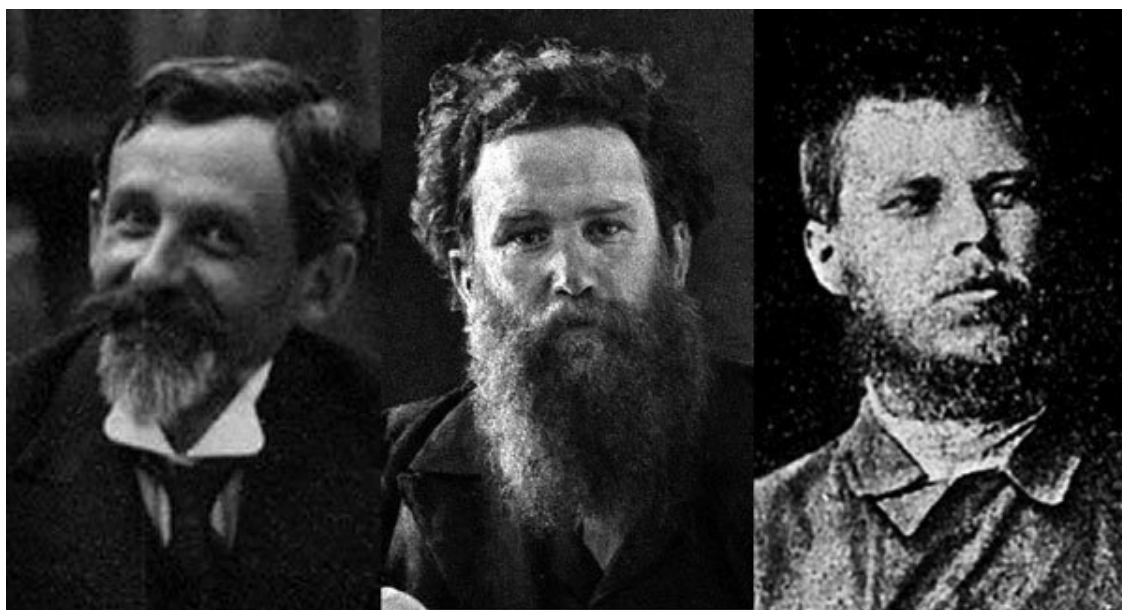
Казанский университет, в который безуспешно пытался поступить Пешков.



В. С. Семенов (сидит второй справа) – хозяин казанской булочной, в которой работал Пешков.



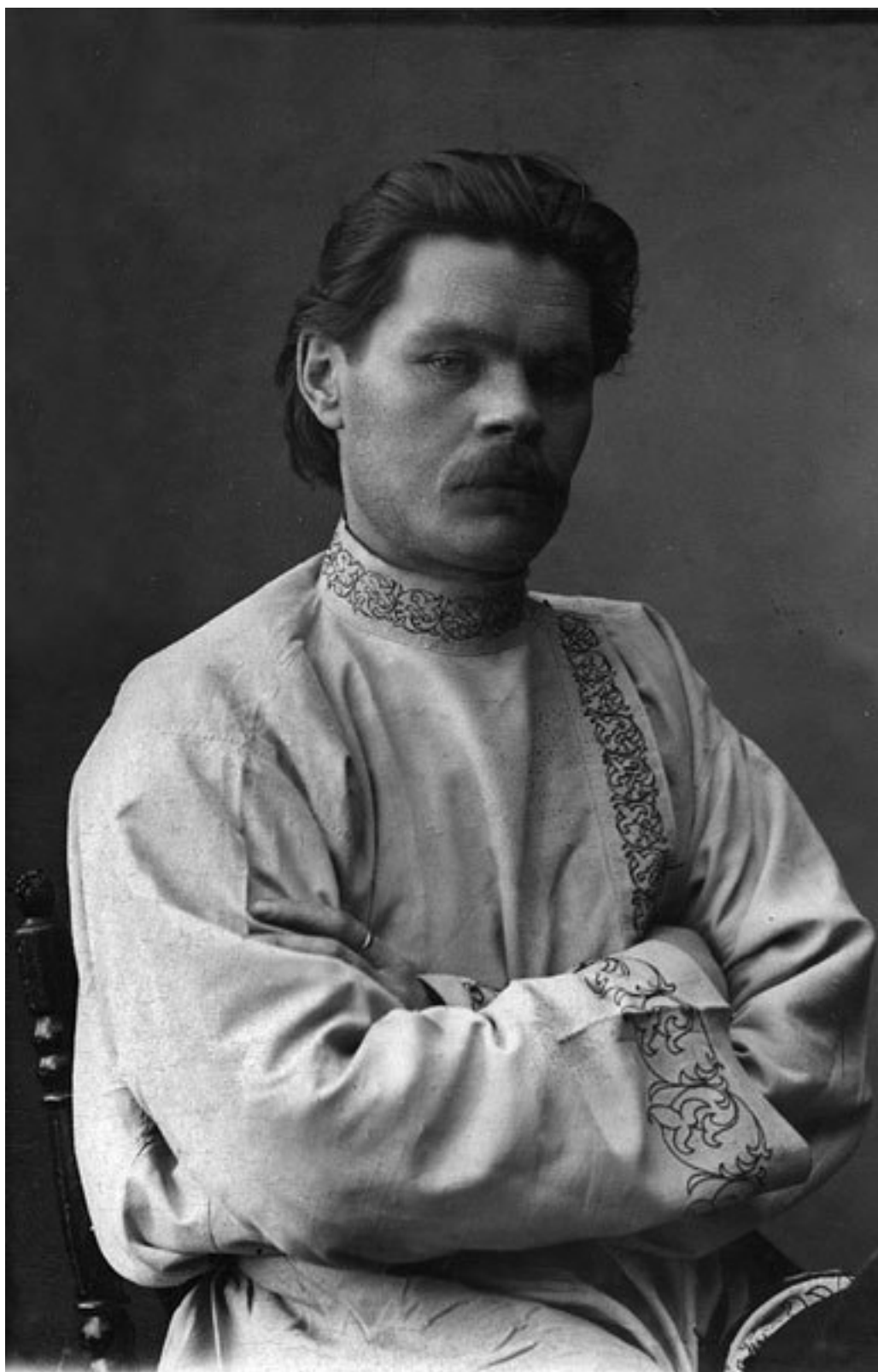
Фридрих Ницше и Максим Горький. Многие отмечали их внешнее сходство.



А. И. Ланин – адвокат, у которого Пешков работал письмоводителем и которому посвятил свою первую книгу. В. Г. Короленко – первый литературный наставник Горького. М. А. Ромась – революционер-народник, соблаздивший Пешкова “пойти в народ”.



Мария Басаргина – возможно, первая любовь Пешкова, и Ольга Каменская – первая гражданская жена, героиня рассказа “О первой любви”.



Портрет в белой косоворотке. Нижний Новгород, 1898–1899 гг. Фото М. П. Дмитриева.



Екатерина Павловна Пешкова – единственная законная жена Горького. Нижний Новгород, 1901 г. Фото М. П. Дмитриева.



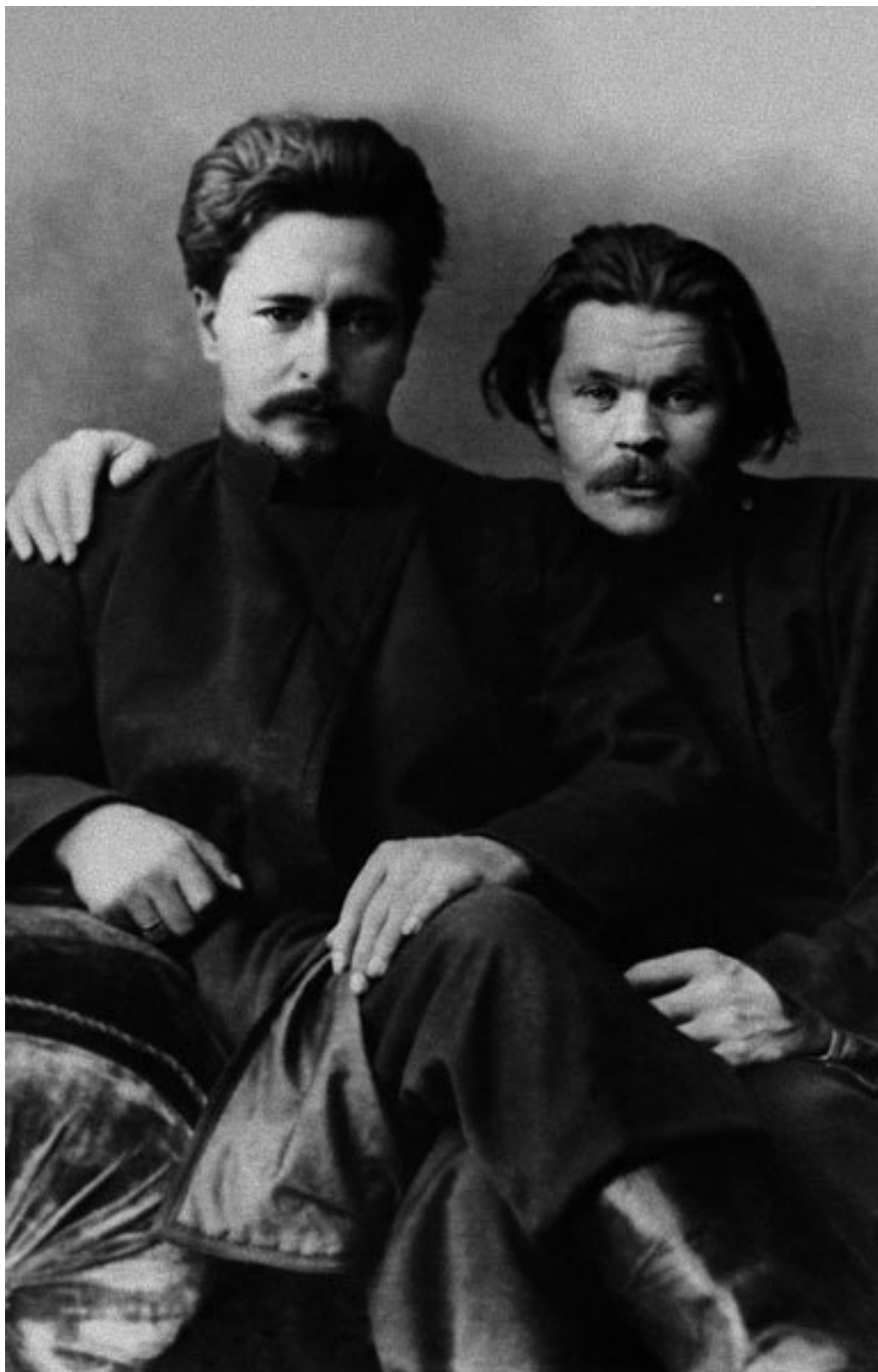
Горький с женой, сыном Максимом и дочкой Катей.



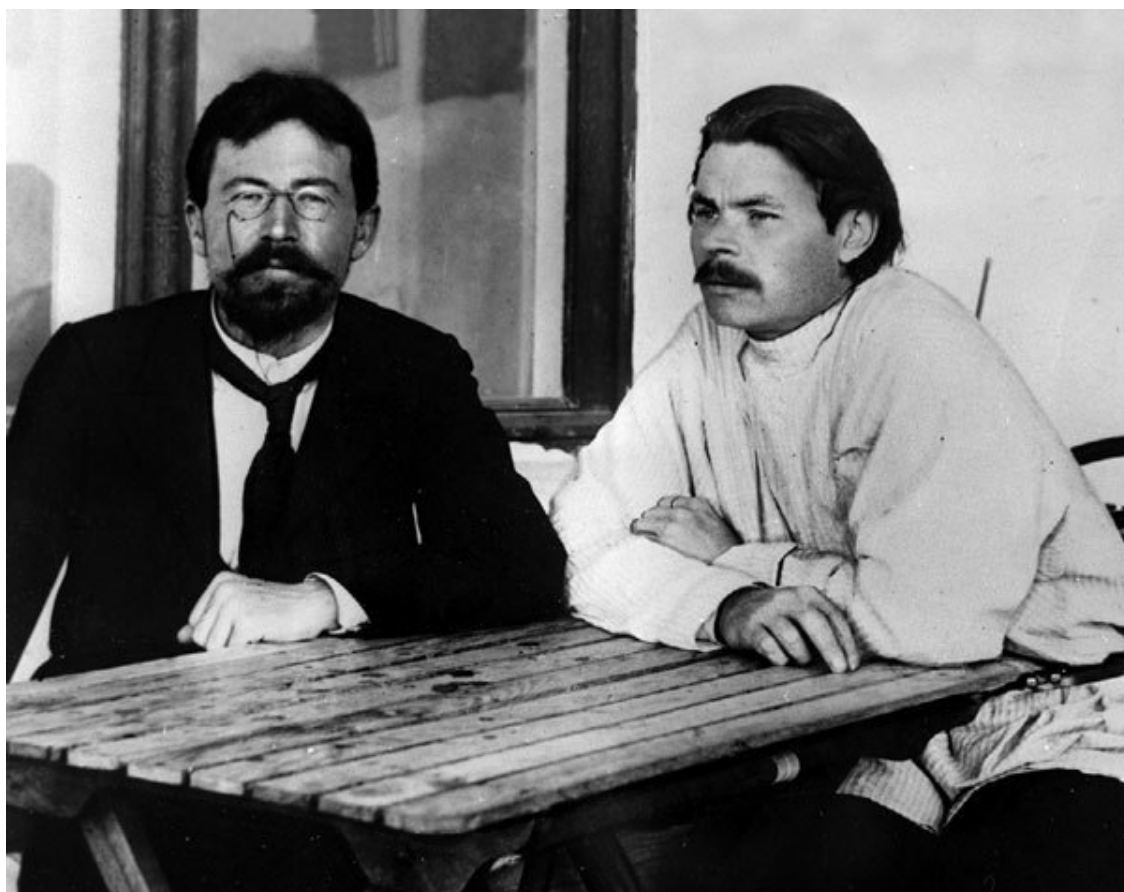
Знаменитые “белые башни” – въезд в Ясную Поляну, которую молодой Горький первый раз посетил в 1889 году, так и не встретившись с Толстым.



Лев Толстой и Горький. Ясная Поляна, 1900 г. Фото С. А. Толстой.



С Леонидом Андреевым. Начало дружбы. 1901 г.



Чехов и Горький в Ялте. 1898 г.



Оба драматурга с артистами Московского художественного театра. Ялта, 1900 г.



Постановка “На дне” в МХТ, 1903 г. И. М. Москвин в роли Луки и К. С. Станиславский в роли Сатина.



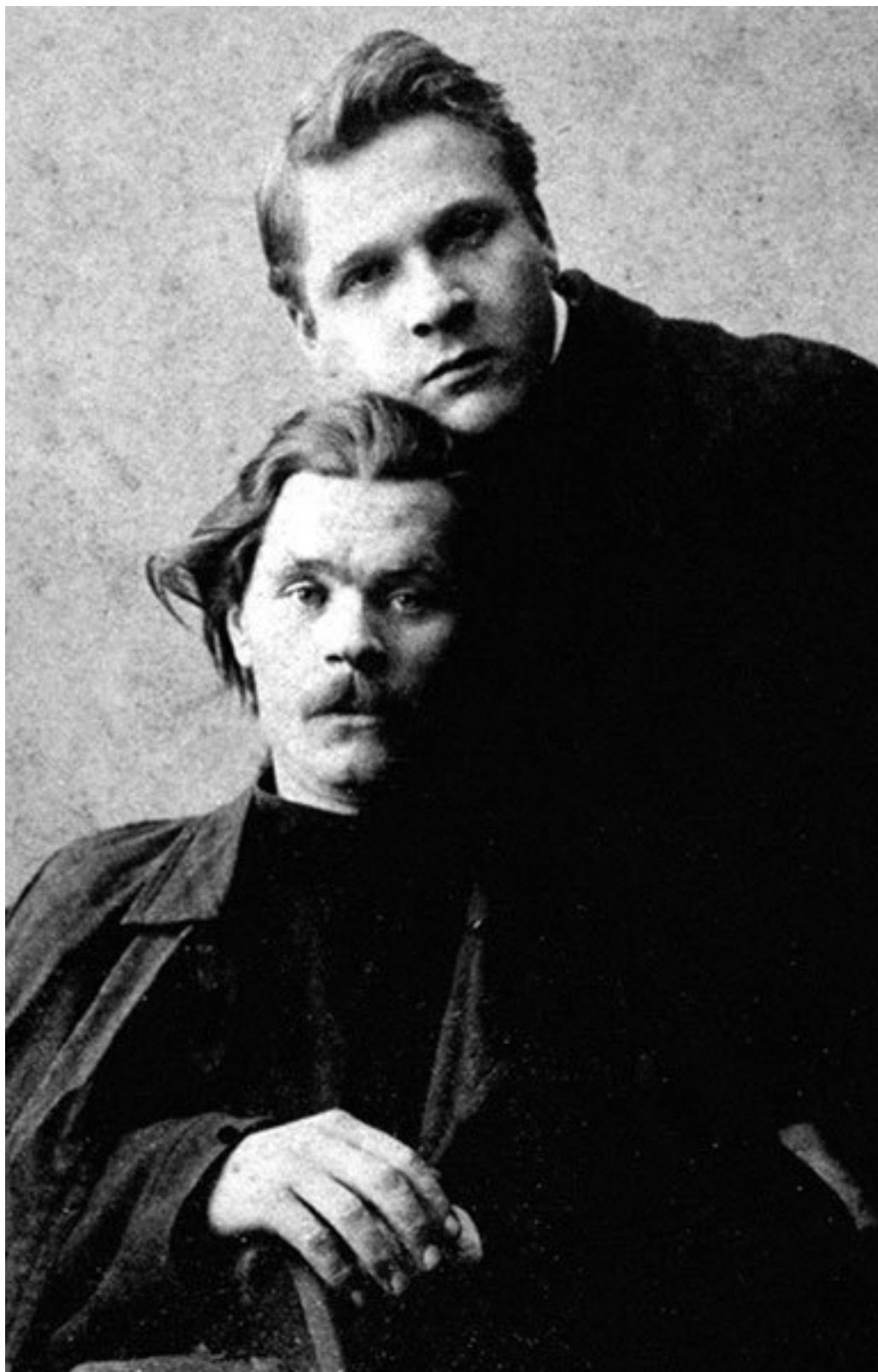
Постановка “На дне” в МХТ, 1903 г. Сцена из первого действия.



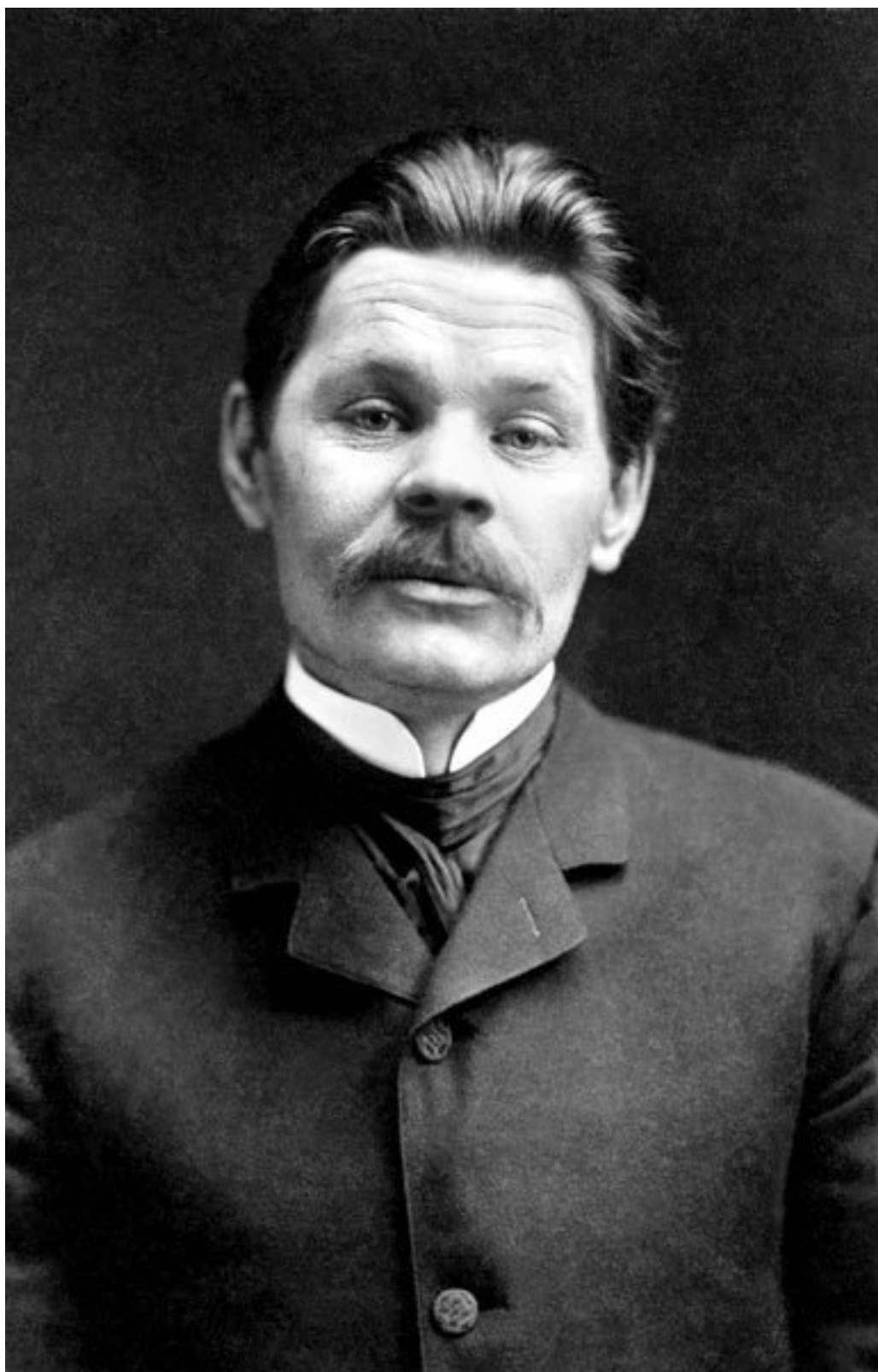
Среди участников литературно-художественного кружка “Среда”. 1902 г.



С В. В. Стасовым и И. Е. Репиным на аллее Пушкина в Пенатах, 18 августа 1904 г.



Горький и Шаляпин. “Звездная” дружба.



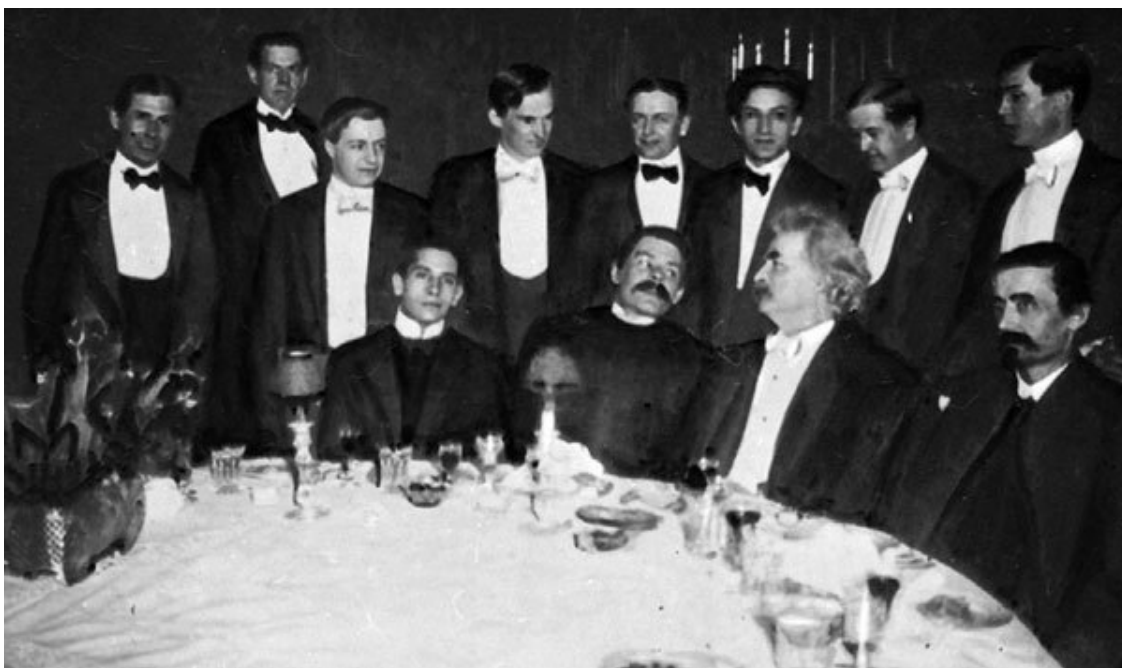
Горький в зените славы.



“Буревестник” на Капри. Шуточная сценка.



С гражданской женой, актрисой Марией Федоровной Андреевой. Куоккала, 1905 г.



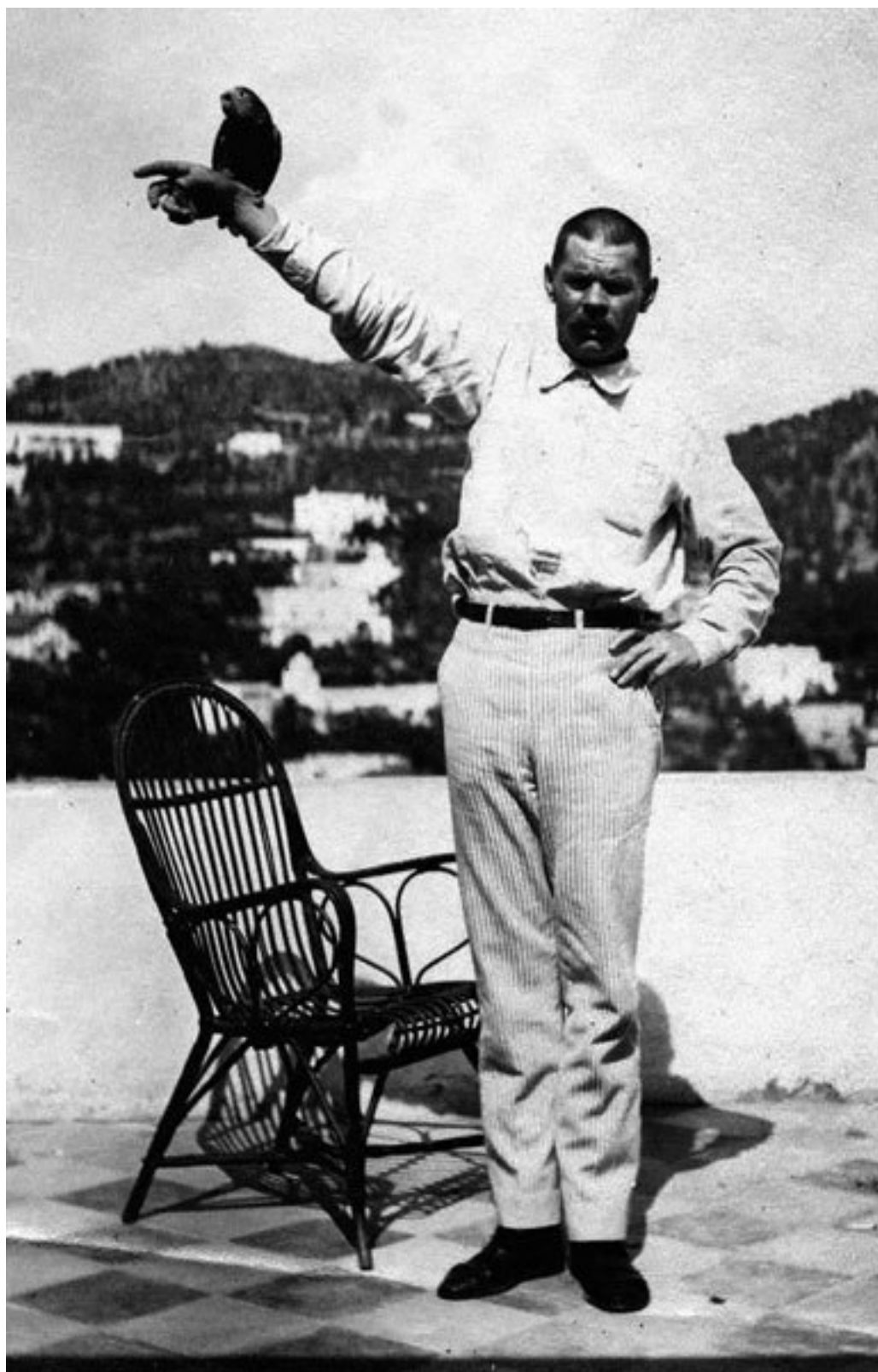
В гостях у Марка Твена. Нью-Йорк, 1906 г.



Горький с М. Ф. Андреевой на Ниагарском водопаде.



На вилле «Саммер Брукс», у дома, где писалась повесть «Мать». США, Адирондак, 1906 г.



“Но Сокол смелый вдруг встрепенулся, привстал немного и по ущелью повел очами...”
Горький на Капри.



С гостями острова и каприйскими рыбаками.



А. А. Богданов и В. И. Ленин играют в шахматы. Горький смотрит. Ленин зевнул. Капри, 1908 г.



С сыном Максимом.



Зиновий Алексеевич Пешков, крестник Горького, старший брат Я. М. Свердлова, герой французской армии, потерявший руку под Верденом. 1916 г.



Возвращение в Россию из итальянской эмиграции. Шуточное фото на границе. 1914 г.



Торжественное празднование 1 Мая. В центре президиума Горький и Шаляпин. Петроград, 1920 г.



Н. С. Гумилев, З. И. Гржебин, А. А. Блок. Петроград, 30 марта 1919 г.



Горький и Ленин на II Конгрессе Коминтерна. Смольный, 19 июля 1920 г.



Кадр из фильма «Ленин в 1918 году». В роли Ленина – Б. В. Щукин, Горького играет Н. К. Черкасов. 1938 г.



Герберт Уэллс, Горький и Мария Игнатьевна Будберг в Петрограде в 1920 году. В жизни обоих писателей эта женщина сыграла роковую роль.



Горький, К. Роде, А. Н. Толстой, А. М. Ремизов, А. П. Пинкевич. Берлин, 1922 г.



Нина Берберова и Валентина Ходасевич. Сорренто, 1924 г.



Владислав Ходасевич, Мария Будберг, Горький и Нина Берберова в Италии. Сан-Аньело, 1924 г.



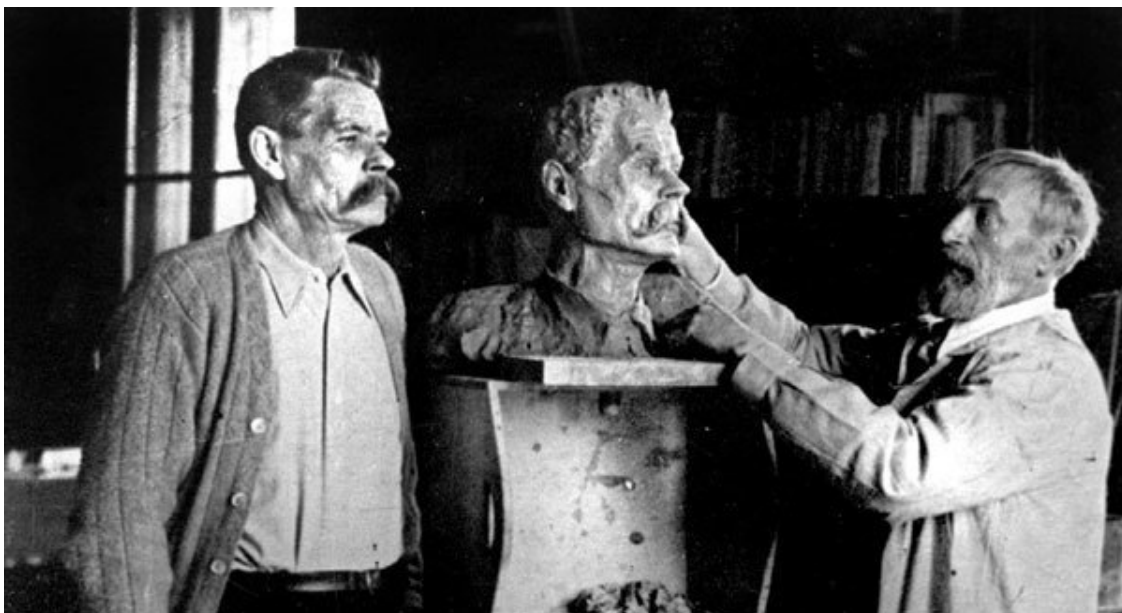
С биологом Николаем Кольцовым, Леонидом Леоновым и Марией Будберг в Сорренто.



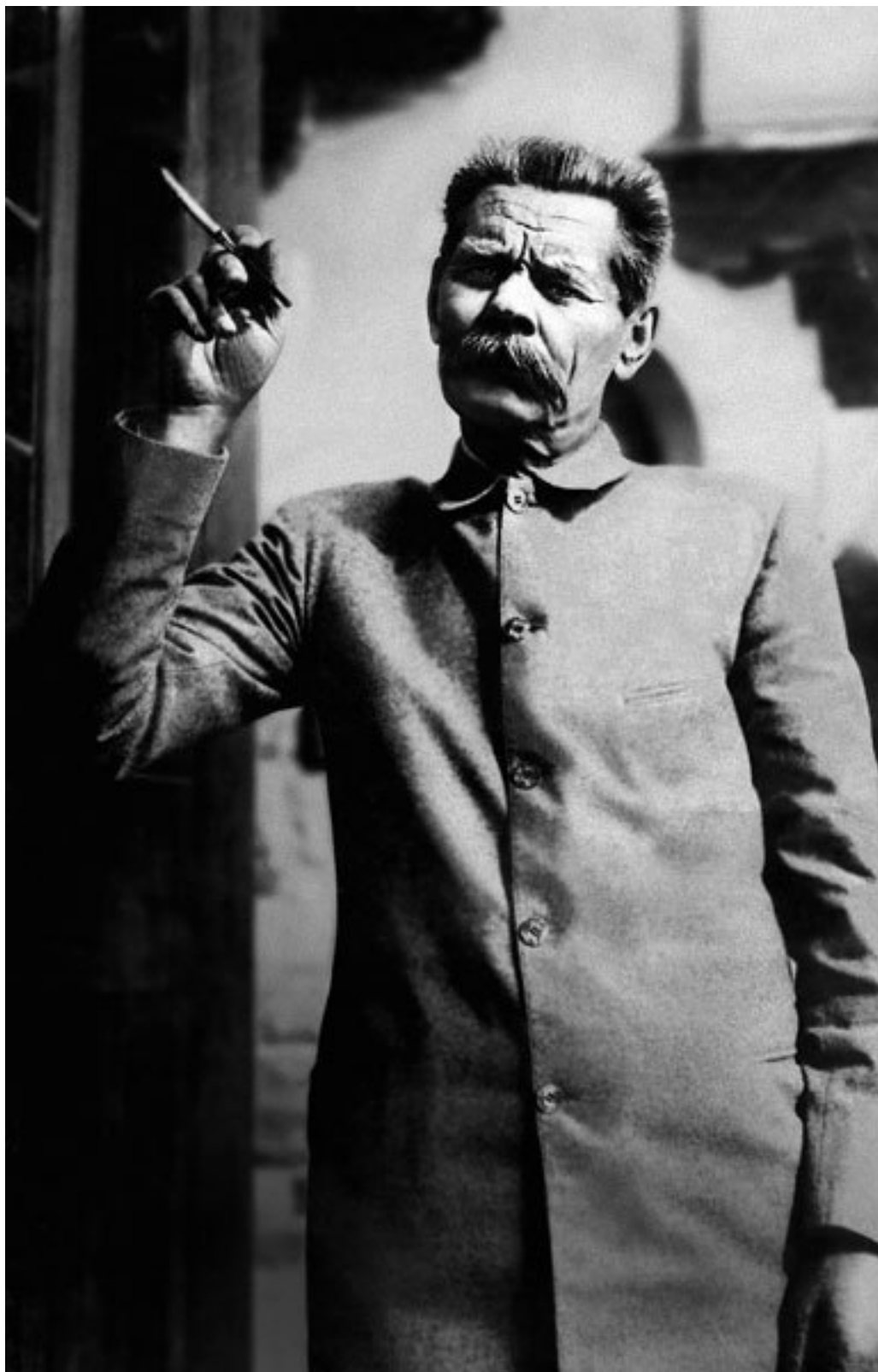
С невесткой Тимошей и внучкой Марфой. Около 1925 г.



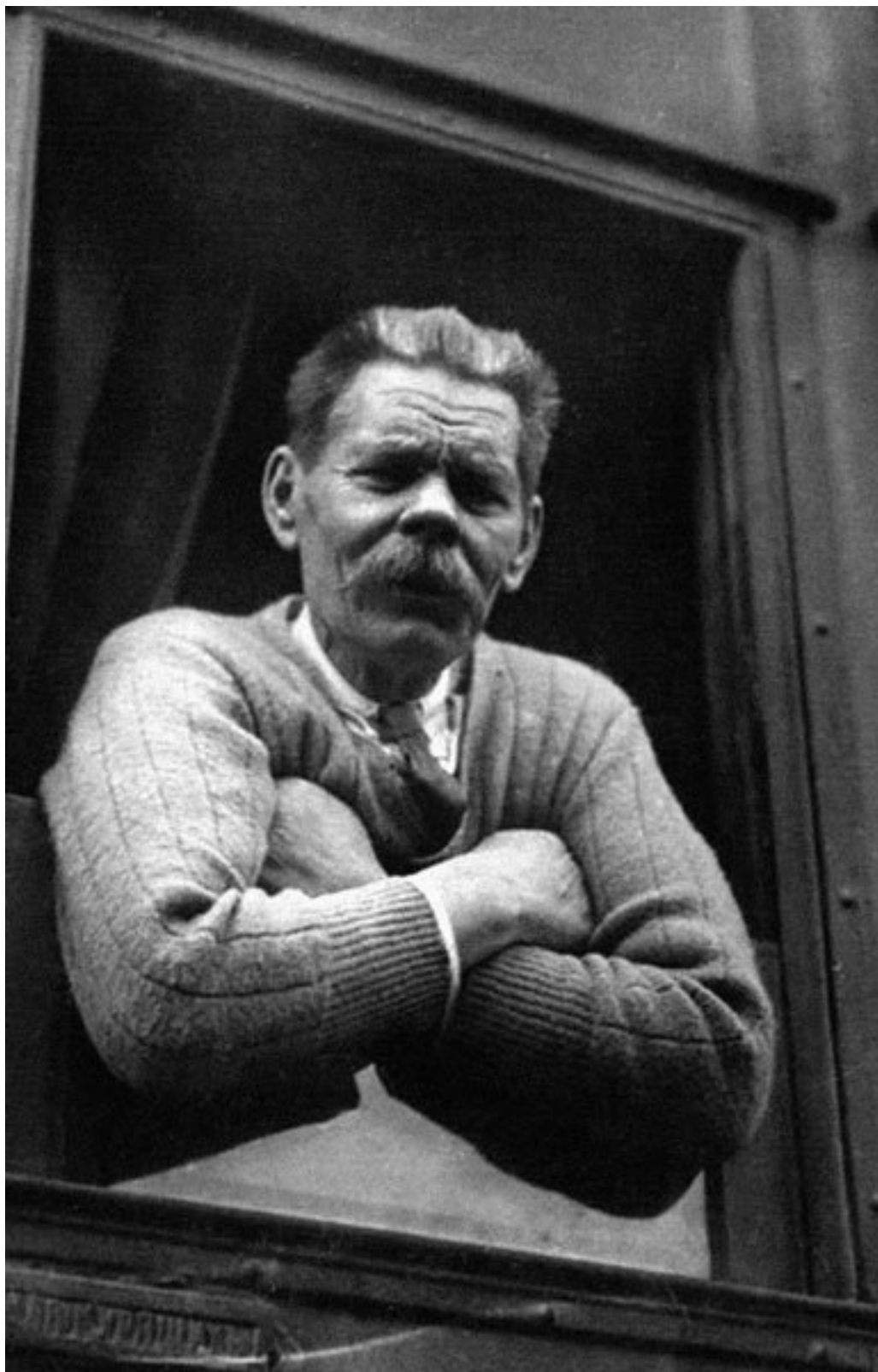
У бюста Данте. Сорренто, 1927 г.



Горький позирует скульптору Сергею Конёнкову. Сорренто, 1928 г.



В доме отдыха в Морозовке. 1928 г. Фото из архива автора. На обороте вклейка 1938 года: “18 июня исполняется 2-я годовщина со дня смерти великого писателя Алексея Максимовича Горького, злодейски умерщвленного троцкистско-бухаринскими бандитами”.



Возвращение в СССР. 1928 г.



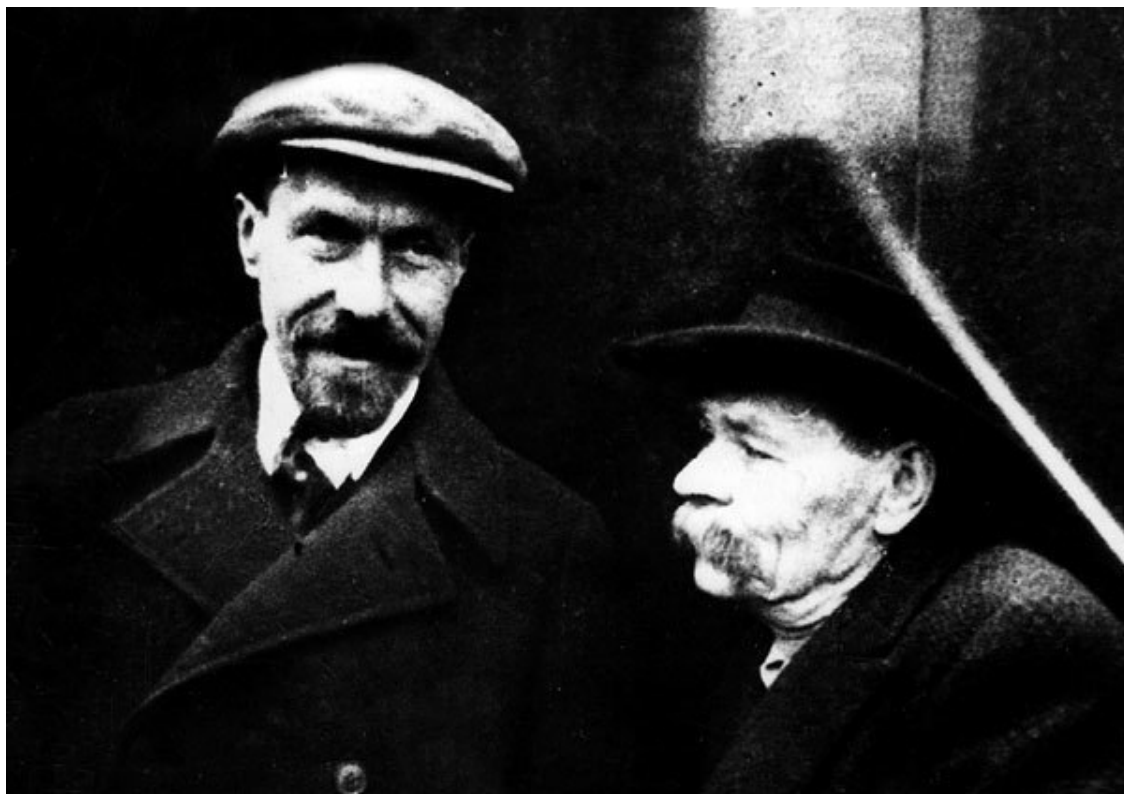
Толпа встречает писателя у Белорусского вокзала.



Ложи Большого театра, украшенные транспарантами в честь возвращения Горького в СССР. 1928 г.



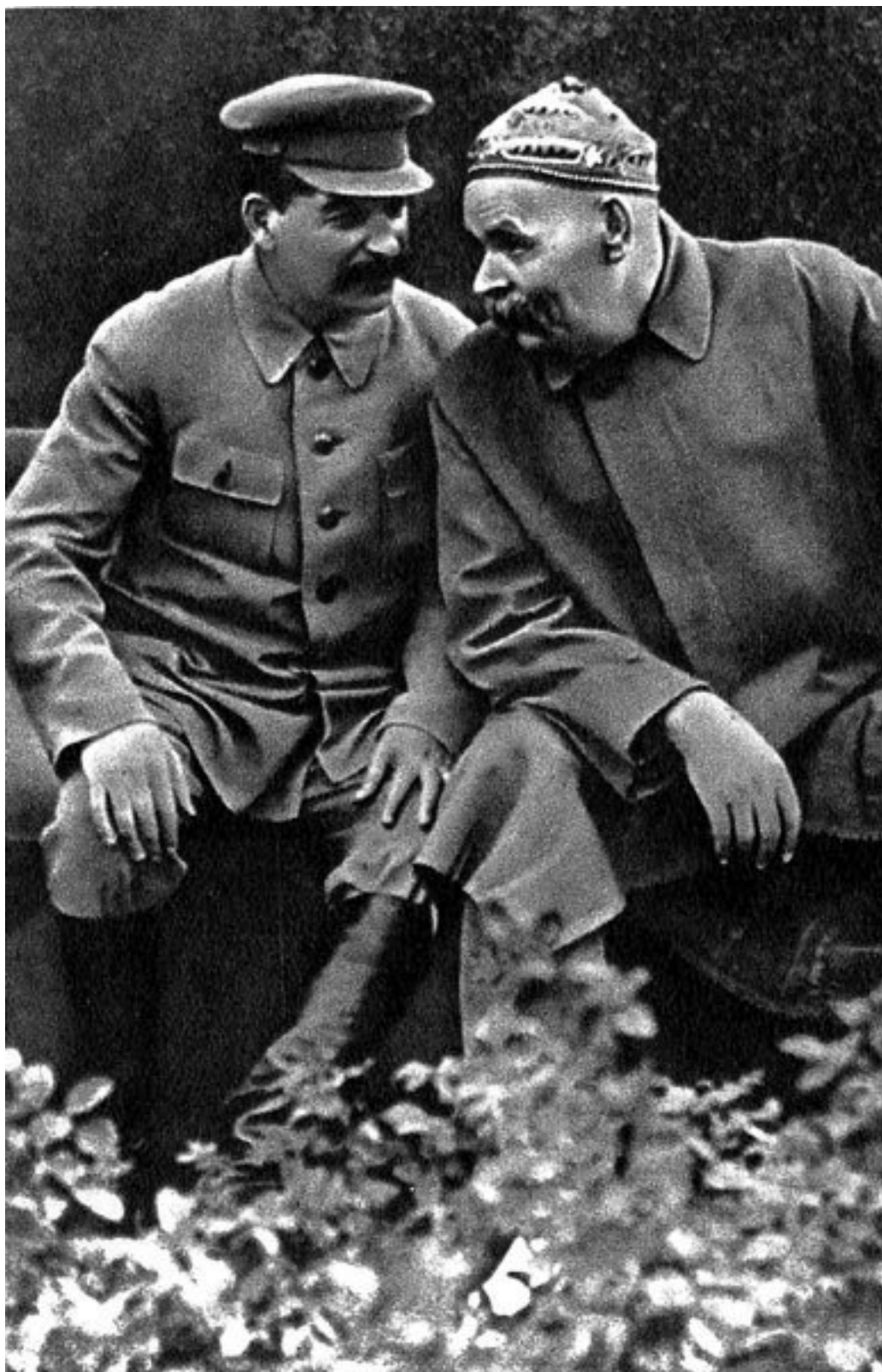
Горький и А. С. Макаренко (крайний слева) с воспитанниками Куряжской колонии под Харьковом. 1928 г.



Горький и А. И. Рыков. Москва, 1932 г.



П. П. Крючков, Горький и Генрих Ягода.



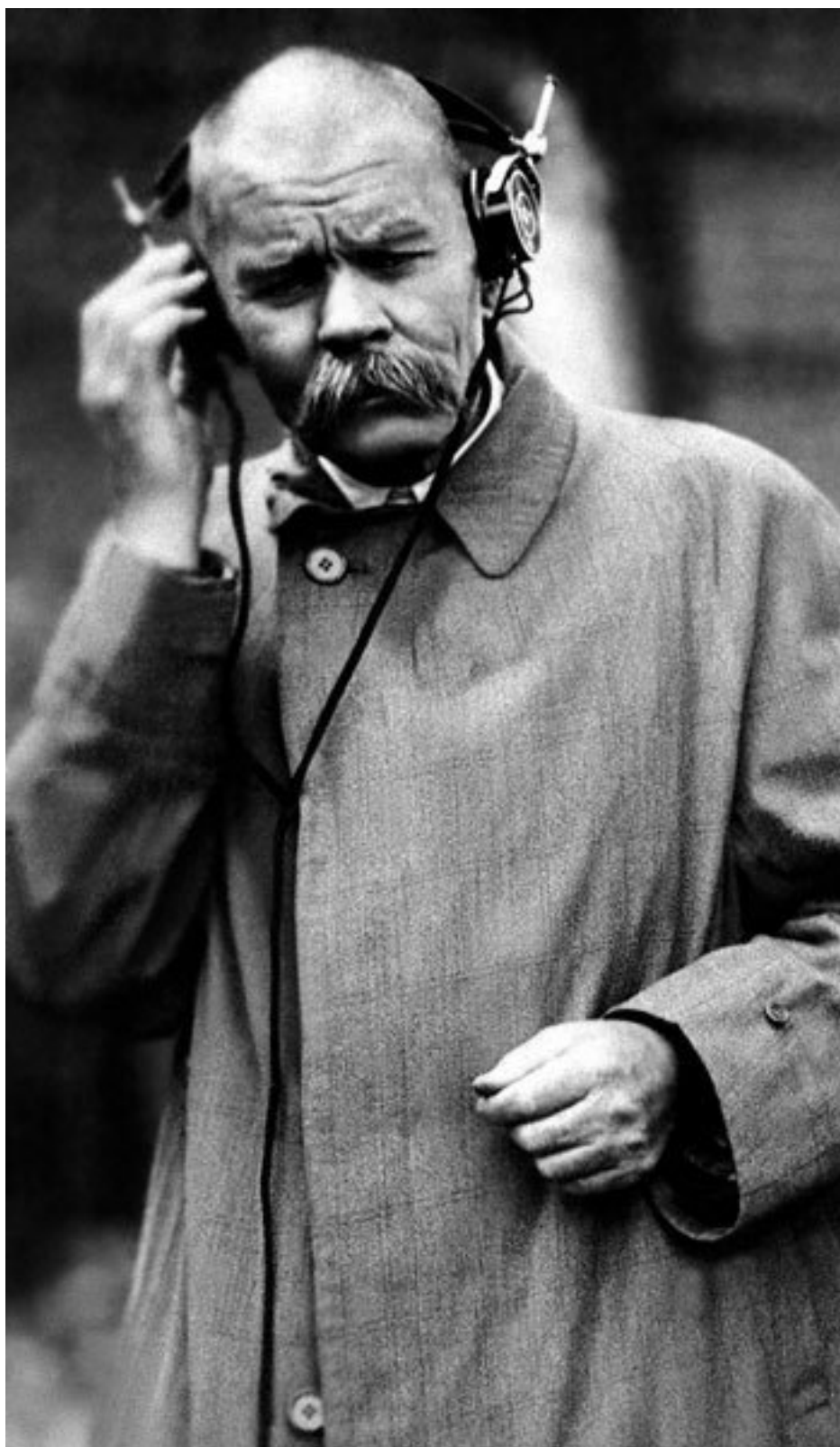
Сталин и Горький. Беседа на двоих.



Горький с сыном, невесткой и лагерным начальством во время посещения Соловецкого лагеря особого назначения в 1929 году.



На Беломорканале, 1933 г.



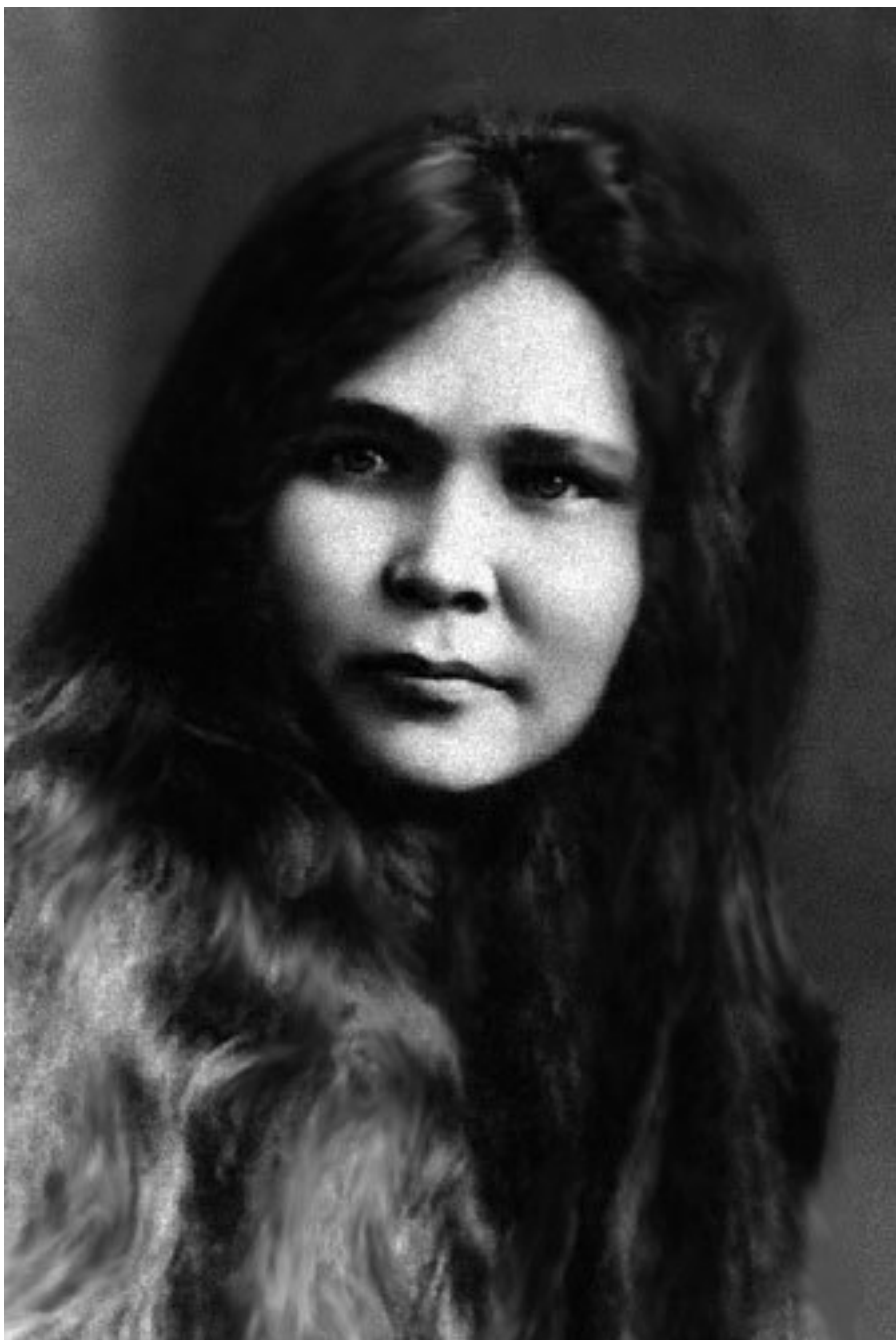
Слушает мировые новости.



Лестница особняка Рябушинского (проект Федора Шехтеля), подаренного Горькому советским правительством.



Олимпиада Черткова (Липа) – личная медсестра Горького.



Загадочная девушка Алма Кусургашева из рода шаманов.



Бронзовый отлив руки Марии Будберг, который Горький хранил на письменном столе.



Обезьянки, стоявшие на столе писателя: “Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу”.



С сыном Максимом, невесткой Тимошей и внучками Марфой и Дарьей. Сорренто, 1928 г.



На похоронах сына Максима. Новодевичье кладбище, 1934 г.



Врачи Горького Л. Г. Левин (с внуком) и Д. Д. Плетнев.



I Всесоюзный съезд советских писателей. Москва, 1934 г.



Передовица в “Известиях”. На фотографии открытия Съезда – Жданов и Горький в центре президиума.



Горький и А. Н. Толстой среди делегатов I Всесоюзного съезда советских писателей.



Горький и Ромен Роллан в окружении комсомолок-парашютисток.



Горький в Крыму на казенной даче в Тессели.



На смертном одре. 18 июня 1936 г.



Родные и близкие идут за катафалком с телом писателя. Слева направо: А. Л. Смылова-Галл, Е. П. Пешкова, М. Ф. Андреева, Н. А. Пешкова, М. И. Будберг, Е. З. Крючкова, И. Н. Ракицкий. 20 июня 1936 г.



Урну с прахом Горького несут вожди Советского Союза. Впереди Молотов и Сталин.